

КОНТИНЕНТ

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

91

РОССИЯ НА ПУТЯХ ПРАВОПРЕЕМСТВА



Материалы конференции
Май, 1996 г.
Москва

Не скажу, что дела мои плохи.
Просто на сердце столько легло,
Наслоилось так много эпохи,
Что мне душу нести тяжело.



Инна Лиснянская



Наум Коржавин

Передо мною документ, очень важный для понимания нашей истории. Я его не открыл и не добыл хитроумным способом. Просто нашел в книге, которая доступна всем...

...она, она, Русь моя, жена моя, во всей невозможной, невозможной красе, без абзацев, без запятых, таким мутным, несуразным, сбивающим с толка сплошняком, русское безумие, дыханье жизни...



Евгений Федоров



Свящ. Лев Шихляров

Человечество стало решать проблемы пола и любви вне религии и вне Церкви (отчасти из-за самой Церкви), но легче от этого не стало и вместе с узнаванием интимного умножились зло и разврат...

Иногда и Цветаеву, и Блока, и раннего Пастернака несла волна обмирщения святыни, начавшаяся в эпоху Ренессанса. Но поздний Пастернак — свидетель катастроф XX века — подхвачен волной покаяния...



Григорий Померанц

**В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ ЖУРНАЛА «КОНТИНЕНТ»
БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ:**

Новые стихи:

Евгения Блажеевского

Александра Городничкого

Игоря Меламеда

Игоря Петрова

Олега Чухонцева

Повесть **Сергея Бабаяна** «Мамаево побоище»

Повесть **Сергея Каледина** «Тропой Моисея»

Неопубликованная повесть **Владимира Кормера** «Человек плюс машина»

Новые повести и рассказы **Василия Аксенова, Фазиля Искандера, Михаила Кураева, Владимира Маканина, Евгения Попова**

В разделе «РОССИЯ»

«Интервью с самим собой» **Сергея Аверинцева**

Статья **Лидии Польской** «ТВ вчера, сегодня, завтра»

Статья **Ю.Н. Давыдова** о современной экономической ситуации в России

Материалы конференции «Шестидесятники о шестидесятых» (Москва, октябрь 1996)

Материалы Вторых Чтений памяти В.Е. Максимова «Прошлое, настоящее, будущее России» (Москва, июнь 1997)

В разделе «ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ»

Публикации из архива «Континента» («парижского» — 1974—1992)

Материалы из архива **Н.А. Бердяева**

Из «Диктофонного дневника» **Д. Панина**

Далее см. с. 3 обложки





**Финансирование
типографского и редакционно-издательского процесса
выпуска журнала «Континент» обеспечивается
ИНКОМБАНКом**

КОНТИНЕНТ

*Литературный, публицистический
и религиозный журнал*

Выходит 4 раза в год

91

1997, № 1

январь — март

ПАРИЖ • МОСКВА

КОНТИНЕНТ — CONTINENT

Журнал основан в 1974 году в Париже
писателем Владимиром МАКСИМОВЫМ

Издатели:

Редакция журнала «Континент»
Издательство «Московский рабочий»

Учредитель — И.И. Виноградов

Журнал зарегистрирован в Комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 014255

**Адрес редакции: 101923, Москва,
Чистопрудный бульвар, 8.
Телефон: (095) 928-97-42
Факс: (095) 201-57-41**

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются,
и в переписку по этому вопросу редакция не вступает

При перепечатке наших материалов ссылка на «Континент»
обязательна

Авторы несут ответственность за достоверность
приводимых ими фактов и цитат

Редакция пользуется автомобилем «Москвич»,
предоставленным АО «МОСКВИЧ»

© ТОО «Журнал «Континент»

© Название журнала «Континент» — В.Е. Максимов

Главный редактор
Игорь ВИНОГРАДОВ

Редакционная коллегия:

Сергей АВЕРИНЦЕВ	Оливье КЛЕМАН
Василий АКСЕНОВ	Роберт КОНКВЕСТ
Виктор АСТАФЬЕВ	Наум КОРЖАВИН
Ценко БАРЕВ	Эдуард КУЗНЕЦОВ
Александр БЛОК	Александр КЫРЛЕЖЕВ
Армандо ВАЛЬЯДАРЕС	Николаус ЛОБКОВИЦ
Галина ВИШНЕВСКАЯ	Эдуард ЛОЗАНСКИЙ
Георгий ВЛАДИМОВ	Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ
Ежи ГЕДРОЙЦ	Жорж НИВА
Густав ГЕРЛИНГ-ГРУДЗИНСКИЙ	Амос ОЗ
Пауль ГОМА	Мишель ОКУТЮРЬЕ
Алла ДЕМИДОВА	Ярослав ПЕЛЕНСКИЙ
Ион ДРУЦЭ	Лариса ПИЯШЕВА
Андрей ЗУБОВ	Виктор СПАРРЕ
Вячеслав ИВАНОВ	Юлиу ЭДЛИС
Фазиль ИСКАНДЕР	Сергей ЮРСКИЙ

Представители «Континента»

- Израиль** Юлия Эйдельман
Hashaftim 22
64365 TEL-AVIV, ISRAEL
☎ (03) 69-67-375
- Италия** Джулия Филиппелли
Via Olmetto, 5
20100 MILANO, ITALIA
☎ (2) 86-45-47-23
- Канада** Ольга Бутенко
1221, Boul. Rene Levesque
SILLERY QC G1S1V8, CANADA
☎/fax (418) 688-1221
- США** Эдуард Лозанский
1800 Connecticut fve., N.W.
WASHINGTON, D.C. 20009 USA
☎ (202) 986-6010, fax (202) 667-4244
- Франция** Татьяна Максимова
5 rue Chalgrin, 75116 PARIS, FRANCE
☎ (1) 45-00-67-56
- Швейцария** Жан-Филипп Жаккар
104 rue de Carouge
1205 GENEVE, SUISSE
☎ (22) 321-4052
- Нелли Биуль-Зедгинидзе
25 Malagnou
1208 GENEVE, SUISSE
☎ (22) 736-40-69

СОДЕРЖАНИЕ

Инна ЛИСНЯНСКАЯ	
Пунктир судьбы. <i>Стихи</i>	9
Евгений ФЕДОРОВ	
Бунт. <i>Повесть</i>	16
Ефим БЕРШИН	
И вертится земля подобием рулетки... <i>Стихи</i>	134
Теодор ВУЛЬФОВИЧ	
Рассказы бабки Петровны	141
Владимир ЛЕОНОВИЧ	
Четверик. <i>Из поэмы</i>	159
Гимма КОВАЛЕНКО	
Мой сосед Григорьев. <i>Рассказ</i>	167
Марина ТАРАСОВА	
Всё, что забыть не захочу. <i>Стихи</i>	182

РОССИЯ

Андрей ЗУБОВ	
«Россия на путях правопреемства»	186
Наум КОРЖАВИН	
Будни «тридцать седьмого года»	208

ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ

Зоя МАСЛЕНИКОВА	
Маленький французский оазис. <i>Повесть-воспоминание</i>	227

РЕЛИГИЯ

Джон ЙОДЕР

«Нет власти аще не от Бога»: 13-я глава Послания
к Римлянам и государственная власть 261

Свящ. Лев ШИХЛЯРОВ

Христианство и «сексуальный вопрос». 275

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Григорий ПОМЕРАНЦ

Любовь небесная и земная
(Центростремительное и центробежное) 306

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ

О мнимостях в литературе 317

Александр ВЯЛЬЦЕВ

Глагол без названия. О творчестве Ю. Трифонова
(1925—1981). 327

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА» 335

ПУНКТИР СУДЬБЫ

* * *

Укрой меня одеялом,
Окно затвори,
Ни о каких идеалах
Не говори.

Видишь, устала я очень,
Слишком устала,
Мне выспаться мало ночи
И жизни — мало.

А на стене из нитей —
Полные паруса, —
И я не могу их не видеть,
Закрой мне глаза.

Меня пугает похожесть, —
Сними гобелен, —
Я тоже лезла из кожи,
Как паруса из стен.

1947

**Инна
ЛИСНЯНСКАЯ**

— родилась в г. Баку. Впервые выступила со стихами в 1948 году. Автор нескольких поэтических сборников. Последние издания — «Дожди и зеркала» (УМСА-PRESS, 1983), «Стихотворения» (Ардис, 1984), «Шкатулка с тройным дном» (М., 1994), «После всего» (Пушкинский фонд, СПб., 1994), «Одинокий дар» (Третья волна, Москва—Нью-Йорк—Париж, 1995) и книга избранного — «Из первых уст» (Музей Марины Цветаевой, М., 1996). Живет в Москве.

* * *

Не скажу, что дела мои плохи.
Просто на сердце столько легло,
Наслоилось так много эпохи,
Что мне душу нести тяжело.

Друг веселый, мой друг ненаглядный,
Эту ношу со мной не дели,
Без нее я что куст виноградный,
Оторвавшийся от земли.

Издаля, словно шапочка лисья,
Манит солнышко севера нас,
И нужней твоего легкомыслия
Для меня ничего нет сейчас.

1959

Вельма

Клока моя сырая —
От знамени древко.
На знамени в сарае
Я сплю легко-легко.

Умру — меня оденут
И в бархат, и в парчу,
У ведьмы нету денег —
Лишь космы по плечу.

Господь живет на небе,
А бесы — на земле,
И кутаясь в отрепья,
Колдую на золе,

И черта с чертом ссору
Я, ведьма, голью-голь,
И посыпаю солью
На завтрак ту же соль.

1962

* * *

Друг забудет — вспомнит Бог,
Бог забудет — вспомнит дьявол.
Я забила в уголок,
Мне тепло под одеялом.

Где-то, как веретено,
Без конца жужжат дороги,
Где-то кружится кино
И взимаются налоги,

Где-то там пивной завод
Набивает цену пеной,
Тянет пену чей-то рот
Жадно и самозабвенно.

Мальчика прельщает тир,
Проклинает нищий сытых...
Есть забывшие про мир,
Нету в мире позабытых, —

Голубь ли стучит в окно,
Друг ли, ангел или дьявол, —
Мне сегодня всё равно,
Мне тепло под одеялом.

1964

* * *

Растет вода весной раздольно,
Растет растение привольно,
Растет ребенок своевольно,
А вот душа растет так больно,
Что даже трудно говорить.

1971

* * *

Январь, ну конечно, январь.
И новый раскрыт календарь,
И старая книга закрыта,
Да старая боль не забыта.

Январь, ну конечно, январь.
Горит новогодний фонарь,
Рождественский снег шевелится,
Как будто под лампой страница.

Январь, ну конечно, январь.
Я с шеи срываю янтарь,
Бросаю в костер новогодний,
Чтоб стать от разлуки свободней.

Январь, ну конечно, январь.
Но есть ли на свете словарь,
В котором бы слово «начало»
Забвение обозначало.

1971

Рождественский рассказ

От кладбищенского сада
Начинается Рождество.
Мне ни от кого не надо
Ровным счетом ничего.

Всё при мне: земля и ели,
И посаженный косо крест,
Только б песнь мою допели
Птицы, что живут окрест.

Это так легко синичкам
С их привычкою бедовать.
К снежно-елочным косичкам
Пестрым тельцем припадать,

Голодать, клевать замазку,
Подлетев к близлежащим домам.
Вот и песня вся, а сказку
Я не обещала вам.

1971

* * *

Господи, ну что за жизнь,
Что за время, если
Голуби и те, кажись,
В городе исчезли.

Если б горд был ковчег,
Было бы понятно:
Голубь, вышедший на брег,
Не пришел обратно.

1990

* * *

1

Ни одной на самом деле
Не изъяла ты занозы,
Ни из сердца тверже воска,
Ни из памяти тверезой,
Ни из бредящего мозга.

А меж тем на самом деле,
Неподвижно пролетели
Дни, как белые березы,
Ночи черные, как ели.

Где гаданья и прогнозы,
Где твой табор, Мариула?
Где браслеты? Где колеса?
Незаметно промелькнула
Жизнь. На то она — и жизнь.

2

Ах, каблучки, каблучки, вы свое отстучали.
В стоптанных тапках влачусь и цыганистой шали
По Подмоскovie с небрежностью не волочу.
От каблучков я избавлена и от печали,
Что меня, дурочку, с мужем чужим повенчали,
Но о сватях я дерзкого сказать не хочу.

Есть телевизор-малютка. Ах, ролики, клипы...
Это мой короб, в котором коттеджи и рыбы,
Книгоиздательства и от Диора духи.
Смеху — навалом! И вы улыбнуться могли бы:
В третье тысячелетие тянутся липы
И прихватить собираются эти стихи.

1996

Яблоко

И всюду видятся капканы,
И всюду чудится засада.
Но мне важней небесной манны
Искус первозапретный сада.

Ах, яблоко, вся жизнь — ловушка,
И только в смерти нет соблазна.
Проженная слезой подушка
Свидетельствует: не напрасно

Я существую, чтобы сети,
Мне расставляли, гнали, били
Те, кто о яблоке забыли
На этом исчервленном свете.

1996

* * *

Щель была вместо двери,
В виде иллюминатора
В толще камня — окно.
Разве было в пещере
Иоанна Крестителя
Мглисто или темно?

Площадь — три на четыре,
А в овале — миндальная
Склонов гор густота.
Что такое есть в мире
Тьма для первоносителя
Света в виде креста?

Что ж в своей комнатенке
Четверть века безвылазно
Я талдычу о мгле?
Разве это потемки?
Разве нету Спасителя
На безумной земле?

Разве не жаждем чуда
Мы, невзирая на Ирода?
Или память пуста?
Или вращаю блюдо
Я с головой Крестителя,
А не свет от креста?

1996

* * *

Кого бы я ни встречала —
Я встречала себя,
Кого бы ни уличала —
Я уличала себя,
Кого бы я ни любила —
Я любила себя,
Кого бы ни хоронила —
Я хоронила себя,
Кого бы я ни жалела —
Я жалела себя,
Куда бы я ни летела —
Я летела в себя.
Сходили с ума. Но это
Я сходила с ума,
И если вдуматься в это,
Весь мир — это я сама.

1996

БУНТ*

ТРИУМФ ЖЕНЬКИ ВАСЯЕВА, год 1949

Нынче мы опять пересеклись с желторотым звонким звоночком, поди не помните Женьку, ну Женька Васяев, студент химфака, с ним всегда приятна встреча, мы его почему-то полюбили; уже иная, непохожая мизансцена, всё так интересно и неожиданно. Смеем все же в общих чертах и не вдаваясь в подробности напомнить, в каком горьком раздрыге мы его бросили на произвол судьбы, потерянному, в умопомрачении, не желающего верить телесным глазам, не способного трезвиться, воспринять наглядную науку, преподнесенную с завидной простотой и красноречием Цицерона, признать ляп, признать, что фундаментально лопухнулся; сонная тетеря, осовелый — он делает судорожное движе-

**Евгений
ФЕДОРОВ**

— родился в 1929 году в г. Иваново. В 1949 году, студентом 1-го курса филологического факультета МГУ (искусствоведческое отделение), был арестован по обвинению в групповой антисоветской деятельности и приговорен к 8 годам исправительно-трудовых работ в лагерях общего типа. В 1954 году реабилитирован. Окончил МГУ в 1959 году. Автор книги «Жареный петух», в которую, кроме одноименной повести, вошли еще две: «Былое и думы» и «Тайны семейного альбома» (Москва, 1992), а также названных в редакционном примечании повестей, напечатанных в журналах «Нева», «Звезда», «Новый мир» и «Континент». Лауреат парижской литературной премии им. В. Даля и финалист Букеровской премии 1995 года. Живет в Москве.

*Предлагаемая вниманию читателей «Континента» новая повесть Евгения Федорова завершает задуманный автором большой повествовательный цикл под тем же названием. Уже были опубликованы составляющие его повести «Жареный петух» («Нева», № 9, 1990), «Илиада Жени Васяева, год 1949» («Звезда», № 4, 1994), «Одиссея» («Новый мир», №№ 5—6, 1994), «Умерла насаякомая. Смена вех: год 1953» («Континент», № 89). Полный состав цикла «Бунт» и последовательность входящих в него повестей указаны в № 89 «Континента» (с. 16).

ние, силится приподняться на локте, дыхание сперло, подкошен под самый корень, не узнает своего голоса, тщедушно, словно из далекой черт знает где стоящей бочки, немеющим, деревянным языком задал Гусеву самый что ни на есть идиотский вопрос: — «Бьют?» А сам, дурында стоеросовая, не видишь (— А что, Рабинович умер? — Да, умер. То-то, я вижу, его хоронят)? Ведь наш-то рефлектирующий неврастеник не только сам порхал в розовых облаках вредных и опасных заблуждений и был смел в кабинете следователя (по простоте душевной веровал, наивняк, идиот, распрекрасные вы очи! что не бьют, что били в 37-м, при Ежове, а сейчас другие времена), но и давал опрометчивые советы другим, как вести себя у следователя. Ложная доктрина определила тот вызывающий боевой устав пехоты, который позволил ему не признать себя виновным в предъявленных обвинениях и проявить беспримерное мужество. Ему жутко повезло, хотя в принципе ошибочная диагностика действительности до добра не доводит, истина кусается, зло и вульгарно мстит, может жестко напомнить о себе, и напомнила: глянул Женька на вдохновенно и с подлинно профессиональным шпиком обработанного Гусева, черная, трудная улыбка, черные губы, кровь запекалась, уголь рукотворный, в душе нашего подопечного взбрык, пошло-поехало, поднялась нешуточная паника, внутренний кризис, переполох, озноб, треплет лихорадка полномасштабным страхом; душа, стремглав рванув, дрейфонула, как это и положено, в пятки, оказалась безмерно распятой, застигмаченной гадким зрелищем. Казалось бы: что ему Гекуба? что он Гекубе? Дело в том: следствие у Женьки окончено, подписана 206-я статья, с Кононовым он уже не встретится, неприятности следствия позади, трын-трава, ему ничего не угрожает, дело направлено в суд или в ОСО, казалось бы, ан — нет, трах-бабах! не настраивайся, милок, на поэтический и благодушный лад: сюрприз, наше вам и с кисточкой, увидел, как два вертухая сноровисто и деловито волокут порядком отметеленного, почти бездыханного Гусева, под микитки держат раба Божьего, картинно разукрасили, постарались многоопытные мастера заплечных дел, ну — и (что мы знаем о своей душе?): его настиг запоздалый, но сокрушительный холод, обрушился, галопирует, захватывал все новые и новые рубежи: ни жив, ни мертв, обуян демоном страха. Страх пришел откуда-то из глубин нутра, где проживал тихонько, без прописки, невидимкой; и вот — спущен с цепи. Не корреспондирован с реальностью, а призрак воображения. Режет, рвет, нет у него пластической формы, имеет цвет, серый, сероватый, как дым или пар. Нет, он бесструктурен, отнюдь не квадратен, хотя и режет душу острыми углами. Аморфен,

хаотичен, муаровое облако, которое откуда-то возникло, стелется, вползает жалищей змеей, катится волнами, густеет, захватывает все новые и новые клетки тела, парализует остатки воли и разума. Страх быстро набирает мощь, как аравийский ураган, это что-то первичное, как и боль, элементарное, основа основ, символ символов, символ жизни, шофер всех наших внутренних шоферюг, не хватает слов, понятий, чтобы вразумительно говорить о страхе; он вызывает икоту, рвоту. Половодье страха! Наглое нашествие, бесцеремонно, беспардонно, и перед ним дезертируют вторичные добродетели и бледные кантовские категорические императивы, бегут позорно, хватать их за хвост или там за шкурку не имеет смысла, все бесполезно: вырвавшись из бездны, где этот зловещий непобедимый Чингисхан до сего времени таился, ждал своего часа, эта лавина сметает все на своем пути. Он в тебе, в темных, смятенных глубинах твоей души. Кому рассказать, кому засвидетельствую и — услышит? «— Бьют?» И— рухнул в преисподнюю протрации. Молчу. Утаю. Он пускается выпихивать из памяти, затереть, заглушить позорные, пакостные тайны души-душонки (долой их! вон! в шею! под зад коленом!), но память нравна, упряма, у нее свои законы, принципы, назойливые, унижительные воспоминания сами лезут в голову, мучат, ведь эти неожиданные открытия касаются глубинной сущности сего души, ее патологической трусливости, низости, позора, поражений, непредвиденных приключений, о которых так хочется забыть, не вспоминать никогда.

Совсем незадолго до ареста злосчастный Женька был невзначай заарканен, круто уловлен одной девушкой, ярчайшее чувство, ничего удивительного, *первая любовь*, а девушка с изюминкой, улыбка-то какая, таинственно-непостижимая, завораживающая, смотрел бы на ее тихий лик и смотрел бы вечно, глаза карие, поразительные, всегда полные легкомысленных смелюнок-адамантов, крыша у паренька поехала, утар, на веки вечные не сойдет с крючка, так заглотил, и вечно будет хранить верность интенсивному, неугасимому, светлому, чистому, как родник, чувству; отведал сполна, что такое нудящая, непрекращающаяся, изматывающая боль, рвет, тиранит она; и болит-то неизвестно что и где, размытая боль, плавающая, даже это не боль, а что-то другое, чему и имени нет, нудит, нудит, от нее не убежишь, деться некуда, относись к ней внимательно, а то хуже будет, много хуже, злобно беспощадна, в петлю голову сунешь, и все это из-за пары растрепанных кос, что пленяли своей красотой, и он был близко к тому, чтобы погасить боль в петле и мысленно примерял удавку, на стул забрался, надежный, грубый крюк вбил, не вспоминать, погра-

ничная ситуация, а к ней наш милый чудный птенчик был абсолютно не готов, ну — влип. Прошлое, оно видится ему как суровый, сердитый, промыслительный урок, злой, нравоучительный, имеющий кроме очевидного, профанного, еще и трансцендентально-таинственный сценарий, нашедший сложную экспозицию, до ума она еще не доведена, не заголена суть интриги: всё впереди, всё проявится. Смешно, не нотно, глупо, пошло, а так получается, что МГБ спасло его, растерявшегося чудика, от верной удавки, просветило и научило, как научат хозяин кутенка, тыкая носом в собственное дерьмо. Арест, Лубянка, шмон на Лубянке сняли ту непереносимую боль, из-за которой он готов был нырнуть в петлю. Страх был сильнее, первичнее, главнее боли, и боль слиняла самым элементарным образом, когда он увидел голосистые орудия пыток. Клинья клином вышибают. Искал спасения от боли в смерти, перетрусил, передрейфил порядком, увидев грубые, очевидные орудия пыток. Вспомни, помни это, душа, и не забывай никогда. Боль, страх — родные брат и сестра, близнецы. Дважды он причастился страху, сполна нахлебался. Испекся, не Женя, а гроб с музыкой, прошибла икота, испарина. Живодерня — ужасные, никелированные, блестящие, блистающие кусачки: опаскудилось сердце, защемило, корчи страха. Самоедство и самоистязание. Измучен нравственно. А всё потому, что раскрылась глубинная сущность его породы, худшие, подлые хляби. Его никто не пытал, на дыбу не вздергивал, не обрабатывал, как Гусева. Переплет первого допроса, было, никуда не денешься, наверху пух, а внутри страшно, мандраж бил, Кононов задал грамотную трепку, поддал жару, ой! родимчик того гляди вскочит, несмываемым позором колени заходили, туда-сюда, ничего с ними не может поделывать, неприкаянны, вырвались из-под опеки к агрессивной оголтело-беспредельной автономии, бунтуют, самостояничают, хамят, верх неприличия, язык нагло показывают, не управляемы центральной нервной системой; отпустил вовсе вожжи, картинно, красноречиво ходуном ходят, в кино показать, скажут гротеск, дешевая карикатура, пережим, такого густого сочного безобразия не бывает, пусть так, условность искусства, в искусстве свое пространство, свои отнюдь не реалистические законы. Пустое, пустое, никто не видел его с позорно трясущимися коленями и не увидит, останется тайной, покрытой мраком, а значит, этого не было. Настоящего страха на допросах не испытал, парадокс, но такова истина, а судя по тому, как досталось Гусеву, опасность была велика и реальна. Он не знал, что быют, и крепко, и чем попадая, уверен был, что не быют, всё от большого светлого ума. Печальный урок самопознания, но лучше поздно, чем никогда: тварь дрожащая, несчастная, позорная.

Из огня в полях, искры мощные из глаз, заклокотало, забухала кровь в висках, тоскливой, ноющей болью отозвалось в сердце, голова тяжелая, словно свинцом тяжким набита, мир утратил краски, в последнюю ночь в Лефортовской тюрьме ему привиделся сон, забор, невнятный, бесконечный забор, зеленый ровный штакетник; о чем такой сон? Сонник нужен. Гераклит говаривал: «у бодрствующих один общий мир, спящий же обращается к своему собственному», так и по Фрейдю. По заслугам каждый награжден, схлопотал, раз-два, тык-мык, как по нотам, готово, лапидарно, быстро, просто, без ненужной никому процедурной волокиты и лишних слов, поганых адвокатов, шулеров, подгасовщиков, именуемых в просторечии (и у Достоевского) «наемной совестью», нам, русским, этого не понять, зачем они нам, эти адвокаты, оглушен, огорошен, украденная младая жизнь, заяц белый, куда бегал, к Кузьме шастал, мамы не слушал, говорила сыну мать, не водись с Кузьмой, не ходи к нему, хорошего там не услышишь, ничему, кроме лени, там не научат, Женька бы рад не ходить туда, да, как магнитом, тянет, не послушал маму, вот теперь и майся, полновесные, страшные, руки, ноги холодеют, невозможные восемь лет, ОСО, тайна беззакония! щедро шлепнули, не обижают, не обделят, по слухам и четвертную теперь ОСО запросто и не за ... лепят.

— В нашем полку прибыло! — издал Рахлин восторженный клич, от избытка сердца: Женю ввели в пересыльную камеру Бутырок, свеженького, только что постановление ОСО зачитали. Сказка, миф. Быть не может! Его встретили дружными криками «ура», раскудахтались, ой как раскудахтались, его приветствуют не как замученного страхами юношу бледного со взором смущенным, то бишь, зачумленную буку, а как стойкого героя эпоса, выбирающего дорогу поопасней, идущего на рожон, эдакий Мстислав Удалой, ищущий подвига и авантюры, к тому же и — «умница, башковит, светлая голова». Само красное солнышко со всеми звездами-гигантами, Сириусами, так, кажется, они зовутся, необъятной вселенной ввалилось в камеру. Шапку долой. Ему кадят. Он застенчиво улыбается, тупит, как деревенская девица, глаза, ах, что вы! внутренне краснеет, уши начинают гореть, сильно лишь кончики ушей. С кондачка и прежде всего младому герою тюремного эпоса преподнесли подарок, никакой не сальный огарок, а нечто весьма существенное, весомое, стоящее, выделили отличное место на нарах, внизу. Диковинный оборот события. Чудеса! А вы говорите, чудес не бывает. Как еще бывают. На каждом шагу. Надо уметь видеть. Оно, место, было уготовлено заранее, ждало его, зайчика, обормота, и когда он явился в камеру, даже не назвав пароля (вид: застенчиво улыбающийся

малец, нашкодивший), узнан, и место ему презентовано, вручено торжественно, как орден (орден Подвязки — Георгий, за мужество), вручено единодушно всей камерой, а в пересыльной камере народищу тьма-тьмуца, Вавилонское столпотворение, свыше двухсот гавриков, невпроворот, добрая половина из них не имеет места на нарах, давно, терпеливо возлежат на полу, подстелив под себя пролежанный, фиговый (таких бы два надо, да где на всех наберешь?) матрац, еле-еле убираемся и на полу, ночью, по команде дружно переворачиваемся (раз, два! Порядок налажен и хорошо отлажен) на другой, еще не отлежанный бок, так-то: на полу спали да не упали! а если терпежу нет, по нужде поднялся, физиология гонит, с кем ни случилось, старуха ссыпалась с Сухаревской башни, летишь к демократической могучей либеральной параше, то вновь улечься на свое законное место уже не могло быть и речи, тщетны были бы усилия, безумны были бы потуги, просвистел, профукал, ложись у самого края, рядом с вонючей гигантской парашей, стащив матрац с общей кучи матрацев (их там немног^о), разбудив чертыхающегося, спящего на этой куче, незаконно спящего. Грязища. Не могу, не хочу. А куда тебе деться? И никто из двухсот человек нашей честной камеры не поперхнулся от удивления, не заволновался, когда какому-то мальцу выпала такая честь: въехал в камеру на белом коне в ослепительно белом жилете! А то! награжден высшим орденом, который мы, жалкие эки, могли ему вручить за беспримерную храбрость, всё это творилось при колоссальном громе «ура»: Илья Пророк по небу прокатился. Мы препроводили его и торжественно вручили почетное место. А что бы сказала бы его бедная мама? Обрадовалась ли триумфу мышонка? А несравненная Рита, что она сказала бы? А Кузьма, запевала, кормчий, и интеллектуальный шалман его приспешников, Шмаин, Красин, Александров и др., русские мальчишки, Коля Красоткин, Брамапутры и Рамакришны? Примечательно, что никто не бурчал себе под нос в угоду обостренного чувства справедливости, что ты, сопля зеленая, поди, сперва поваляйся на грязном каменном полу у параша, потом тебе будут верхние нары, они сплошняком, двигаясь постепенно, по мере того, как людей на этап тягают, и только потом, если сам раньше не угодишь на этап, спустишься на нижние нары, почетные, станешь фон-бароном, с какой это радости мы тебе уступим свою очередь? Красивый очень? И кому? Юноше бледному со взором горящим, сопле? Такого не было и не будет.

Как это здорово! Рахлин здесь неофициальный (полуофициальный) шишига-староста, и это он разнес славу о необычайно мужественном поведении Женьки на следствии; кроме Рахлина в этапной камере было немало и тех, кто сидел с подельниками

Женьки: они передавали из уст в уста и донесли до нас, многочисленного населения этапной камеры, громкую весть о беспредельной доблести малолетки-мальца. Получалось так, что Женька Васяев был в многолюдной камере единственным, кто не дался следователю, преисполненный мужества, смело бросил перчатку ГБ, своим телом закрыл амбразуру дота, Аника-воин, из материала, не поддающегося нажиму, схватился, задрал и приземлил Кононова, а когда Кононов, взбодритель и досадитель, любитель отнимать здоровье у подследственного, безобразник, вулкан, бешеная собака, неутомимый творец баталии, руки-то чешутся, чешутся, слишком разбушевался, раздухарился, осадил, и с губителем, аспидом, рычащем, рык на рыке, свирепствующим интеллектуалом, Змеем Горынычем, гроссмейстером и классиком своего дела Дороном, прокурором по спецделам, волк, сволочь из сволочей, вызывающе, агрессивно, в наступательных интонациях изъяснялся, колкости позволял себе, словом, не признал себя виновным; да, он, он — маменькин сынок, тепличное растение, самый младший в камере, еще нет двадцати, усики только что стали пробиваться, черненькие, противные такие, ни разу еще не брился, борода совсем не растет, сопляк, но о Шпенгаузере может запросто почесать язычок: умер на 72-м году жизни, мизантроп, «всякое небытие предпочтительнее всякого бытия», а нынче и о Бергсоне (хорошо проштудировал в Лефертовке, там библиотека зело богатая, всё есть, видать, комплектовалась подлым образом из конфискованных книг лишенцев, бывших, всей этой кадетской и околокадетской публики, но нет, как говорится, худа без добра: библиотека получилась прекрасная!), подвинутый очень, раннее развитие, оно и видно, из молодых да ранний, да, Женька Васяев не признал себя виновным и проклял их, гадов, систему, проклял напси славные карательные органы, ГЕ! Словоохотливый и редкостный добряк Рахлин захлебывался от восторга, гремел, что имя Васяева должно быть золотыми буквами занесено в анналы истории, что человечество должно помнить его подвиг доколе земля стоит. Женю все любят, по очереди перед сном чешут ему пятки, за честь считают, и он всех любит: прощает и целит любовью, как если бы был царем. Вокруг него ажиотаж. Рахлин влетел прямо-таки в штопор, не может выйти из восторженного приступа, возгордился, что сидел с нашим героем в одной камере, подкармливал изголодавшегося отощавшего мальчику (аппетит у Женьки был тройной, ужасный, уплетал за обе щеки); из кожи лезет, выхваляется, как когда-то, еще до ареста, любил выставляться и хвастать своими связями, бахвалился безудержно, что вхож в высшие сферы, на равной ноге с Черчиллем, де Голлем,

Уэльсом, Улановой (враль безбожный? Или?), получалось, что и наш герой так же славен, как Черчилль и великая Уланова. Прямо скажем, недурно.

И Борис Арбузов, из-под руки глядит (для пущей важности, видать), бросив «привет» и «наконец-то я тебя окончательно вспомнил, богатым будешь, страшно изменился ты, не узнать даже, лобастым стал», с пущей благоговейностью прорек:

— Здесь о тебе все уши прожужжали. Поди ж ты. Молодец, молодец.

Мы уже не в опостылевшей, ожопевшей, осточертевшей камере Лефортовской тюрьмы с ее сиротской лампочкой под потолком, мутными, густыми, гнетущими, давящими, вечными сумерками; мы в светлой просторной этапной камере Бутырок (в одной из этапных камер). Васшибанул, шлепнул обморочный резкий запах мочи, хлорки, кисло-зловонного человеческого пота и еще чего-то; очень вскоре вы привыкли к запахам, вообще их не воспринимаете, не различаете (славно человек устроен, просто рожден и создан для Бутырок!), огляделись, нашли знакомых, увидели, разглядели Женьку Васяева, студента химфака МГУ (увы, уже бывшего, химия, химия вся залупа синяя, едрит твою в перекись марганца, на далеком севере эскимосы бегали: ему не суждено окончить химфак), в неожиданной роли отменного героя; стяжал триумф, лавры, полюбил лавры, они оказались ему по вкусу и даже целебными для души, замученной самоедством и самоистязанием. Душа человека склонна к протеизму, божественный Платон насквозь видел петляющего, виляющего антропоида, твердо заявил: «всякий человек есть ложь». Обратим внимание на то, что еще вчера Женька Васяев числил себя трусливым, жалким ничтожеством, стремился очистить и не иметь память страха, память о том, как на следствии дрожали у него колени, а сегодня он уже герой, легенда, сказка. А почему бы и нет? Посетовал (слизняк, шваль!) и — будет, сердце скоропалительно созрело для измены и полной, радостной перемены, новится кровь, как рукой прочь все цыпки души, немного умер тот малец, у которого дрожали колени, а вместо него, как Феникс-птица, из пеплу возродилась и воскресла иная птица, молодой петушок и — захлопал, забил неистово и радостно молодыми крыльями, закукарекал во все горло, кукареку: новая жизнь, Данте, *puova vita*, будем жить дальше. Жить, жить! Только дурак-тупица не знает, что такое страх, а наш Женька — человек. Право слово, мы ценим себя не исходя из наших благороднейших нравственных качеств и ярких интеллектуальных способностей, а исключительно из того, насколько эти замечательные таланты замечены, признаны, востребованы, оценены на ярмарке тщеславия.

Короче говоря, Женька Васяев оказался героем, трижды Покрышкиным, образцом для подражания, упилился вином успеха; а на дворе у нас, напомним, тяжелая агония лета, август, год 1949-й, лихая година, душная погода, редкая ярость дневного светила для этого времени года, во все лопатки жарит, рассердилось напоследок, это лишнее: в камере субтропики. Наши-то бултых с головой в жизнь пересыльной камеры с ее приятной безбытностью и бытийностью, подлинностью, расцвел, душа оперилась, окрылилась, нарастила пернатость, выросли крылья для полета, мощные, залобуешься. Если ты герой, то тем паче должен быть прозорливцем и пророком. Наш пострел и здесь поспел, не отошел в тень, памятуя о страхах и приключениях своей душонки, бодро отговаривает Борю Арбузова от побега с этапа, втолковывает, талдычит, умно, толково толмачит, поспешает внушить безмозглomu несмышленищу, что не следует сходить со стези здравого смысла, уклоняться от правды жизни, сурового реализма, глупо и безрассудно давать стрекача да еще на романтический рывок, когда завтра, послезавтра, через неделю, скоро, скоро, через месяц — война (весна — на худой конец, но это крайний срок!), конвой шлепнут, глазом не моргнут, это их суровая работенка, не позавидуешь, за каждого из нас конвой головой отвечает, по списку сдают. Сумасшедший дом и чистойшей воды безумие рвать с этапа: завтра война, блицкриг, молния, грянет гром, если гром великий грянет над бандой псов и палачей, для нас все так же солнце станет сиять огнем своих лучей! День Гнева! Небу будет тошно. Тюрьмы сравняем с землей, Лубянку, Лефортовку и даже вечно живые, нерушимые Бутырки!

— Война, война, одни разговоры, где она? Куда провалилась, запропастилась? В помине нет. После дождичка в четверг? Улита едет, — на лице скалящаяся, заносчивая улыбка, огрызается с выплевкой, еретик, нервозен, капризничает, упрям, непослушничает, на дыбы встает, совсем одурел, прямо сбеситься можно, лягается, оскорбительно и бессмысленно на своем стоит, еще что-то сказать, возразить порывается, обуреваемый дикой, романтической, дерзкой, злой идеей побега, побега очертя голову и с этапа, «на рывок», дай Бог ноги («где-нибудь на вокзале, в людном месте, где народу много»). Сметенный, остервенелый, одичалый, мятежный дух, а щеки-то как горят, как пылают, заладил, как дразнилку, одно и то же, повторяет, зашкалило, заклинило, клянет почем зря Крымова, наставника по Лубянке, да, к этому времени Крымов растерял весь кредит доверия, собак на него навешивает, пеняет, уличает в обмане, в ложной мудрости, на строгий суд готов тащить и в сущности всё за то, что тот обещал

войну, скорое освобождение, фальшивый бриллиант, сулил манну небесную, мазила, свинья подколотная (наверно, Боря хотел сказать, *змея подколотная*), еще и пену пускал, не следует таким верить. Весна увистала, лето красное на исходе, а где земля обетованная, где обещанная война? Бегу! Рву! Двух смертей не бывать, а одной не миновать! Или пан, или пропал!

— Не пори горячку, — струнит ослушника и бузотера Женя, возится с ним, на мозги и совесть давит, старательно окучивает (трудный разговор). — Оставь эту музыку и выкинь из головы дурь, как можно скорее, закинь ее подальше, за мельницу — так любила говорить моя мама, ой! бедная моя мама, лучше не вспоминать! Лом проплыл, очнись, вникни, имей на плечах голову, пошевели мозгами. Ты, прости меня, глуп, как бабий пуп, словно из леса вышел, ничего не петришь. Мы живем в критической ситуации, пушки того гляди сами начнут стрелять. Опять свое, скучная, пустая отсебятина, рехнуться можно, опять-двадцать пять, за рыбу деньги, перестань притворяться, я же вижу, что притворяешься, комедия досадная, недостойная. Неслух, хоть тресни, ни в какую, на своем стоит. Стыдно слушать, в приличном обществе издаешь неприличный звук, позор да и только! Охота вздор молоть, будь взрослым! С войной дело вероломно застопорилось. Фигня какая-то. А жаль. Сроки? История это уравнение с десятью неизвестными, она всегда с каракулями и кляксами, и те, кто предсказывал войну на эту весну, весну желанную, оказались в глубокой жопе, губу прикусили, ощущают великое смущение: войны нет, факт. Нам подброшена историей подлянка, клякса, так бывает, но война должна быть, значит, будет. Я не добрый волшебник, не могу тебе ее преподнести на блюдечке с голубой каемочкой.

Грозди гнева. Тучи грозовые сгустились, рядом, низко, близко, при дверях. В чем упование североатлантического блока? Не мне тебе объяснять. Оставлю без комментариев. Очевидно и слепому, животрепещущее и впечатляющее становление, неспроста и символично: НАТО образовалось весной, не соврать бы, 4-е апреля! Глупо уподобляться страусу и прятать голову под крыло. Не отмахивайся от фактов обеими руками! Тут трезвый, здравый расчет. И здравый смысл. Несерьезный человек этот Боря, идет коромыслом, смешно сердится близорукая дурында, юный ленинец, критически мыслящий интеллигент, чердак с заметным изъяном и соломой набит, дурья головушка, резона лишился, мечтал о мировой революции, мы раздуем пожар мировой, хотел счастья, добра, справедливости всем людям, всему страждущему человечеству, построения коммунизма во всем мире, а у нас, мол,

термидор, перерождение, министерства вместо наркоматов, раздельное обучение в школах, гимназии, церковь, православие, патриарх, возьмите завещание Ленина, вам все будет ясно, трах, обезвредили по-быстрому, прижопили оголтелого ленинца, срок солидный вмазали (у Рахлина вообще рекордный, под завязку, а держится, не распускается), путаник, кутенок слепой, в душе Мамай прошел, опустошенность полная, распад личности, на стенку лезет и нет утешения, полное отсутствие исторической и политической трезвости, потерял связь с жизнью, а реальность, сама действительность рвется с силой в дверь, стучит всеми кулаками и чем ни попадя. Нетрудно угадать стержень своеумия Бори, вот уж чья душа не потемки, хоть и чужая, белые нитки заметно видны, прицелился всей душой на побег всё потому, что отчаянно, безумно охота жить, жажда жизни, кровь кипит, сил избыток, а срок изряден, навалом срока, огорошен, как обухом топора: в глазах отчаяние и тоска непролазная, зеленая, а порою черная, дерет, как теркой, юную душу, перебиты, поломаны крылья, адской болею душу свело, ему, Бореньке, плохо, приспичило, ой как приспичило, тянет, одолела молодца сосущая жажда жизни, ну и — искус-заскок, мозги вывихнулись, идефикс, нате! выкусите! бегу! Куда глаза глядят — бегу. Сохлась душа в одну безумную идею побега, идея-прилипала, заморожен, заколдован, детерминирован сосущей идеей, романтизм и нетерпение, жизнь — копейка, пан или пропал, с этапа рвать, пока еще не вкусил лагерной мутной, отвратной сивухи; вот тут и густопсовый Лермонтов вам понадобится, я жизнь, как Лермонтова дрожь, как губы в вермут окунал, а он, мятежный, ищет бури, и оголтелый, чахоточный Надсон уместен, я жить хочу, любить, и пусть любовь обман, пожалеть-то Борю некому, мамочка-мама далеко, отсюда не видно и не слышно, хочется несчастненькому, чтобы ему непрерывно твердили, внушали, что весь срок он сидеть не будет, чтобы убаюкивали, не принимай близко к сердцу, сдваивали, что завтра — война, последнее время, времена созвучны и созрели, хором и со всех сторон долдонили, что несметно-невыносимый червонец это так, тьфу, на нашей улице будет великий светлый праздник, праздник праздников, хлестанет неистовая распрекрасная бомба: «Трах-тах-тах!» (Если бы с нами в этапной камере сидел прозорливый Блок, поэт в России, как известно, с этим никто не спорит, больше, чем поэт, то он наверняка приветствовал бы американскую бомбу, читайте, учите наизусть «Двенадцать»: как Блок расстрахался и приветствовал всё подобное, бандитизм, разборки, большевистское апокалипсическое безобразие.) Учи английский, очень пригодится. И наш желторотый, подвинутый, уверовавший

в себя кудесник, любимец богов, превзошел самого себя, нашло на него, наехало, как в сеансе гипноза, властно (но лишь про себя, тайно!) произнес: «идея (*побега*), пшла вон, как с гуся вода!» без обиняков, властно, императивно и от имени чего-то высшего, основательного метко пульнул нужное, магическое слово и попал в самое сердце, задел важную чувствительную струну, вбил истину, сокрушил, своротил, образумил Фому Неверующего, вернул в реальность (еще благодарить, дурень, будет!); и Боря поднял кверху лапки, не прекословит, отсек свою волю, утихомирился, белый мышь упал с крыш, излечился, давно пора, от одичалости и язвы душевной: умственное просветление. И — просиял, словно лампочка внутри где-то ярко зажглась, иллюминация; на душе у Бори полегло, заулыбался, заулыбался, почему-то сразу стал чесаться, на нервной почве, поди, завыл от счастья. Слово, живое, как сама жизнь, хватающее за сердце, как сама истина, разорвавшее посредством неповторимой, музыкально-точной интонации плывущую диффузными амбивалентностями, мутную, непроницаемую оболочку, слово, простое, устное, вырвавшееся из темницы и ныне трепещущее первозданной глубиной смысла, — врачует, горы сдвигает. Придите ко мне страждущие и обремененные, и я успокою вас.

Нашего новоявленного апостола не один Боря напряженно слушает, а поголовно вся камера, все внимают бледнолицему мальчику, и их внимание вдохновляет Женьку, речист, речист, речь льется сама собою, как речка (темна бездна ораторской гениальности, ой темна):

— Знайте и запомните раз и навсегда, главный враг человечества не справа, а слева! Человечество этой простой и очевидной истины никак не усвоит. Запад — глуп, слеп, розовый, полон симпатий к большевизму. Там Ромен Ролланы, Фейхтвангеры, либеральные ослы и кретины, одиозные и всяческие Жолио-Кюри, имя им легион и маленькая тележка. Человечество разболелось левизной, чума, хуже всякой чумы, опасней, страшная идеологическая эпидемия, паранойя. Влась разминает язык, наговорился досыта и полностью выговорился во чреве многолюдной бутырской камеры, всё вещал, а вещал потому, что имел в душе алтарь царя света, Марса, бога войны и непобедимого Гитлера, месяца марта, месяца равноденствия, первого месяца весны священной, Пасхи великой, а весна, как известно всем и каждому в отдельности, являет собою образ, символ и знамение Воскресения мертвых, силы, изгоняющей вечную страшную зиму, ломающей лед; Марс, бог войны, отец Ромула, хранителя небесного Рима, закован в медные латы, в руках священное копьё,

орнаментирован двенадцатью щитами. Это не всё, как вам еще такое понравится, наш желторотый, чуть оперившийся прыткач разошелся, свободно, находчиво, холера ему в бок, без зазрения совести, дерзко и зверски ошеломляюще интерпретирует Евангелие (куда метнул! хорош гусь! пора бы охладить пыл и прыть, заземлить, высоко паришь, где сядешь, на ус мотайте, творчество из ничего в полном смысле этого слова: Евангелия он в руках не держал и не нюхал, спасительно-легкомысленное бескультурье, свист и истинный ученик и приверженец гения Кузьмы! а истинное творчество всегда из ничего, *ex nihilo* (2 Мак. 7, 28: «...всё сотворил Бог из ничего...»)), этим оно разнится от того, что Платон связывает с воспоминаниями, не виноват же Женька в кромешном невежестве, так нас хорошо учили, знаем о Евангелии понаслышке, такая книга есть, честно и первый раз прочитает наш герой вечную книгу в лагере), так вот он уверен, что только и только у Матфея достоверно изложено великое учение и оно сводится к одной объемной, но жесткой формулировке (откуда это у Женьки? может, влияние Рапопорта? нет! что-то новое, какой-то голос ему нашептывает, подсказывает, внушает), к одному ориентиру: «не мир... но меч», а голос горячо шепчет, *Евангелие от Матфея, глава десятая, стих тридцать четвертый*, а Женька, не мудрствуя лукаво, повторяет за голосом, сам поражаясь своей осведомленности и прямо-таки неизвестно откуда взявшейся безумной и неожиданной эрудиции, во фокус, не читал, а знает, наизусть шпарит, оттубучивает. Чудеса. Не мир, но меч, как это славно сказано. Жгучее предчувствие войны. Труба зовет. Вперед, только вперед! На бой кровавый.

Сказано: «*Ты открыл младенцам*».

По общему и широко распространенному мнению, которого придерживались все старые лагерники, повторники, в этапной камере нет стукачей, считается, что за всю историю советской власти не возникло ни одного дела на основании сомнительных разговорчиков в этапной камере, а угодишь в лагерь — набери в рот воды, плотно и на замок закрой пасть, замолкни, молчи, молчи и молчи. Это и есть седьмое условие построения социализма в одной стране, а также главное условие (необходимое, но далеко не достаточное: ничто не страхует от нового срока), что ты когда-нибудь выйдешь из-за колючей проволоки. Вот так! Стукачей в камере нет, однако никто вслух особенно (научены горьким опытом) не распространялся, никто не решался так распускать ядовитый, гадкий язык, резать правду-матку, непрерывно лязгать вымахающим в Лефортовской тюрьме, вдруг и сразу, диалектика, переход количества в качество, прославленный

скачок в скачке, зубом мудрости, как наш любимый герой, парнишка девятнадцатилетний, заземленный девственник, испытывающий панический ужас перед женщиной, уязвленный похотью, не только не целовавший ни одной девушки, но и под ручку с ними, красотками, не гулявший, таков наш Женька Васяев, осторожнее, осторожнее, не высывайся, подстрахуйся, язык тебе отрезать. Куда там, блямкает, а вся камера развесила уши, слушает, может кто-то и топориком уши держит, а он всё ля-ля-ля, организует и воодушевляет нас ведь только мускулистая энергия живого, искреннего слова, внимает камера, как внимала Христу Мария, сестра Лазаря, в Вифании то было, Мария и Марфа, Марфа богатое угощение готовила, воскрешение Лазаря, перед Голгофой. (— В воскрешение Лазаря веруете? — Верую. — Так прямо и веруете? — Так прямо и верую.) Избалован Женька вниманием, избаловала его наша светлая камера.

Мужчины без женщин, отсутствие мутного быта и разнообразных там забот, жизнь безоблачна и небогата внешними событиями, ну кто-то новенький поступит, ну кого-то на этап дернут, в простоте есть что-то хорошее, ясное, подлинное, честное, философская обстановка, неврастенику Гоголю очень бы здесь полюбилося (не зря сказано: и враги человеку домашние его), весь день-деньской ля-ля-ля, языки гонко, славно мозолим. Живем просто, как птицы небесные, не жнем, не сеем. У нашего-то всё в порядке, дух бодр, шапка по Сеньке, впору, понравилась и очень. Женька языком щелкает, соловья дает, во всю запузывает, самоотверженно, ярко, бурно солирует, пар из ноздрей, огонь; экстаз (а чем не экстаз? ей-богу, экстаз): «И внял я неба содроганье, /И горний ангелов полет, /И гад морских подводный ход, /И дольней лозы прозябанье», почти гениален, лепит напропалую и от фонаря, очень искренен (абсолютная искренность и есть гениальность), нужные слова сами и легко, как дельфины, выбрасываются на активную поверхность сознания, кто-то незримый рядом с тобой, *шепчет на ухо* (ясно, отчетливо, ой-ля-ля! — в этом месте обязательно сказал бы Кузьма, как же это здорово, прекрасно! впервой в жизни у него такое!) и могущественным, царским жезлом *отбивает ритм*; сморозил наш Женька нечто очень даже дикое; откуда взялось? сам не знает, не понимает, сморозил, сказанул открытым текстом (это же ни в какие ворота, ей-ей! вообразите, представите, уши вянут): о *кознях сатаны*, несет нечто несусветное (от Крымова что ли набрался, с кем поведешься, от того, говорят, и наберешься, на Лубянке что-то такое, ну близкое, ну, подобное слышал, ветром и случаем заброшено семя, затем период подспудного, имманентного, эмбрио-

нального вызревания, вынашивание, глянь, уже расцвела идея, уже твоя она, нутряная; Крымов, Крымов, больше неоткуда взяться), пророчествует и дальше о силах зла, овладевших Россией, о том, что злой демон в конечном счете будет связан таинственной силой неисповедимого и временно забвенного Креста! Ой, откуда это у меня? Опять подсказка, ясная подсказка, кто-то диктует, говорит за него, а он легко, свободно нанизывает услышанные слова на магическую спираль, ловко орудует духовным мечом, глаголом жжет сердца людей:

— Мои возражения Марксу просты. Я не принимаю этики Маркса, именно этики. Не хочу оправдывать страшные преступления настоящего будущей гармонией и раем, которые должны когда-то наступить. Прогресс, коммунизм — слова-то какие противные, чужие, гадкие, нечестивые, чужие, не русские, вздорнопохабные, пошло-топорные, неодушевленные, деревянные. Они специально умышлены, чтобы поработить и изуродовать душу, стереть совесть, оправдать позор и клоаку настоящего разговорами о грядущем, светлом рае, о справедливом, счастливом, светлом, будущем. Это плевелы, сорняки, выросшие на ниве истины и заглушающие истину. Они в принципе аморальны, растленны. Я, как гнойный Иов, как Иван Карамазов, мой любимый герой, не приму зла, спрошу за зло ответ: если репрессии коммунистов необходимы для сытой жизни будущих поколений, для их сытого, поганого рая, я против их рая, механического, бездушного. Не хлебом единым, а всяким глаголом, идущим из уст Господа. Я душевно абсолютно здоров. Эта сволочь мозги мне не засрала. Я, как мой любимый литературный герой Иван Карамазов, отдаю билет в рай. Не еду! Баста!

Ответ на слово Женьки — бурная, сильная, восторженная реакция камеры. Хор, хоровое начало. А кто-то тихо, не для его ушей, где-то за спиной, пропел оду Державина, у Жени слух отличный, услышал, а такое услышать приятно, ой как приятно, хлебом не корми: «— Россию можно поздравить с гениальным человеком».

— Подлый, лицемерный, коварный, злобный режим, злобный и преступный, — пускает хлесткий фейерверк сей зеленый (молоко на губах еще не обсохло), безусый авторитет, Божий ратник, златоуст, прямо-таки папа ех katedra, такое завернул, загнул, шпарит, так и шпарит во все лопатки и на удивление (и — восхищение! и восторг!), да это же почти великая мысль, у слабонервных волосы встают дыбом, непорядок, отрасли за время следствия, ничего: в лагере всех обреют. — Нам нагло долдонят, что мы уже счастливы, что уже воплощена в жизнь вековая мечта челове-

ства. Мы в раю. В коммунистическом раю. В царстве справедливости и разума. А кто косо улыбнется — лагерь. Геннадий Моисеевич, держите меня, а то я могу сказать, что у «лапочки Адика» и австрийский шарм, и народ был накормлен. Гитлер — власть бьющая, но народу кое-что дающая. А эта рябая морда, *товарищ Шкирятов, у меня стоит*, на одной ноге шесть пальцев, Бог шельму метит. Сатана! Власть только бьющая и ничего не дающая. Очень умна частушка и нравоучительна. Глас народа — глас Божий! «Ленин умирал, / Сталина наказывал, / Хлеба вволю не давай, / Сала не показывай». «О соколах этих все люди узнали, / Один сокол Ленин, другой сокол Сталин». Впрочем, «лапочка Адик» и Сталин: два сапога — пара, правый, левый, оба левых, жмут, на одну ногу.

Счастливое времечко, беззаботное! Он, наш Женька, центр общего притяжения, новое, молодое солнце, но уже яркое, истинное, уже 1-й величины, уже Солнце солнц.

Никогда уж наш герой не будет в таком фаворе, никогда не будет чувствовать себя таким гениальным, как в Бутырках. И о маме забыл. Да что ему мать, чай, не маленький. Бедная мама, у нее сердце кровью обольется, когда она узнает, что ее махонькому кутенку щедро ахнули восемь лет ИТЛ (за что? рехнуться можно!) и всплеснет ритуально руками, заголосит, начнет стенать, в слезах и истерике найдет облегчение, сердце слезами выболит, а тоскливые морщины никогда уже не расправятся. Слезы бедных матерей! Узы, наплачется жена и друга лучший друг забудет, но в мире есть одна душа, она до гроба помнить будет. Да что ему мать? И зачем? Подумаешь, мать. Не маленький (откроем секрет, и это было, было, тютелька в тютельку: — Мамаша, у тебя инфаркт-мискард, неровен час, пришла б к пальто пуговицы!). В Бутырках так хорошо, славно, здесь Женька причастился истинному счастью, познал почет, успех, какой и не снился! Не только о матери не вспоминает наш герой, даже образ Риты, чудесной девушки, упорно сублимирующийся из глубинных недр подсознания, априорный образ женской красоты с трагической целеустремленностью и в духе Плотина накладывающийся на реальные женские лица, затуманился, потускнел, поблек и напрочь улетучился из души и активного сознания. Вот что значит успех, не тоскует больше о кареглазой, первой, безумной любви, вечном и абсолютном, платоновском архетипе, Еве, пра-пра-матери их рода, рода Васяевых.

Чудное мгновение, остановись! Остановись! Да будет одно вечное настоящее, когда нет времени. Гёте, Фауст! И у нашего Пушкина есть простые, пронзительные, хватающие за сердце

строчки: «Я помню чудное мгновенье,/Передо мной явилась ты,/ Как мимолетное виденье:/Как гений чистой красоты», и нашему Женьке есть что вспомнить, в его жизни было «чудное мгновенье», когда жизнь превратилась в одну сплошную сказку! Выше поднимай! Что в миллион раз прекраснее сказки? Это — Бутырки! Мир хорош! Ну — Бутырки и — успех! Все ночи полные огня! Вне субъективного восприятия Бутырок не существует, у каждого зэка свой светлый, неповторимый, незабываемый образ Бутырок. Недолгое счастье, и он, Женька Васяев, как Данко, романтический герой раннего Горького, вырвал горящее сердце из груди, поднял, как факел, высоко над собою, ему верили! за ним шли! Видение сверкнуло ослепительно, как молния (кондуктор, нажми на тормоза!), и — наутек, осталось лишь развести руками: скрылось за поворотом, вперед, только вперед, в одном направлении, от прошлого к будущему, проскальзывая по поверхности и на легком катере, все к едрене матери, минуя настоящее, его нет и не было, остались лишь тусклые, хилые воспоминания и сладкие грезы, мир сладких грез, а сам наш Иван-Царевич выброшен, получил под зад коленом хорошего пенделя, вытолкнут взащей из сладко-медового бытия Бутырок в ревущую сумбурами, бурлящую реку Истории с ее симптоматичной и каверзной мутью и гнусью, враз липился в нашем Каргопольяге чудного, чудесного, таинственного дара слышать голос, ясно суфлирующий нужные, великие слова, слова-подсказки. Гениальность испарилась, грубо покинула его, как если бы ее и не было: дух веет, витает, порхает, где заблагорассудится, а абсолютный дух, о котором так выразительно и многословно поведал Гегель, непостоянен в своих привязанностях, жутко, как женщина, капризен, феноменологизируется очень даже своенравно, хитро, замысловато раскрывает истину, покидает, оставляет в беде не одних гонористых Наполеонов (Гёте видел в Наполеоне воплощение абсолютного духа) или там Гоголей (в 33 года Гоголем уже написаны «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород», «Ревизор», «Нос», «Невский проспект», «Шинель», завершён 1-й том гениальных «Мертвых душ», а дальше гений ему изменяет, следуют десять странных, страшных, нетворческих лет и — всё, смерть в 42 года), но целые страны и народы. Был, был наш Женька не по летам гениальным, из песни слова не выбросишь, не возражайте, не препирайтесь попусту; и чувствовал себя таковым, всех умнее, ярче, вдохновение, блистал умом, ни дать, ни взять Ницше периода экстатического писания трескучих афоризмов Заратустры («Молнии моей мудрости!»); великое рождает только безумие, дурдом, всеми фибрами взволнованной души и то и дело ощущал наш обожаемый Иван-

Царевич близость и приближение Бога, он избранник, посланник, ведь не сам он, Женька Васяев, бывший студент химфака МГУ, маменькин сынок, а Бог, абсолютный и бесконечный, говорит его младенческими устами, и этот геоцентризм наполнял его до краев радостью и одновременно гнетущей мнительностью: нормален ли я? Ведь мистическая одаренность чревата, очень чревата: простые люди живут тихо, вне пророческого безумия, никаких там голосов не слышат, крепко спят, едят с аппетитом, а тут вам налицо классическая психозфрения, демонические искушения и соблазны, «И он к устам моим приник,/И вырвал грешный мой язык,/И празднословный, и лукавый,/И жало мудрыя змеи/В уста замершие мои/Вложил десницею кровавой», ясно выражены симптомы шизоидно-медиумического сверкопыта, случай простой, описан в учебнике для студентов-медиков второго курса, тривиальщина, мы не открываем ничего нового. Крепко приложил Женьку лагерь, поплыл, в ОП угодил, даже смертушка ему являлась — женщина в белом, а гениальность кончилась, пшик остался, клапан закрылся, иссякла пророческая воля. Честно засвидетельствуем, что Женька, наш герой, не больно переживал и грустил, когда перестал слышать самоуверенный нашептывающий голос. Лагерь, сарказмы судьбы, не до жиру, быть бы живу, да и зачем ему такая блажь? Простые, нормальные люди не слышат голосов, все мы жаждем быть и слыть нормальными, и наш герой, по примеру пророка Ионы, даже радехонек был дезертировать, улизнуть, избавиться от опасного, грозного и шизоидно-фатально-сомнительного дара (морского мифического гада, в чреве которого пророк Иона провел три дня и три ночи, никто в лагере не посылал за Женькой: недостойн?). А ему к чему такое? Хочу быть, как все! Ни с кем, кто ему жадно внимал в Бутырках, он больше не встретился, никто не подтвердит, каким он был необыкновенным и замечательным. Да, темный, жуть как мудреный старик Гегель, видимо, прав, история и культура формуются под диктовку и диктат абсолютного духа, не говоря о том, что поэты слышат Муз (разумеется, настоящие поэты, а не лагерные неприглядные, убогие графоманы и рифмошлеты, в стихах которых поэзия даже не ночевала, впрочем, и в лагере были большие, настоящие поэты, поэты ранга Вийона, например скоморох Васька Колобок), Веня Ерофеев изредка, но явственно слышал голос своего Ангела Хранителя (читайте «Москва — Петушки»), Сократ чутким ухом то и дело слышал указующий, дидактический голос предписывавшего демона (об этом у Платона), мусульмане знают и твердо, что Джибрил (аналог архангелу Гавриилу, в Коране его называют также «святым духом») продиктовал Мухаммеду Коран.

Счастливого времечко пролетело невидимкой, от него не осталось примет, ничего не осталось, и славного Женьки Васяева нет давно в живых, в Каргопольлаге, где его в конце концов и порешили, завершил свое земное поприще, прожит очередью автомата, да, вологодский конвой шутить не любит, навстречу нещадно шпыняющей судьбе, роковой Каргопольлаг, лесоповал, сосна, ель, я его, начальник, не сажал, я его и пилить не буду, ебистос первого года, крепкий ебистос, пришибленность, потерянность, Женька оказался очень привлекательным для битья, и от души прикладывали, увлеченно, крепко, *«бей в глаз, делай клоуна»*, дальше следует, это уж неприметно, тонкое замечание о глазе, без которого, считается, жить можно, а вот без чего-то, тоже орган, жить нельзя. Лесозавод, доски еловые, пятидесятка, сортплощадка, визг цепей, и это десять часов подряд, поток, электростанция, уже легче, песочные часы, струйка песка, телесный, пронзительный, убедительный образ времени, неумолимо, страшно смотреть, видим бег времени, его спокойную неумолимость, загадка и хохма (— Слышали, Эйнштейн едет в Токио?), самая большая загадка, мучившая всех великих людей от Августина до Канта и Бергсона. Так проходит земная слава, вздыхал Марк Аврелий, император, исчерпавший до дна эту самую земную славу, стойк, о земной славе он хорошо, честно писал, череда лет, ко всему привыкают люди.

ВОТ, БРАТЦЫ МОИ, К ЧЕМУ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ ПОТЕРЯ ДЕВСТВЕННОСТИ

Всё бы было ничего, спокойно жили, не тужили, хавали культуру, фильмы, хавали параша, к освобождению дело само стремительно катилось, у нас, в Каргопольлаге, ввели божественные зачеты, разверзлась гуманная рука ГУЛАГа, не много Женьке оставалось, раз плюнуть, такое и на параше можно просидеть, его счастливые поделеньки, как свежие, румяные редиски, выскочили из лагеря, несравненный по интуитивной мощи Кузьма и его ученики, когорта, косяк юных гениев (увы, время бежит, уже не таких юных; чудная компашка! и дружба эта, будьте уверены, никогда не окислится и не оскопится), Шмаин, Красин, Александров, Федоров, Карелин, Калина, если бы не события, швырнувшее наш богохранимый комендантский ОЛП на край пропасти и ада, всё само и спонтанно шло (тверже шаг!) на бурю: шумок, бунт! может, и бунта бы не было, если бы артистка, ярчайшая звезда культбригады, большой и разносторонний та-

лант, колоратурное сопрано, голосок, может быть, и не сильный и не ахти какой вокалистый, оперный, но до жути искренний, обнаженный, женственный, слишком женственный, за сердце хватает несчастного ээка, и не только за сердце, откровенные, непереносимые трели, мучит, пленяет, раззадоривает, ой, искушение, жгучее желание! с ума можно запросто сойти, стонет обезумевший зрительный зал, то бишь наша столовая, она переполнена под завязку, яблоку негде упасть, триумфально выступает с концертом культбригада, нет, это не та реакция зрительного зала, которая может удовлетворить театралов высокого вкуса и высокого полета, например А.К. Гладкова, нет отстранения, одно откровенное, обнаженное, горячее обожание молодой актрисы, нет условности, изопренно-условного психологизма и прочей мейерхольдовщины, преодолевших символизм; не играйте в бисер перед свиньями, а Мейерхольд считал, если верить тому же Гладкову, что театру нужна молодая актриса, театр держится на актрисе, однако то, что творилось у нас с публикой, умного зрителя среди нас нет, а если и есть, то и он захвачен, сбит с панталыку общей атмосферой, это уж слишком и чересчур, нечто откровенное, безусловное, безумное, начисто игнорируется авангардистская переусложненность спектакля, вся эта высшая эстетическая математика, недоступная простому человеку, в духовную сферу ничто не возгоняется, нет сублимации, а одни поллюции! Вера! Вера! оскорбленная, зардевшаяся, гордая невинность, она прекрасна, девственница со справкой (ничуть не утрируем: медицинский факт, заверенный гербовой печатью, а гербовая печать на справке да в суровых условиях лагеря, ты начальничек, носикчайничек, это что-то значит, ей-ей!), славимая и прославляемая девственница, Вера Карташева, столичная штучка, сверхмодница, как куколка одетая, упругие шелка, красючка, век свободки не видать, и умереть, как трутню, выполнявшему свое единственное и высокое предназначение; Шредингер высказывает предположение, что трутень представляет собою не что иное, как ох.ительно гигантский сперматозоид, сперматозоид-динозавр, сперматозоид-гипербола, все другие сперматозоиды под микроскопом едва видны, а этот вымахал, сволочь такая, орясина невозможная и сверхъестественная, урод, но все сперматозоиды имеют одну и ту же инженерную конструкцию, выполняют ту же важную, таинственную функцию (функции в художественном произведении соответствует содержание, замысел, идея, порыв, и тут крылья души сами собою становятся телесным крыльями, Ламарк, Бергсон, материальное воплощение, лик-облик, конструкция, орган, слово, краски, звук, все то, что в общем-то соответствует форме,

материальному воплощению, функция, по Ламарку, рождает орган), но помельче, поплюгавее, эдакие мелкие живчики, непристойно и активно туда-сюда виляющие хвостиками, двуединство: и бешеная воля к жизни, и воля к самоуничтожению через жертву, пышная, цветущая, чарующая, желанная грудь, нежная нежность, совершенство формы, вызывающая восторг и восхищение, засмотришься, ощутишь все свое несовершенство перед абсолютом, очень даже интересно кой-куда добросовестно руку запустить, словом, духи и туманы, и пусть твердят со всех сторон, что «миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы» (Притч. 31, 30), пусть, пусть: согласны, куда нам, бедным, деться, некуда, загнаны в тупик. И всё же: красота, абсолют это сила да еще какая! Так и лезет, так само и напрашивается умозаключение: если бы Верка не влюбилась в кого-то там, в неведомого нам Киселева (кто этот счастливец? мы этого, если говорить совсем откровенно, не знаем и знать не хотим), а продолжала блести девичью честь и высоко нести прекрасное, гордое, всем нам так необходимое знамя девственности, если бы она не пала в лихорадочном экспромте, подхлестываемая и вконец охваченная паутиной страсти в холодные, жесткие, нештучные объятия писаного красавчика, дошлого, цепкого, настойчивого сладострастника, оскал мужского рта, судорога, конвульсии, какая там судорога, сплошное притворство и симуляция безумной страсти, и она, холодная, как Северный полюс, но детски неопытная гордячка, теряет вдруг голову, теряет неожиданно для себя, а вместе с головой и прекрасное сокровище, заверенное справкой с гербовой печатью (злые языки упорно трепали сплетню, мол, Киселев, изобретательный в непотребствах, запустил под юбку Троянского коня, обойдя умными, окольными путями неприступную линию Маннергейма, Гитлер обошел линию Мажино, донял святую приснодеву, пронзил душу и не только душу, снял пенку, испортил девочку, растлил, сделал стельной, пала нерушимая крепость, Троя (по Борхесу, падение крепости это один из четырех основных сюжетов мировой литературы, остальные три сюжета мы запомнили), и всё это совершилось без насилия, добровольно и радостно, насилие и невозможно было, так как девичье хозяйство Веры было надежно защищено мистикой и магией от оголтелых, агрессивных павианов, и она, холодная кукла, красочка по-лагерному, хорошенькая мордашка, чудные, ослепительные ножки, век свободки не видать, стала жертвой голой страсти, *бешеного демона*, сказал бы Софокл). Оставим пустой разговор о трагедии демонической одержимости, посмотрим на вещи проще: то, что случилось с

Веркой, вообще-то дело житейское, сами ученые, не пальцем деланы, слышали, повторять не устаем, не беда, мол: не из мыла, не измылится! или, вовсе тривиально, как сама жизнь: — Не твое, мамаша, дело, не твоя п...а терпела! такое видим на каждом шагу, сплошь и рядом, а всё же невольно вырывается стон: как же это получается? *как же она, Вера, птица-сирин, приснодева, могла?* («Зачем арапа своего/Младая любит Дездемона,/Как месяц любит ночи мглу?/ Затем, что ветру и орлу/И сердцу девы нет закона».)

Лиха беда начало! Слабой и печальной душой покорила наша Вера своему жребию и, как это случается у женщин частенько, стала находить у своего любовника всё новые и новые достоинства, а эти достоинства никто, кроме нее, голубки, не замечал. Да разве можно такое перенести и вынести, выдержать? Стали мы друг друга поедом есть, глупейшие и страшные ссоры в бараке. Натворила неприступная Верка делов, ой, натворила! заварила кашу! Это же не только утрата справки, а прямо-таки онтологическая, космическая катастрофа, начало конца, конец благополучной истории благополучнейшего из ОЛПов, жаркие безумные вздохи, рвем на голове волосы (иносказание, даже гиперболы: волос на наших головах, разумеется, нет, обкорнали, всё правильно, режим и резон, запросто завшивить зэк может, не положено носить волосы, значит не положено!), настали тут дни печальные, нам, зэкам нужен идеал, девственница со справкой, краля невозможная. Такая девка, а не нашему девственнику досталась! Судьба-индейка, лады, ляпы, ужимки, превратности, античный черный ужас пред мощью судьбы (Мойры, Парки), темен, глух, непонятен замысел жизни нашего героя, а ведь должен быть замысел каждой души, как у Гёте в Фаусте: пролог на небесах (— Фауста читали? — Невнимательно. — Значит не читали. Советую прочесть.) с продуманной компоновкой, включая телесно-материально-ситуационное воплощение фабулы, когда случайность и цель как бы оказались повязаны неразрывным, крутым единством, до конца сохраняют незамутненную чистоту и блистательную ясность стиля («перечти Женитьбу Фигаро»); пережесты, превратности, неразбериха, мистика мутного случая, лагерь это жизнь в катастрофе, блатные, заварушка, окаянный бунт, черные десять дней, воля случая, глупого, слепого, стечение обстоятельств, пиф-паф, Россия, кровью умытая, душераздирающее зрелище, истощный, утробный стон, Боже мой, умирает зайчик мой, кранты, зияющее небытие, поминай, как звали, а звали Женькой, бирка к ноге, а то на пятке чернильным карандашом, ядовит, вырви глаз, написали номер, голову ломиком корректно тюкнули, проломали, это надо, никуда не денешься,

это для верности и чтобы другим неповадно было, так-то, не притворяйся, сучара хитрожолая, мил человек, творчество, мимикрия, притворство, анабиоз он себе, сучий потрох, замастырил, муха за оконной рамой, лапки кверху, симуляция, знаем мы вас, а так-то вернее, дудки, эта мулька у вас не пройдет в нашем славном и прославленном Каргопольлаге, так-то надежнее и по инструкции, куколка, вроде труп, глянть и — бабочка, улетела, весело беззаботно порхает, свободой дышит, жизнью, падла, наслаждается, а то ты, как граф Монте-Кристо, утечешь, а нам отвечай, всё учтено, всё здесь предусмотрено; так, черная страшная стрела времени преломлена о колено, нет больше субъективного времени, испарилось или там ушло в песок, отчалил и поплыл счастливо в вечность ногами вперед, оставив начальнику, гражданину лейтенанту Кошелеву, полтора месяца, друзья поминули, со святыми упокой, тянет вниз с властной, неодолимой силой, у всего живого один конец, сыра-земля, все в нее ляжем, смерть универсальна, царит и царствует повсюду, развенчивая самонадеянный космос. Пламенное, черное, сверкающее, слепящее, актуализированное небытие!

ВИТЬКА ШЕГЛОВ и САША, год 1949

Я верую, что читатель отлично представляет законы инерции, законы косности и потому сумеет вообразить, как удивленно я пялил удивленные глаза, каково было мое душевное смущение, растерянность, кольхание, когда я услышал из уст моего замечательного друга, смелого, бескомпромиссного апостола марксизма, неожиданные, еретические, разительные, посягающие на святая святых, ни в какие разумные ворота не лезущие, жутковатые речи (во всем этом мне виделось и чудилось нездоровое и глубокое самоотрицание, соседствующее с безумством, и такое самоотрицание нелегко дается сильным натурам, таким, как мой друг Саша Краснов). Всё так неоднозначно, запутано. А легкомысленные и фривольные соображения Женьки Васяева, сводящиеся по сути к тому, что наш общий друг выкарабкавался из плена-затвора, то бишь сухоумного ослепления интеллектуальными утопиями, постепенно, исподволь, что иное мировоззрение возникло подспудно, долго не давало о себе знать, проросло под влиянием *нежных чувств* к женщине, которая друга Сашу умело развивала и развила, я чохом и с порога отвергаю, отметаю, как дичайшее заблуждение и сущую дичь, отмахиваюсь, как от дремучей нелепости и пустой назойливой мухи: эти измышления и умствования ужасно характерны для Женьки, тут влияние Бергсона, настой из Бергсона,

бульон, знаем, знаем, *творческий порыв*, вспышки Перуновых молний интуиции, их всепронизывающее и всеохватывающее самодержавие, озарения, всё вверх, всё выше и выше, дымящаяся и всё разносящая вдребезги витальность; Женька приятно болтлив и любит почесать язык о такие и другие премудрости. Бред собачий, уши вянут: Краснов — мощный интеллектуал, рыцарь сильной идеи, и не этой смазливой тихоне, не в обиду ей такое будет сказано, а впрочем, пусть обижается, я еще не такое о ней собираюсь сказать, открывать глаза Краснову на жизнь, на лагерную и вселенскую истину, а что касается романтической увлеченности прекрасной полькой, участницей Варшавского восстания, это имело место, какой разговор, кто спорит, никто. Кризис мировоззрения, притом острейший, никак не связан с Иреней, и пусть Васяев, сорока Якова, шарманит одно про всякого, не придумывает умненькие теории в духе заспиртованных, непросветленных идей Бергсона, помешан на Бергсоне, может, в философии он и смыслит, но не в психопатологии. Нет и нет. Я-то знаю, нескладушки, неладушки, толстым ... по макушке. Всё случилось (осторожно оговоримся: почти всё) на моих глазах. Если бы речь шла не о Краснове, а обо мне, грешном, тогда другой коленкор. Охотно и откровенно, без всякого стыда сознаюсь, что даже не заметил, как, когда и почему в моем сознании мощный, витальный образ Сталина померк, распался, перестал быть иконой, святыней, трансформировался в банального Бармалея. У меня вообще никакого мировоззрения или там взглядов нет. Так, винегрет, крошка, коллаж, плюрализм, что-то болтается в урыльнике, цветок в проруби, а что именно — сам не пойму и не желаю понимать. Никакой внезапности, никаких диалектических скачков в скачке, начинка меняется, а почему, как — пустое, не сфера моих интересов да и только. Читатель, чай, хорошо помнит, как я удачно вывалился из воронка с рюкзаком в руках — всё, Бобик сдох, второе рождение, не второе, поди, четвертое или там десятое: перед вами не прежний Витька Щеглов, а уже другой человек, новый, новое небо снизошло в мою душу. Все эти перемены, вся эта радостная новорожденность относится больше к сфере чувств, мироощущения, чем разума, мировоззрения. Да, к этому времени я избег, целиком и полностью изжил, преодолел в себе жалкого Гамлета и его мутные комплексы, выбрал себе иную, веселую душу, а с нею и иную, спокойную участь, удобную для лагеря. Есть поверье, на него ссылается Платон, что Одиссей, помня о своих злоключениях и мытарствах, о бесчисленных Сциллах и Харибдах, подбирая по вкусу душу для вторичного рождения, размечтался, возжелал скромное прозябание, предпочел выбрать

душонку самого обыкновенного, заурядного, простого, ничем не замечательного человека. Эту версию Платона удачно развивает и муссирует Джойс в «Улиссе». Его Блом, как считают многие сведущие литературоведы, как раз тот человек, кем, по Платону, стал Одиссей при новом рождении, в подобающей, скромной, незаметной жизни.

Очень хочется, чтобы читатель припомнил мой рассказ про то, как я очутился в шкафу, подслушал царапающий ухо полупшепот моей матери и моей няньки, не поняв толком что к чему, очутился в фантастическом, кошмарном мире; моя матушка невзначай влила растлевающий яд в преддверие детских, глупых, громадных, причудливых, оттопыренных, музыкальных ушей, и я сорвался в мрачный миф, хорошо объясняющий, почему меня сек, как сидорову козу, и чуть не засек до смерти разбушевавшийся, голосистый, шибко гонористый отец. Вообще-то миф был не хуже любого другого, не хуже того, который был результатом высшего творения человеческого гения, в котором охотно и даже уютно жила подавляющая часть взрослого, разумного, трезво-рассудочного населения, обитающего на территории нашей великой, бескрайней, распластанной на два материка страны. Короче, я сверзился и угодил в когти докучливых, неотвязчивых, злых демонов, уродующих безжалостно детскую психику, сотворивших мне горькое, мрачное безотцовство и вымышленный идеал, в который я страстно и беззаветно влюбился: сияющий Маяковский. Его одного, великого поэта, я числил родным, кровным отцом, хотя имелись бросающиеся и лезущие в глаза неувязки (их я не умел ловить), его почитал, как гиганта и бога. Этот пленительный, науськивающий призрак, наваждение, как дух убиенного датского короля Гамлета, сосал, как ненасытный вурдалак, мое сердце, отчуждал от семьи, от отца, от матери. Словом, я спятил, сильно спятил, хотя внешне оставался уравновешенным юношей. Читатель, надеюсь, не забыл, как моя безумная страсть к революционному поэту, поэту-новатору, естественно, сама собой и силой вещей перекинулась на Сталина, которого мои щедрые на восторг и восхищение глаза наконец-то увидели 7 ноября 1947 года на мавзолее, помнит последствия восторга и восхищения. Со стороны эта страсть видится бзиком, болезнью, возникшей под влиянием колдовства. Всякая большая любовь — болезнь, умопомрачение, воздействие непонятных колдовских страшных чар. Бранццо, отец Дездемоны, не без основания полагает, что Отелло просто околдовал его дочь: «Что лишь искусством адским он достиг того, что совершилось». Вот уж не сальный огарок, очень даже кстати, выпал я из воронка вслед за Красновым — как

после тяжкого обморока, исчез мучитель и кровосос. Я еще не решаюсь верить, боюсь, что вернется, замутит небо. Душе настало пробуждение, воссияла истина. Пришла запоздалая разгадка ре-буса, нет, не «Гамлета» Шекспира, ибо он бесконечен (и правы все, кого волнует, мучит эта трагедия!), а позволю себе выразиться аккуратнее, моих мучений, моего демона, призрака, всех этих вымыслов, глупостей. Хотелось громко кричать, срывать голос: не верьте оболъщениям, злым демонам! Гоните их в шею! К такой-то матери! Бесы рядом, вокруг, у дверей, в воздухе, ловят нас. Будьте бдительны! Шекспироведы справедливо считают, что «Гамлет» — самая интимная трагедия Шекспира, что ее намеки, аллегории приоткрывают дверь к тайнам души великого драматурга, а принц Гамлет — это как бы сам Шекспир, это Шекспир по мощи интеллекта. Однако мне представляется крайне сомнительным их утверждение, что только Гамлету под силу написать все драмы, которые приписываются Шекспиру. Интригу Гамлет плетет вяло, через пень-колоду, с грехом пополам. Не сравнишь с гениальным Яго, истинным драматургом, драматургом Божьей милостью, для которого интрига игра, фейерверк, искусство для искусства, без интриги жизнь будет скучна, пресна, невыносима: Если, дорогой читатель, вас завлекут призраки, если Яго, его блестящие козни окутают, опутинят ваше сердце — пишите пропало! Вы потеряете всё: радость жизни, трон, прекрасный замок Эльсинор. Всё, в конце концов, достанется наглomu, самоуверенному проходимцу Фортинбрасу. Один современный поэт пророчествует: «Опять победа Фортинбраса!» А чем лучше моей жизни судьба молодой женщины, явно рехнувшейся, бегающей на любовное свидание на Красную площадь два раза в году, на 1 мая и на 7 ноября, каждый раз испытывающая мощнейший эротический экстаз от лицемерия Сталина. Близких ее нисколечко не удивило, когда она оказалась в числе тех, кого раздавили во время ходьбки на похоронах великого вождя. Я, кажется, успел сказать, что ее жребий — мой удел, не замети меня гэбэшники. И я бы рвался, как фанатик, на страшное последнее свидание! Надеюсь, читатель не был сильно шокирован, что у великого поэта вдруг обнаружился сыночек, так сказать, выблядок. Ничего такого не было, абсурд. Высыпался я из щели воронка, понял (осенило!), никакой я не приبلудный, незаконнорожденный сын Маяковского, что это чистейший горячечный бред, и — только. Мама поведала как-то моей Нинке об отношениях с поэтом. Всего и делов-то, что самый талантливый поэт нашей эпохи разок чмокнул в щечку мою хорошенькую матушку, «тоненькую и длинноногую дуру» (Асеев), словил по фотокарточке, разом утратил

весь пыл, гусарство, храбрость, нахрап, повел себя прямо как Дантес на квартире Полетики, когда к нему случаем залетела залетка Наталья Николаевна Пушкина: вытащил пистолет, приставил к виску. «— Дурак!» — крикнула моя матушка, очень искренне, видать, крикнула: Маяковский опустил руку с пистолетом, подошел к зеркалу, увидел в зеркале себя, заплакал. Не верь, не верь поэту, дева. Все-таки моей маме пришлось крепко удивиться, когда эта сцена повторилась с другой женщиной, и Маяковский всё же выстрелил. А Дантес мог выстрелить в себя? У Толстого Вронский стреляется, серьезно ранит себя. Как это ни парадоксально, но к Маяковскому я сохранил до сих пор восторженную привязанность и чем больше узнаю о нем гадостей, тем сильнее люблю. А любовь, все говорят, зла (козла), ей нет закона, см. также о любви 13-ю главу Первого послания апостола Павла к Коринфянам. Я широко использую приемы и метафоры, которые нашел у Маяковского; читатель мог заметить, что мое сравнение хрипа и рычания динамика с пением Высоцкого вычурно, чрезмерно, но это дань и поклон Маяковскому: «Терек шумит, как Есенин в участке...».

Если я могу датировать, когда закончилась моя угарная страсть к великому Сталину, то ответить на вопрос, когда я вообще преодолел то, что позже стало именоваться «культом личности», тяжело. Вот пошукал по сусекам и извилинам мозга, выпцветилась, выудилась такая интересная сцена. Я и Краснов лежим на нарах в 23-м бараке, на верхотуре гнездимся. Я увлечен, наблюдаю за несусветной армадой клопов, что хаотично движется по потолку. Сколько же их! Чертова гибель! Эти гнусные твари имеют разум, и препорядочный! Визави с нашими нарами усовершенствованные нары, нары с выдумкой, с любопытным изобретением. Вот что смекалили народные умельцы, наша слава, те, кто и блоху подкует. Как бы точнее, толковее, понятнее объяснить сложную конструкцию нар. Это — остров: нары на штырях стоят, а каждый из штырей умно, хитро вмещен в консервную банку с водой. За такие нары не жаль и Сталинскую премию! Но еще Шмаин доказал чисто научно и математически, что на всякую хитрую лямбду эpsilon с винтом найдется. Представляете, со всех сторон к некоторой, никак и ничем не обозначенной точке потолка, невидимый центр притяжения, движется неисчислимое войско клопов, а там, с этой самой сокровенной точки потолка клопы, вот устрицы! пикируют на заколдованные научные нары гениальных умельцев. Дождь из клопов! Канальи! А какой точный расчет! Откуда такая прыть и сообразительность? Без промаха асы сигают. Радостными, восхищенными глазами слежу за клопами, какие

же умницы. Тю-тю, снайпера!.. Метерлинк признавал разум у насекомых. Блеск! Может кто-то не разделяет мой восторг пред разумом клопов? Да если хотите знать, жизнью насекомых увлекались лучшие умы человечества, Спиноза не один год наблюдал у себя в нужнике жизнь пауков (некоторые, правда, не считают пауков насекомыми, они, мол, ближе к крабам и ракам), а сам Сократ, если верить Аристофану, восхищался блохами (блохи — насекомые, в этом не может быть никакого сомнения), изучал их, усердно вымерял длину прыжка блохи. А в 23-м бараке мы обитали до того, как нас, фашистов, тлетворную заразу, скверну, деспотично и весело, не впервой, раз, два, быстрее! перегнали поганой метлой в 22-й барак, великое переселение народов, надрывное (вскоре фашистскую нечисть, то есть нас, стали вывозить за пределы, в особые лагеря). Мы в еще в 23-м бараке, здесь все статьи перепутаны, и бытовики, и фашисты, выдыхающие ядовитые испарения, алчущие войны, на одних нарах, спят рядом. Радио отключено где-то на вахте, само включилось, власть музыки, траурная, траурная! Ой! Подлое сердечко непрошено, бестактно, паскудно, беспардонно екнуло, эдакую свечку дало, слава Богу, никто не слышит, как оно забарабанило, радостно и бешено. А что, если? 6-я симфония Чайковского, любимая, кто ж ее не любит! Надежда живет собственной жизнью, как образ в художественном произведении, не подчиняясь требованиям холодного рассудка, часто живет тайно от нас самих. Возьми и спроси Краснова, а правда ли у Сталина на одной ноге шесть пальцев? — «Лишенный смысла вопрос. Какое это имеет значение?» — с откровенной гадливостью разряжается Краснов. Да, согласен, не имеет значения. А все же? Кто-то мне сказал, что в дореволюционном сухом бюрократическом сыскном документе записано, черным (фиолетовым) по белому: «Рожа рябая, на одной ноге шесть пальцев». Радио сглотнуло половину музыкальной фразы, хрипя, дребезжа, как-то через силу выплюнуло нам сообщение о смерти Жданова! Я ощутил разочарование, стало скучно, очень, невыносимо скучно, сонливость, и я задремал, как после соития с Нинкой. В моих мозгах основательная сумятица, трали-вали, смущение. У меня в котелке катаются два шарика, Они как-то там крутятся, вертятся, позволяют мне не проносить ложку мимо рта, отличать день от ночи.

Я не люблю докапываться до философской сути явлений повседневной жизни, до ее корней, сводить концы с концами, разрешать антиномии, не ишу философского камня. Знаю, моя философская кишка тонка. Проживу как-нибудь и со своей кишкой. А у Краснова всё иначе, не как у меня. Я далек от мысли,

что вижу его насквозь и понимаю полностью. В себе-то мы не на все сто разбираемся, что мы можем сказать о чужой душе, о ее подполье. Что-то можем, но не всё. Режьте меня, кромсайте тупым тесаком на жалкие, мелкие кусочки, крошите, устраивайте зверскую, бесчеловечную расчлененку моему ныне выхоленному, как у римского патриция, телу, но оппортунистическую версию, что Утопия размылась в мозгу моего друга постепенно, спонтанно и подспудно, не приму никогда. Тут имеет место взрыв, катаклизм. Хорошо помню и настаиваю, как раз накануне эмоционального взрыва, вызванного, подчеркиваю, видом живой крови, пальцев-обрубков (зрелище не из приятных, сознаемся!), запахами, тем тошнотворным запахом крови, смешанным с густым ароматом гниющей древесины, хвои, от которого, как от взрыва фугаски, разлетелись всепожирающие абстракции, Краснов заглянул в мой барак, призвал проветриться, прошвырнуться по ОЛПу «на сон грядущий» Я накинул на себя только что выданную, новенькую телогрейку, и мы вытряхнулись: нырнули в нахлобучившуюся на Каргопольлаг ночь. Темень шурует непроглядная, обволакивающая, продырявливающая душу; хоть убей — ни зги не видно, глаз выколи; моросит чем-то гнетущим, наиосеннейшим, стопроцентная влажность, влагой все насыщено, перенасыщено. Это — первое впечатление, глаза вскоре привыкают. Различаю, справа от меня, в черной мути, прожектора на вышках; они режут желтым, мертвящим светом влажную, густую, враждебную человеку тьму; да гирлянды мохнатых, разбухших лун по сто свечей каждая просачиваются мертвенной радугой, указуют, где начинается запретная зона. Безнадега, туга, гнетущее сиротство, бесприютность. Не верится, что где-то есть мир иной, где-то на планете иная жизнь, счастливая, где-то кипящая, сверкающая огнями Москва, счастливые влюбленные парочки, музыка, консерватория, Рихтер. Нет Москвы, нет Рихтера, нет влюбленных пар, танцев, волшебной музыки, везде лагерь, сплошной, вечный лагерь и его тысячелетнее царство. Хочу назад, в миазмы барака, к людям, к братьям экам! Мы с Тамарой ходим парой, как одержимые кренделяем по опустевшему ОЛПу.

Краснов в ужасном ударе. «— Лебедь мой, хочу уловить и привлечь твое внимание к одному непостижимо глубокому месту в «Утопии» Оно свидетельствует о подлинном знании подленького человеческого сердца. Я излагаю эскизно, пунктирно. Рассчитываю на твое понимание с полуслова, на творческое восприятие. Я утверждаю и не перестану утверждать, что человек по своей природе подл, лжив, криминально опасен, что ему нужна узда, железная узда, нужна несвобода, браслеты на руки, смири-

тельная рубашка, тюрьмы и лагеря. Душа человека на орлиных крыльях рвется к справедливости, к справедливому распределению национального богатства и к равенству. Нам не свобода нужна, а справедливость; душа огорчается, тоскует, стонет, мучается под невыносимо тяжким бременем гибельной свободы, постой, это, кажется, Пушкин, его выражение *гибельная свобода*? Не помнишь? Справедливость и равенство, блаженное равенство! Но люди по природе не равны. Есть дефективные, олигофрены, импотенты. Есть рыжие. Есть карлики, пигмеи. Жажда справедливости и равенства, как высшей и последней правды, эта жажда всепоглощающа. И тут же конфликт: антиномия! Страшная, трагическая, зловещая антиномия! Томас Мор и все великие учителя человечества, Маркс, Энгельс знали об этой антиномии, принимали ее в расчет, нашли единственный рациональный, правильный выход. Всем сестрам по серьгам, высшая справедливость, должна быть привнесена в наш криминальный мир не на либерально-гуманистической основе, а насильственно, опираясь на цветущую мощь государства. Простая, ясная, солнечная истина. Но людям легче постичь, что труднее, запуганнее. Давно, ой, как давно пора спасать и защитить человека от него самого, обуздать насильственно свободу, укротить зверя, укротить его подлое, отвратное, страшное, ядовитое «эго», разрушить индивидуальность, личность, самость, махровое, гнусное «я». И все, кто задумывался серьезно о природе человека, склонялись неизбежно к этой мысли. Платон величает человека «божественной куклой» — хорошо вмазано. Эту куклу нужно нудить в лагере и на секунду не спускать с нее глаз. Не люблю Достоевского, но он разительно прав, когда твердит: «Смирись, гордый человек». И Ницше прав, когда говорит, что человек это «стыд и позор», что он должен быть изжит, преодолен. И Фрейд с его подсознательным и сверхантропологическим «принципом удовольствия» прав. Шекспир заявил в «Гамлете», что люди «отменные мерзавцы». И там же: «Если бы каждого из нас принимали по заслугам, то никому не избежать розог». Отлично сказанул. Не в бровь, а в глаз. Мысль Шекспира выстрадана, выношена. А возьми молитвы христианских святых — вот уж кто знал сердце человека! Христианство призывает преодолеть ветхого человека, человека-подлеца, эгоиста и эгоцентриста, зовет к новой земле и новому небу. О новых людях трубят чуткая к правде русская литература и русская поэзия, полная тревог, Пушкин, Тютчев, даже Маяковский, Гумилев с его «шестым чувством», «тварь скользкая, почуяв на плечах еще не распустившиеся крылья», Пастернак. И — как его? «Телегой проекта нас переехал новый человек». Все, поголовно все! Когда

будет побеждена, преображена, переделана подлая природа человека, когда человек победит и преодолеет омерзительное свое «я», только тогда и в этом случае станет возможен скачок из царства необходимости, лагеря, в царство свободы. А пока принудительное равенство лагерь, без границ и поблажек. За лагерем будущее, здесь утихнут и будут побеждены черные, бушующие страсти, разрешатся все антиномии, выпрямится искаженная, извращенная природа человека!»

За сим следует значащая, наполненная изобразительным, вразумительным до краев смыслом пауза. Я восхищаюсь ее глубиной, внутренней красотой и совершенством.

И (вот это да! трам-бам-бам, кинжал правды, острый, мощный, разящий!):

— Как тебе это понравится! Форма нашего ОЛПа соответствует острову, который гениальный Мор описывает в «Утопии». Четырехугольник со сторонами: 1, 2, 3, 4. Нет, это не случайность.

Я с готовностью соглашаюсь, изумленный, взволнованный. Уловил мое сердце Краснов. Бывает. С математикой, большой, отцовской, я не в полных ладах, хотя на уровне скромного, смиренного бухгалтерского учета, дебет, кредит, я вполне на уровне, даже многих превосхожу, постиг все бухгалтерские таинства, легко постиг, стиль мой отмечен совершенством, смотреть любо-дорого, как я быстро и четко работаю. Всё же, видать, от отца мне передалась склонность не к геометрическим обедняющим абстракциям, а к символическому восприятию сумбурной картины мира.

Сии весьма значимые слова Краснов сказал накануне, когда мы болтались по ОЛПу, дышали мокрым, осенним архангельским воздухом «на сон грядущий», а на другой день паскудная погода уютливо переменялась, наступило не то внеплановое бабье лето, не то золотая осень. Резкий диссонанс со вчерашнем безобразием — честно и уверенно свидетельствую, внимание, внимание: еще вчера у Краснова была пламенная вера, категоричность (гамлетовским пороком нерешительности он не страдал, это волевой боец за правду, за последнюю правду), еще вчера это апостол марксизма, а сегодня, словно его подменили, другой, неузнаваемый человек, мой друг разразился бурной, безжалостно крушащей прежние смыслы слов, крамольной речью, сильно поразившей и смутившей меня.

Сапа Краснов свирепо, смачно, самозабвенно *стрелял* в меня, расстреливал словами:

— ...Я — против! Пепел Клааса стучит в мое сердце. Если за несколько жалких дней, за неделю канта, день канта — месяц

жизни, он, человек, простой человек, уродует сам себя, отрубает пальцы на руке. Не могу и не хочу! И это — чтобы уйти от смерти! Не надо! Я — против! Я — контра! Слышишь, *контра!*

Отрубленные пальцы, живая кровь, алая, яркая, таинственная, мистическая жидкость, кровь, кровь сокрушила моего друга, Сашу Краснова.

РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА

Я стараюсь, из кожи лезу вон, чтобы растолковать тебе, читатель, вскрыть тайну мутации, когда и как меняется у человека мировоззрение, почему великая утопия, дерзким открывателем и уполителем которой был мой замечательный друг Краснов, полетела в бездну, в черные, захватывающие дух тартарары, а ты даже не следишь за ходом моей мысли, тебе все до фени, тебя сжигает любопытство, *было ли что* между обольстительницей полькой и юным философом?

Погоди, погоди, позволь тебе сказать:

— А я за ноги не держал.

Вот так у нас, на комендантском, срезают и отваживают фраеров. Отличное выражение, вроде и приличное, вроде и вполне литературное. Чем не литературное? Очень даже литературное.

Из пущей деликатности я не лез в грязных галошах в душу застенчивого юноши, каким в сущности был Краснов, не вытряхивал из него подробности: как, мол, и что? Не спешил. Спешу, но исподволь. Символ этой идеи: дельфин (точнее — дельфин и якорь). Сам Краснов рано или поздно разговорится, обронит словечко, и будет всё ясно, как днем. Куда ему деться? Так бы оно и было. Представляете, подвалили обстоятельства, в игру вступило нечто никем непредвиденное. Не мог же я предугадать, что Краснов, забодай его, дурня, комар, отчубучит цирковой трюк, последний и некрасивый предел своеволия. Наломал дров! что в день, кстати, то был ясный, солнечный, теплый день, продолжалось бабье лето, небо было сизо и особенно прозрачно, образ бесконечности, когда Ирене в урочный час, то есть в четыре часа дня, предписывалось спецчастью стать вольной, выйти за ворота комендантского ОЛПа, и она, естественно, а куда денешься, вышла со скарбом, Краснов выкинул фортель: юный философ не выдержал ужаса разлуки, и ему ударила в голову моча, в романтически-трагическом пароксизме, очертя голову, рванул за Иреной, буйное помешательство, черт попутал; утек в безумный побег. Вот так так! Патология да и только, безрассудно и даже абсурдно, ни в какие рамки не лезет. Дерзкий побег, не подго-

товленный побег, каких не бывает. Угораздило же удалую, угарную головушку! Фаза далеко поехала? И, спрашивается, зачем, еще раз видеть ее, видеть ту, что дороже жизни! Побег из рабочей зоны выламывается из ряда вон и обычно квалифицируется как 58-14, экономическая контрреволюция. Схватились, нигде нет, хоть тресни, а рванул наш философ за юбкой, за чертом в юбке, да почему-то вовремя образумился, опамятовался, протрезвел, объявился на вахте: «— Вот я!» Паинька, подурил и хватит. Нет, не смешно, а страшно. Повинную голову меч не сечет. Чаше сечет. Краснову сошло с рук. Не совсем, но суда не было. Я не ошибаюсь. Читатель, не путайте Краснова с Красиным, подельником Кузьмы, ну там Шмаина, Васяева, Александрова, Карелина, Калиной и др. Красин дал деру с этапа, еще по дороге на Колыму, и Красина судили, срок-то у Вити взлетел не ахти как, было 8, стало 10, а Краснова вообще под суд не отдавали, хотя форфурку в одно место вставили. А что вы хотите? Побег есть побег, за это в лагере по головке не гладят. Этапировали осенью 1949-го года на штрафной ОЛП, в самую густую Индию, где вечно пляшут и поют, туда, к Олегу, памятуем лагерь во всей его невозможной красе, тело скотоподобного Кривого, губителя и истребителя Бирона, распластанное в санчасти, на нем верхом восседает красавец Олег, работает, вонзает пику по самую рукоятку в шею Кривого, Олега отводят в изолятор, фигурная рукоятка ножа так и осталась маячить, так и торчит до сих пор в моей обжигающей памяти, поднимая дыбом каждый волосок, иголки, как у ежа, торчком. Олег, невероятная, дикарская, животная физическая силаща, Аттила здешних мест, старший блатной, пахан, скульптурные стати, позавидуешь, красавец мужчина и красюк ОЛПа, на племя такого, а он из-за Ирены огреб новый срок, кажется, четвертная, а это всё одно, что вечность или там до мировой революции (в начале двадцатых годов такие приговоры выносили: «до мировой революции»), теперь Саша Краснов, радикальный, бесстрашный юный философ и мой друг — всё из-за нее, из-за Ирены, тихони и скромницы, ой, не случайно! не слишком ли много кряду жертв? Рассказывали, на штрафном Саша и Олег оказались в одном бараке, на одних нарах, противоположное и опасное соседство, только этого Саше нехватало, возможны разборки, неприятные толковища, возможная темная месть, взыграет дух ревности, еще хорошо, если только ребра посчитает или один-другой разок прогуляется по мордасам, Боже, не дай сгинуть душе моего друга, молил я. А всё же любопытно, сгораю от любопытства, о чем они разговаривали, разговаривали об Ирене? Не могли не говорить вовсе, лежа на одних нарах,

рядом. А что, если они сдружились, стали закадычными керюхами, всё на свете бывает, тем паче в лагере, столько общего в судьбе-индейке, в конце концов — общая баба, забавней не придумаешь, сюжет для Мазуса, почему бы и не начаться большой, настоящей дружбе. Да, аномалия, но такое описано у Мазуса, именно в лагере, ирония судьбы, фантастика, фарс; как любил говорить Гладков, «сама жизнь здесь удивительный романист».

Я заскучал, осиротел, когда этапировали друга Сашу, нехватало мне его. Сам я вышел из лагеря в конце 1952-го года (увы, по окончании срока), странно, последний год лагеря начисто забыл, как сон пустой, всё стерлось и затерлось, как у какого-нибудь дебила или склеротика-старика, провал (память всех, какой бы она ни казалась абсолютной, лошадиной, по своей внутренней природе и сущности халтурна, каждого порою подводит, даже моего Сашу, пугающего своей безмерной памятью: перечитал я уже много позже «Утопию» Мора, не обнаружил в ней рокового четырехугольника, по форме совпадающего с очертаниями комендантского ОЛПа, значит, Саша что-то перепутал; не похоже на него), удивительный казус с памятью случился, забылось всё (направленно и целеустремленно), что было на нашем ОЛПе после страшной истории с Куциком, глупейшей: он выскочил из лагеря по помилованию, к написанию бумаги на имя Шверника и я приложил руку, а вскоре Куцик огреб новый беспросветный срок (так и не вышел из лагеря, убит во время бунта, как и многие другие, как тот же Олег или мой друг Женька Васяев), за дело получил (изнасилование), а я, ой, словно меня хитро, ловко, мошеннически подменили, какая-то сила согнула меня в дугу, в бараний рог, вмиг сделался другим человеком, ведь мне оставалось меньше года, вроде счастливо заканчиваю лагерь, ни разу не выходил за зону, живу вась-вась с начальством, меня ценят, любят, Нинка, когда приезжает на свидание, останавливается у Владзилевского, главного бухгалтера ОЛПа, и он, и начальник ОЛПа, лейтенант Кошелев, бывая по делам в Москве, останавливаются у моих родителей, лучше не бывает, не может быть; я закоченел, просек завесу, закрывающую всё то, что скоро и неумолимо должно случиться, судьбу Куцика воспринял как знак, притом знак ясный и очевидный, злое выразительное подмигивание из будущего, всё возвращается на круги своя (Экклезиаст), не на круги, в одну и ту же воду нельзя войти дважды, тут уместнее вспомнить спираль, корячиться не детский срок, который был у меня, а увесистый, у повторщиков солидные, типовые сроки, под завязку, Архимед был влюблен в спираль, любовался ее совершенством и красотой, новый, более размашистый виток, изобра-

зительный, наглядный рисунок, жуткий рисунок спирали ударил мне прямо в сердце, как кинжал, сокрушил меня, словом, я опять влетел в страшный миф, тупо смотрел в одну точку на стене барака, не помню даже, как моя Нинка, моя чудная молявочка, ненаглядная килечка, встретила меня у ворот ОЛПа.

В лагере с Красновым я уже больше не пересекаюсь, увиделись много позже, в Москве, обнялись, как братья, а вот Женька Васяев, за него я хлопотал в свое время, двинул в учетчики погрузки, так и не вышел из лагеря, на благословенном удачном комендантском ОЛПе что-то приключилось нехорошее, наступил явно не лучший период жизни лагеря, атмосфера ОЛПа оказалась отравлена ядовитыми парашами, всё об одном, нам светит, система лагерей, использующая рабский труд, будет ликвидирована; согласен, даже 49-й год с его спокойной безнадеей предпочтительнее: начались невнятицы, сумятицы, прорехи, внутренний разлад, перекос лагерной жизни; тревоги, страхи и отчаяния рвали и терзали злыми зубами души, ко всему этому бесконечные параша, невыносимая нервотрепка, нервы, как струна на гитаре, натянуты, нервное истощение, а они, нервные клетки, говорят, не восстанавливаются ни при каком хорошем питании, отсюда нервные заболевания, истерики, стрессы, ссоры на пустом месте и без всякого конкретного повода, всякая гадость, зэки бились головой о стены бараков (много опаснее, когда зэк в одну точку уставится и тупо, как баран на новые ворота, смотрит, паралич воли: у меня было, знаю по собственному опыту); обидно и очень обидно, когда другие потекли из лагеря, ручеек, непрекращающийся ручеек, притом по чистой (реабилитация), а тебе сидеть и сидеть, конца и края плотной ночи не видно, для тебя одного лагерь, такое невозможно перенести и вытерпеть, разве может хватить хладнокровия на такое смотреть, загрустишь, еще как загрустишь, нервы малодушно сдают с каждым новым случаем убытия из лагеря, они измызганы, душа вымотана, я очень хорошо понимаю такое состояние, сам нечто близкое и подобное испытал перед освобождением, хотя в тот, 1952-й год, лагерь был еще хорош и что надо, да и вообще, получается, как это ни парадоксально, контингент на благословенном комендантском ОЛПе после смерти Сталина и амнистии сильно испортился, словно кто сглазил ОЛП, навел на него порчу, вымыт средний слой бытговиков, тех, для кого вообще-то КПЗ, казенный дом, лагерь были не обязательны в жизни, а скорее случайны, это случайные люди, везде и всегда, ОЛП заблатнился и криминализировался, всё вкось и вкривь, быстро возростала лагерная скверна, ОЛП верно сползал в водоворот непонятного, одичание, смута, события быстро при-

бавляли шаги, блатные взяли силу и верх, захватили ОЛП, черт знает что творилось, к смыслу происходящего не подберешься, каждый по-своему рассказывает, свое видел, пища богатая для ума и умозаключений, отвратительным бунтом, унижающим смысл понятия свободы, трагедией либерализма (трагедией свободы) — вот чем завершились эсхатологические ожидания нового неба и новой Полярной звезды, давно назревало это безумие, доигрались в либерализацию лагерной жизни, шалтай-болтай, либеральный шабаш и великая хартия волностей не для нас, эков, зашумел оголтелый бунт, не просто сабантуй, худо, худо дело, трагедия трагедий, Боги жаждут, а ведь о чем-то эдаком мечтали все эти годы, о движении среди заключенных, о восстаниях, о чем-то таком воображаемый огород городили, лагерный угарный романтизм под соусом убаюкивающего самогипноза, сетовали, что задерживается финал мировой истории, что-то такое и эдакое видели, когда глазели на звездное небо, на новую ядовитую Полярную звезду, огненные мечты уносили в поднебесье, и невозможное возможно, так всегда бывает, уж поверьте мне, моему опыту, хотя сам я настроен очень либерально и прогрессивно, однако я с тех самых пор, как вывалился из воронка, глотнул воздуха, раз Маяковский левша, то он не мой кровный отец, рухнул страшный миф, с тех пор, если не считать короткого периода перед освобождением из лагеря, я всегда абсолютно трезв, ясно вижу жизнь, различаю правую руку от левой, черное от белого, свет от тьмы, знаю, когда темно, а когда рассвело, вы скажете, что это уровень дождевого червя, отнюдь, готов даже покаяться, если вы меня будете очень припирать, что правда не всегда идет рука об руку с моим настроением, ожиданиями и чаяниями. Словом, ветер грядущих и настоящих перемен деморализовал начальство, оно расслабилось, потеряло бдительность и контроль за обстановкой на ОЛПе, а это привело быстро к тому, что возникли криминальная ситуация, откровенные безобразия, создалось положение прямо-таки безвыходное, надо было сразу активно, смело действовать, меньше было бы жертв, санкции Москвы, возможно, терпеливо ждали, всё равно в конце концов пришлось вводить наши доблестные войска, умирять эков, пиф-паф, так-то; катастрофа, как палач, приблизилась к ОЛПу и твердым, чеканным шагом вошла в его пределы, сколько народу перебили, страшно подумать, подступают спазмы, всех я знал, со многими в одном бараке долго обитал, тогда и Женька погиб, хороший парень, очень даровитый, развитой, замечательная голова, да и вообще живая душа, настоящий друг, я любил его, вечная память, простятся ему грехи вольные и невольные!

Как-то, много позже, уже в хрущевское время, я отважился запустить крючок любопытства в интересующем тебя, читатель, направлении. Древние осуждали любопытство, считали (Плавт): «каждый любопытствующий зложелателен». Никак нет, я не из их числа. Я тихо, осторожно и под сурдинку подребался к теме, келейно и по-простецки спросил. Неряшлив я не был и полагал, что рана души, если таковая была, а она не могла не быть, давно затянулась, от бывшего пожара, подвигшего на безумия, на дурацкий побег из рабочей зоны лагеря, осталась одна зола. Не томи душу, говори. Краснов сначала, видать, решил не уразуметь вопроса, надеть непробиваемую броню непонимания, подвигал тяжело желваками, долго, беззвучно хлопает неестественно побелевшими, бескровными губами (мол, о чем ты?), затем начинает пыхтеть, как настоящий паровоз, весь взъерошен весь, внутренне взъерошен, оцетинился, выдавливая из себя и — эмоциональный срыв.

— Эту тему я не намерен обсуждать, уволь!

Осади, мол, — кипятком ошпарил. А сам сразу завял, прямо-таки на глазах, увял, через силу согнал утрюмость, мягко, с какой-то детской непосредственностью мне улыбнулся:

— Извини меня.

Так-то. Мне-то казалось, что я веду себя естественно, остаюсь всецело в границах такта. Не совсем ловко вышло. Это значило одно: Краснов к своим интимным тайнам не подпускает на пушечный выстрел. А тайна есть, есть, нутром чую. Вот она — память сердца, стигма, рубец на всю оставшуюся жизнь.

Тихая, нежная, из вражбых ляхов девочка, уголи печаль моего друга Саши Краснова, из-за которой и разгорался весь сыр-бор (который раз!), убьла невидимкой, как-то никто этого не заметил, за ворота нашего ОЛПа «в большую зону оцепления», вильнула хвостом и — была такова, ищи ветра в поле (в Коноше получила паспорт, направление было куда-то под Львов, где обитала ее мать). На что же Саша рассчитывал? Ради чего бежал? О чем грезил? Какой и чей зов слышал? Или просто хотел еще раз увидеть эту штучку? Выверт фантастический и не в стиле Саши (и сам, поди, не подозревал за собой такую безумную прыть). Так или иначе, а с Красновым судьба их, слава Богу, не свела. Не люблю я эту тихоню, а потому чрезмерно злопыхательствую, но для злопыхательства у меня есть все основания, притом надличные, ой, скромница-перескромница, тихая, как серая мышь, тихий, нежный голосок, ее не слышно, скромна, кротка, авельна, вечно в прострации и полном отпаде, трусиха из трусих, беззащитна, вечный призыв о помощи, и всякому мужику почему-то

хочется ее защитить, избавить от опасности, пригреть, быть опорой, стеной между ней и ужасным миром, эдакая неброская, вкрадчивая, вьедливая внешность, вовсе не польская, глаза черные, как у ворона (NB: черный глаз опасен!), пронзительные, когда нужно источают страдание и страх, испуганная до смерти вечная женственность с эдакой чувственной истомой, растерянная, гибнущая и распространяющая вокруг себя интимно-личное SOS, очень опасна, даже социально опасна, что-то вокруг нее всегда творится, мужчины теряют элементарное благоразумие, в воздухе начинает пахнуть грозой, тронуты, растроганы, тают, как воск от лица огня, грубые их сердца, жалость сильно жалит души, они рвутся защищать, заслонить, спасти беззащитную принцессу от когтей дракона (вспомним подвиг святого Георгия), эпидемия, всеобщее помешательство, начинаются стрельба, пальба, выбросы, поножовщина, убийства, свидетельствую, очевидец, убит Кривой, Олег, соперник, оказался на штрафном ОЛПе с увесистым, астрономическим сроком, говорили, на всю катушку огреб, Саша ушел в побег, теперь на штрафном, всего не перечислишь да и нет смысла, картина и так вполне определенная, рельефная, всё же для пушей полноты бросим острый, внимательный глаз в сторону Варшавского восстания, знаменитого, оно является также важной вехой в жизни Ирены, заслуживает внимания, достойно того, чтобы его изучили под увеличительном стеклом, но у нас нет лупы, сообщим отрывочные сведения, которые известны, поляки заклинились на Варшавском восстании, квинтэссенция их истории, «Пепел и алмаз», словно ничего другого у них и не было, а было, была великая Польша Ягайлов и Ядвиг, от моря до моря, правда, это было очень давно; так вот, Ирене, голубке, шестнадцать лет, бутончик, всё, как в песне, «как в шестнадцать лет первый раз дала другу милому клятву верности», естественно начальнику отряда, главному, кто командует, этот, главный, становится ее первым! к черту девственность, настоящие мужчины на войне большим рискуют, жизнью, «Свобода на баррикадах», раскрыта грудь, очень грудь соблазнительна, подбадривает цветущей грудью борцов за свободу, за мной, вперед, только вперед! ее возлюбленный, славный мальчик, проявляет чудеса самоотверженности, рыцарства и героизма и всё ради нее, гибнет, как герой, ее заслоняя, загораживая (всё равно бы его расстреляли), а она, давшая клятву верности, оказывается в немецком концлагере, не сахар, идут расстрелы, эти роковые дни навсегда останутся в памяти поляков, вот тут-то феноменально и рискованно расцвела ее натура, а история начала быстро и стремительно разворачиваться, как в легкомысленном и увлекательном повествовании

Дюма, где такую роль играет беспринципная, без берегов романтическая, авантюрная любовная интрига («Три мушкетера» читаются запоем, за уши не оторвешь): у Ирены интимная связь с одним эсэсовцем, с другим, дуэли эсэсовцев, и они, голубчики, белокурые бестии, высшая раса, обожглись, ослеплены, оказались уязвлены любовью, не спасли идеологические катехизисы и барьеры, за связь с полькой, чай, по головке и вас не гладят, почему-то застрелился комендант лагеря, опять-таки, сама рассказывала, из-за нее пустил себе в висок пулю, а ей, вообразите и реально представьте, всё еще шестнадцать лет! совсем девчурка, ребенок! у нее даже еще есть и мечты, и идеалы, клятва верности; все (имеются в виду не эсэсовцы, а поляки, зэки и зэчки, участники Варшавского восстания) отвернулись от нее, юной распутницы, поднаторевшей уже в таинствах зла (сука, овчарка немецкая, абсолютно одиозна!), преследуют осуждающие, молчаливо-суровые, полные беспощадной, ригористической жестокости глаза женского барака (всего!), а это кое-что, это и есть так называемое общественное мнение, стена отчуждения, отчаянно влипла, не позавидуешь, общественное мнение наповал разит, не комар чихнул, следует попытка наложить на себя руки, прошла сквозь беспросветное отчаяние (совесть что ли взыграла?); так ли это, доподлинно не знаем, туман, туман, но шрам на шее у нее все же наличествует, факт, сырой факт, темная история, леди Винтер ловко и связно изложила наивному д'Артаньяну (армянин?), откуда у нее на плече королевская лилия, словом, как сказал поэт, «у тебя на шее, Катя, шрам не зажил от ножа», а о начальнике немецкого лагеря, эсэсовце, сама поведала, за язык никто не тянул, хвастала Ирке Семеновой, да и как не хвастануть, всякой женщине лестно, когда из-за нее теряют голову, кончают с собой, жизни нет мне без ненаглядной, читали «Ромео и Джульетта»? резюмируйте сами, что за птица наша удивительная птичка, смугливая покой Шаши, нет, нет, всё не так просто, она дала клятву верности своему первому, и в некотором ноуменальном, высшем, мистическом смысле ее сдержала, всех этих тевтонских рыцарей, белобрысую, белокурую бестию, Нибелунгов, всю эту сволочь эсэсовскую, подавивших Варшавское восстание, разгромивших с легкостью и в два счета поляков на поле брани, Ирена не только на колени, но и на четвереньки поставила, можно сказать, взяла реванш; за что и угодила прямиком в славный и прославленный Каргопольлаг.

Здесь застряла (вся юность прошла здесь), связь с немцами, имеется в виду, разумеется, половая связь, помнится анекдот конца войны — хи-хи-хи да ха-ха-ха! — наши части наступают, у

дороги женщина с пузом, бьет себя по животу кулаком, истошно вопит: — Смерть немецким оккупантам! Нет, нет, не подумайте плохого, анекдот не совсем об Ирене. Ни от кого не понесла эта птичка. Не птичка, а штучка! скажем так, *роковая женщина*, чтобы не сказать прямо *стерва*, выразительное словечко, улавливаете его внутренний смысл, орел-стервятник питается исключительно стервами, девушка, отойдите от клетки, а ведь стервами простой народ зовет такой сорт красоток, скольким мужикам эта вкрадчивая тихоня жизнь поломала, дрянь, дрянь, в тихом омуте черти водятся, эта тихоня inferнальна в своей тихости и незащищенности, inferнальна и в постели — чутка, умеет соответствовать, импровизации, умеет оказаться самой-самой, ловко симулирует восторг, экстаз (нет, это отнюдь не Зойка, где ей до Зойки, Зойка выше всех похвал, бескорыстна, простодушна, само дыхание жизни, безгрешна, богата, безмерна, искренняя, пылкая, щедрая, великолепная вакханка, отдала всю себя нам, смело и безоглядно жертвовала собой в припадке божественно-чувственной одержимости, одарила нас всем, чем может одарить талантливая женщина, одержала победы над мраком, навсегда воссияла в наших сердцах, и мы любили ее честно и всем баракком, Зойка, родная душа, чудо из чудес, только в лагере такие бывают!), быстро кладет предел мужскому высокомерию и надменности, нет, не в причинное место мужика она вцепляется, хуже, страшнее, за душу держится, вспомните Толстого, учил, предупреждал всех великий психолог, что таких баб очень и очень опасаться следует; да, такие, как она, не простаивают, всегда востребованы, без мужика не остаются, притом, как каприз, всегда имеют запасной вариант; Ирена после 20-го съезда делала не один яростный набег на оторопевшую, растерявшуюся, изумленную Москву, пускалась во все тяжкие, но без особого успеха (так немудрено и веру в себя, в свои чары растерять), может, времени ей не хватило, чтобы развернуться в полную силу (без прописки в те годы долго не проживешь, соседи капнут, всё, выметут мигом из Москвы, столицы нашей родины, и статья на этот случай есть в Уголовном кодексе, властная острастка, до года лагеря предусматривается для упрямого неслуха, который другого языка знать не желает, всё учтено могучим ураганом, но не сразу тебя берут за шкуру, а лишь после третьего предупреждения, притом предупреждения должны быть письменно оформлены, вами подписаны, так что можно потянуть резину, однако забываться, пренебрегать не следует), странно, очень странно, ведь седеющий, избалованный в лагере женщинами, захваченный врасплох преждевременным старением Гладков готов был к ее ногам положить все царства мира и славу их, да,

Гладков пылал, но у него как бы был поражен главный нерв воли, потерял вкус к жизни, к ее ароматам (к трубке, к изысканным винам, от которых душа приходит в беззаботный восторг, даже начал терять страстишку к любимому футболу, лишь на матчи с участием «Спартака» еще рвался), а женщины, особенно такие глазастые, как Ирена, с ее хищным, безошибочным, дошлым, звериным, сучьим нюхом, за версту гнилую вонь чуют, не прощают; Гладков сильно сдал, истребляющая всё и вся без исключений власть времени, стареет золото и истлевает сталь, одиночество, черное одиночество, тоска, тоска, сгущающаяся тоска, успехами не сыт, везде и вокруг видит одни свиные рыла, как Гоголь, всё так ничтожно, мизерно, паршиво живем, мизерно прожита жизнь, умру, начнут печатать по-настоящему, моя Шура меди долговечнее, у нас всё так, любить они умеют только мертвых, ничего не успевающая личность, душевная лень, сюжет до конца не могу додумать, рассеянность, мысль отвлекается, рассеивается, скачет с одного на другое, закисаю на диване, царствуй, леж на боку, а совесть гложет, свирепая, нет сил встать с дивана, расклеился, по внутреннему календарю совсем плох, последняя ектенья, стыдно самого себя, вечное интервьюирование самого себя, сам с собою в вечной вражде, еще полежу с книжкой, так готов лежать до второго пришествия, заставить себя работать просто нет сил, в зеркало страшно глянуть, пустые глаза, глаза издыхающего своей смертью моржа, всемирная скука, скоро, скоро! даже дневник писать лень; только книги никогда ему не изменяют, верные друзья (книги глубже, интереснее жизни), за книги его и за жопу взяли, и он дуриком, прыг-скок, очутился в нашем лагере, впрочем, не один он угодил дуриком, и я попал так же дуриком, и многие другие. Вообще-то Гладков это видный, степенный, солидный дядя, можно даже смело сказать, великий муж, пусть тюфяк-тюфяком, пусть неухожен и необихожен, опускаются руки, язвит жизнь, всё уходит из-под контроля, мне так нужна забота, и спичка серная меня согреть могла, в мятых брюках, широких, каких сейчас не носят, такие при Маяковском носили, Мейерхольд в таких и в то давно прошедшее времечко щеголял, мода меняется, экстерьер непригляден, мало сказать, небрежен в одежде, исподнее прямо видно, кто ж в наши дни кальсоны носит! через видимое увидеть невидимое, душу, талант, очень нелегко, исподнее на вас производит неизгладимое впечатление, забывает всё остальное, мешает верить в ваш вкус, в ваше чувство стиля, тем не менее и несмотря на исподнее Гладкова печатает самый модный, самый прогрессивный журнал «Новый мир», ведомый самым прогрессивным редактором Твардовским, пьесы, особен-

но сверхзнаменитое, сверхрепертуарное и сверхкассовое «Давным-давно» идет в десятках театрах страны, и не только у нас, но и в странах социалистического лагеря, всем по вкусу пришлась виртуозно сделанная пьеса, Gladkov являет образец ярчайшего многогранного таланта, талант это вообще-то монета (высшая греческая денежная единица: золотой талант равен 10 серебряным и 6000 драхмам; притча о талантах, притча о драхме; истина есть гонорар!), не зарывайте талант в землю, приумножайте, приумножайте, а золотой талант может себе позволить демонстрировать из-под пятницы субботу, игнорировать и презирать террор моды, всю эту пижонскую буржуазность, дешевое стилизничество, даже пикейность может позволить себе, и мы закрываем глаза на исподнее, для нас он всегда наставник, какое-никакое, а имя, нам лестно, что мы можем с ним запанибрата, вместе воевали, а ведь мастит, страшно мастит, некоронованный классик, в школе, в классах, скоро будут проходить, так Gladkov, говорили, шушукались по углам, готов всех послать к такой-то матери, начать новую, прекрасную жизнь с любимой женщиной, которая его младше чуть ли не на двадцать лет.

Красота спасет мир, женская красота (урода — по-польски), пусть это слова идиота, князя Мышкина, заблудившегося между двух сосен, но что-то в них есть, это надо делать быстро, чем быстрее, тем лучше для всех, как вырвать зуб, раз — готово, примите таблетку пирамидона, можно и аспирина, разжижает кровь, а лучше перетерпите, вы же мужчина, нет, я не мужчина, зачем лишние страдания, дайте таблетку, в аптеке купите; да он был готов из-за нее бросить и так называемую семью, *и манит страсть к разрывам*, сказал любимый поэт, кто, кто, а Пастернак знал тайну и толк жизни, счастличик, Моцарт, *жизнь сама лишь только миг* и сплошной развод, непрерывный, утомительный, *мы с тобою прощаемся снова/ ... от последнего взгляда и слова/холодящего счастья ожог*, ожог, снежок, сойдет («написать пьесу про развод, *развод* — перспективное название, в кроссворд само просится и лезет, удачное название — половина дела, озарение, план, ликование, дальше легко шмалять без кропотливого рассудочного анализа, без оглядки, форсированно, не опасаясь, что тебе не поверят, делаешь вроде наспех, а получается здорово, нарастает уверенность и свобода, надо доверять самому себе, я полон теургической прыги, ура! доверять названию, если по внутреннему календарю, вся моя жизнь в сущности это развод, расставание, с Мейерхольдом, с театром, с лагерем, с женщиной, с друзьями, дети вырастают, ты им в тягость, лишен в их жизни, чужой, они хотят своей жизни, жадуют полета, улететь, *развод* — название не

отпускает, гениальная находка, это будет моя лебединая песнь, а смерть тем паче это развод, еще какой, последний и окончательный!»), кто панически боится ошибиться, никогда не будет знать успеха, сменить Москву на Варшаву, Ирена, звезда вечерняя, она нужна мне, как воздух, как Бальзаку нужна была Ганская, я заряжаюсь от нее так необходимой мне теургической энергией, вырастают крылья, когда она рядом, крылья для орлиного полета, «Как отзвук торжественных месс/Вашей речи нерусская четкость./ Эти эр, эти ша, эти эс,/ Из согласных строй речи соткан», что не сделаешь для любимой женщины! символ и знамение времени, мы все на поводу у времени, из него не выпрыгнешь, *весь мир казался мне Варшавой*, католицизм, таинственный полумрак старых соборов, витражи, безумные стрельчатые арки, всё стреляет, полно энергии, движения, готика, барокко, Европа! во Львове соборы хороши, там впервые понял, что такое барокко, она родилась во Львове! католицизм культурнее, пронзительнее православия, интеллектуально сильнее, люкс; безумное увлечение журналом «Польша», окно в Европу, полистаешь его, заметишь замечательные, сделанные с большим вкусом картинки, приобщишься к прекрасному Западу, сладостной мечте, зашемит сердце, все живут, как люди, только мы в дерьме, вот ты и околдован, вот ты (лирик ли, физик ли высоколобый) и летишь прямым и кратчайшим путем к дому Центросоюза, ныне там вроде ЦСУ СССР, станешь смело перед гениальным творением Корбюзе, закинешь голову, сколько можно терпеть, душно, свету, свету! имею полное право здесь стоять сколько хочу, мое право (вот откуда народилась идея прав человека!), а все-таки страшновато, а все-таки дух перехватывает, так Володя Слепян лётал, лётал к Корбюзе, не вынесла душа поэта, система безраздельно торжествует, сама себя научилась воспроизводить, какая оттепель, где она, не принимайте желаемое за действительность, жизнь только там! душная ночь, тяжело без счастья и воли, застой, нечем дышать, дайте глоток кислорода; в Польшу слинял Володя (фигурный брак или еще что-то такое), а из Польши во Францию, трансфинитная живопись и свобода, побег из ночи, давно во Франции живет; интересно, что он создал за эти годы в Париже, на свободном Западе, а у Гладкова в Польше собирались ставить «Давным-давно», всё уже на мази, примечайте, судьба, «как отзвук торжественных месс», она сама барабанит в дверь, открой! не медли боле! Воля Небесной канцелярии, она отделяет свет от тьмы, Ирена это свет, всё само плывет в руки, одно к одному, его зовут, призывают в Польшу. Застопорилось. Сорвалось! Не удивительно, если поразмыслить, так давайте поразмыслим, сосре-

доточимся на тирании роковых обстоятельств, ведь во время войны 12-го года Польша была всей душой на стороне Наполеона, поляки это же отчаянные, одержимые русофобы, что при том раскладе сил и карт представляется естественным, зачем Польше наши патриотические спектакли, все эти Кутузовы, девушки-гусары, Шуры Азаровы, водевильная игровая веселая дребедень, зачем сегодня им наш веселый, легкомысленный патриотизм и эта милая, далекая, вкусная пушкинская эпоха? Трудно поверить, Ирена кобенилась, откровенно фордыбачила, надоело ей с Гладковым по ресторанам шастать, постно обжиматься в темных углах, канитель и глупости, время впустую терять, противно и бесперспективно ловить черного кота в абсолютно темной комнате, когда его заведомо там нет (у них хаты не было, так-так, ясненько, суду все ясно! в тесноте жили, не побалуешься с девочкой, разве что в подъезде, а чтобы поджентиться, не может быть и речи, везде соседи, везде люди, ужас какой-то, тем более, если это дело не налажено, а всё, как снег на голову, с бухты-барахты, куда с ней деться, места, условий нет, бедные мои голубчики, для веселья планета наша плохо оборудована, снимать номер в гостинице у нас не принято, домой не приведешь; ну, а дача в Загорянке — хоромы? перед соседями неудобно? раз жизнь намерен ломать, чего малодушничать, разруби с плеча — коль рубить, так уж с плеча! — гордиев узел, пропади всё пропадом, перетерпят и проглотят малокровные соседи, безликие хари, рожи, все похожи друг на друга, не отличишь, поймут, примут).

Когда мы начинали разговор о Гладкове (а ведь мы были преисполнены уважения к Гладкову, у нас культ Гладкова, культ личности, как сейчас любят говорить, это крупная фигура, с удовольствием разглагольствуем об его успехах и славе, охотно считаемся с его королевскими прерогативами), Ирена физиономию выразительную и кислящую до неприличная делала, черные ее глаза переставали излучать всегдашнюю робость и беспомощность, в них появились яркие смешинки и колючки, ой, не тихоня, уж такая не тихоня, подбирает и легко находит обидные слова и всё в таком духе, а вообще-то светски естественна, мила, уютна, покатые плечи, всех линий таяние и пение, говорит гадости каким-то доброжелательным тоном, мило улыбаясь, чирикая, всё как-то просто, милая певчая птичка, беззлобная болтовня, мол, Гладков — сибарит, барин, несносен, эгоцентрик, всегда с трубкой, из себя Эренбурга, небожителя корчит, олимпиец, амбициозный, капризный эгоцентрик, чудовище, вас не слышит, только о себе поет, остановиться не может, о своих успехах, как его чтили, о себе до бесконечности готов говорить, у

всех есть эта черта, начнешь врать, трудно остановиться, но тут сильно утрачена мера, словесный понос, монстр, монстр! очень себя любит, влюбленный в себя Нарцисс, тело любит свое, свои вкусы, автоэротизм, патология какая-то, больной, а не лечится, наверняка онанизмом занимается, пардон, пардон (я вспыхнул, как маков цвет, я ощутил себя не в своей тарелке, когда она проехала насчет онанизма Гладкова, словно кость в ухо попала, нарочито закашлялся, развел руками, ой! святых выноси! да что она несет!), Витя, почему вы, как огненная герань, вспыхнули и зацвели, что я такого сказала, что, неопрятное слово? вы же сами охальник жуткий, у вас слава мастера скабранных анекдотов, которые вы преподносите в пикантной, изысканной форме (вообще-то я знаю, что за мною такая притча, матюга легко спокойно пускаю, но не в смешанном обществе, отвык от лагерного этикета, а тут даже не мат, а какая-то грязная физиология), смутились, как девица, да я отнюдь ничего не утверждаю, я не зритель низких зрелищ, не застукала его за этим предосудительным занятием, сама не видела, это смелый плод женской интуиции, думаю, не ошиблась, он весь погряз в дорогих сердцу вкусных воспоминаниях и пустых бесовских грезах, уязвлен, но не пятой, а другим местом, ночное раскаленное добела воображение, оно губительно, имеет малое отношение к дневному сознанию, к реальности; да все мужики онанизмом занимаются! я читала где-то, сейчас не помню, вас девятнадцатый век пугнули, импотенция, бесплодие, блеф и дребедень, не онанизм вреден, вредно угнетать и третировать половой инстинкт, воздержание вредно, а онанизм, продолжает она с пленительной простотой, лишь укрепляет организм,/ уменьшает вес мудей/и *расходы на блюда*,/ как сомнамбула, закончил я стих, пользующийся большой популярностью на комендантском ОЛПе, подыграл ей, и сделал это как-то даже против своей воли, видимо, не полностью очухался от легкого шока, вызванного ее откровениями (не хотел казаться болезненно стыдливым и застенчивым, каким я и не был); о! у нас с вами одна школа, Каргопольлаг, сейчас вы мне нравитесь; она одаривает меня восхищенным взглядом прекрасных глаз, черных, как ночное южное, сияющее звездами, глубокое, бездонное небо, выражение нежных глаз опять меняется, это глаза не беззащитной трусихи, в страхе шарахающейся от вас, как дикое, испуганное животное, и увлекающей вас за собой, инстинкт преследования, в них появилось что-то особенно нежное, блудливо-собачье, одарю любыми велосипедами, ищу хозяина! я — ваша! проказник, не будь дураком, лови счастье, прыснула легким смешком, какой вы лапочка! таю! вы меня, негодник эдакий, противный, сбили меня, спутнули с

мысли, хотела сказать что-то очень умное, не верите, что я могу сказать умное? на чем я остановилась? ах, да! Я вам не надоела своей болтовней? Она вспомнила, хихикнула, затем просто улыбнулась, мне улыбнулась, очень похорошела, дарит еще сентенцию, тра-ля-ля, легкомысленное тра-ля-ля; вы, русские, еще на поводу у девятнадцатого века, провинция, двадцатый век освободил европейское сознание от всех этих предрассудков, онанисты, гомосексуалисты, лесбиянки полностью реабилитированы, в сексуальной сфере нет противоречия, зла, ночи, а один только праздник, немцы с их сухоумной наукой, физиологией всякой, оклеветали сферу пола, лишили ее радостных красок, испугали нас всех, и сами жуть как перепуганы, не люблю их, опасная нация, я-то их хорошо знаю, они еще себя покажут, из-за них еще будут жуткие войны, я бы их расселила, как евреев, выгнала к чертям собачьим из Европы, а всю территорию отдала любимой Польше, не согласны, я не большой политик, не женское это дело, есть вопросы, в которых я разбираюсь гораздо лучше, хотите, вам по руке погадаю, гад — не гад, а полгада я буду, не верите, напрасно, Гладков тоже сказал, что не верит, очень расстроился, когда я ему выдала на всю катушку прогноз погоды, мне и руку его незачем изучать; когда гнусно моросит дождь, на неделю зарядило, небо наглухо затянуто свинцовыми, низкими тучами, безвременье всемирного потопа, можно не смотреть на барометр, и я предьявила и упредила, что он прошел мимо своего большого счастья, держал жар-птицу за хвост и упустил, что за это его ждет расплата, недолго осталось, сколько, ну, до шестидесяти с грехом пополам, вяло и бессмысленно дотянет, к финалу 5-го акта драмы дело идет, уверяю вас, не успеет оглянуться, и ногами вперед; она потянула мою руку, глянула на ладонь, рассмеялась, а вот вы будете жить долго, сто лет, ни одна холера вас брать не будет, дочерей своих переживете, нас опишете.

Жутко мнителен Гладков, не должен настоящий мужчина быть таким мнительным, сказал, не верит, а загрустил, губу надул, опал весь, крыс ему надо опасаться, крысы его погубят, «Но примешь ты смерть от коня своего», на Грицевец крысы есть? а на даче в Загорянке? не знаете, уверена, что есть, а если нет, будут, а как понять, что его сегодня с нами нет? собрались бывшие ээки, целый парламент ээков, его звали, его ждали, обещал, а не пришел, я знала, что его не будет, осторожен; травмирован лагерем? постучал следователь увесистым кулаком по столу, и он опомниться до сих пор не может? и все вы разбежались, как тараканы, по своим норам, не соберешь вас; обратили внимание, что Гладков ведет себя так, как если бы лагерь в его жизни не существовал?

осторожничает, трусит, от него страхом за километр разит, слышали, что страх имеет запах, а как понять его увлечение футболом — вот что выше моего разума, не понимаю его; ни один порядочный человек, мне говорили, за «Спартак» не болеет, в футболе я ничего не понимаю, знаю, что бьют ногой, вам смешно, в других вопросах я смыслю больше, а вообще-то мне пришла мысль очень умная, сочная, было бы неплохо, если вместо войн человечество ограничилось бы футболом, пусть себе мужчины играют, гоняют, как угорелые и полоумные, мяч по полю, команда какой страны победит, считается как бы выиграна война, всё, проигравший платит контрибуцию, что там положено, если ты войну проиграл, территориальные уступки, неплохо я придумала, зачем войны, мы, женщины, согласны на футбол, за такую идею положена Нобелевская премия, что скажете? а хорошо бы Нобеля подстрелить, Гладков мечтает о Нобеле, образ Шуры Азаровой соизмерим с Наташей Ростовской и пронзительнее Татьяны Лариной, в веках останется Шура, не всеми еще до конца понят, и изящная легкость, и глубина, а я отнюдь не удивлюсь, если он Нобеля ухватит, в лагере он был лучше, не таким эгоистом, все в лагере было лучше, Бирон как раздобыл, жутко, тучный, как баба брюхатая, и это при его росте! сплошная умора, некоторые женщины после беременности меняют свою конституцию, мужики после лагеря, а ваш Саша растолстел? Интересно на него глянуть. Куда его унесло? Чего он меня боится? (*«А тайна есть, есть, нутом чую».*) Я не кусаюсь. Скажите ему, что я не кусаюсь, не жалею. Не представляю Сашу толстым. Глаза ее отнюдь не злы, она щебечет, вкрадчиво заговорила о Саше. Я растерян, побежден, повержен ею, в голове размытое облако, плутает несбалансированная, шальная мысль «тонкостей не лишена, здорово чувствует собеседника, умеет подладиться, соответствовать», словно создана из вашего ребра, ее душа не имеет формы, своей структуры, а запросто, как медиум адских сил, как Протей, варганит легко и просто форму, которая любя вам, хамелеон (с Сашей, абстрактным, заумным, не расстающимся с Гегелем, она была совсем иной, чем со мною, из случайных, неуклюжих замечаний Саши у меня сложилось впечатление, что она застенчива и не в ладах с русским, в словах заплетается, путается, мал запас слов, какое там не в ладах, обманщица, удивит Ушакова, самого Сашу еще поучит, владеет и польским, родной язык, и немецким в совершенстве), только вы ей нужны, она вся в позиции коленопреклонения, готова вечно в ней пребывать, восхищена вами, все ради вас единственного готова предать, но с подвернувшимся случайно под руку встречным и поперечным она искренне и радост-

но предаст вас, не предать не может, предаст и сама этого не заметит; лукавая улыбка, сейчас она ваша, радостно дарит вам счастливую, светлую минуту, с ней забываешь обо всем, с ней светло, просто, беззаботно, вынула пудреницу, говорит, на морде надо марафет навести, «ой, не глупа! остра! остра! не лезет в карман за словом, тем хуже нам всем!», искушение, одно целостное, непрерывное, сплошное искушение, пагубная отравка, хуже, чем отравка, мазурик, чертенок в юбке, танцующий ветреную, легкомысленную мазурку, то и дело срываясь в канкан, ощущаешь с ней себя красной шапочкой перед серым замаскированным волком, бабушка, бабушка, почему у тебя такие уши? слушать она умеет, уши у нее внимательные, отличные. Может, она планирует мужа помоложе, так возраста Саша, а то и Женьки Васяева, староват и вял для любовных утех Гладков, слабак, размазня-размазней, мотор долго не разогревается, сбоят, хоть, говорили, это дело ой как любит; посрамленный ревнивец жутко возненавидел ни в чем неповинного Сашу, готов изничтожить, стереть в порошок, треснуть, как муху, чтобы осталось одно мокрое место, вообще-то Гладков мягкий, доброжелательный человек, в сердце которого спокойно возлежат рядом и лев, и ягненок, а тут, в направлении Саша, до конца дней своих не снял анафемы, чуть что, спускал с цепи злощестного кобеля, само собой разумеется, заочно, оставался весь в царстве тьмы и жгучей ненависти; если бы они сохранили добрые прежние отношения, какие одно время между ними были в лагере, и тому, и другому эта дружба пошла бы на пользу, Саша его по-настоящему любил, и Саше он был нужен, они нужны были друг другу, разрыв трагичен (и всё из-за нее; вокруг себя эта тихоня походя отравляет атмосферу, и эта искусительная отравка расплзается, стремится, разбегается, как раки, мечтающие о крутом, соленом кипятке, во все стороны, еще Чехов знал, что раки любят, чтобы их варили живыми, вкусны же они! обескураживает и заражает все окружающее, странным образом воздействуя на мужиков, вносит в их душу скверну: ее уже не было с нами, но ее злая воля продолжала успешно свою разрушительную работу!), словно Саша дорогу ему назло перебежал, да Саша, как отчаянный и быстрый заяц, летом — серый, зимой — белый, бегал, стрекача давал и прятался от нее (с моего молчаливо-красноречивого одобрения), они даже не увиделись ни разу.

Знаю еще, что она упорхнула вдруг и стремглав на Воркуту (сгинь! я с облегчением вздохнул, а злые языки, завидующие ей подружки, уж эти мне подружки, доброжелательницы, трепали сплетню: «— Мужа ловить»); там, на Севере, она действительно быстро, динамично, с лета захомотала юношу, земляка (поляка),

который был ее на четыре года младше, губа не дура, выскочила за него замуж, а когда стало попроще, перебралась с мужем в Польшу, наплывают туманные горизонты, прорисовываются и видятся иные, нам непонятные, обстоятельства и дали (хотя и говорят, курица — не птица, Польша — не заграница, на самом-то деле это не совсем так, Польша — славянская Франция, она близка нам по крови, но абсолютна чужда по духу); слабо верится, что и этот неосторожный юнец стал бесспорным, последним, окончательным, единственным ее мужчиной, около которого она бросила якорь спасения и мудрости, впала в глубокое замужество, переориентировавшись на семью, детей, стала верною супругой и добродетельною матерью, да и Польша, как мы ее знаем по замечательным фильмам, не та страна, в которой культивируют и процветают семейные добродетели, натуру просто и здорово живешь не переделаешь, ее надо нудить и нудить, а Ирена и не собиралась себя обуздывать, закрыть, заградить источник своего хотения (какой-то святой сказал, что человек любит свой грех), не пыталась и не смогла бы; думается (это — мой домысел, моя презумпция, жалею несчастного ее мужа, хотя веских и прямых сведений о дальнейшей жизни этой женщины не имею, появятся, не удивлюсь ничуть, для моих интуиций достаточно оснований, я не скучный моралист, не сопрягаю жизнь с нравственными постулатами, ценю ее цветущую сложность, но есть такая половица, свинья грязь найдет, так сказать, чего с нее, свиньи, спрашивать, таково свинское предназначение к бытию, но в этом предназначении нет ничего сложного, цветущего), еще не одному она исхитрится отравить, исковеркать жизнь, еще не одного и как следует помучает, непременно попьёт кровушки, вамп ненасытный, Джоконда, метафора и притча капризов и предательств; разговаривать о ней не желаю больше, за хвост да палкой, *не прощу ей Сашу*. След ее простыл, потерялся в Польше. О ней давно нет ни слуху, ни духу. Слава Тебе, Господи! Остерегайтесь, не подходите близко! будь осторожен, тришпер возможен, да минует вас чаша сия. Очень уместно, молитва Господняя, золото: *«и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго»*.

КРАХ ЖЕНЬКИ ВАСЯЕВА, год 1950

Еще темень, у вахты — прожектора. Развод. Собираются лениво, сонно. Всё перемешалось. Никто не знает Женю, он чужой, всё чужое. Он то и дело ловит на себе тяжелые, тусклые, утрюмые взгляды — высматривают. Разнюхали, распознали, как меченого, настигли. Они словно с цепи сорвались, чтобы пить

живую кровь и победить в борьбе за существование, преуспеть в восходящей эволюции. Сияют, ликут! Чтобы с ходу не быть узнанным, уйти в незаметность, он в этот раз не поднимал глаз, смотрел под ноги. Не прошло! Бонжур! Мое почтение! Всей осатанелой громадой еще у ворот ОЛПа на него навалились, прохода нет, рьяно треплют, без устали. Еще и еще обрушивается на него необузданный, неукротимый, красноречивый шквал злобы, ожесточения — в ухо, в горло, в нос... Жесток переплет.

— Что за кикимора?

— Эй, темная ночь!

— Чучело, очнись!

— Упирайтесь, упираться рожками. У, хитрожопый!

— На чужом х.. в рай едет.

— Рожками, рожками...

В конце концов он жалко-ничтожно-нелепым жестом сбрасывает с себя злосчастные рога из проволоки, которые ему надели, которыми надо на работе упираться. Хохот — идиотский, дружный, ликующий, жизнерадостный, поросячий визг. Десятки здоровенных луженых глоток гогочут. Женя смотрит на них затравленными, сухими, блестящими глазами, полными муки. Он безвольно откидывает позорные рога в сторону, а за такую наглость полагается полжизни отнять. Огреб. Кто-то с разбега, неожиданно и без препятствий, засадил, крепко засадил, с великим энтузиазмом, и Женя свалился, встает скособочившись, нужно быстрее подниматься, а то на радостях забьют. Не заржавеет у них: с увлечением будут добивать упавшего, как ядовитую, заразную змею, с сатанинским сладострастием. И бить-то удобно, ловко — ногою, удар хорош, чувствителен, беспорен, ярко, ярче, чем кулаком увесистым, особенно когда с хорошего разбега бьет бомбардир: у русских способность к футболу. Поднялся. Разбита коленка, хромает, окорябана рука. Как корить такими граблями?

— Бей в глаз, делай клоуна!

— Эй, пошел, шевелись!

Еще заработал. И врезали, профессионально, аж бенгальские огни из глаз, как из рога изобилия, посыпались. И еще. Опять упал, кто-то ногой добавил, вот она — истинная встреча со святой Русью, с ее мистической, вечной имманентной народной стихией. Русь моя! Жена моя! Подоспевает вовремя начальник конвоя, отбивает у очумелой орды Женю, не дает для общей всемирной гармонии аннулировать ошибку и брак природы. Те, кто от души лупил, смешались, растворились в общей толпе зэков, трусливо разбежались.

Крепко, крепко приложил нашего Женю лагерь.

Мы шагаем на завод. Нашей колонне наперекосяк движется какая-то женщина, очень даже ничего, в самой поре. Хищный глазомер. Она останавливается, замирает под нашими раздевающими жадными взглядами. Она пережидает, когда пройдет колонна. К вахте шла, на свиданку приехала. Чья-то, небось, жена. По облику не местная, не аборигенка. Всё: вляпалась, голубочка! Озаботила, раззадорила, вдохновила нас. Ненавидим мы вас, вольняшек! Убить готовы! В оборот берем. Захват. Трам-бам-бам, понеслось, лавина. Мы стерженеем.

— Моя жена! — надсадно рявкнул неусыпный, неутомонный, вреднющий Колобок, обалдуй, белобрысый пройдоха. Оглушил прямо.

В глазах женщины недоумение, испуг.

— Милая, что ногу отставила, печенка выскочит.

— Машка, зараза, печенку-то тяжко назад вставлять!

— Красючка, век свободки не видать, шли с нами!

— Выбирай, первые красюки!

— Три рубля даю!

— На хор поставим, помнить всю жизнь будешь!

— Жинко, что с ногою, говори, сука?

— Прокурор натер?

— Протезом!

Глотки у нас лужены, прездоровы. Мы молоды, восторженны, не обличаемы совестью. Жизнь бьет ключом, избыток сил. Дружно, раскатисто поем символ веры:

— Халява моя!

— Сучка, скважина. Позорница!

— М...овошка!

— Гумозница, шмакодявка ..ева!

— Кобёл грязный! Мордоворот, лахудра. Страшнее войны!

— Тебе мерещится залупа конская!

— Трехстволка, паскудина!

— Вам на воле цена три копейки.

Хор, лик (ликовать? — ликуем), дружно, словно заранее хорошо отрепетировано, спелись, словно прошли студию МХАТа:

— В лагерях вам дадут три рубля!

— Зарастут ваши п...ы бурьянами!

Прошли. Показали себя. Мы живы, кипит наша алая кровь волной неистраченных сил. Туча, гром веселья. Удальцы. И жизнь кипит, и сил избыток. Все они курвы, бляди, проститутки продажные, позорные. Все до одной! Наплевали сучке в душу, на-

пились крови — праздник, подъем, ликует сердце. Потому что у нас каждый молод сейчас! Местные-то бабы знают нас, старательно, корректно далеко обходят колонну, чтобы не попасть в е.истос, а какая дура замешкается, случится рядом — под процедуру попадет, волна радостного уполлоканья поднимется. Рвякнем и разнесем. Мы — такие. Мы без женщин, а потому злы на них, прохода не даем. Аборигеночки видят в нас исчадь ада, отвратительных, грязных скотов, уративших человеческий облик и подобие, да мы такие и есть, отребье, расхлестанное, разнузданное отребье! Берегись! Всмотрись в наши тупые, хамские, раскрасневшиеся морды, и вам станет страшно. Мы не люди! Средний возраст где-то двадцать пять, в самом соку и мужской силе. Выпусти нас из лагеря — худо будет, разнесем всё, всех перенасилуем. Нас в узде держать надо, кто залетел в лагерь, тот должен в нем навек остаться: что Бог соединил, того человекам не разлучать.

По волнам, волнам, волнам, волнам,/Нынче здесь *и завтра здесь*.

В тот первый, памятный день наша интеллектуальная элита, шуплоногие очкарики, цвет Каргопольяга, собрались в сквере, что супротив столовой. Какую столовую начальник нам оттрохал — дворец о восьми колоннах, что твой Большой театр, не хватает лишь квадриги на верхотуре да Аполлона! Мы собрались во имя разгадки неотступного сияющего иероглифа: собор. Да, не побоимся этого слова: первый собор! Мы расчистили от слежавшегося за зиму снега скамейки, что-то подложили себе пол задницы, чтобы с ходу не схватить неприятный, мучительный радикулит, уселись вокруг Минаева, нашего Просперо, заклинателя бурь, шекспировского персонажа, сгрудились, смотрим ему в рот, как Мария Магдалина смотрела на Христа. И окладистая борода с проседью, и сверкающий шрам над бровью прекрасны, но главное — его слово, имеющее полную ясность, определенность и равноапостольскую силу, самое яркое, пламенное, прочувствованное, преподобное слово высветило для нас за мишурую, случайностью, за прагматикой события духовно-мистическое ядро, завладело эзческими сердцами, и мы всем нутром, прямо на клеточном уровне постигли, что мировая история, пасынками которой до сих пор мы являлись, круто меняет курс: и для нас расцветет алыча, и для нас взойдет солнце.

— Господа, надо уметь читать газеты!

Обжигающий глагол бьет прямо в сердце, сочные интонации нагнетают напряжение. Вот что значит живое слово! Нежданная, смелая стратегия доводов строит в наших воспаленных мозгах

высшую реальность духовного плана. Если сказанное перевести на обыденный язык, можно свести к тезису: главный и кардинальный вопрос эпохи, вопрос войны и мира, вопрос о судьбе большевизма решился. Битва битв, третья мировая война, о которой мы, ээки, пламенно мечтали все эти глухие, жуткие годы, которую выщепывали, вымаливали у Всевышнего Абсолютного Бога, которую предчувствовали, предугадывали, прозревали, ГРЯНУЛА! Наш безумный лепет, наши тайные страстные молитвы услышаны, сбывлись, стали конкретной плотью, грубой, вульгарной реальностью, историческим фактом, эмпирической, материальной действительностью. Раскройте очи ума! Джинн выпущен из бутылки. Свершилось! Корея в огне! Мы присутствуем при первом акте сверхисторической драмы. Скандально и безотлагательно, как по шучьему велению, вверглась в войну Америка, всё еще прикрывая свои вооруженные силы фиговым листом голубых знамен ООН. Вслед за США неминуемо, несмотря на оппортунизм, несмотря на мировое общественное мнение и разные подлые, лживые, ядовитые Стокгольмские воззвания, сверзится всё НАТО, все пятнадцать государств мещански предательской, торгашеской, подлой Европы, весь так называемый релятивистский, прозаический, растленный цивилизованный мир. Канада причисляется к Европе. А куда им деться? Рок выше людской воли. Настало время Богу действовать. Уже поскользнулся, уже сползает в пекло войны гигантский Китай, а за ним туда, в ад и пепел, рухнем мы, Советский Союз. И это не гадание на кофейной гуще, не химера, не фантом, не зэчья прелесть, не потенция, не метафора, а явь во всей полноте, наготе, актуальности, онтологическая реальность. Это так же реально, как дорическая колоннада столовой, изолятор, вышки, бараки. Тот же ракурс и тот же черед, что и в предыдущую войну, тот же пророчески-назидательный повтор событий. Вторая мировая война началась не в сорок первом году, как думают слабоумные, идиоты, слепые и злобные клеветники, а в тридцать девятом! Не требует доказательств, пригубите истину: в тридцать девятом! Наше внимание фокусируется на том, что в Советском Союзе объявлена скрытая, тайная мобилизация, военнослужащих не отпускают в отпуска, в лагерях, где по минимуму содержится пятнадцать миллионов, проводится негласная, но достаточно широкомасштабная амнистия. Ах вот оно что! Имеющий уши да услышит! Имеющий глаза да увидит! Амнистируются бытовики, социально близкий, благонадежный контингент, как это было и в ту злополучную войну. Так! Четверо амнистированных на нашем ОЛПе, иероглиф, расстроивший наши сердца, расшифрован, всё легко, удачно,

конкретно, просто встало на свои места, нелепая, бессвязная, ускользающая, скандально-абсурдная мозаика фактов мигом сложилась в стремительный, огненный сюжет, имеющий метаисторический смысл. Как же иначе разгадать, растолковать Шверника? Трюк? С какой это самочинной радости он великодушно подмахнул четыре прощения? Добренький? Шверник — добренький? Да он пустое место! А просто так и вороны не летают.

Большой день. Великий!

Священная война, в наидостойнейшем смысле слова — священная!

СМЕНА ВЕХ, год 1953

Как же изменился облик лагеря! Пригожая погода. Жизнь ээка беспечна, проста, семей нет. Беззаботные ээки без усталости и напролет режутся в волейбол, время за полночь, а мы играем, никто не гонит, не заушает. Отбой был давно, а нам хоть бы хны, волю взяли, белые ночи, красота неопишная, первозданная, одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса, а надзор на такое безобразии смотрит сквозь пальцы и с мудрой улыбкой. Не лагерь, а одно сплошное, плотное недоразумение: мы наглеем, забыто о правилах внутреннего распорядка, о часах и календарях. Разгулялся всюду демон либерализма, все люди — братья: и ээки, и вольняшки. Шука-то, она может добрая? Или состарилась, подлога? Зубы повыпадали?

А вы еще не знаете, какой у нас буфет, чего только там нет, любая бацилла, всё, что твоей душеньке угодно, вплоть до птичьего молока. Гужуйтесь, утрамбовывай, обжираловка. Желаете, цыпленок-табака с пылу, с жару, вам одну порцию, две? И шашлыки-изыски, сочные, ароматные. Котлеты по-киевски, вкусно-та; ромштекс окровавленный по-пушкински. Осетрина заливная. Горох сум комменто в сале. Ништяк. Соуса, запахи острые, дразнящие, все тридцать три удовольствия найдет ээк, и перестал этот изголодавшийся дурень утверждать, что лучшая рыба — это колбаса. Не жизнь, а Тарбагатай!

БУНТ, год 1954

В притче о нашем ОЛПе быстро, как в современном театре, механизированном, с вращающейся сценой, меняются декорации, опасная динамика, после культурного, хозяйственного подъема (свиньи при столовой, чудные свиньи, кустодиевские красавицы, мы за ними, как за нежными женами ходим, лелеем, на

руках носим, не надышимся, за ухом потешишь красавицу, радость — то какая за ухом почесать, встреча с тайной, что-то вечно-женственное есть в свинье, есть, есть, не спорьте! от них прямо-таки цедится аромат женственности, приводящий зэка в состояние, граничащее с безумием, сало бациллисто, пользительно для здоровья зэка, ножки дьявольски женственны, туфельки! позже Бирон будет уверять, что со свиньей, как с женщиной, жил, простительная слабость в условиях лагеря, ну и с козой, разумеется, жил, задние ножки в валенки, хвостик в зубы и — пошел, ная-риваешь, не онанизмом же заниматься, эпатаж в духе Толстого-Американца, вариации на ту же сомнительную тему, мир не меняется, Толстой-Американец, друг, шафер Пушкина, воспет Грибоедовым, Толстым, многие народы, чуткие к мистике, не едят свинины, тотем, предок, так по Фрейду, читайте внимательно «Тотем и табу», человек скорее всего от свиньи произошел, а не от обезьяны; пышный ларек, прямо скажем, не ларек, а Елисейский магазин; морфологические изменения отовсюду, сами лезут, нахлынули, система теряет силу, форму, выразительность, а тут еще ликвидирован 37-й ОЛП и перемирие в Корее, конец войны, всё скурвилось) идет явная порча пристойного, благодатного лагеря, нелады, выполз гадким, вездесущим змеенышем, полю-буйтесь, паршивый сюжет, кто-то сглазил ОЛП, явный сглаз, других нет объяснений, расцвет обернулся многоликим кошмаром, ОЛП катастрофически криминализируется, вихри враждебные веют над нами, а начальство, е и их мать, в ... не дует, мышцей не ловит, растеряно и потеряно, да и как не растеряться после всех этих малопонятных телодвижений Кремля и зловещего ареста Берии, потрясшего сердца вольняшек, не успевало сверять часы со Спасской башней (вместо нормальной, внятной музыки, сумбур, бессвязный текст, абракадабра, сквозняк, весенние, свежие ветры, сквозняки истории, трудное время, дни лукавы, какофония цепей сортплощадки, закон — тайга, прокурор — медведь, когда ж всё это кончится, а на этой надсадной сортплощадке наш герой когда-то совсем было пропал), на всё махнуло рукой, дает нам поблажки, ослаб режим, неразбериха эмпирического лагеря, нельзя, не гоже так, управа на нас нужна, строжить и строжить, подтянуть гайки, в три погибели гнуть, присмотр за нами нужен, как за малыми детьми, давно пора кончать с этой поставангардной какофонией, не нашей, пора в интересах социальной гигиены дать острастку, грохнуть кулаком по столу (— Порядка не вижу! — как это отменно умел делать незабвенный следователь нашего героя гражданин майор, к концу следствия — подполковник, Кононов), а то грозная болезнь будет запущена, углубится, придется

в конце концов кинуть палку об одном конце, сеять смерть повсюду и иметь ее с избытком; вообще-то всё это мы сами себе наворожили, объективизируются жгучие, страстные мечты и безумные ночные грезы, история в конце концов ответила нам взаимностью, либерально подмигнула, *ждите чудес!* не говорите, что их не бывает, всё, всё бывает, и не только всё.

По-человечески так всё понятно, многим сильно потрафило, уже освободились; Лепин, горе от ума, пигмейский ростик, невзрачная комплекция, пружинистая, упругая походка (великий Гоголь здесь не приминул бы добавить «почти военная»), *царица полей*, пена на губах, шекспировские страсти, перерастающие в тяжелое безумие, не говорите эка невидаль, а лишь представьте наглядно это дорическое мужество, яснее представьте, здесь своя мистика, в стихах всё изумительно, возвышенно и прекрасно до гениальности, могучий калибр, сверхъестественных размеров, сборит Алексева, почти как у Рокотова (почти! почти не считается: Рокотов вне конкуренции), мужества Лепину не занимать! и никакому коварному адвокату дьявола, с иронией, сарказмом, растлевающими вся и всё, не отнять подлинно готической славы! к чертям собачьим все лукавые эвфемизмы! обрезан, умно, аккуратно, с большим искусством, ювелирное, филигранное, колдовское исполнение, девочки, до чего же это красиво! уссысья! тебе мерещится залупа конская! в головке концентрируется высшее начало жизни (Шопенгауэр, Стерн, опять же Бергсон, так горячо любимый Женькой Васяевым, последняя любовь, всё еще не выбарахтался из Бергсона), длинный и красный, для жизни опасный, женщина любит, когда он стоит (трамвай? сухостой и его темные тайны, включая серьезную, грозную опасность для женщины, когда в захватывающей, крутой схватке Божий дар всё крушит, превращает в кровавую яичницу, определенно разнесет верхушки легких, тут медицинский факт и поэтому двух мнений быть не может), в крови мятеж, огонь желания, *le pin*, сосна, вознесенная выше он главою непокорной Александрийского столпа, Фарроса, чертовские муки плоти и тоска по дионисийской мистерии, болезненное нарушение гармонии души и тела, их жесткий конфликт, победа духа над плотью и назойливым, необузданным сухостоем (дух сам по себе, свободен, силен, тело само по себе, маячит, живет своей автономной жизнью, но ведь грешит дух, душа, а не тело, тело безвинно, как же всё это свести воедино, чтобы не было противоречий?) чуть что — прильет яйца к нарам (всем и каждому в отдельности уже известная историческая картинка), он такой, такой, и не боялся ни с кем стычки, удар держит, с ним держи ухо востро, лучше с ним не связываться,

изметелит, заушеницу увесистую врежет или вцепится вам в задницу, еще хорошо, если в задницу, а то и в другое место, помнить будете, обучен рукопашному бою, натиск (и горе побежденным!), в гляделку вас запросто переглядит, чего стоит его безумная выходка, налетел шалым вепрем на начальника ОЛПа, мы стеною за любовь, но это ни в какие ворота не лезет, все ждали, что ему крышка, полный п.дец, воткнул БУР, а то и новый срок корячится, а получилось — хи! да это просто чудо! Ой-ля-ля! — сказал бы в этом месте Кузьма; подумать только, вместо законного БУРа Лепин преспокойно по ворошиловской амнистии вышел на свободу, *хитрожопый!* что верно, то верно, никуда не деться от этого интересного словечка, на себя одеяло потянул, уже за воротами ОЛПа, уже недоступен силам зла, над нами смеется, учит жизни, поучает, сколько надменности и чванства, говорит, что и нас скоро освободят, *вас здесь нет*; а нас завидки берут, нетерпение, болезненное, еще как дерет зависть, скоблит, свербит, донимает, никуда от этого не денешься, поди человек, подлю устроен! оказывается, у Лепина всего было, ну, хитрожопый (не уйти никуда от этого меткого слова)! пять лет, детский срок; выходит, его *ГБ всерьез не принимало*, так, случайный гость в лагере, дрянцо с пыльцой, барахло с залысиной. Да, изменилось наше лагерное сословие, много людей, малосрочников, бытговиков, отчалило от нас, слиняло по ворошиловской гуманной, запомнившейся амнистии, введены зачеты, богатые, сочные, щедрые (слава ГУЛАГу, внимательному к чаяниям эсков! И еще раз слава! Синица в руках), поредело интеллигентское кодро, не с кем стало словом перемолвиться, заскучаешь, сиротеем, шатание умов, еще вчера здесь пышно цвели и благоухали розы, лагерь цвел Гладковым, Лепиным, Окунем, Окуневской, Туган-Барановской, приснодевой Верой Карташевой, где всё это великолепие? кое-кто из фашистов, Гладков, Окуневская, Окунь реабилитированы, вернулись к жизни мышшей беготне, окунулись с головой в неведомое нам житейское море с его рифами, бурями, всё другое, их души отдыхают от лагерного мудозвонства, параш и прочей мороки, по Москве запросто шляются, шагать могут, куда глаза глядят, петь, орать во все горло: воля! они отдыхают душой, троллейбусным билетом подтираются, мечта поэта! нашего Колобка! этот прощелыга говорит, что ни разу в жизни не видел троллейбуса, хотя объехал весь земной шар, по волнам, по волнам, нынче здесь, завтра там, прямо Одиссей, но без неприметного и важного обрамления, Пенелопы и Телемаха: как так, неужели в других странах нет троллейбусов, или их, чертей окаянных, пьянь беспросветную, не выпускали на берег. Мы же — пасынки фортуны, нам

досталось облизнуться, и мы взираем на них, новых вольняшек, сделавших нас сиротами, как на предателей, ренегатов, испытываем иррационально озлобление, на весь мир Божий озлоблены, это настроение весьма заразно, подл, подл человек.

Параши, параши, как шмели гудят, волю сулят, вспомним, какой у нас буфет, чего только там нет, даже птичье молоко в избытке, курорт, не лагерь, волейбол, шахматы, киношка два раза в неделю, на днях нам повторно показали классный трофейный фильм «Дорога на эшафот», и мы его хорошенько рассмотрели, не спорим, артистка, играющая главную героиню, Марию Стюарт, красива до боли восторженных глаз, но у нашей Веры Карташевой буфера, символ угодий плодородия, пышнее, с размахом, а *фюзеляж послаще* — выражение Алексева, боевой летчик, Коккинаки, вся грудь в боевых орденах, ас, Герой Советского Союза и Лука Мудищев, их, наших соколов, терминология, думается; у доверчивой Зойки наглее, поинтереснее изгибчики, замысловаты и на все вкусы, не говоря о гудке, точнее, пламеннее, гремучее женственность, Зойка чудо из чудес, витаминчик, жрица секса и любви, актуальная бесконечность, Кантор; хороши у нас бабы, всё так, ну, не то что у нас вовсе рай (а где рай? на земле нет рая, и мечтать о нем нечего!), а живем вполне терпимо, комендантский ОЛП — цветущий оазис (был!). Дай Бог, чтобы во всех лагерях так эски жили и не тужили, чтобы у всех были такие зачеты; у нас, хотите верьте, хотите нет, один к трем! Но вот *черная весть* (повторяем для тех, кто не верит в нашу мистику), и эта весть, страшная, стопудовая, меняет напрочь всё, как обухом по голове, мы смущены (знамение времени!): наша сияющая звезда, несказанно стройный, ладный торс, изящный, чудной стати, фигура что надо, и быстрой ножкой ножку бьет, будоражит и заражает нас, эков, эмоциональной энергией, она, приснодева, Вера Карташева, роскошногрудая недотрога, гордые, соболиные брови, сочный нецелованный рот, гордое сердце, не сердце, а камень, нерушимая стена, неприступная крепость, яростное и неослабевающее сопротивление лобому поползновению мужчины, непробиваемая линия Маннергейма, воинственная девственница, если и Афродита, то не земная, а сугубо небесная, Восхитильница, свет неземной, ускользящий материал мечты и сеансов (едим ее, в академическом богословии это называется «похоть очей», а у нас — «е..ть глазами») услада (кто бы мог подумать! да это просто издевательство над честной, чистой, святой мечтой ээка, и сердце ээка с этим не примирится!), пала, теряет девственность, рухнул Храм. — Верка, в натуре, как ты могла? Солнце погасло! Свинцовые, тяжелые тучи, дрянь страшная, заволкли небо, то самое

беспредельное, сизое, северное небо, где мы, разинув варежку, запрокинув голову, балдели, а некоторые даже умудрялись вывихнуть челюсть, а как ее, челюсть, болезненно обратно вставлять, опытный хирург нужен, тихий ужас, своими честными телесными глазами при определенном ракурсе и прищуре видели огромный Сириус (*воля к чуду!*), напоминающий не то сигару, не то светящийся божественный фаллос, новую, смыслонесущую Полярную звезду-гиганта, научно никак не объяснимую (астрология наука не ахти насколько точная, произвол, мистические волонтаристские заросли начинаются там, где дело доходит до интерпретации небесных данных, к смыслу нелегко пробиться, когда взираешь на небо, теряется напрочь релевантное восприятие того, что старик Гегель именовал «наличным бытием», его, его блестящая терминология, удачно переведенная на русский, не на один язык так хорошо Гегель не переводится! противоречивым, темным, путанным; но что-то в астрологии есть, астрология исходит из продуктивного, мощного постулата: вселенная есть единый организм), эта звезда накрылась кое-чем, то бишь тучей, причуды природы и погоды, где наша звезда была, Сириус в виде сигары, там, простите поэтическую вольность, ... вырос, семена зла обильной горстью брошены, посеяны, вышел сеятель сеять, сами, сами посеяли, все мы в глубокой, активной жопе, отлучены от Неба, смачно плюет в нас дождь, плюет в наши души, а в душах шевелится, с боку на бок переворачивается вопрос, а было ли что там, в небе? может, грубый обман зрения? самогипноз? не фантом ли, зачаровавший наши души? может, никакого такого Сириуса и не было?

Началось, поехало с орехами, плохо, плохо стало на ОЛПе, космические ветры и перемены, провал, крутое нисхождение, *воля к бездарности* (Бердяев), пошлость, расхлябанность, квелисть, плюрализм, безмудость, вновь меняются жизненно важные скрижали, сколько можно! сумерки густеют, банальная проза, захватывающая, нарастающая, смурная муть, вязкость, мутно небо, ночь мутна, на душе ой как х.ёво, и это всё из-за Верки! На глазах идет и очень приметным образом коррозия, все кувырком и через жопу, ОЛП скурвливается, актуализируется зло, страшно, опасно, как в 49-м году в е.анном карантине, а из карантина в наш лагерь, то бишь на ОЛПе-2, Женька вылетел, как на светлый праздник с куличами, а этот пасхальный кулич 1949-го года поставил легко ранимому герою могучий, горячий, страстный пистон, солоно, туго пришлось, со страхом и трепетом подходил к вахте, где начиналось, бей в глаз, делай клоуна, ссыте на него, он сумасшедший, и каждый норовил демократическую пи...лину

залепить, фитилил, вконец задроченный, жареный петух постарался, крепко поработал, поштопал, после махрово-яркого цветения и триумфа Бутырок, мимолетное, преступное, незаконное, интенсивное счастье, ночи Бутырок, ночи бессонные, ночи безумные, штукатурное небо, а утром другое, слияние сакральное с сердцем мира, смелые, откровенные, неистовые речи о войне! этап, лагерь, здоровая подножка, полный крах, бледная немочь, хоть е.и, общее посмешище, приземлен, трудно только первые десять лет, а потом человек привыкает, студент, не темни, темная ночь, не спи на ходу, закатай ему в глаз, глаз не п...а, без глаза жить можно; почему-то всякий имел внутреннее предрасположение, а глянув на занюханного, затюканного Женьку, живулю мишень для этой цели предназначенную, испытывал нечто подобное естественно-рефлекторному позыву, ясно выраженному физиологическому желанию прогуляться по мордасам, и Женька не раз схлопатывал по жидкому хоботу и по морде; однажды (это было всего лишь однажды, впечатляющая емкая метафора, хорошо запомнилась, к этому случаю подтягивается и стягивается весь лагерь) нашего нелепого героя чуть вовсе не уделали, забили бы насмерть, если бы не начальник конвоя, начальничек, носик-чайничек, спас бедолагу; затянулась по непонятным причинам на год лагерная прописка. Вот так и сейчас того гляди что-то подобное развернется, жди, ночью работнули брюки, новые, мать к освобождению из лагеря прислала, с зачетами немного осталось, к концу года должен выскочить из лагеря, если всё пойдет гладко, брюки прямо из-под спящего дернули, заспал, да такого вообще в этом бараке, где механизаторы, не было, почему именно у меня и со мною такое случается, что ты будешь делать, везет нашему Женьке, как утопленнику, именно ему перестало светить, фортуна подянку подбрасывает, того гляди посылку помоют пока ее до барака несешь, да и в бараке могут за милую душу раскурочить, заявятся орлы боевые, те, кто право имеют, не будем воровать, только брать, брать! всё честь-честью, снова-здорово подул ветер, холодный, северный, не расслабишься, мамочка, роди меня обратно, почему, как любит говорить Бирон, я не умер маленьким? опять лихва Африки с Индией, где вечно пляшут и поют.

Поволокло по кочкам, грубая и реальнейшая реальность. А куда денешься? Не в каптерке же держать продукты, отвыкли, обленились, да и бесполезно: всё одно, что искать рифму к слову *окунь* или презерватив штопать (так витиевато выразился наемный дерзкий Колобок, славный пиит), безотраден жребий, везде достанут! Сам принесешь, возмите, ради Бога, сохраните жизнь, такой глупости, как в карантине, больше не выкинет, ученый.

Наше вам с кисточкой! Любуйтесь. Наглядно, очевидно. Стоит вспомнить, свежий пример, сырой, голый факт без тени тенденции, нудящий, настырный, е.ущий, краски не сгущаем, чего их сгущать; и так хороши. В самом темном углу подвала электростанции есть эдакое тихое, укромное местечко, специально оборудованная лежанка. К кому приезжает на свидание баба, договаривались с конвоем и туда бодро направлялись. Лучше, чем комната свиданий. К Куцику на свидание пришла жена, та самая-рассамая трескоедочка, Нинка. Не раз уже бывала, дорожка нахожена, известна, проскользнула тенью, мышкой, не очень-то проскользнула, мы глазастые, глаза у нас завидушие, завидки берут, и нюх у нас, как у охотничий собаки на дичь, а всякая баба и есть для нас желанная дичь; всю ночь провел Куцик с Нинкой, утром в душ пошел, возвращается к жене, а она ревет, избита, туго, синячище под глазом. Спрашивает: — Было? Плачет, слезы в три здоровых ручья, *было*. Кто? Не ведает. Бил, зверь сущий, ломиком поливал, беспомощна, боялась даже кричать, поймают, вышпот. За связь с законным мужем могут запросто выслать. Вспыхнул, порох, выскочил из подвала Куцик, задыхается злобой, белый весь, белее белого, цыганский горячий закон в молодой крови, а Колобок, театр скомороху подавай, большой любитель ярких зрелищ, хлебом не корми, расцветает, а на работе это ленивый, лукавый, тупой раб (три дня дымогарные трубы чистит, а Ульманис за ночку!), не преминул мигнуть, дал точную натырку: — Колька! Куцик ослеплен, в парах иступленной злобы цапнул решительно шабер, к Малышеву: — Всё, сука позорная, отжил! а тот за дверь и на вахту и был таков, возвращается с начальником конвоя. Мол, на станции баба, а его чуть не убили, за правду мог сильно пострадать. Вообще-то начальство на всё такое и эдакое безобразие стало смотреть сквозь пальцы, сошло и Куцику, и Нинке: никуда не уехали, а могли бы! В прежние, классические времена непременно по шапке дали. И — крепко. Начальство сплошь да рядом трусливо капитулирует перед наступающим, обнаглевшим, развязным эком, как перед новой, восходящей Истиной. И нечего шужерному Куцику возмущаться, голосит, что сука позорная, Малышев, на преступление его толкает, пусть лучше вспомнит (да не так давно это было! вчера!) и помнит всегда, и днем, и ночью, как он обработал старуху-стрелочницу, впусившего замерзающего странника, как Спасителя, а нынче творится грозное возмездие, притом с внятным, очевидным, педалируемым, педагогическим акцентом, вот так, пусть посредством Малышева, и пускай Малышев — сама бездарность, сама подлая подлость, хвастает, я такой, *сержанта убил на ...*, в

подлунном мире осуществляется отмщение. Но мы не воспринимали это безобразие как возмездие, а лишь как одичание и общее погружение во тьму. (Пошлятина, грязь, грязь, Адонис боялся свиней и был ими растерзан; заголимся, *Бобок*, при Сталине такого не было на нашем благословенном ОЛПе, и не могло быть, да и цены при Сталине снижались каждый год, не забывайте.) Как мы откликнемся на вызов судьбы? Где упования наши? Авось перебежмся. Перетерпим невзгоды и непогоду, не впервой, рассосется, как рассасывается порою смертоносная опухоль, утопающий за соломинку хватается. Только бы зачеты не отменили. Зачеты в нашем лагере хорошие, льготные, эти зачеты нас вовсе искариотили, упираемся на работе, радостно и как проклятые упираемся, из кожи лезем.

После амнистии некому лес пилить, начальство ликвидирует ОЛПы, людей переводят к нам, на комендантский. Опять стечение обстоятельств! Себе, глазам не верит: уж с Сашей не чаял встретиться, и вот она, ометчанная встреча, Саша такой же, жердистый, усы стали пышнее. Это же надо Саша!.. Праздник. Именины сердца. Страшно обрадовались. Как летит время! в глазах рябит. Сашу взяли где-то в конце 47-го, сколько лет, сколько зим, с тех пор не виделись, в 49-м, издали, не в счет. Долго судьба разнила их. Надо же! Встреча наконец-то состоялась, эх, тряхнем стариной, славно чаевничать, по душам поговорить (Как Рита? Что-нибудь о Кузьме слышно?), как это хорошо, словно не расставались: — Во что веруешь? Языками зацепились, неисчерпаемость тем. Хотелось душевно посидеть, не получилось. Саша — великий, вечный спорщик, и беседа сама собой уклонилась от первоначальной лирической задушевности. И вот уже пошли, поехали не тары-бары-растабары и разлюли-малина, Саша рассказывает, что всю дорогу на общих (видимо, и работу на электростанции он относит к общим работам, разумеется, вкалывать кочегаром, лопатить, это не пряники перебирать на подсобном хозяйстве), чай остыл, забыт, не до чая. Вдвоем в курилке, Женька и Саша, ночь летит черным вороном, бесшумно, ночное сознание не адекватно дневному, трезвому, предел безумия, кошмар, барак мирно и безмятежно спит. Говорит, шпарит Саша, наскок, нахрап, вдохновенно, нервически дает свечку, лихорадочный блеск глаз, чуть ли не с пеной у рта, вот таким был Лепин (не в уборной, в уборной он отключенно-геморроидальный, а когда пел Ирке), при всем разящем внешнем различии, Пат, орясина, и Паташон, и при отличии характеров, ни в коем случае не двойники, есть что-то неуловимо общее (оба имели склонность к завиральным спиральям и выбросам, оба были большими почитателями Гегеля,

философия для них была жизнью, с «Наукой логики» не расста- вались, под подушкой кирпич держали многие годы, и эта душе- спасительная книга расширяла их умственный горизонт все годы лагеря, оба безумно влюблены в эчек), полон напора и жизни, здесь и роскошная искренность, и вера, захлебывающиеся, ли- кующие интонации, тот же Саша, узнаю Сашу, трогательно верен самому себе, своему характеру, неправдоподобному, полон оше- ломляющих пассионарных порывов, не изменился и на йоту, страстный, одержимый утопист, идеальный замысел о лагере, чистейший идеализм, экстремист, русский максималист, чумная голова с патологическими загибончиками, граничащими с бесов- щинкой, опять в ней куются громы и молнии, есть, есть бесов- щинка в закрутках, вывертах, и побег его — абсурд, болезнь мозга, все так понятно, когда давно, чуть ли ни с детства знаешь Сашу. Наш герой крайне впечатлителен и чуток к живому слову, а тут самое подлинное горячее слово. Бред, юношеский, завиральный (Саше катится двадцать седьмой годик, зрелость), паранойный, тифозный бред, этого не может быть; ночь, бдение, они одни в курилке, взволнованный шепот Саши, *лагерь готов к восстанию*, сигнал к восстанию взрыв котла на электростанции, бригада лесорубов по этому сигналу нападает на конвой, разоружает, после взрыва останавливаются все объекты, а лагерное начальство устремляется на электростанцию, чтобы всё увидеть и своими гла- зами, понять, хвосты накрутить, так всегда бывает при крупных авариях («тут-то мы их»), и — арестовывается; лесорубы нападают на попок, что на вышках, освобождают лесозавод, электростан- цию, радикально, дерзко, смело. (— Лебедь, всё выверено до сантиметра! Главное, внезапность, — шепотом, горячим шепо- том, — успеть порвать связь с Москвой, контролировать теле- графные, телефонные линии. Кто в лагерях? Армия, разбившая Гитлера, великолепные кадры, прошедшие Отечественную войну. Кто на вышках? Мальчишки с тридцать шестого года. Они разбе- гутся, как зайки, при первом же выстреле, а нам, ээкам, особенно двадцатипятилетникам, в полном смысле этого слова нечего те- рять, кроме своих цепей.)

После захвата Каргопольлага движение перекидывается на со- седние лагеря, сияющий, дерзкий путь, восстание растет лавино- образно, как снежный ком. Север — сплошные лагеря, в которых в основном двадцатипятилетники, это — динамит. Цепная реак- ция. Перерезается ветка Котлас—Воркута, а за Воркутою весь Се- вер наш, в наших руках, тепленький. Объявляем об образовании независимой Воркутинской республики («или что-нибудь в этом роде»). Не следует особенно рассчитывать на «этих засранцев, что

за океаном», но оружием они помогут. Оружием, продовольствием (— Мой лебедь, слушай внимательно, реальный план, простой, четкий, ясный, если смотреть на него непредвзято, глазами, не замутненными рабьей идеологией, глазами смелыми, безцензурными. Восстан ие — высшая форма здоровья и жизни! Оставь бесплодные мечты о воле. Риск? Без риска ничто не делается. Кто не рискует, тот не выигрывает. Гарантии дает лишь страховой полис, там с гарантией. Если мы не способны рисковать, чего мы стоим? Значит, мы губошлепы, шваль, шобло-ёло, шантрапа, жалкие трусы). За последние годы проделана колоссальная работа. К выступлению готово несколько ОЛПов. Правильно и разумно будет начать с комендантского. Революции начинаются и побеждают в столицах. Амнистия слегка спутала карты, но и она пошла на пользу делу, всё нам на руку, одно к одному, нужно уметь оседлать обстоятельства и дьявольский случай. Из лагеря выметена к чертям собачьим всякая шобла, болото, серость, остались серьезные, сильные люди. Нет, это не революция, не народное движение, а восстание рабов. В Джезказгане, в Тайште, на Воркуте были восстания, провалились, знаю, но у нас серьезнее, лучше подготовлено. А легендарная 501-я строка! За нами дело. Мы учили их опыт, их пенки. Мировой опыт свидетельствует, что всякое восстание есть авантюра, наглость, абсурд. А Октябрь не авантюра? Еще какая! Только победившее восстание считается чем-то большим, чем авантюра. Победим, историки найдут десять и больше причин, обеспечивших нам успех и победу. И одной из них будет отличная организация. Слышал о движении на 37-м? Саша начал рассказывать о движении на 37-м, о штурме санчасти, где сурово забаррикадировались воры, о взятии Бастилии и о том, что только успех привнес ощущение продуманности и серьезности происходящего, а пока было неясно, в чью сторону качнутся весы, всё казалось сумбуром, бестолковщиной, обреченной на провал. Штурм, блистательная победа! ОЛП очистили от воров в два счета! ощущение внутренней силы и правды, победа на Куликовом поле, за этой битвой следует неумолимый подъем Москвы и национального самосознания, успех за успехом, Иван III, Иван IV, пали Казань, Астрахань.

Ночь летит. Они в курилке. Бред, сумасшедший дом, максимализм, тот же большевизм с его неукротимой энергией, Саша всё тот же, верзила, не изменился, опять утопия и высшее отречение от реальности, бред сивой кобылы в лунную ночь! (— Ну, лебедь! — торопит Саша, это будет этично! Если не мы, то кто? так будем верны идеалам юности, совести. Станем тем, чем мы есть и должны быть. Душу за други своя. Руки на меч, как когда-то

говаривал Кузьма. Ой-ля-ля — звук забытого гимна! Кто на смерть смотрит смело, того пулей не взять!) У Жени пошли в ход квадратные глаза, бредятина, чистый вздор, чад (каких только закидончиков не рождалось на нарах в чумных головах эков, и хитроумная теорема Ферма, и 10-я глава «Евгения Онегина», и вторая часть работы Ленина «Кто такие друзья народа»)! Осталось довоплотить на лице выражение решительного отказа от сюжета, не получалось, очень внушаем, его сердце было, как всегда, двоящимся, от речи Саши, энергичной, заразительной, он пришел в приподнятое настроение, ощутил беззаботный восторг, всё! всё! сдаюсь! хотя такое отнюдь не соответствовало его вялому темпераменту, вялотекущей психозфрении, вечному, темному, тухлому, гамлетовскому манихейству; всё же собрал в вялый кулак жалкую волю, как когда-то на следствии, выдал оппортунистическое, окончательное, категоричное *нет*, на одном долгом и судорожном, как Чейн-Сток, выдохе (— Саша, я не ишу авантюру на хобот, всё это сильно за пределами разумного, а я хочу держаться и придерживаться партии здравого смысла. Очнитесь! У вас ничего не получится, дохлое дело. Только дров наломаете. Саша, я — пас! Саша, вы все с ума посходили! Это авантюра, бесовщина, откажись! Вы не знаете, не чувствуете комендантского ОЛПа. ОЛП погружается во мглу и мрак, у меня недавно украли штаны, из-под спящего выдернули, Карташева, славная дева, слышал её историю, а ей до выхода из лагеря оставалось с гулькин нос, срок уже отбарабанила, Вера — само совершенство! девушка дивной красоты! и — пала, дева чистая, благородная теряет невинность, ужасно! не случайно, уверяю, ее падение это не случайность, а метафора, в которой слиты в единое и неземная идея, идея абсолютной чистоты и невинности, и страшный, пошлый лагерь, Вера это волнующий символ, символ мутнеет, муть, муть, я за всё и за всех в ответе, за Веру, я ее *лицарь*, за лагерь, история лукаво и бессовестно нас предает, смеется над нами, мутна, мутна вода, мы вне царства абсолютной случайности, игровой кости, а во власти дьявольской тенденции, я её не могу объяснить принципом причинности, но чувствую всеми фибрами души, надвигается оно, страшное, мрак, всё захвачено мутью. Саша, остыньте! Остановитесь, пока не поздно. Саша, вы не имеете права! У нас отнимут зачеты. Будет хуже, даже если вы победите, но вы не победите, тем паче будет хуже, так хоть к концу года по зачетам выскочим). Жене показалось, что настроение Саши сразу рухнуло: Саше стало невыносимо скучно, когда он услышал столь категоричный отказ, пробормотал что-то непонятное, мол, является единственным зрячим среди слепых и легче верблюду пролезть

сквозь игольное ушко, чем докричаться до интеллектуала, пикейного жилета, редкая способность ничего не слышать, не видеть. Более внятно, как бы ни для кого, *в сторону*: — Чего стоит наша так называемая интеллигенция? Одна болтология, пикейные жилеты, ля-ля-ля, ООН, каши не сварить, Чернышев прав, с блатными легче найти общий язык. Саша не договорил, поперхнулся. Тут — такое! Загремела дверь барака, в нее что есть силы лупили, лупили ногами несколько человек одновременно, на секунду-две дверь смолкла, снова загрохотала, в бараке пробудились, смотрели растерянно друг на друга, сердца наши ёкнули (— Открывать? — спросил Савич), ясное дело, открывать, так стучит только тот, кто право имеет. Знали, что это не проверка, не надзиратели, надо открыть дверь и быстро, уловили мы внутренним ухом первые раскаты грома, недобрую транслистическую поступь Судьбы, гулкие, чугунные шаги командора, запахло жареным (— Открывай! — сразу несколько голосов), не мешкай, открывай и быстро, покоряться и уповать на милость; дневальный с опаской побрел открывать дверь, резко повернул выключатель, зажглись лампочки в середине барака и у печки; снял крючок.

Ввалились.

Их несколько. Мы их не знали. Мы сразу распознали, что нетрудно при набитом глазе, на ОЛПе этой публики в изобилии не было, появились в самое последнее время: *воры*; впереди — ему на вид лет восемнадцать, откровенно безусый мальчишка, возраст Жени периода Лефортовки и Бутырок; по всем внешним приметам у них козырной, на нем нелагерное, шевиотовый костюмчик с иголочки, темный, новенький (— *Дипломат*, — обозначил Колобок, мастер красного словца, приклеилось сходу), рубаха не заправлена в штаны, «*на показуху*» (принято, форма у блатных), ушанка, мохнатая, лисья, огненно-рыжая, новая, уши ушанки опушены, завязки игриво болтаются, нарочито-мрачноватый шик-блеск с отлетом, тенденциозно рвущий серый лагерный контекст. Этим когда-то грешил Гладков, ходил по ОЛПу, грудь колесом, высоко держал голову, не в лагерно-бушлатном затрапезе, не в телогрейке, бушлат-то 2-го срока вообще ни разу не надевал (не чета нашему герою, эх ты, чучело гороховое), а, как вольняшка одет, в элегантно пальто, на голову напяливал колоритный, фальстафовский, фасонный пельмень, чуть ли не с пером, прямо-таки Рембрандт с Саскией на коленях, так сказать, подавал себя, было сразу видно и всем очевидно, что пред вами человек искусства, богемы, атрибутами внешности и одежды противостоит черни, мешанству, зэчьей серости. «Я верую в пророчества пиитов» — сибаритская улыбка, одной рукой придерживая барочный пель-

мень, белогвардейский голос, белогвардейские интонации, немного вкрадчивые, склоняется к Женьке Васяеву, а наш герой полностью пленен его энциклопедической эрудицией, белогвардейскими интонациями речи, настоящим московским выговором, приятны для уха все эти чуть шепелявые *шиги* (вообще-то Gladkov не коренной москвич), памятная картинка (память легко стирается), тогда они еще были очень очень дружны, ледниковый период в их отношениях наступил чуть позже, когда Женя по глупости хватанул, как героически вел себя у следователя, сборол безобразника Кононова; пел, пел Gladkov, непрерывно читал свое, только что испеченное. Нет ничего удивительного, что в лагере Gladkov изображал из себя нечто эдакое: он же был заядлым, одержимым театралом, неподражаемым дизайнером страстей человеческих, режиссером в нашей культбригаде, яркий, могучий, бесспорный талант, а талант надо беречь, лелеять, особенно в условиях лагеря, и прославленного небожителя берегли, как моли и умели, сберегли! и самому шустрить следует! втирать очки, быть и лицедеем в жизни, Шекспир везде и всегда, читали Гамлета? В лагере одно, на воле другая поза, другая маска, опять всё очень искренне, всё должно быть по Мейерхольду, опять театр, маска быстро к лицу липнет, прирастает, на воле не обращал внимания на свою внешность, не менял подолгу гардероба, замшел, ходил в мягках, старых брюках довоенного покроя, чуть ли ни спал в них, неряшлив, а был еще не сильно на склоне лет, хотя быстро катился на саночках под гору, презирал общую, мощную, грозную волну моды, всякие узкие брюки. Собственно говоря, будем помнить, филейная, ликующая часть жизни Gladkova падает на лагерные годы, никуда от этого не денешься, на каждом ОЛПе баба, ждет, волнуется, готовится к встрече с великим человеком, автором бессмертной комедии, воспалется воображением, чудное время, стихи легко пишутся, сами из-под пера выскакивают, экстазы, поэтические запои, живется легко. Моцарт, гуляка праздный! Всего этого у Gladkova в лагере было и в огромном количестве, не занимать вдохновения, здесь написал он всё лучшее, а выскочив на свободу, Gladkov хоть и продолжал блистать пером, но победителем себя не чувствовал, сдал до неузнаваемости, его слово подменили, исчезла воля к гениальности.

Уверенно прошли на середину барака, к столу.

— Мужички! Вот, блядь! — не плетутся слова, застопорилось, заклинило, заколодило. — Вот, блядь! — это он, мальчишка в *дипломате*, пытается речь сказать, получается, не его жанр, опять *вот*, опять *блядь*, без пяти заржавело под черепной коробкой, вакуум, потерял слово, мысль, а звук голоса какой-то искусствен-

ный, хрустящий звук, хрустит этим *вот*, чуть лающий звук, как из репродуктора или то попугай заскрежетал: — Вот! — замолчал, совсем заело, увяз в этих *вот* (в другой ситуации на эти бесчисленные *вот* Митя непременно откликнулся: — Дали ему год, а он отсидел двенадцать месяцев и досрочно освобожден); здоровье что ли надорвано, следует приступ прямо чахоточного кашля, лицо исхудалое, чахоточный румянец, вынул из порток, не подумайте плохого, носовой, ей-ей, платок, цивилизованно утер губы. Прорвало, разрешился, телеграфный стиль, поскакали вприпрыжку слова: — Завтра, блядь, на работу, блядь, — никто. Вот, блядь. Бастуем, блядь. Хватит, блядь, кровь, блядь, пить, мужичка, блядь, обижать. Вот, блядь. Произвол, блядь! Долой произвол! Нам не нужно, блядь, их генералов, что с Берия! Долой Берию! Говорить, блядь, буду с теми, кто, блядь, на портретах, блядь.

Огнедышащий дракон, дым и огонь из ноздрей и глаз, мальчик явно с норовом, да еще с'каким. Изрыгает, аффективно дрыгает. Разошелся.

Уже в иной тональности, доброжелательно, сбавил сильно экспрессию, тихо, почти ласково:

— Какие бригады?

Дневальный за всех ответил, что в этой секции бригада, обслуживающая электростанцию, спецы, грамотный, квалифицированный народ, а этот, в *дипломате*, всё же счел нужным переспросить нас, грамотных, понятно ли, что бастуем, несколько растерянных, тусклых голосов откликнулось, что всё понятно, разной, неуверенно ответили, не так, как хором, дружно, радостно гавкаем, когда начальник конвоя ритуально ставит в известность, что конвой стреляет без предупреждения.

Они ушли.

Сразу стигнул и Саша, утопист, мятежная голова, куда-то улепетнул, поспешил.

— Весьма в сапожках не пройдешь. Ну, лорды, вляпались, — крикнул Митя, замолк (лорды? из фильма «Дорога на эшафот»? Не будем до сути докапываться, не всё ли равно, как воскрешает себя и приходит к нам хлесткое, удачное словечко, откуда мы его черпаем, где эти закрома, наверняка это общие закрома, у самих у нас за душой мизер).

— Дневальный, гаси свет!

— На боковую!

— Дневальный? завопил дурным голосом Колобок, энергии выше крыши, баловство сплошное, а ему ведь за сорок, пора остепениться хоть малость. — Чего тебе? — Дневальный, принеси станок е.альный! Митюха, спишь? Митюха, ... тебе в ухо! «Мозго...

балаболка х...а, зарядит, как дождь», себе под нос брюзжит Митя, и никак не отвадишь, когда прие.ется. — Андрей? Андрей, держи ... бодрей! Мы вышиблены из своей тарелки. Пошли разные разности. Кто-то нервно засмеялся. Кто-то хитрит, говорит, что ему всё равно завтра не идти на работу, Демиденко, сосед Жени по нарам, ликующе заорал: — Забастовочка! Будь проклят Иоська Джугашвили (год назад такой выкрик был бы немыслим, хухры-мухры, как всё быстро меняется, на наших глазах рождается дерзновенное, убойное, свободное слово)! Дождались, мечтали сколько лет о сквозняках весенней лихорадки, помните громовые речи Минаева, чаровника с живописной и величественной бородой Черномора, полубог, человек огромного обаяния, импульсивно, складно, умело слагающий сагу о Данте с мистической розой, о всяких оболъстительных Армагеддонах, огненных катарсисах, мечтали о событиях, лучше ужасный конец, чем ужасы без конца, третья мировая война уже во всю пылает, полыхает, слышна орудийная канонада, имеющий уши да слышит, и мы были пристрастны, приветствовали ее начало, наши души бурно рвались к всемирной и чуть ли не космической катастрофе, громко кликали последний катаклизм и накликали на свою голову, получайте, актуализируется, онтологизируется страстная мечта. Получай на чай! А Лепин всегда называл треп Минаева «напряженной неразвитостью принципа», это так по Гегелю, неглупо, пронизательно. Словом, причалила беда. За что боролись, на то и напоролись!

Женька разделся, лег, подсунул и засупонил, как следует, под себя одеяло, сверху ловко бросил бушлат, который обычно днем вешает между нар; варганил уют, илпозию отдельной кабинки, норы, пещеры; Колобок еще долго колобродил, но Женька, нервно зевнув, отяжелели веки, ощутил позыв ко сну, провалился в сон, мутный, всё мутно, барахтается в неконвертируемых, как развесистая клочка, сновидениях, дрых хорошо, как сурок, под утро кто-то во сне ему внятно и старательно нашептывал, *творог тверже тверди*, продрог, дневальный, сучий потрох, филонит, не топтит, а бушлат на пол свалился; Женя после легкой борьбы с ватными брюками, сходу не напялишь, разучился, может, через голову их положено надевать, всё же напялил, затем на скорую руку, не снимая телогрейки, даже не засучив рукавов, смочил ледяной водой лишь нос, сойдет, *по-французски* умылся, сказал бы Бирон, во всем, что касается Франции и ее культуры, Бирон большой дока, французский знает в совершенстве и «лучше, чем Бидо» (кто такой Бидо, сейчас уже никто не помнит); неохота ничего делать, умываться неохота, опустили руки, а вот Бирон всегда прилежен, долго моется, повышенная чистоплотность, к чему?

Святые на Афоне вообще не мылись. То — святые. К свинье грязь липнет. На ОЛПе всё становится быстро известно, а Савич, уши на макушки, как всегда в курсе, всё знает раньше других, проныра, жук колорадский. Убит нарядило, этой ночью. Не тот, кто когда-то стащил Бирона за ногу с верхних нар, того давно этапировали, там попал под нож; другой у нас нарядчик, и давно; да нарядчик на нашем тихом, неортодоксальном ОЛПе не играет ключевой роли, как на других ОЛПах, так, стоит с карточками у ворот, выкликает фамилии эзков, кому на лесозавод идти, а мы отвечаем бодро и весело, статья, срок, мол, окончание срока в 59-м, затем передает эти ё.анные карточки начальнику конвоя. Всё! Вообще-то нарядчик — сучья должность. Первым делом в столовую слетаю, а там видно будет. Горячая пища, согреюсь. А ложка? Ложка — входит в главные причиндалы эзка (в Лефортовке заменяла нож, ею пайку резали). Где ложка? Где блюдет? Порылся в тумбочке, тык-мык, нигде нет, сколько он посеял ложек за эти годы, не счесть, а может, кто тиснул (— С вас целковый. Как мы с тобой живем, вась-вась или как Америка с Кореей?), ложка на месте, на тумбочке, из ничего материализовалась (— Васька, сколько раз тебе твердил, хоть кол на голове теши, не хватай мою. — Ну какая же ты сука, моя ложка. — Как твоя? Да я же за нее тебе сахар дал! Хотя бы помыл, свинья собачья. — Мыл, бля буду, мыл. — Вась, ты что, совсем меня за мудака держишь?). Жди, будет эта подлая, поганая зараза ложку мыть, вообще ничего не моет, опять вспомнил об монахах на Афоне, кто-то ему недавно рассказал о монахах, которые никогда не мылись, оставались чистыми, потому что душа чиста и безгрешна. С Колобка взятки гладки (— Пирог дадут, в обед, точно, век свободки не видать. И компот, от пуза. Рубай компот, он жирный), залился смехом, гонит откровенную парашу. Пирог давали по долгожданным, большим праздникам, 1-го мая и 7-го ноября, это всем, а на второй день праздника лишь по специальному, выверенному списку («и работать нужно, и работать дружно, и тогда пирог дадут», раз и Женьке пирог перепал, Алексеев выдвинул его на доску почета); в столовой гвалт, как в добрые праздничные дни, когда все заспятся, валят сюда в одно и то же время, чохом, стройными и нестройными рядами, *толпой неистовой и резвой*, как выразился бы Пушкин, крики, стук мисок, ячневая каша, слава Богу, горячая, в списке не отметили, можно второй раз подойти, все сыты, не ловчат. Буфет не работает, приехали с орехами, привет, поздравляю вас! А вообще-то буфет похужел и — заметно, хужеет, хужеет жизнь на ОЛПе, Окунь, Карп, статьи фашистские, освободились, а с ними исчез из столовой опьяняющий запах всякой и всячес-

кой вкуснятины, а еще недавно навстречу входящего ээка несся густой, плотной волной, приятно щекоча ноздри, аромат изысканных соусов, и мы перестали безапелляционно пулять догмат, что лучшая рыба это колбаса, расчихали прелести рыбного стола, осетрина высшей пробы и в консервированном виде хороша, за уши не оттащишь, пальчики оближешь, кое-что и теперь в буфете есть, но не то, а буфет был содержательным, и мы привыкли к разнообразию и изобилию, быстро человек привыкает, как бы разворачивается, ой, как довольны были буфетом, ну как не стоношиться с полочки, не взять ромштекс по-пушкински, амбре, вырезка; в связи с буфетом Женя вспомнил, у Минаева нынче день рождения, круглая дата, а вспомнил потому, что Минаев, как и мать Жени, 4-го года рождения, не просто одногодки, а в один день родились (астрология? между прочим, Саша и Витька Шеглов родились в один го́д и день, а что общего между ними?).

Намылился заскочить к старику, надо поздравить, надо.

Ну и — заглянул, проведаль. А почему бы не проведать?

Вот тут бы нам надо расстаться с нашим героем, навсегда расстаться. До поры до времени с ним было хорошо, а тут что-то случилось, помнит лишнее и не то, что нужно, одна психологическая загадка на другой, морока с ним, пора дистанцироваться и серьезно положить на него хер с прибором. Он как-то выламывается, непутев, стал не таким, как другие. Он всё еще возмущен Лепиным, он хорошо помнит, не память, а грязная фуза, как у несносного злыдня Бирона, да, пусть так (признаем факт, но факт мало что значит, всё дело в оценке и интерпретации, важен еще и контекст; сам факт, запомним, ничего не значит!), было, было и такое, когда весь лагерный народ возмутился откровенным предательством и сумасбродством Лепина — Гитлера бы на вас!), еще бы, Лепин, прятаться в уборной, какой срам! медитации в уборной, моление о чаше (молился, чтобы его не выбросили из лагеря! такое впервые в истории лагерей!), комлания, патология, моча явно в голову ударила, шокировал и оскорблял нормальных ээков нежеланием, упорным, упрямым, искренним, извращение какое-то; отказался Лепин выходить из лагеря на волю, волюшку-волю, о которой мечтает ээк, непрерывно и страстно, лежа на нарах (во снах все мы вольные пташки), это — слишком, прямое надругательство над нашими чувствами, клинический идиот с гигантской головой эмбриона, миниатюрным тельцем и мелкими, невзрачными чертами, геморроидальным, бесфактурным, как архангельское, серое, осеннее небо, серым цветом лица, рахитичный подбородок, следы явного вырождения, хотя бы бороду, ассирийскую, отрастил, закрыл бы это безобразие, пошла бы ему борода, борода волнует

воображение женщины, это вторичный половой признак, символизирующий первичный (опытные женщины по бороде безошибочно догадываются о мощи первичного, то бишь фаллоса, а у девчонок от одного вида бороды порой целки лопаются; вспомним «Шутовской хоровод» Хаксли, там полно увлекательных манипуляций с фальшивой бородой). Страсти по Лепину, парадоксальное извращение человеческой природы, а ведь философ высшего ранга, обещавший излечить Россию от глупости, умная нация должна учить глупую, грандиозное явление этот Лепин; мыто, немногие его искренние поклонники, знали, что в лагере оставалась великая любовь: Ирка! петля, философ в юбке, философствующая шмаровозица с 5-го курса МГУ, поразившая стрелой Амура и верхнее, и нижнее сердце Лепина (le pin), сердцем присягнул Ирке на веки-вечные, да, сердцем, есть у человека такой орган, оно значительных размеров, с залупу конскую, оно расположено в левой стороне груди и оказалось защемленным, сильно защемленным, Ирка, отрава горькая, она, она во всем виновата, нет мочи ее, зассыху, из головы вышвырнуть, тут как под поезд, как Анна Каренина, да, то сама судьба стучалась в дверь, чтобы спихнуть, сдвинуть с места свинскую, грязную русскую историю; потерял трезвость и лишился разума гегельянец, изнывал, как безумная одинокая гармонь, зрак глаза туманился, в уборной задумался (последнее время начал часто задумываться, не странно, отнюдь не странно, что на этот раз в уборной сильно, надолго задумался, отключился, стоит, на лице буддистская улыбка, представляете, а всё Ирка!); хотел, видать, захорониться, когда время к освобождению быстро подкатило, захорониться в уборной, чтобы с Иркой не разлучаться. Ланчиков, старший надзиратель, ловко, удачно и от всей души дал пенделя (— Вон отсюда!), Лепин, такой весь противенький, воробушком вылетел, не воробушком, а как пробка из бутылки шампанского, вылетел за ворота ОЛПа, энергично, насильственно исторгнут, извергнут из лагеря, увидел справку об освобождении с печатью, гербовой (— Бери и уе.ывай!), расцвел, расцвел этот сухой стручок, забыл напрочь о нас, наглухо забыл о присухе Ирке, припустил, что есть мочи, Москва—Воронеж, взмах крыла (полет!), на станцию.

Возмущение Лепиным как-то быстро рассосалось, факты потускнели в дыряво (как решето)-тенденциозной памяти, рассеялись, как туман или дурной сон, вернее, одни потускнели, а другие стали рельефнее под воздействием интерпретирующего, комментирующего, систематизирующего интеллекта, опять мифологическая стрелка сильно отклонилась в пользу Лепина и пошла, пошла, с нами его уже нет, а авторитет стремительно и круто

растет, упорно и непрерывно возрождающийся, воскресающий из лагерной пыли миф: Лепин отлично себя показал, одержал моральную (еще и в морду ловко, как верблюд, плюнул, учиться надо, каждый день тренироваться!) и физическую победу (приземлил гада!) над Шелкоплясом, Лепин, рыцарь без страха и упрека, зашил начальника ОЛПа гражданина лейтенанта Кошелева, превратив его на минуту в овощ, отлично взбодрил дракона, спас деву, принцессу, ведет дракона на ленточке, первый в истории лагерь откровенный акт гражданского неповиновения, протест, вдохновенно прибил яйца к нарам и тем самым не только сменил, деформировал пространственно исторический горизонт, но и! да, это жуткая, умопомрачительная мистика! Мистика всех мистик и магия! столкнул с места, вопреки законам естества, уже и мировую историю, чудо! а чудо есть чудо, и чудо есть Бог. Так творится Священная история (подвиг, е.ёнать, века! гневный богоборец, титаничен, колебнул вселенную, неподвижную, с ее спокойным, мощным течением жизни, а казалось, всем казалось, впереди тысячелетнее царствие коммунизма, царствию этому *не будет конца*: надо же! мы теперь смотрим на него, как на фокусника и мага чародея), началось такое, всё пошло шиворот-навыворот, пошло и приумножилось, врачей кремлевских выпустили, амнистия, распри, поножовщина в Кремле, арест Берии; наконец, что особенно важно в свете дальнейшего, выяснил свои отношения с Минаевым посредством заушеницы, вклеил крепкую пощечину, сноровисто, увесисто, паспортно и формально вроде невзначай, легкая экзекуция, а косвенно, то есть символически: за дело! залепил (Лепин умел ненавидеть, отдадим ему должное, в этом отношении был целен, в холодной злобе доходил до гениальности) как черносотенцу (эту желчную и пророческую ноту мы уразумели не сразу, а много позже), мало того, что въехал в морду, еще и (!) отлучил, вычеркнул навсегда из списка порядочных людей, проклял, естественно и разумно: не человек как таковой проклят, а его тайный образ мысли, его интимно-тайные принципы; то был смелый пассаж в пассаже в духе героев Достоевского, вскоре и мы наехали на эту главную мысль, многое стало очевидным и даже тривиальным; старый мухомор оправился после звонкозвучной, памятной оплеухи, затем не менее звучной повторной, сдобренной уместными, пусть и несколько парадоксально-курьезными заповедями блаженства (назвался христианским груздем, гриб, отметим, 1-й категории, — полезай в кузов); Лепин недомерок, мозгляк, легендарные ноги, мы успели рассмотреть их внимательно, молочко-бледные, хилые, о, закрой свои бледные ноги! карлик с гигантско-непропорциональной головой, и не

только головой, сексуальный гигант, человек будущего, ум! очень умный, аж страшно, вдруг загорается зрак, паяльная лампа, а на лице при этом застывает чванливо-надменная гримаса, намертво застывает и не сходит с лица, гадливая, сухая, черствая, отвратительная; норов, ему палец в рот не клади, откусит, вцепится, не оторвешь, вот что значит бульдожья хватка, мертвая, чуть что — залезет на нары и прибьет к ним яйца, и это в знак протеста, мощный акт гражданского неповиновения; с хирургическим спокойствием вклеил Минаеву (первый зримый признак надвигающегося всеобщего темного безумия — так вначале мы, потерянные, восприняли заушеницу, а позже всполошились и прозрели ее мистический и пророческий смысл, и вообще всё поведение Лепина в лагере теперь видится нами как некое завещание остающимся за колючей проволокой, как символ, исполненный глубокого смысла; поразительная дальновидность, поразительное проникновение в суть происходящего, в суть становящегося): Минаев, представляете, как в воду глядел Лепин, ну, проницательный, гениальный диагностик, Минаев, по Лепину, — свержага, то бишь — Союз русского народа! После экзекуции Минаев полгода валялся в стационаре, врачи у нас хорошие, не то, что на воле, чудеса творят (мы всё еще в некотором смысле, онтологическом, антропологическом, противопоставляем себя тому, что там, на воле), подняли на ноги, здоровье налаживается, пошло на поправку, теперь молодцом, живуч человек, а то дышал на ладан, влачил жалкое существование, износился весь, керосин кончился, бродил слабоумным старикашкой, скособочившись, неверной походкой, с кляпой, хвороба ишемичная напустилась, заполонила могучее, царственное тело. Женя заглянул к этому ретрограду, к Минаеву, обращаем внимание, тайно заглянул, как говорится, есть такое выражение, хотя и не очень ясно, что оно значит (где говорится? ах, да: Ин. 7, 13), *страха ради Иудейскаго* (еретик какой-то, от жизни оторвался, ничего, жизнь его скоро проучит, да за эдакую ересь полагается головой в толчок, утопить в нечистотах, как проклятого Ария; ну, погоди — допрыгается, дождетя!).

Минаев обрадовался Жене, заговорил о русской идее, о новой духовности, о «вселенской отзывчивости» русских (следовала ссылка на Достоевского, к сожалению, не было рядом Лепина, а то бы крепко дал по мозгам, пополюскал их, показал бы, что за всей этой «вселенской отзывчивостью» стоят русские имперские амбиции, словом: Константинополь должен быть наш!), о воле к всеединству и царству справедливости, Царству Божьему на земле (для Лепина это были характернейшие черты русского империализма и экспансионизма!), стал сходу набрасывать широкий целеполагающий и волевой план переустройства и обустройства

России (чья бы корова мычала, а его бы молчала; да, трагический старец, да, бывший любимец ОЛПа и бывший наш всенародный президент, всё в прошлом, жалкие потуги, его время прошло, сик транзит gloria mundi, так проходит земная слава! мы его хором слушали, соблазнялись его смелой, решительной мыслью о войне, которая вырвет нас из железных когтей лагеря, и каждый из нас на белом породистом коне въедет в белокаменную Москву, о! эти растерзанные жизнью надежды, не таким путем пошла история, паскудно, пошло-классически свернула в сторону; и не впервой такое!); начнем с земства, восстановить следует земское движение, и это движение будет противостоять оголтелому, растлевающему западничеству столиц с их негодными, лживыми, тухлыми избирательными системами; помянуты Минаевым были (при этом старик гладил роскошную бороду, за такую бы бороду прощать по городу, на это Лепин нужен, знаток и смелый интерпретатор Достоевского!) и «медные самовары», которые он помнит на каждой железнодорожной станции, то было во времена нэпа, в самоварах крутой кипяток (очень удобно! Где русские самовары, замечательные, пузатые?); сказал, что ищет новые разумения мировых событий и новые предначертания зэчьих судеб, горячим словом объяснил Жене, как и почему от него все отвернулись, шарахаются, как от зачумленного (— А потому, что я горячо и всем сердцем люблю Россию! Отвержен, изгой, изгой, и всё дело рук Лепина, его тайной закулисны, его шебутных, активных поклонников, тайных русофобов с их тоской по двадцатым годам и коминтерновской риторике, хулу изрыгают на меня, русского человека, везде лезут, лезут. Как это ты рискнул ко мне залететь? Я теперь фигура одиозная!), вспомнят, конечно, был Розанов, без Розанова не обошлось (— Если англичанин любит Англию — его называют патриотом, если француз любит Францию — патриот, а если русский любит Россию, то его называют не иначе, как черносотенец!).

У Минаева полный и непочатый короб самых свежих, сочных параш, есть и на злобу дня, и он со вкусом потчует Женю историей воровского мира, а эту историю важно и до сумасшествия важно знать именно сегодня, актуально, очень актуально, сколько лет Женя в лагере, а как-то мало осведомлен о неведомом и романтическом мире блатных и принципах его цивилизованного правосудия: на ОЛПе этой масти, сук, блатных не было (почти), комендантский ОЛП жил и развивался вне воровского правового пространства, повезло! Когда-то, в прошлом, в тридцатые годы, воровской мир был един в своем разнообразии и сложности, монолитен, цвел и благоухал, переживал свой *золотой век*, силу,

славу, величие. Нежданно, негаданно разверзлась война с Гитлером, все смешала, перемешала, взбаламутила черное море воровского мира, замутила его, внесла смуту. Воров, особенно краткосрочников, не вникая кто он, блатной или так, стручок, забирала из лагерей в армию, на фронт гнали, чем ты помог фронту, идет с фашистами война, Родина-мать зовет, и они, вместе со всем народом (со всеми народами) били фашистов, кровь проливали, гибли, а кое-кто и погоны офицерские получил, ордена. Война кончилась, как быть? Великий Воровской Закон не допускает сотрудничества с властью, а они воевали? Начальство мудро использовало противоречие между теми, кто был на фронте, и теми, кто сохранил чистоту Закона, раскололо воровской мир на воров и сук, суки — те же воры, но нарушившие Великий Закон, *ссучившиеся*, а ссучившийся проклят и должен быть убит, начались поиски и актуализация утраченного времени, двадцатых, тридцатых годов. Воры истребляют сук, а суки приземляют, ссучивают, истребляют воров, борьба миров, мастей (— Суки налево, воры — направо, остальные на месте, — это Женька слышал, помнит: их этап подвели к комендантскому ОЛПу). Людьями являются только те, кто принял Закон (вор в законе), остальные не люди, а букашки, питательная среда, фраера, мужички. (Пересылка, человек триста, пусть и триста, это мерзость перед блатным миром; вводят вора: — Люди есть? Имеющий уши да слышит: — Двое. Лезет к ним на нары, начинается токовище.) Воры — одна большая, дружная семья. Взаимопомощь. Общее имущество, великое и всеобщее братство, коммуна (— Большевики не смогли коммунизм построить, а воры построили, — отмочил как-то Олег, знаток казуистики воровского Закона; следует признать, неплохо сказано; еще Олег любил сдваивать, что вор последнюю пайку у мужика не возьмет, ну, а суки, известное дело, им Закон не писан). В тот золотой век Закон запрещал вору в лагере работать, а нынче все измельчалось, выродилось, смутное время, Закон смягчился, и вору работать в лагере не то что можно, но на это смотрят как бы сквозь пальцы. Нельзя лишь нагло сотрудничать с администрацией лагеря, быть нарядчиком, бригадиром, занимать должность, которая тебя обязывает (по своей природе) заставлять другого, вора, работать. Ну, а суки, им Закон не писан. Самое большое унижение для вора — мыть пол на вахте, это всё одно, что черта заставить держать Евангелие во время литургического действия. Никто не знает, как становятся вором, тайна, в лагере во всяком случае стать вором нельзя, там, на воле, надо совершить какие-то подвиги, чтобы тебя братство признало своим, равным. Говорится, о сложном обряде посвящения, клятвах, напоминаю-

ших обряды масонов, описанные в «Войне и мире», оглашенный к приему целует окровавленный нож, на котором и его кровь, и кровь братьев. Красиво и романтично!

Еще милая притча; живописал ее не Минаев, а Гладков, которого воры очень уважали; они вообще любили и ценили людей искусства, отдавали должное талантам; не будет преувеличением, если мы скажем, что Гладков *с людьми ел*, его одного в нашем лагере воры за человека считали, а таким высоким чином не всякий может гордиться. Итак, притча: как-то воры передавали со знаменитым тенором Петровым на комендантский деньги, солидный кус, а этот дурень, на что он рассчитывал? зажал и растратил воровские деньги, сказал, что ничего не знает, не ведает. К следующему приезду туда, на Алексеевку, его ждал нож. Однако Петров не ... собачий, а мощный талант, талант Божьей милостью, сладкоголосый тенор, затмит Лемешева; и Гладков пошел к Олегу за эту пакость мазу держать. Олег — настоящий вор, в большом авторитете, его имя на все лады склонилось в Каргопольлаге.

— Говнюк, — разорялся, убеждал Олега Гладков, — что с него взять? ну, говнюк, редкостный говнюк.

— Александр Константинович, за кого вы хлопчете? Присвоить чужие деньги, да это не только с точки зрения *вора*, но и с точки зрения просто порядочного человека никуда не годный поступок!

Все же Олег внял ходатайству: искусство любил и понимал; дал Гладкову деньги, *пусть отдаст вора*, широкий жест, альтруистический, рисковал, самую малость (деньги-то не его личные, общие, братства, утаил). Сошло. Проехало. Петров отдал деньги, отвели его за столовую на пару ласковых, словил по мордасам, пи.дюлями отделался, жив остался. Чего с него спрашивать, он же не вор, не носитель высокой, рыцарской этики.

(— Я читал ему «Балладу Рэдингской тюрьмы», рассказывал Гладков об Олеге, вот вам простой и наглядный пример торжества искусства над жизнью! Олег погрузился и весь ушел в стих, не поверите, слезы из глаз так и брызнули, просил читать, читать дальше, повторить, и как слушал! редкостный слушатель! проникновенное отношение к живому слову; воры остро чувствуют нерв произведения, беззащитны перед подлинным искусством, а само искусство в его высших и бесспорных проявлениях, что греха таить! всегда заблатнено, с удовольствием соседствует со злом, имеет крутой уклон к предательству, к измене самому себе.)

В барак вошли трое, блатные, телогрейки, новенькие, белые рубахи на показуху, форма, ушанки, ляжки болтаются (— Мужички, на вахту, быстро, быстро! Быстрее! Все, все!), и мы в тороп-

ливом испуге соскакиваем с нар, и нары ригорически закрипели, перескок, спешим к двери барака; ножей блатные не вынули, и не надо, мы подчинились сразу (— Дневальный, останься!), услышав, что ему следует остаться, Савич ястребом набросился на Ульманиса, стал своенравно и внятно трепать, чего ты тут п...й мух ловишь, резину тянешь, быстрее, там зашнуруешь (— Чалдон не русский, жопа узкий!), и Ульманис, в запарке, отбросив бестолковый, черствый педантизм протестантизма, не зашнуровав ботинок, уже летел к вахте, а там уже собралось человек триста, толпа быстро растет, прибывают люди, бегут со всех баракв ОЛПа; блатные сзади, между собою о чем-то переговариваются, ножи у них опять-таки не вынуты, но так, когда руки в карманах, впечатляет даже сильнее, так дидактичнее, внушительнее. Женька не видит за головами, что происходит у ворот ОЛПа и у вахты (— Назад! Назад! — дружный и даже радостно-ликующий вой толпы, вот оно, оно самое, о чем мечталось все эти годы: бунтующий, бушующий ОЛП — сопротивление режиму, ждали, долго, наконец-то! есть еще порох в пороховницах!), не понимает, в чем дело, почему кричат. Видит: к двери вахты спешат надзиратели, деловито, у них, как всегда, дощечки в руках (это для счета, чтобы в голове цифры не держать), последние даже бегут, нет, не так они обычно входят к нам; вид торопившихся, бегущих, испуганных надзирателей — пробудил дремлющий, древний инстинкт преследования, свист, крики, торжество (— А Васильев-то как бежал! — Вообще-то Васильев числился в хороших, справедливых и незлопамятных, это у него наш герой когда-то вырвал философическое письмо, предназначенное Рите; лапу Васильев берет, подношением не брезгует, хорошо, когда надзиратель берет, поменьше бы было честных, жить было бы легче).

— Мужички, по баракам!

Интонационно — суровый императив, тяжелый металл в голосе.

Горе-горькое по свету шлялось и на нас невзначай набрело, набедакурили, сами виноваты, расхлебывайте.

Мы расходимся по баракам. Мы горды собою. Горды веселой, легкой победой. Обсуждаем надзирателей, пересуды (— Ты так не говори, у них работа такая. На то он и надзиратель. Тебя поставь, и ты будешь. С нами нельзя иначе. — Какой ты жалостливый, да их всех повесить и на одном осиновом суку! — Хороший надзиратель — мертвый надзиратель. Все они гады!).

На сей раз на обед хороший суп и манная каша, как в детстве. Колобок клянется, что сам видел, как на кухне пироги готовили. Не для всех, видать. Где-то часа в два начальник комендантского

ОЛПа гражданин лейтенант Кошелев обратился к заключенным по радио. Никто ничего не понял. Зачем-то перечислял бригады, фамилии бригадиров. Часов в шесть надзиратели опять хотели провести поверку, мы опять выходили к вахте толпой, сорвали. К вечеру в бараке появились блатные, трое, среди них тот же мальчишка в шевиотовом *дипломате*, мы уже знали, что это старший блатной, что зовут его Седой (кличка? фамилия?). Смертник. Приговорен лагерным судом к смертной казни, он и еще двое. Бежали из изолятора на ОЛП.

— Как, блядь, жизнь, мужички?

Седой достал пачку папирос, сделал широкий, раскованный жест, стал предлагать желающим. Никто не брал. Не решались. После настойчивых и повторных предложений несколько человек взяло по папиросе, вообще-то этим и ничем нас не удивишь, чего только не было в ларьке. Закурили.

— Мужички, — раздувал пары Седой, как бы впадая в энцефалитное бешенство, распространил вокруг себя разящий дух иступленности и мощное магнетическое поле; в глазах запрыгали злые, толстолапые тигры, затем глаза потемнели, помутились, стали непроницаемые: — Не мне, блядь, объяснять, почему мы, блядь, начали. Доле нет мочи, блядь, терпеть. Произвол, блядь! Землят, отнимают здоровье. И всё, блядь, — шито-крыто. Корнейко, блядь, в изоляторе трех человек удавил своими руками, блядь. Сошло. Скотину, блядь, и ту жалеют. А зэк, блядь, — дохни. Наверно, забыли, блядь, когда последний выходной был? ... ли молчите? Правильно, блядь, я говорю?

Мы молчали (вообще-то это не про нас, Корнейко кого-то и когда-то задушил, но это было давно, блатных Корнейко ненавидел лютой ненавистью, а к нам, фашистам, относился милостиво, терпимо, в лагере у нас давно никто не умирал, даже в больнице, а то, что работали без выходных, это так, ничего, даже рады, зачеты полным ходом бегут, глядь, полон загашник, тра-ля-ля).

— Правильно, блядь, я говорю?

Навалилась на нас тяжелая пауза, как та свинцовая туча, закрывшая нам новую Полярную звезду, согнувшая наши души в бараний рог. Не созвучны его слова нашим издерганным, трусливым душам, нет резонанса им, никакого единомыслия, страх полоснул по сердцу пуще прежнего. Страх, паралич всякой мысли. Кто-то всё же поддакнул, в неуверенно-нервном ключе сказал, что всё верно.

Какого ..., блядь, молчите? Какого ..., блядь, терпите? Доколе, блядь, терпеть будете? Духа, блядь, у вас нет! Вот мы, блядь, воры, решили, блядь, начать. Всю вину, блядь, на себя, блядь, берем.

Так потом, блядь, и говорите. Говорите, не мы, блядь, воры начали. Всё для вас, мужички, вот, чтобы вам, блядь, мужичкам, жилось легче и лучше. Не для себя мы. Нам, блядь, ничего, блядь, не надо. Нам, блядь, — стенка! Для вас мы. И не надо, блядь, их генералов, блядь, что с Берия. С Маленковым говорить, блядь, буду, пусть, блядь, посмотрит, как, блядь, заключенный живет. Уйди, блядь, дай мне, блядь! поговорить с народом.

Дня через два Женька оказался с Седым один на один. Опять в барак пришли воры, опять Седой предлагал папиросы, запустил речугу, истеричен. Так же и о том же. *Это мы не для себя, это для вас, мужички, хотим, чтобы с вами, как с людьми обращались.* У вас тут шахматисты, слышал, есть? Савич услужливо (предательски!) указал на Женьку. Востребован. Излишнее внимание к его личности. Опасно играть, выиграешь, а он тебя тю-тю, пришьет, скор на расправу, и отказываться, артачиться опасно. Эта сука, Савич, сорвался с места, уже шахматы приволок, не отвертишься. Прыжок в холодную воду. Женьке остается лишь повесить на морду признательную улыбку, я счастлив, и Женька это сделал. Устроились в курилке.

— Под интерес, — сказал Седой.

Это — приказ, подлежащий исполнению, а не обсуждению.

Женька прихвачен суеверным страхом, как когда-то в карантине, немеет язык, бледный, глиста в обмороке; но он переламывает себя, вдохновение выбивается палкой (Брюсов: «мой кнут тяжел»), заставляет себя сосредоточиться, всё внимание на доску, французская защита, надежная, исхоженная вдоль и поперек, быстро, после первых же ходов почувствовал себя сильнее, позицию чувствует лучше, варианты считает и обмозговывает быстрее, глаз острее, вошел в азарт игры, как отважный канатсходец ринулся над бездной и без всякой страхующей сетки, немного успокоился; взгляды в мальчишку, смертника, жоака воровского мира. Что-то татарское в лице, сильно развиты скулы, отсутствует намек на растительность, очень юн, Батый в юности, видимо, еще ни разу бритва не касалась подбородка, глаза зеленовато-желтые, узкие, осокой прорезаны, кузнечик, непонятно, видит тебя или нет, герметичен и футлярен. Седой нагнулся над шахматной доской, из ворота его рубахи, белой, вывалился маленький серебряный крестик; Седой не заправлял крестик, и теперь крест, животворящий крест, свободно болтался над краем доски. Женя не раз видел, блатные носят нательные кресты. Было неприятно видеть крест на Седом, какое-то кошунство, а почему же кошунство, глубокие национальные корни, Степан Разин, Пугачев носили кресты, тогда все носили, у Некрасова Кудеяр-

разбойник спасется через убийство «князя богатого, знатного, первого в той стороне» (царя? цареубийство?). Женя кинул дежурную, типовую шутку, сказал, что во всех учебниках позиция Седого расценивается как проигрышная, сошло, проехало, однако не следует рисковать, опрометчиво распускать язык. Седой сдался, расплатился. Пришлось играть еще партию. Седой велел зрителям выметаться к е.не матери из курилки: мешают, сосредоточиться не дают, отвлекают. Остались одни в курилке, удвоили ставку. Женька увлекся игрой, учинил полный разгром, забыв, что блатного нельзя бить, быстро выиграл, затем пустил в ход свою магнетическую, обезоруживающую, охмуряющую всех и каждого улыбку, отнюдь не заискивающую, а вроде сама беззащитность и сама откровенность, повернул язык, слово не воробей, само предательски соскочило, сошмыгнуло, простоватая открытость, сказал, само очарование, что сколько бы они ни играли, Седой будет проигрывать: силы не равны, обставлю всегда, как маленького. За последний год Женька поднаторел в шахматах, в этой праздной интеллектуальной забаве, официально разрешенной в лагерях и тюрьмах, о которой Наполеон умно сказал, для игры это слишком серьезно, для серьезного слишком игра. Предложил играть *так*, не на деньги, выигрыш готов отдать. Седой нехотя согласился, но выигрыш назад не взял.

— Раньше, блядь, играл сильнее, — сказал Седой, — У Арбузова, блядь, выигрывал, знаешь Арбузова, академик, блядь, вторая, блядь, категория. С мозгами, блядь, ... знает что. От онанизма, блядь.

Борис? — Женя скромно ввинтил вопрос. Мир тесен. Неужели тот самый Арбузов, с которым Женя сидел в Бутырках, которого отговаривал от побега на рывок, которому решительно и легкомысленно обещал к весне войну и свободу? После подвига Лепина и смерти Сталина утрачена свежесть в восприятии мировой политики.

— Надо было, блядь, начать, когда Верку приведут на репетицию. Тогда, блядь, и начать, — вздохнул Седой.

(Артисток должны были привести на репетицию концерта к трем часам.)

Вот она, полная, абсолютная, черная свобода. Конь же лихой не имеет цены. Свобода — великая, страшная соперница любви. Женя смотрит на неизвестный, неведомый, непонятный ему мир, как Миклуха-Маклай на дикарей, соображает туго. Растерян. Другое, всё другое. Он меня свободнее, много свободнее, а потому сильнее. Новый Адам, немигающие глаза, вовсе не мигающие, никогда не мигающие, этот и Лепина переглядит в гляделку, за-

просто переглядит, младенческое личико, ему от силы восемнадцать, сверхчеловек, дух гордый и свободный; глядит на меня в упор, не видит, я для него насекомое, вещь, во мне он не чувствует себе подобного, в футляре он, герметичность, бешеная, безоглядная, абсолютная футлярность, полная непроницаемость, закупорка, обособление, падение вечное души в бездну, монада у Лейбница не имеет окон и дверей, она без окон, герметичная, непроницаемая субстанция, лишь в потенции является индивидуальным зеркалом вселенной; ты для него не человек, а букашка, и он весь в движении, в действии, энергетичен, никаких мук и сомнений, где была совесть, там ... вырос, порваны все валентности (это из химии? их, химиков, термин? так Женька же учился на химфаке, химик), да, порваны валентности, валентности разорваны, совсем разорваны, а это значит: мутная метафора, еще не родившийся, не вылупившийся птенец, смутно присутствует в предсознании, того гляди прыг-скок, обвалился потолок, уже прыг-скок, разрешилось одним словом, прорыв, истинный гносис, как у Лепина, когда он в своей руке держал большую, грубую, почти мужскую руку обожаемой и несравненной Ирки, ай да Женька, ай да сукин сын, сердце захватывает, оно, слово, выскочило, осветило ярчайшим светом всё: *антижизнь!* Тайна блатных, тайна злокачественных страшных опухолей, рака, тайна жизни — одна тайна! А эта белобрысая *антижизнь*, безусый мальчишка в шевиотовом сияющем нелагерностью *дипломате*, краб, чистый краб, отвратительное членистоногое в личине человека, этак просто и свободно, в той же спокойно-бесстыдной манере сообщает, что онанизмом занимается с двенадцати лет, под следствием симулировал невменяемость, знаю, что подглядывают, а я глаза закрою, вообразу Машку, молодое, крылатое воображение рисует неотразимые образы, дорвался, распалился, наярываю, дрочу, что есть мочи, у меня он, как кот похотлив, устали не знает; и приятно, простительная слабость, и для дела полезно; классическая биография, четвертая судимость, смертный приговор, а первая в восемь лет, и суду ясно, что не настоящее, в квартире, в которой можно было взять на большие тысячи, они увели лишь конструктор, заграничный, немецкий.

— Мы, блядь, воры, — взвинтил себя Седой, духарится, зрачки глаз делаются еще более узкими, точечными, еще более непроницаемыми. — Воры, блядь! Этим всё сказано. А то, что мы, блядь, мочим, не наша, блядь, вина, а наша беда. Мир так блядски устроен. Вынуждены мочить, кровь проливать. Мир, блядь, подл. Не мы, блядь, в ответе. Я, блядь, веришь ли, блядь, цыпленка не трону, вида, блядь, крови боюсь, мутит, блядь. Но если нужно,

блядь! Для дела, блядь! И — человека, блядь. Рука, блядь, не дрогнет. Я же мужчина, блядь! Этим всё сказано. Но мы, блядь, против убийств, против насилия. Мы, блядь, не суки какие.

Поинтересовался, за что Женя сидит, и Женя сказал, что был студентом, что фашист, 58-я, злополучная балалайка.

— Позорники, блядь, за что они, блядь, в лагерях, блядь, людей держат! Ну я, блядь, вор, здесь, блядь, мое, блядь, место, а ты, блядь, за что тебя, блядь, взяли? Тебе, блядь, учиться, блядь, и учиться! Академик ты!

Второй и третий день прошли незаметно, тоскливо, тускло, как в презервативе, было тихо, обычно, и ничего конкретного не происходило, даже к вахте выходили всего раз, надзиратели не лихорадили ОЛП злыми поверками и всяческими придирадками. И мы эти дни пропустим жирным пунктиром. Ночь с третьего дня нашего бунта на четвертый, ровно в двенадцать часов по Москве — трам-бам-бам, с трудом верится, рухнул космос ОЛПа, да и вообще космос Каргопольлага, подарок от донского казака, капитальный, лютый зверь, и новое поприще, и это на нашем ОЛПе, грагический, мощный оргазм длиной и глубиной в ночь, и от этого черного оргазма аж лопнул презерватив нашего серого благополучия, воссияла дьявольская правда о человеке, дьявольский прорыв, затягивающая воронка актуальной бездны, вы хотели события, исторических эсхатологических крутых вывертов, хотели притчи, вот вам притча, получайте; и всё этот мальчишка в *дипломате*, смертник, с кошачьими, желтыми глазами, всё он, своими руками, смело, засучив по локоть рукава, топором, которым на кухне повара отменно, играючи рубили мясо, казнил, четвертовал, не просто убивал, а сначала отрубал ноги, руки, чуть выше локтя, половой орган и — наконец-то (эту процедуру легче совершать, если у вас есть на голове волосы), оттянув как следует, чтобы удобнее, ловчее было, чтобы шеи было больше (за ухо оттягивал), отсекал голову. И это под рев оркестра культбригады, звуки которого слегка заглушали истошные вопли очередной жертвы. Четвертовано и казнено было восемь человек. Мясо! Кровь. Туши мяса. Кости. Тяжелая работа мясника, помахавешь неумным топором, семь потов сойдет. А что, если завтра они начнут нам мясные щи варить, пожалуйста, причащайтесь. Кого казнили, по каким признакам отбирали — непонятно. На деревянном полу сцены остались темные обильные пятна крови. Такого вообще никогда не знал наш ОЛП, наш тихий благословенный богохранимый комендантский ОЛП. И наш ОЛП, который еще так недавно, при президентстве Минаева, был больше, чем вселенная, ОЛП-2, что против неба на земле, остолбенел, онемел

в страхе, ведь не просто убийство, казнь, а с капризной, кошмарной выдумкой; Николай Николаевич Грибов сказал, что всё это очень напоминает шабаш с жертвоприношением, освобождающий, как считают проницательные психоаналитики, от страха смерти, синдром Гитлера, связь с тайными оккультными науками, утро магов, тайное черное братство, черный орден. Изуверство. Но не просто изуверство. Ягода! это имя вам, Женя, что-нибудь говорит? Так вот, после очередных расстрелов в подвалах Лефортовки Ягода отправлялся в баню со своими приспешниками, чекистами, раздевались, мылись, парились в парилке, затем голыми, вымытыми, прямо сверкающими чистотой, вставляли в позицию, расстреливали иконы Спасителя и Богородицы, предварительно развешанные на стене. Что-то в этом есть. Загадочное Тайна. В человеческих жертвоприношениях есть глубокий смысл. Они и только они обеспечивают внешний успех, победу на полях сражений. Да, да мы имеем дело с жертвоприношениями в их классической и первоизначально-девственной банальности. И у Гитлера, говорят, что-то эдакое было, своя возвышенная мистика и магия. Утро магов. На Руси четвертовали, но это когда-то, в незапамятные времена, Стеньку Разина, донского казака, так аккуратно обработали, его брата, Фомку, а у Пугачева сначала отрубили голову, а затем только ноги, руки, смягчились, выходит дело, нравы.

Кто бы мог подумать, вместить мы не можем, четвертован Олег, его имя все эти годы на слуху, лоб здоровенный, богатырь, чудесные мужские стати, ему бы пошла папаха Мазуса, и как это с ним сладили, поди всё ему припомнили, и деньги для Петрова, что из общего котла. Быть не может, что казнен Олег, потому что этого не может быть никогда! Он же у них был старшим блатным, ломом подпоясан, удобен был всем, даже Гладкову. Не всё так просто у блатных, сам черт не разберет и ногу сломит в сложных правилах и интригах. Савич, этот всё знает, тут же внес неожиданный корректив, *да он никогда не был вором!* Это — Олег-то! Мы ничего в толк не возьмем, и всем стадом залетели в шок, мозга за мозгу заскочила, вывихнулась, глаза бессмысленно блуждают по бараку, метель, метель, мандраж, паника в душах,

Тогда, после преизбыточного ночного разговора с милым другом Женькой, как ветром сдуло, он бросился к Чернышеву. («— Всё лопнуло, как мыльный пузырь, сильно виновато, убегая глазами в сторону, честно признал Чернышев; и — замолчал.») В чем просчет? Где и когда совершена была роковая ошибка? Мозг изтерзан. Можно было ждать промаха, осечки, провала, наконец, провала, за который придется поплатиться жизнью, но не здесь, не

В этом месте, самовоспламенение, мы сходу потеряли контроль над событиями, и духи зла, которых мы сами разбудили, выпущены из бутылки, уничтожат нас и в первую очередь. Саша видел, как блатные уверенно, как большие, вошли в барак, увели Чернышева — безропотная, покорная, кроткая овечка с дрожащим хвостом, увели на убой, на заклание. И Чернышев казнен, это — полковник, кадровый военный, боевой конь, знаток солдатской окопной правды. (— Я в рот е.ал! Я дзоты брал! Я кровь мешками проливал!), вообще порядочный человек, очень надежный в человеческом плане, закопёрщик, застрельщик, реалист, признанный руководитель движения, убиты двое эстонцев, они входили в комиссию. Убит Олег; у этой публики всякое бывает, разборки, конфликт поколений, отцы и дети, молодежь рвет подметки, могучий лев, гроза лесов, на старости лишился силы, смена властей и авторитетов. А я тут при чем? Чернышев Олега считал самой подходящей и путной фигурой уголовного мира. Олег числился авторитетом, их пахан, силища непомерная. А задумано просто гениально, мысль блестящая, освободить из изолятора смертников и использовать для захвата комендантского ОЛПа. Вот уж кому нечего терять! Такая петрушка. Наверняка Чернышев развивал план, обрабатывал Олега, да это однозначно, внушил мысль, у него была сила внушения, переусердствовал, механизм непостижимо как и в самый неподходящий момент сработал, пришел в движение (— Самовозгорание, самовозгорание, никем не запланированное самовозгорание, — тупо и механически твердит Саша), каша сама заварилась, грандиозное недоразумение, не надо было раскрывать карты, вообще с блатными не след контактировать и кони иметь. Наивно было искать союза с блатными, ребенку ясно, что после штурма Бастилии это откровенная глупость и махровый романтизм. И я виноват, виноват, надо было остановить, не надо нам этих Олегов. Тоже мне — свояк. Сволочь. Саша впадает в приступ самобичевания, корит себя, попытка, самоистязание, приступ бурен, но краток, уже во всем обвиняет Чернышева, глупо, глупо, потеряно управление процессом, глупо фразернулись, всё пошло прахом и насмарку, воры, известное дело, теперь предадут 58-ю, нашими головами расплатятся, спасут свои. Для них это единственная возможность спасти свои шкуры, умно сделают, умно. Как же так, убить Чернышева? Зачем? Глупость. Вихрь недоумения — взметнулся. Олег — туда и дорога, ничтожество, тоже мне, благородный разбойник, любитель поэзии, не нужно эту публику романтизировать, зверь, сущий зверь, ладно, их дело, выяснения отношений, разборки, междусобойчики, но убить Чернышева? Глупо. Неужели воры не видят дальше носа? Где здравый

смысл? Не понимаю логики, бессмыслица. Так никогда и никто не будет знать, что же случилось, темная, глубокая ночь, пошлость и глупость. Словом — самовозгорание. А что если воры не доперли до простой идеи, как спасти свои шкуры, предельно глупо, бездарно упустили прекрасный шанс? Неужто это лишь месть за 37-й ОЛП?

Саша неважно себя чувствует, насморк, откуда? никогда в лагере не болел, какая пакость, болезнь парализует волю. Через силу заставил себя подняться, выйти из барака, подзнабливает, ой! нехорошо, ой! не вовремя. Он быстрой трусцой топает по знакомому, в мыслях всё еще оквадраченному ОЛПу, на всё пялится ностальгическим глазом, изучает, исследует, те же вышки, те же бараки, что и в 49-м, то же зимнее солнце, мало изменилась география ОЛПа, а вот и новинка, великолепная, столовая, она же клуб, строение широкого профиля, циклопическая, гордая колоннада, стиль мощный, глазу услада, умопомрачение, благородством дышит, приветствует новичка циклопической мощью, подавляет, утверждает вечность. Не быть вечности! вообще-то, чтобы понять лагерь, в него надо вжиться, *вчувствоваться* (Липпис), как в произведение искусства. Где-то здесь был забор, разделявший мужскую и женскую зоны, забора нет, нет на ОЛПе женщин, так, так, перемены бросаются в глаза: нет женской зоны, новая столовая, колоннада! у вахты круглосуточное дежурство блатных, стражи зоркие, недремлющие. Разумно. Пусть каждый следит за своим соседом, отвечает не только за себя, но и за соседа. Хвост сразу надо защемить. А то все сломя голову бросятся на вахту. Спасайся, кто может! Тихо, неприметным образом перейду в другой барак, хоть к Женьке, не сразу найдут, когда рѣхнутся. На лбу не написано. Я не я, лошадь не моя, и я не извозчик. С этого следует начать. Когда-то, в 49-м, Саша хорошо *уважил* Шалимова, шлепнул увесистую шпалу на руку, инвалидом Савича сделал, может быть, спас этой суке жизнь, давно это было, в долгу Савич, помнит ли долг, сейчас он дневальный. Переговорить с ним, поговорить, не терять времени, хочу ближе к другу детства, к земле. Надо мимикрировать и как бы манифестировать свою непричастность к заговору, стилизоваться под общую серую массу. Играл, играл, и не последнюю скрипку при взятии Бастилии, играл, играл, не надо себя обманывать, да, засвечен. За всё придется платить, платить по счетам не просто. Перво-наперво — другой барак, там видно будет. И — затаиться, ниже травы, тише воды, зафиговаться, так, так, раствориться, затеряться, кто о нем что знает, здесь он всем чужой, никто не знает его роли при взятии Бастилии, не слышали о нашей победе; о мощном сабантуе слы-

шать-то наверняка слышали, не могли не слышать, но детали остались втуне. Краснов перебазировался в барак к Женьке, самочинно выбрал свободные верхние нары; кое-кого он здесь знает, Колобок всё тот же, весел, не меняется, это Колобок перехватил у Желтухина банку с вареньем, это он, шельма, оформил Туган-Барановскую, сексуально развил бабушку русской революции, это же надо — с Марксом встречалась, с самим Марксом, возможно, Маркс ей куры делал, а Колобок разбудил для напряженной сексуальной жизни древнюю, столетнюю старуху, рухнула с головой бабуля в омут сладострастия, чудо, лагерь полон чудес, а с Марксом могла встречаться, Маркс умер в 1883 году, ей тогда было всего 34 года. Алексеев организовал *трамвай*, как не помнить, такое не забывается, самое сильное впечатление от лагеря, сейчас Леха не в лесопеке *на раме*, а старшим на электростанции, погоняло. Краснов лежал на верхних нарах, укрывшись бушлагом, телогрейкой, лежал на спине, уставившись в потолок. Страха он не чувствовал, хотелось прислушаться к мыслям, к себе, повести честную беседу с самим собою и принять правильное решение, безвыходных положений нет, почти нет; получалось, что за шумом и трепом в бараке не слышен внутренний голос; утомительный, угнетающий, густой, оглушительный, гомерический треп, музозвонством эти дурни заглушают страх смерти, кто-то писал, что Паскаль перед смертью непрерывно говорил. Юмор висельников это целебно-убаюкивающая анестезия, погружение в страусовую идиллию, буддизм расширяет страусовую идиллию с ее дурной бесконечностью рождений и смертей до идеи Майи, знаем всю эту индийскую философию, проходили, Женька Васяев ее знаток, вся вселенная, включая растительный и животный мир, оказывается иллюзией, фантомом, а мудрец постигает нирвану, однако эта самая нирвана в буддизме весьма размытая, темная метафора и сильно смахивает на небытие.

Саша невольно прислушивается к назойливому трепу в бараке (— Какой же ты олень. Лось, лось, сохатый ты), балагурит, лясы точит Савич, кого-то учит уму-разуму, как жить в лагере, густая, беспардонная трескотня, словоблудие; идет массирующая обработка (— Спроси его), Саша догадывался, что Савич, вот уж кто зеркало лагеря, призывает его в свидетели (— Жареный петух ему клонул, Леху спроси, Митю. Слушай сюда. Хошь — верь, хошь — нет. На 13-м, вот где клевал жареный петух, полОЛПа дистрофики, доходяги, десны всю кровоточат, хоронить не успевали. Бирку к ноге и — по чистой, начальничку срок оставил. А нынче хлеб не съедаем, зажрались. А тогда, в 46-м, иван-чай весь съели. Умри сегодня, а я умру завтра! Нехорошо так жить, но лучше я его, чем

он меня. Слушай еще, сохатый, ты еще в люльке качался, а я уже в лагере сидел, плыл, дистрофик, жопы вовсе не было, съел, костяшки торчали, фитиль-фитилем, как паук, хоть е.и., от ветра шатает. Земля меня в санчасть устроил, медбратом. Как эта болезнь называется? Им еще пить нельзя. Земляк, земля! Эй, керя, профессор кислых щей? Оглобля?). Саша знал, что Савич опять к нему лезет, не ответил, надоел, рвотный порошок, *брянский волк тебе земляк* (и мучились же, блядь, они, бедняги. Голод, а у них хлеб остается, в рот не идет, просит, бывало, Савич, глоток дай, умру всё одно; сжалишься: — На! ... с тобой! он глоток сделает, всё, кранты, поехал в лучший мир. Ну, пайки-то я себе, себе. Так и выжил, тихо, по-умному), весело трезвонит Савич, свои десять лет почти отстучал, легко, ловко у него получается, удачлив, и на воле жил ловко, сошелся с бабой, дом, корова, а у меня, где была совесть, там ... вырос, пропили дом, корову, эту под зад ногой, к другой, помоложе, дом, корова, опять пропили, любят меня бабы, у меня на ем бородавка, льнут ко мне, как мухи на мед. Парень, которому Савич хвастливо жизнь свою живописует, наивный, незрелый лагерник, сразу купился, весь загорелся: и он так будет жить! и он не промах! выйдет из лагеря (это через двадцать-то пять неизбывных лет!), будет обирать этих сук, пропивать их дома, коров. Савич лишь смеется (— Какой ты говорок, облизал в п... е творог! Где тебе, сохатый. Деревня! Закрой хлеба-ло, щами пахнет! экая ты деревня, чай, на воле щи лаптем хлебало, а здесь культуру хаваешь. Надо мужчиной быть, понял? Нахальство — второе счастье, понял? Ум нужен. Скажи, Мить? пожалеешь, блядь, девчонку, всё, конец. Гирия! Побыв на бабе, окажешься под ней, а мужчина всегда должен быть сверху. Понял? Шевели мозгами, как следует шевели. Первая тебя скрутит, пойдет целовать, как шальная, конец мужику! Слушай сюда). Еще новелла, как женился Савич. Во время войны дело было, выпала Савичу в тыл командировка, познакомился с одной дурой, всё надо в темпе, нет времени, явились в ЗАГС, она подает паспорт, а Савич — воинское удостоверение, ей, суке, в паспорт штамп лепят, а на военном удостоверении строгое указание: никаких отметок не делать. Савичу справку выдают (— Ну, я эту справку положил в задний карман, понял? Свадьба славно гуляет, всё в ажуре. За мною ее мамаша и папаша ходят, ублажают, водки — залейся, где они столько достали, война всё же. Брачная ночь шикарна, перина пуховая. А на другой день она провожает меня на вокзал, плачет, целует: — Милый, ты не вернешься ко мне? Откуда она, падла, знала?). Парень улавливает какую-то несуразность, незавершенность истории, пытается: — А как же справка? — Я же сказал,

что *положил ее в задний карман*, всё, она меня не е..т! Ну, какой же ты сохатый! Эффектно, блестяще, по-пушкински завершена история, завидки берут, учиться надо, как заканчивать художественную новеллу и ставить точку, а то Толстой всё никак кончить «Войну и мир» не мог, два послесловия садил, о третьем подумывал, *кончать* всегда тяжело, тоска, тоска, еще Стерн отметил, ссылаясь на Аристотеля, «после соития всякая тварь угнетена» (у Аристотеля мы этой мысли не обнаружили, рылись, рыскали, еще у компетентных людей пытали). Блажен, кто праздник жизни рано/Оставил, не допив до дна, /Бокала полного вина! Савич от души смеется. Гопоненко опьянен лагерными идеалами и открывшимися перспективами, лихорадочно и вдохновенно пытается усвоить премудрости жизни, распустил парус мечты, упорствует пуще прежнего: смогу!

— Расскажи лучше людям, дуботол неотесанный, чурка х..ва, за что тебе, деревня, четвертную вlepили? Партизан вешал, да как же ты мог? Объясни людям?

— Тупой ты, Савич, — меланхолически встречается Митя, держит вид, что заступает за Гопоненко, всё с понтом, перемигивание, пантомима. — Не суди по себе. Не вешал он никого, досадное недоразумение, судебная ошибка. Без правды страдает, зря малый сидит.

— А кто табуретку из-под ног выбил, я? Пушкин? В лагере никто просто так, здорово живешь, не сидит, ты, Митя, человека убил, так я говорю? Алексеев, Мальшев убийцы. У всех по червонцу, а ему — четвертная. Ты нам пули не лей, грамотные. Кодекс наизусть знаем, как таблицу умножения.

Барак взрывается смехом, заходится. Ну, обхохочешься, ну, до усрачки! Родит же мать-земля олухов. Немцы уходили из села, напоследок повесили трех партизан, а табуретки брали из дома Гопоненко. Не успели уйти, этот жадный крестьянский парень (вот уж где верна истрепанная, изношенная лагерная поговорка: жадность фраера губит), раздолбай, балбес, е.. его дурака мать, выскочил из хаты, черт попутал, бросился к табуреткам. Мое добро! Сгрел их, домой уволок. Видели, кто-то донес, что Гопоненко зло вырвал табуретку из-под ноги повешенного, тот, якобы, еще жив был, стоял на одной ноге. Вызвали, допросили. Сначала ничего, отпустили с Богом. А в 52-м, когда ошметки подчищали, вспомнили, честь имеем, замели, ухнули щедро, надолго дурня уpekли, четвертная у парня.

— Ты что, блядь, не видел, что нога на табуретке, — вонзился Савич, как энцефалитный клещ. — Да он еще живой был! убийца подлый! Это же свои, русские.

Савич знай себе плескает из богатых закровов лагерной премудростью, энергичный ливень слов, ну как из ведра, новая эскапада, еще сбавал былинку про то, как они с шепутным задрыгой Колобком, козлом вонючим, полоскали свои сифилитичные в тухлом мозгу Минаева, преподнесли ему подарок, заграничный платок, преогромный; Савич показал размер платка, ничего себе, такой и Гоголю не снился, вполне Акакий Акакиевич в такой платок мог не одну, а несколько шинелей завернуть, гигантомания у этих прибалтов во всем; платок — главная пружина интриги, поймали на живца, затем аккуратно и преспокойно доили старого идиота, восплававшего горячей любовью к фикции, крепко нагрели, отлично выставили, раскручиваем аферу, афера классная, подчистую выманивали и вымывали и деньги, и продукты. На наш век еще хватит дураков.

— Поссать что ли? — объявляет Савич, сам с собой во всеулышание советуется.

Колобок прибауткой, так, к слову, поддержал дневального:

— Поссым, сказал Суворов, /И тысячи приборов/ На солнце заблестело.

— Куда это наш дневальный, темнило, припозднился? Где его черти носят? — резонит Митя, затем, ни к селу, ни к городу, видимо, думая о другом. — Весьма в сапожках не пройдешь.

Толкнуло в бок, кольнуло под лопаткой. Вот это да! Устроил тут всешутейский собор, пустил пену. Финт ушами! Обошел всех на легком катере. Туфту заряжал, словесный понос для отвода глаз. Хитроумен. Вот кто умеет жить! Жох, чутье звериное. Ноги в руки и — ушел, слинял, учись! Хитрей самого черта. Класс. Кто бы мог подумать, что Савич в девственный снежок запретки сиганет, прямо у уборной, вышка-то рядом, опять прокаженник показал рысь и прыть, ушел, налим скользкий, «сука, мой бушлат увел!» Как же не заметил? Новый, первого срока. Не до бушлата, не до жиру, быть бы живу, бескозырка полная, срыв, сорвалось движение, хуже, хуже, засвечен, влип, нельзя позволить себе расслабиться, последний шанс, это и моя соломинка, насморк, проклятый насморк и так не вовремя, у Наполеона разыгралась хворь перед Ватерлоо, не насморк, выиграл бы сражение; одолевает сонливость, вялость, уснуть, как мухи, анабиоз, лапки кверху; и нос распух, платка нет, сопли, сопли, соплизм, одно к одному, когда перестает везти, когда фортуна отвернулась, невмочь подняться, надо взять себя в руки. Саша заиграл челюстями, желваками, мышцами ланит, растормозилась, сбоят воля, сбоят, как последняя сволочь, для разгона загнул душе, сползающей в губительную полынью безволия, салазки, провел быстрой рукой по лбу, как

бы смахнув, согнав, как надоевшую муху, предательскую, пораженческую мысль, подстегнул себя, укусил свою руку, совсем нечувствительна. Стимул, держи парок, поддай жару. Энергично-экзистенциальный центр души еще не был поврежден, сработала палочная дисциплина нервной системы, так и должно, на этом стоит мир, еще укусил, сильнее, что-то делай, не убиваться же вечно и сокрушаться, не рыба о лед, уже некогда где-то сказал Наполеон: промедление подобно смерти; подстегнул, пришпорил сам себя (— Будь пай-мальчиком, лебедь, валяй, парку! парку! Крути вентиль! поехали!), кончились конвульсии и сбои воли, начал пятиться, слезать с верхних нар. Тогда, зимой на погрузке, он легко вышел из оцепления, крикнул попке «Эй!», махнул рукой в сторону конторы, которая была вне оцепления, а сам прямо-шенько на вокзал («Далеко ли до Луевых гор?» — тревожный вопрос Пушкина), увидел исчезающий вдали хвост поезда. Как она могла? Абсолютно ничего не понимаю. Она, герой Варшавского восстания, Ирена, женщина великой души, жена моя, я верил ей, я верил в нее, не помню даже какая она, блондинка или брюнетка, польки должны быть блондинками, лишь боль, осталась лишь боль от предательства, откровенного, черного, злого, она не пришла, давно, давно всё это было, а боль не утихла, рана не зарубцевалась, не зализана временем, свербит, где-то, в крайностях манихейства, женщина отождествляется с демоническим злом, обещала, приду сказала, пустила робкий смешок, голос нежный, душу обволакивает, обезволивает, берет душу и держит на коротком поводке: — *Не будь занудой! Мне дурно.* И не пришла, он ждал, а она не пришла. Даже робкой попытки не сделала. А это так просто, проще пареной репы. Она знала, что просто. Ложь, ложь, черный обман, вершина черного актуального канальства и черного предательства! Подлость, подлость. Псица, та еще штучка, не пришла, черная, каверза, сука! Подлая Польша! Стерва, каких свет не видывал! Водила за нос. Последняя сволочь! На поезд и — мимо, мимо, тю-тю! Полячка!

Безумная ночь, седьмая!

Этой ночью казнено 32 человека, четвертованы.

Когда же нас утомивать пойдут? Когда истощится терпение? Давно пора! Такое продолжаться вечно не может. Восемь ден, как бастует наш благословенный, дисциплинированный ОЛП, летим на штрафном пайке, реже мечи, рашилем пробирает голод, давно подъели пайки, что накопились в бараке. Знать бы, можно было в запас сухарей засушить. Говорят, за деньги всё можно купить, в том числе хлеб. Были бы деньги. А цены на хлеб с каждым днем растут, спечи. Нас скопом согнали к столовой, культурно-мас-

совое мероприятие, не без этого, толпимся, ничего не понимаем. Где-то добыта трибуна, двое воров стоят перед нею, держат на палках лозунг «ДОЛОЙ ПРОИЗВОЛ!», на трибуне — Седой, поверх костюмчика-дипломата легкий, новенький бушлатик (у на рядчика был такой, естественное перераспределение собственности).

— Мужички, — это нас так уважительно величает, — наше движение, блядь! переживает тяжелые, блядь, трагические дни. ОЛП, блядь, сидит на штрафнике, нас, блядь, решили сломить, взять, блядь, голодом, измором, блядь. На счету, блядь, каждый грамм хлеба. Хлеб — наша жизнь, блядь, наша свобода! Но есть, блядь, среди вас люди, которые, блядь, наживаются, блядь, на народной нужде. Шкурники! и вы, блядь, их отлично знаете. Мужички, кто этот человек?

Толковище, суд, всё, как у людей, цивилизованно. Седой ука зует на стоящего рядом с трибуной, ни жив, ни мертв, глядит перед собою остановившимся взглядом, обесцветились, остекленели глаза, в лице — ни кровинки; мы не сразу признали хлебореза, хозяина хлеба. Хлеборезка когда-то была самым завидным местом на ОЛПе.

— Мужички! — вновь вломился в истерику Седой, лицо исказилось, судорога, опять закашлялся, — вы этого человека знаете и хорошо, блядь, знаете. Это, блядь, ваш хлеборез. Хлеборез, блядь, должен, блядь, быть честным из честных, а он, блядь,пил вашу кровь, крал, блядь, у голодных, у эков. Сука, блядь, бесстыжая! вот, блядь, ваши деньги. Они через дневальных будут вам возвращены, всем поровну, блядь. Семь тысяч за восемь, блядь, дней, позор! паук! кровью, блядь! вашей, блядь! напился, на нем, блядь, пахать, блядь, и пахать, 1-я повальная, а он, блядь, в хлеборезке, блядь, пригрелся, мантулит, блядь. Уличайте, чего, блядь, достоин этот человек? как, блядь, скажете, так, блядь, и будет. Ваш, блядь, суд, суд народа, суд, блядь, Божий!

Мы молчим, тяжелое, затянувшееся молчание, нас самих пугает наше молчание, но концентрация реальности слишком велика, потому мы теряемся, нет лада, тупы, нас бы надо в председатели Всесоюзного общества тупых, отчаянное положение, не смыслим, что же от нас ждут? Ну, как с таким дубьем разговор вести? Заглядываем воровато в глаза. Просим подсказки, подмига, чиха, ловим чих.

— Говорите, блядь, не бойтесь, — гнет свое, деспотически настаивает Седой, махает над головами пачкой солидной сотенных, словно намерен их разбросать или там вручить каждому из нас, нам бы такую пачку, не помешала бы. — Мужички, ваш, блядь, суд.

— Убить мало, — кто-то вылез, вкнул, увертливо, воровато, угодливо, подобострастно, «лизжет спину, лизжет ниже», как сказал поэт, а он знал в этом толк, авангардист, всегда в авангарде, виртуоз, и любил это дело.

Убить, говорите?

Мы наконец вняли с грехом пополам и со второго разбега, что от нас хотят, вздохнули облегченно.

— Убить на ..., — пролепетало сиротливо несколько голосов, не очень уверенно, отнюдь не грозно; замогильно, с оглядкой.

— Быть по сему! Ваш, блядь, суд! — вот оно новое самодержавное цивилизованное слово в новом, декретирующем звучании, короткий разговор, стремительное решение, оказывается, это наше последнее слово.

Хлебореza без дальнейших затей и золотой адвокатской канители повели четвертовать, надо бы сказать *пятивать*, да язык не поворачивается, того гляди сломается. Мы в полном недоумении, потерянные разошлись по баракам. Среди юристов распространено мнение, что жестокость наказания не останавливает злоумышленника от преступления. Отмечено, в толпе, собравшейся глазеть, как вешают вора, бывали карманные кражи. На комендантском гешефт (— Крутиться надо!), спекуляция хлебом продолжалась и после четвертования несчастного.

Девятый день нашей печальной заварушки, бунтует ОЛП, бунтует, как семя в мошонке Лепина при встрече с философствующей шмаровозницей Ирккой. К исходу дня на угловой вышке, что рядом с изолятором, из которого бежали на ОЛП смертники, и не очень далеко от столовой, явился человек с рупором, почему-то все знают, что это полковник, прикатил из ГУЛАГа, у него особые полномочия, всего лишь полковник, хи-хи! ха-ха! не ахти как нас уважает Москва. Нас сгоняют туда, к вышке, так, так, лишь полковник, даже не генерал, страшно обидно, к нам великая столица относится, как МГБ к Лепину, а мы-то ждали Ворошилова! По указанию воров мы переносим ближе к вышке трибуну, ту самую, с которой Седой по справедливости судил паука-хлебореza. Толпа собирается, растет, разрастается, много, много нас; над нашими головами ветер треплет красные полотнища, вчерашнее — **ДОЛОЙ ПРОИЗВОЛ!** — новое, расширен художественный репертуар, этот должен царапать и мозолить глаза начальству: — **ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО МАЛЕНКОВА—ВОРОШИЛОВА!**

Ой, на трибуне не Седой, путающийся и увязающий *в водах*, а, свежий трюк, позвали, призвали, кто бы мог подумать? чешем затылок — Минаев на трибуне, наш бывший президент, сму,

юристу с хорошо подвязанным языком, ему! ему и карты в руки, его позвали, ему, уверенному в себе оратору, поручили блатные сказать от имени зэчьего царства огласительное слово и переговоры с ГУЛАГом. А на вышке полковник, злым, срывающимся на ветру голосом кричит, спрашивает, почему мы перестали работать? Здорова, зычна глотка у полковника! Глотка плюс техника, рупор, усилитель, техника в наш век решает всё. Как вулкан ревет. Минаев фактурен и стилин, никакой одышки, хвори сердца слиняли, скатились, как с гуся вода, делает широкий жест, ну, прямо-таки библейский пророк, ходит в истине, принял вериги заступника и друга эков, ему дана власть ключей, сейчас грянет во всю высоким штилем, живописная борода по ветру картинно развивается, в лице дикое неистовство, словно дрожит; поднялся до Истории; выкрикивает (у нашего голос похлеще, пораскатистее, громоподобен, труба величаявая, благородная; у нас всё лучше) что-то очень прогрессивное и либеральное, тут и гражданская скорбь, тут и о правах человека, *les droits de l'homme*? и что-то об общечеловеческих ценностях, что-то о бесправии и рабстве (в лагерях двадцать миллионов заключенных, рабский труд) и о произволе лагерной администрации (Корнейко придушил в изоляторе трех эков), на каждом шагу произвол и грубое нарушение законности, требуем, кипит наш разум возмущенный, чтобы к заключенному обращались цивилизованно, «на вы» (только этого нам не хватало!), еще и еще требования, и в этом роде; вот он, великий долгожданный, злое.учий ультиматум Москве, требуем смены и суда над начальником лагеря Карабициным, подлым *осколком Берия*, суда над начальником комендантского ОЛПа Кошелевым, суда над надзирателями Ланчиковым и Корнейко, четыре выходных в месяц, отдайте положенное, отмены ограничений в письмах и свиданиях с родственниками. Всё очень разумно, цивилизованно, сдержанно, складно, прокурор, ей-богу, прокурор! не зря в лагерях отлилась поговорка, прекрасная формулировка: ... *соси, читай газету, прокурором будешь к лету*.

В начале бе слово.

А это! Ой! катит бочку, загнул. Пущен глагол в яркой, интенсивной вокальной оболочке, глагол цивилизованной, совершенной и отважно нежной чеканки, а такой глагол имеет власть над миром; слово, сила слов, я знаю силу слов, я знаю слов набат, они не те, которым рукоплещут ложи, звезды жались в ужасе к луне, уметь надо, ну, профессионал, прокурор! Отличный загибончик.

— Дайте нам женщин, и мы будем работать!

Мы издали восторженно-сладострастный дикий вой, взрвели хором, воспламенились, неугасим, ярк внутренний порыв, гре-

мим, взхлеб скандируем: — **Женщин! Женщин!** Исступление, готовы кипятком пытать; вот это здорово! драгоценное слово сверкнуло, вот так надо с ними говорить! Без женщин рай не рай! Святая, суцая правда. А Колобок мечтательно промурлыкал:

— Живот на живот, и всё заживет.

(В последнее время Колобок утолил свой вечный волчий, психологический? голод, но от сладкой, полноценной пищи у него стал желудок сдавать, вечная возня в животе, икота прэшибает, а в 49-м стекло у Колобка растворялось в желудке и исчезало бесследно; следует оговориться, что и тогда, в 49-м, к сладкой жизни его желудок был не расположен, сдал, сдал, когда ухайдакал аж целую банку, сорвал у Бирона банк, зубом стервец и пройда открыл злополучную, упорную банку с вареньем, обошел растерявшегося вологодского лопуха Желтухина, не сдюжил Яшка, всю ночь летал до ветру Колобок, смеху, смеху было.)

Полковник прокричал тем же злым, властным голосом, что наши требования будут рассмотрены, изучены, те, что законны, будут удовлетворены. Завтра ОЛП приступает к работе!

— ... тебе в грызло, чтобы голова не качалась!

— Облобызай наш, сифилитичный!

— Соси ты ... по девятой усиленной!

Занялась запоздалая мутная заря десятого дня нашего непослушания, оголтелого неповиновения начальству. С утра по радио опять говорил начальник комендантского ОЛПа гражданин лейтенант Кошелев, опять цивилизованно зачитывал списки бригад, фамилии бригадиров, место и характер работ каждой бригады. Никто его не слушает, лишь Жилиев, мудило грешный, ухом уставился в «Рекорд», внимает тарелке, а чего слушать, от нас ничего не зависит, щепки в мутной реке, нас несет течение, нас несет сюжет. К концу повторного чтения списка бригад репродуктор как-то чихнул и смолк: блатные, видать, перерезали провода. Как это они раньше не додумались? Никто к вахте не вышел. Мы обиваем груши, валяемся на нарах, лень рукой пошевелить, бока отлежали, время от времени кормимся утками и парашами, как в сказке, мозги зае.аны, чем дольше, тем страшней; циркулировал слухок, что готовится массовая казнь стукачей, мол, в кабинете кума найден полный список этих гадов, свыше семидесяти; радостная весть: Минаев, авторитет, наш адвокат, наш горячий защитник, и здесь не ударил в грязь лицом, взвихрил гуманистический хай, *да нас не поймут!* смело выступил в нашу защиту, и в сердечной простоте просил и даже потребовал от Седого прекратить казни как виновных, так и невинных, требовал положить конец кровавой вакханалии. И вот вам результат: в

последнюю нашу ночь никто не был убит. После той безумной, страшной ночи, когда казнены 32 человека, массовых казней не было.

Минаев затащил Женю в кабинку, исповедовался, оправдывался перед ним, а значит, совесть не чиста, знает кошка, чье сало съела, так, так, адвокат, умеет вывернуться, черное представить белым; говорил, что в такую минуту он не может затаиться, уйти в щель, как черный таракан, уйти от событий, его долг, святой долг, спасти людей, жертвенное служение людям, так, так, что-то вроде того античного мифологического персонажа, друга людей, у которого, как позволил себе выразиться поэт, *слегка побаливала печень*.

Пусть мое имя будет проклято в веках, но я должен остановить безумие. Я рожден для этого часа!

Всех потянуло на исповеди, после Минаева Женя слушал Бирона (— Ну, что скажешь? Каково?), со вкусом плел о себе, о своем замечательном роде, скука, опять, в который раз Женя слушал о Палеологах, о том, что род Биронов знатен, но захудал, давно захудал, у них — тайна, заговор сквозь века, но он, Бирон, не хочет служить тайне, лучше смерть, не хочет участвовать в заговоре, ненавидит судьбу, Россию.

У Бирона отдельная кабинка, как и у Минаева, он не пожарник, а заведует клубом (сразу после освобождения Альпища), угощает Женю чаем с вареньем, сказочные посылки получает Бирон из дома, и блатные здесь не шуровали.

— Рубай, оплакано.

Развязно заявил, что ложечку, которой Женя ест и которую только что облизал, он ронял в уборной. Не намеренно. Клянусь. Ему крайне важно поставить эксперимент, научный, разумеется. Если человек не знает, что ложечка валялась в уборной, сможет ли он насладиться малиновым вареньем? В чем смысл жизни? Может, в том, чтобы подкладывать ложечку ближнему? Лагерная заповедь, мудрая: уе.и ближнего, а то однажды он уе.ет тебя дважды. Тыфу, скотина, ведь знаешь, что ложечка валялась в уборной, на замерзшей моче, моча! моча! хоть и замерзшая, неужели не противно? Меня тошнит Мне противно смотреть на тебя. Свинья, свинья, русская свинья. Проклятая Россия, свиньи, свиньи!

Куда ты? Хочешь знать, что означает аббревиатура МГБ? *Мы губим Бирона!* Если серьезно, они не губят, а спасают.

Общение с Бироном не доставило большого удовольствия, неприятный осадок, нет, Женя не настолько широк, чтобы не замечать оскорблений и всё прощать.

Мы слышим чутким внутренним ухом нудящий, приглушенный шум мощных крыльев, а может, то кровь в виске бухает, временами что-то позванивает, бывает и такое, не надо путать, знаем, знаем, ждем остросюжетной катастрофы, подведут цивилизованно муде к бороде, это уж как пить дать, и Минаеву подведут, не высовывайся, и нам; накатило, даже штрафную пайку едим без аппетита, безвкусна, это последний наш вздох, будет сдернута лицемерная, непроницаемая паранджа Майи с ноуменального мира, и мы прозреем Истину, ухватим ее голенькую, присосемя к ней, как вурдалаки. Что-то будет! Митя тихо, спокойно, меланхолически балакает сам с собой, мол, русские на Прут, немец на Серет, степенным, неспешным движением вытаскил из-под нар чемодан, вынул новые брюки, которые приготовил к воле, новую косоворотку, вышитую, нарядную, хоть на свадьбу такую надевай, со вкусом побрился, приделся. За ним стали и другие вытаскивать новое, свое, не лагерное, кто китель, кто новые брюки. Мы готовились, были рассеянно-серьезны, самоутрачены, как лунатики. Лишь Колобок, поганец, прощельга, баламут вечный, без царя в голове, идиот жизнерадостный, не сдастся похоронному гнету, все еще резвится, продолжает паясничать, охламонствовать, не унимается, беда с ним; к Желяеву все лезет, комедь бесчинную гонит, языком ботает, баланду травит (— Василий Иванович, погодь, у жилетки оторвали рукава, объясни людям, какое прошлый раз кино было, «Иван Горький» или «Максим Грозный»? «Иван Горький», да? там еще наш великий писатель нас просвещает, человек рождается для счастья, как птица для полета, вздор, птица рождена для полета, что верно, то верно, у нее два крыла, крылья, чтобы летать, но человек рожден не для счастья, а для труда, для изнурительного физического труда, лесоповал, тачка, у человека две ноги, *две руки!* и — *только один ...!* какое там счастье, *в поте лица* изволь упираться, тачка, ОСО! две ручки, одно колесо), поди, дуралей жизнерадостный не ведает, темнота, что цитирует книгу Бытия, Библию, составителем которой по традиции считается Моисей, формула проклятия, Адам и Ева изгнаны из рая за первородный грех и отныне будут *в поте лица добывать хлеб*, вязка и загадочна материя лагерного трепа, лагерного языка (— Да ты маленько постой, погоди, в лагерях *сидеть* никто не будет, это точно, Мама-Саша говорила, *работать будем!* да ты послушай, птица такая, какаду, е... я два раза в году, и то на ходу? слышал?) Желяев машет рукой, надоел, хватит поддѣ.ывать, но протест малодушен, без каких-нибудь резких, грубых, злых речений, а потому бодяга продолжается (— Василий Иванович, совсем ты меня не кнокаешь, каждое слово тяну

из тебя клещами, умер что ли? Василий Иванович, тебя сегодня пушкой не прошибешь, да ты послушай! Откуда дровишки? Что ты при..ся? Уж больно ты грозен. Сосал бы ты ...! — Василь Иванович, погодь, двум смертям не бывать, а одной не миновать. И, оседлав ретивого Пегаса: Как у дяди Зуя, Потекло из ... Эх! Нас побить, побить хотели, Нас побить старались, А мы тоже не сидели, Стоя дожидались), ну, нет мочи, ну, остое.енил, хуже горькой редьки, и Жилиев рыкнул на Колобка (— Отженись от меня, гнида подлая, сучья! Шестерка х...а!), затем молча оскалился, как старый пес, похож на очень старого пса, без тебя, мол, тошно; самозабвенно чистит мелом пуговицу на новом офицерском кителе, который недавно удачно, недорого справил. Вот и затейник Колобок, напаялив полосатую тельняшку («Мы из Кронштадта», «Броненосец Потемкин». Он стоял, тельняшка полосатая, хоть снимай с нас фильм), еще с воли тельняшка, еще не истлела в деревянном, лагерном бауле, дожидалась своего часа, крикнул: — Дорога на эшафот! Смерть бабам! Раствлю малолетку! Обнаружил, что надел наизнанку, улыбка, что до ушей, соскользнула с лица, расстроился вахлак, битому быть, хорошо если только битому; перестал выкаблучивать, выкарнавливать кренделя, словно надоел самому себе, затих, утомонился, иссяк кураж, куксится, не распространяет вокруг себя вонь неслыханной густоты (— Застыло! — сшибает, упреждает любую претензию), и его страх смерти протаранил (душа человека суеверно страшится смерти, и что бы нам там ни говорили о загробном мире, о райских куцах и загробных хороводах, страх смерти очень глубок, и во что-то такое душа не верит, Рильке считал, что «смерть первоначально трудна», он ошибается и шибко), достал из чемодана пачку старых, замызганных писем, просматривает, а ведь никто ему не писал, а может, это от Туган-Барановской, бабушки русской революции, долгожительницы, которой он не побрезговал, удивил и хорошо утешил? Эх, всяку тварь на ... пяль! Батон отличный! (— Милый, я ждала тебя сто лет!) А за это ему, веселому ханурику, нескладному с вида, живот раздут, арбуз заглотил, мастеру талантливых проделок, простятся на том свете, если и не все, то многие грехи.

Напряженка. Вологодский конвой шутить не любит, знаем, слышали. Мы нахохлены, запели в душе Гефсиманию, да минует нас чаша сия, дружный метафизический обморок. Тяжелой, серобуро-малиновой тучей нахлобучило молчание. И — тут. Прорвало. Сначала Женя даже и не осознал, что такое? Истошный, утробный, животный крик, переходящий в стон; оглянулся, понял, что этот незаконный, невыносимый, терзающий тигром душу звук исходит от Малышева, этого примитивного шакала, шакал без

преувеличения, походка чисто шакаля, головой вперед, везде нюхает, по запаху идет, труслив и опасен, по морде до узнаваемости на шакала похож, ревет теперь коровой, скотоподобен, тянет неумный звук, рвущий душу, голосит, как баба деревенская, простая, причитает, кликушествует, спасу нет, рожа красная, лезут из орбит безумные глаза, громче, громче, вопль набирает силу, ревуший нечленораздельный Тарзан, обнаженная откровенность боли; а чего себя сдерживать, фальшивить, лгать. Оно надвигается, темнота, страшным флагом размахивающая, давящее конкретное небытие. Меня не будет. Никогда! Никогда не будет. Жить! жить! Проселочная дорога зерна, душа глянула в вечность и заледенела, ничего удивительного, в порядке вещей, бывает, занесло, сорвался и за черту зашел Коля, убивец подлый тянет один страшный звук, откровенный, голый ужас. К Малышеву подошел Митя, потряс, положил руку на плечо (— Ты что, Коля, совсем? Коля?), Малышев заголосил еще пуще, еще отчаяннее, без продыха, обнаженной, неприличнее взмыл ввысь (— Коля, ты что? Не дури. Уймись. Хватит!), и — двинул, ударил по лицу, размеренно, сильно; Малышев дернулся всем телом, словно на электрический стул ненароком залетел, укоротился, утих, противные редкие всхлипывания, уткнулся в подушку, подействовало хорошо, вышел из мертвой петли тяжелой истерики. Все мы вздохнули облегченно. Развил истерику, сволочь такая, рваная, подлая, надорвал души, и без него душа каждого тоскует, ждалась, как мошонка у мышонка. Опять гнетущее молчание, знаем, никто из нас уже не увидит синего неба, зелени леса, ласкового солнца.

Наш славный, чистенький (ни клопов, — неистребимых как? нет слов, сравнений, метафор, уж очень они, клопы, живучи, в египетских пирамидах находят, не подвластны времени, размножаются с невообразимой скоростью, что дрозодилы, самка клопа может откладывать яйца, будучи неоплодотворенной, и из яиц разовьются опять клопы, вот вам и научное, как дважды два, доказательство возможности сверхъестественного непорочного зачатия; однако Колобок не верит в непорочное зачатие самки клопа, утверждает, что эта падла, кровососа х...а, сама себя е..т; и жесткого облучения не боятся клопы, водородная бомба шархнет, всё сгинет, а клопам всё хоть бы хны, не заметят даже! — ни тараканов), светлый, недавно побеленный, уютный барак, здесь Ульманис, верхние нары над Женькой, куркуль, трудолюбивый честняга, о котором Колобок сказал «скучная нация» (нет ли переклички с К. Леонтьевым, с его тоской по яркой жизни и отворачиванием к мещанской, демократической Европе: «Не ужасно

ли и не обидно ли было бы думать, что Моисей входил на Синай, что эллины строили свои изящные акрополи, что гениальный красавец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме переходил Граник и бился под Арбеллами, что апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах *для того* только, чтобы французский, немецкий или русский буржуа в безобразной и комической своей одежде благодушествовал «индивидуально» и «коллективно» на развалинах всего этого прошлого величия?»), а ведь Ульманис в гротесковом, ликующем фаустовско-готическом порыве на полу уборной боролся сам с собою, не победил, но это особ статья и другой вопрос; здесь сам Женька, ну — Грибов, вчера перешел в барак к Женьке из барака придурков, а дальше разворачивается и идет вся наша цветущая сложность, сборная солянка, кого только нет, всего навалом и невпроворот! скучной ее не назовешь, архетип на архетипе, убивец Митя, обстоятельный, с благоразумными прибаутками на все случаи жизни, разудалый, задиристый, опасный лихач Алексеев, он же великий ё..рь, Лука Мудищев, исправно службу нес и, поднимая ..ем гири, порой смешил царя до слез, перевертыш, обязательно и нам зло всем выкинет, если поддатый, водки нажрется, когда не поврежден водкой, в трезвой ипостаси сносен, приемлем (став старшим машинистом с уходом Шевченко, чаще трезв, вот оно, полное отречение от самого себя, от своей самости, лагерь полезен!), улыбается вам широкой, располагающей улыбкой, русская поговорка старательно внушает, что пьяница проспится после алкогольного помрачения (очнется, как Куцик в КПЗ, даже не будет помнить, пропащая головушка, что натворил), а дурак — никогда; Воропай, Капустенко, двое последних из шевченковской теплой камарильи, до сих пор курят фимиам Шевченко, их славные, бессмертные подвиги на оккупированной территории, при немцах, о чем они умно помалкивают (молчание — золото, что верно, то верно), вообще-то это не шобла, народ серьезный, неплохие в быту люди, с ними жить можно, сам Шевченко ушел на дальний, Демиденко, страстный, юный украинский националист, одержимый, идея проломилась ему голову, пучок света ястребиных глаз, на жизнь направлен этот пучок, мощный, густой, творит мифологическое пространство, коллективное (*где собралась двое и не во имя Его*, там третий, с рогами и копытами), что-то в духе утопии Краснова, Сашу Краснова Ирена вернула на землю, а эти так и остались в кровавом мифе, изнасиловали девчонку-учительницу, на спине надпись бритвой сделали, искромсали, отрезали груди, Лорка (испанский Маяковский, убитый франкистами во время заварушки)! жизнь богаче,

смелее, интереснее авангардистской поэзии, однако в поэзии имеется своеобразный пророческий аспект, на что обратил внимание Гладков, а вообще-то Демиденко сравнительно ничего, очень даже славный парень. Куцик, вот воистину буйная, бесшабашная головушка, ухарь, вновь красивую шевелюру отрастил, хорош и Американец, быстрый Суворов, пещерный тип, клинический неандерталец, душегуб, эсэсовский ублюдок, гитлерюгин, оплот Третьего рейха, военный преступник, вот кто давал прикурить белорусским партизанам, с ним-то Женька, было дело, обнялся и слился в экстазе, услышав весть о смерти Сталина (*— Умерла насякомая!*), попал в деспотические тиски обезумевшего удава, посинел аж, чуть дух не испустил, было, было и такое, и Женька отнюдь не сгорает от стыда, что был в объятиях экстаза; трусливый, подлый убийца Малышев (о этой преступной, мерзкой в своей сущности душонке и упоминать в такую минуту, когда со всех сторон подкрадывается Гефсимания, нет охоты), всегда веселый, неунывающий прощелыга Колобок, поэт Божьей милостью, художник слова, в отличие от Гладкова неизвестен стране и миру (Женька завидовал счастливому характеру этого уже взрослого дурня, как хорошо так жить и не иметь грамма самолюбия, страшного зверя, терзающего души даже святых, неукротимого зверя! самолюбие и гордыня, у Достоевского все герои этой дурью маются, включая женщин, от гордыни все надрывы, капризы, истерики), прозорливый троглодит, это уже самый что ни на есть психологический голод, может, в последнее время чуть утолил волчий аппетит, отменил демонстрации по съедению черных, жирных тараканов, а то бывало запросто разжует живность, язык высунет длинный, на языке что-то белое и препротивное, тьфу! продемонстрирует вам, что всё без обмана, честная игра, разжует, проглотит, ой, не брезглив, может стакан, неграненый, съест, налейте его водкой, предложите, такса, такса, архангельский матросик, трескоед, повидавший весь свет (и США, и Японию, и Индию, не говоря о старушке Европе, впрочем, что матрос может видеть, на берег его не пускают, так вот, за свой длинный язык оказавшийся в Каргопольяге с фашистской статьей, укоротили, легкий человек, его клоунскую солнечную морду, альбатросистобелобрысую, с озорными, вечно смеющимися голубыми глазами, лазурь небесная, любая девушка позавидует таким глазам, рублевская лазурь); мы всех их видим в последний раз, мы как-то даже привыкли к населению барака, свыклись, люди, как люди, жаль расставаться, прощаться, Гефсимания, не пройдет и часа, и вся эта п...обратия, с которой мы почти сроднились, будет перестреляна, как жалкие рябчики, погибнет в их несметном числе и

наш трудный, противоречивый (всё же немного любимый! некоторую слабость мы к нему испытываем) герой, Женька Васяев.

В эти последние дни он прилип, присосался пиявкой к Николаю Николаевичу Грибову, как к единственному дереву жизни (а древо жизни и древо познания добра и зла это одно и то же дерево или в раю было два дерева?), еще в 49-м году они лежали рядом в ОП, соседями были (— Вы видите какой-то образ? — живо заинтересовался сосед, когда Женя сообщил о видении; видел Женя женщину в белом, вроде, неясное видение (*смерть?*), она явилась и ушла, то была, как позже он решил, приснодева Вера Карташева, артистка, красавица с сердцем холодным, как лед и как смерть, еще раз она явилась во сне, обожгла пронзительным холодом, а радио сообщило о смерти Сталина, Гладков, Гладков, ревнивец старый, воспламенился ревностью, гадкое, сильное чувство, яду в уши плесканул восторженному юноше, ловко, удачно плесканул), зуб мудрости, змей вещий, независимый, тонкий ум, сердцевед и свободный комментатор (позднее открытие Жени, впрочем, Грибов — закадровый персонаж, его не было у нас на ОЛПе, увозили за пределы, работал на какой-то шарашке, страшную бомбу делал и — сделал! был бы давно реабилитирован, если бы не ужимки, гримасы судьбы, если бы не смерть Сталина, если бы не арест Берии, именно резолюция Берии задержала его реабилитацию, если бы не наша заварушка, уже три дня, как должен был выйти из лагеря, полная реабилитация и что-то там еще, да, общался с Берия, было, было, всё было, притом Грибов назвал Берию «блестящим администратором и истинным создателем водородной бомбы!», так и сказал: — Не Сахаров, а Берия, не слабый и тщеславный Роберт Оппенгеймер, а Гровс! Кто такие Сахаров, Оппенгеймер, Гровс?). Многие требовало поспешного переосмысления, живем неглубоко, мысль обленилась и притупилась о нескончаемые параша, хотелось, требовалось, чтобы кто-нибудь взял за ухо, сильно сжал и подвел к Истине, сколько людей в бараке, а поговорить по душам не с кем, Гладков, умница, освободился, Бирон, Минаев, Саша — не то, совсем не то, Саша перешел в их барак, замкнулся на себя, лишь глаза, как когда-то у Витьки Щеглова, блестят, насморк, чихает, у нас никогда не бывает насморков, хвоя кругом, целебная хвоя, как это Сашу угораздило, да к тому же Саша уже нет на ОЛПе, в запретку прыгнул, так и надо, незауряден Саша, молодец, молоток, герой, рост, пышные русые усы, красавец мужчина.

Строжайшая интеллектуальная диета одиночества не для Жени, в душе чесотка, потребность в общении, интенсивный философский дух воспарил и сделался для нашего очарованного кра-

сюка духом текущего момента, разговор сам собою вырulingся на это самое; брачная ночь духа (в подобном воспарении духа, возможно мнимом, легко просчитывается фрейдистами испуг!), говорили о темной, эзотерической, таинственной цели мироздания и о том, что объективизация символизирует и осуществляет омертвление (Бергсон?), а жизнь есть вечное становление и тайна, о капризах Клио и «хитростях исторического разума» (Гегель), вдруг, бывает, бывает! живешь, и ни с того, ни с сего человеческая комедия перестала быть и казаться божественной, близко ничего божественного нет, туманится, обесмысливается, плоскому, двумерному разуму (притом с хитрецей и подлинкой) не под силу распутать гордиев узел, но Жене интересно, именно это и подобное интересно, до жути; а кроме того Николай Николаевич, умнейший собеседник (вот у кого дар молчания), необычный тип мышления, незамеченная, тайная Россия, многим удивил Женю, и Женя с жадным вниманием следит за его бесхитростной речью, слышит простые слова. Николай Николаевич сделал еще одно исповедальное признание, оказывается, он был у Колчака, штабс-капитан, командовал батареей, артиллерист, забил заряд я в пушку туто, артиллерия — бог войны, офицерство свое он скрывал, скрывал очень старательно; в силу внутренней, спонтанной динамики исторических сил времена изменились, Суворов, Кутузов, Брусилов вновь стали национальными героями, многое стало возвращаться на круги своя, имена Чапаева, Щорса ну, не совсем вычеркнуты и преданы забвению, но сильно поблекли; это не всё: Николай Николаевич оказался верующим, ходил в церковь (*в храм* — так он высокопарно выразился), причащался, ритуал, обряд, всё такое, как там у них полагается, черносотенное мажорное православие во всей сверкающей красе. Да как это можно в наш просвещенный век, век науки, пенициллина и страшной бомбы, во всё такое верить? Только невежественные старухи еще ходят в церковь, а священники все осведомители, это уж точно, иначе и быть не может. А вы же образованный человек, сами делали водородную бомбу? На вас, наверно, священник и донес? Да в том-то вся соль, что не прост Николай Николаевич, не невежественная старуха, потому-то Женя испытывал сильное смущение ума. Вчера он впервые в жизни осилил с грехом пополам бездонную книгу книг, Евангелие, не всё, а лишь Евангелие от Матфея, первое в ряду (в заключение он с девятнадцати лет, мальчишкой сел, в лагере никто вам Евангелие не предложит, под полой оно!), не в коня корм, Ромен Роллан, лукавая индийская философия, сломавшая Жене мировоззренческую целку, Шопенгауэр, Бергсон, этапы духовного развития; поиск пути к самому

себе, к сердцевине; к ядру своего я пробиться ой как трудно, прямо невозможно, Тертуллиан хотя и говаривал где-то, что *всякая душа по природе христианка*, однако простые слова Вечной книги оказались более трудными для восприятия, чем все эти бесчисленные индийские философии, Шопенгауэры, Бергсоны; нашему герою кажется, что Евангелие легковесно и не имеет прямого отношения к жизни, во всяком случае к той жизни, которая вокруг него, а вокруг лагерь, ну, не лагерь смерти, а всё же (в лукавую душу не идут простые слова, всё простое, серьезное — консервативно, даже реакционно! лукавая душа не может вместить великие Истины, а у Женьки, видимо, душа лукава, при чтении Евангелия ему явилась мысль самому написать что-то эдакое, интересное, повесть, «Евангелие от Иуды», что-то в духе Андреева, реабилитация Иуды)! Вот теперь он из кожи лезет вон, честно дотошничает, пристаёт с разными вопросами к Николаю Николаевичу, почему да почему (по ..ю да по кочану!), всякие там наивные почемушки, наипаче детские, куча детских почемучек. Получает скудные, скупые ответы, вроде и простые ответы, но они сформулированы не в тех терминах, в каких задан вопрос, а это значит, что остается что-то необналиченным, непроясненным, смысл тонет в неоднозначных, застенчиво-осторожно-нечаянных, неразгаданных словах; как же это получается? он дыбит дальше, задал простой, понятный и волнующий каждого вопрос (вопрос долго зрел, не слетал с языка), а в ответ слышит что-то странное, вязкое, осторожно-уклончивое, вроде и не виляет Николай Николаевич, а получается, виляет, Женя растерян, смущен, ни бельмеса не понимает, что же ему такое ответили, теряется, муть в душе, далеко его душе до рассвета, до отделения света от тьмы, чебурлы? *чаю воскресения мертвых и жизни будущего века* (— Я спрашиваю, верите ли? — Женя, вы требуете от меня большего, чем символ веры! — Какой еще символ веры?). Не спеши, скоро, скоро, наш друг ситный, ты всё узнаешь. Там субъективного времени не будет, как нет его в глубоком сне, обмороке, анабиозе, оно кончается с жизнью, ныне, завтра, через миллион лет — одно и то же; *днесь* со мною будешь в раю, Я воскрешу его в последний день. А еще Николай Николаевич говорит, что в Евангелии от Луки (на это Евангелие Женя еще не бросил глаз) сам Христос Спаситель (*сам! сам!*) грозно свидетельствует о загробной жизни, о рае, об непроходимой, яростной онтологической запретной зоне между раем и адом, *страшное место*, пронзающее душу раскаленной иглой: Лазарь на ложе Авраама в раю, а богат в аду, и в аду за то (*и только за то!*), что был богат, всё узнаем, скоро, скоро; затем Николай Николаевич подчеркивает, что он плохой христи-

анин, несколько раз к этому возвращается, и Женя слышит нечто весьма странное, что-то о самодовлеющей ценности ритуала, о гениальности текстов богослужения, о том, что христианство не должно сморщиваться, как вобла, ссыхаться и выхолащиваться в скучную мораль, прибежище стариков, импотентов и кабинетных Кантов. Пофилософствуешь, и ум вскружится. Тише, тише, не забалтывайте Истину, не утопите ее в лукавом, заразительном многословии. Хватит интеллектуальных полонезов и мазурок. Видать, приспичило Николаю Николаевичу высказаться, отсюда и мазурок гром.

Вот оно: заработал движок нашей притчи, сначала со сбоями, затем нормально, четко застучал. Широко шагаем, штаны порвем! Еще последнее сказание; они, они, чертовы куличики, за спинами дыхание рока. Понеслась вскачь. Берегись, пошла!

Распахнулась дверь, влетели разом двое блатных.

— Все на вахту!

К вахте не выходили уже много дней, надзиратели не решались проводить проверку. У ворот вахты уже набралась толпа, стоять на смерть, эх, навалимся все вместе, нас много, народ, мы — народ, *слушайте музыку революции* (Блок)! впереди, как и положено, самые дисциплинированные и нужные на этот крайний случай жизни, музыканты (культбригада), Юдин с аккордеоном. Та же живописная картина, что и вчера у изолятора. Над головами полощутся, реют те же наглые лозунги, что и вчера, нет, вот новый, огнедышащие, продирающие душу слова: **ДАЙТЕ НАМ ЖЕНЩИН!** крупные, красивые буквы, какой-то дьявольский размах, совершенство исполнения, душу вложил художник. Лозунг с одной стороны держит Аркан, а ему-то зачем женщины, иные склонности, не надо осуждать, разве он виноват, что природа его одарила нежной девичьей душой и вихлявым женским задом, таким, как он, в лагере лафа; с другой кто-то еще, теперь уже всё равно кто. Блатные сзади всех (их всего-то двенадцать человек!), переговариваются. Стояли так, наверно, около часа. Медленно, поскрипывая, уверенно открылись ворота нашего богохранимого ОЛПа, так, значит, лопнуло терпение начальства, следовало и ожидать, и — ждали, на ОЛП въехала пожарная машина, такая новенькая, блестящая, чистенькая, сверкающая, опереточная, необыкновенно красивая (Маринетти сказал, что гоночный автомобиль в миллион раз прекраснее Самофракийской победы, а пожарная машина это просто чудо красоты, с этим согласится всяк, Женька Васяев в детстве мечтал стать пожарником), сияет и сверкает вся, с иголочки, за нею дружно шли автоматчики, их лица непреклонно, отвлеченно суровы, статичны, каменные ли-

ца, как на параде на Красной площади, черные стволы автоматов направлены на нас, ой, как это неприятно, я вам честно скажу; и — жутко. Машина резко тормознулась (мы уже ждали тарана), дальше — юзом, остановилась в шагах семи от толпы, впереди которой стояли музыканты культбригады, мы слегка, но очень умеренно попятимся; с нее соскочили пожарники, трое, размазывают торопливо, путаясь, шланг. Столб воды с пеной, с шипением и змеиным свистом красиво взметнулся вверх метров на семь-восемь, рассыпался красивыми бриллиантами, преломился в лучах весеннего солнца, радугой обернулся, чудо какое-то, стал медленно опускаться прямо на нас, и мы издали звук, напоминающий визг потрясно гигантской свиньи, мы дрогнули, попятимся (— Балуй! Кому говорят? Стой, блядь! Назад! — блатные впервые за всё это время вынули, показали ножи, лезвия убедительны, впечатляют, принуждая и побуждая нас к братской солидарности, душу за други своя). Мы подчинились, остановились, могли бы снести и разнести за милую душу, их всего-то двенадцать человек, ну еще шобла, прихвостни, а нас около двух тысяч, как же так, двенадцать блатных держат в страхе целый ОЛП, а это всё потому, что мы, мужички, им неровня, блатной одной левой тысячу соберет, уложит, *духа* нам не хватает, как выразился тогда Седой, *пассионарности*, как выразился бы Л. Гумилев (у замечательного историка Гумилева забавный пример приводится, двадцатитысячный отряд турок овладел Константинополем, а там население свыше миллиона).

— Гимн Советского Союза! — Седой махнул пламенно-рыжей ушанкой.

Блеф! Нагло, откровенно блефуем. Ходульно, нелепо, крайне неуместно задрезбуждали фальшивой увертюрой первые аккорды государственного гимна, но при всей их настырной вязкости, неуместности, демагогической нарочитой ложности, фальшивости, кто в лес, кто по дрова, на душе стало легче на копейку, прибавилось чуточку бодрости.

Оно самое, царство местоимения, заклинание. Боги жаждут. И все эти астрологии, звезды Сириусы вида сигары, хиромантии, нетерпеливые чаяния крутых перемен обрели плоть и кровь: напряженное ожидание соития, ожидание мощного фаллоса, полновесная, честная, единственная, наэлектризованная реальность.

— Огонь!

И — залп, за которым следует астматический треск нескольких автоматов; вздох облегчения тысячеголового животного, и чей-то радостный вскрик: — Холостые! Еще кто-то: — А что я говорил! Всё понарошку, чтобы припугнуть, наша берет: они не имеют

права стрелять в безоружных людей, ура! Москва не дала санкций. Еще ярче сияет солнце весны, в душе сверкнул радостный луч надежды, ощущение истинного, глубокого счастья, когда опасность миновала. Как в детстве. Он еще мальчишка. Он с лыжами. То же вечное солнце. И когда слетишь с горы, уже скользишь по ровному снегу, позади напряжение сил, физических, душевных, позади опасная гора — радость бытия, мир удивителен и прекрасен, и так до тех пор, пока не повернешь лыжи, не начнешь вновь выбираться на гору; Женя слышит повторную команду «огонь!», треск и кашель автоматов: еще, еще, шутки в сторону, она! Она — убедительная реальность, не муде-колеса, а голая, настоящая правда (без дураков, без лакировки!), а другого языка мы, тупицы окаянные, и не понимаем. А вы думали! На что, идиоты, надеялись!? Есть еще порох в пороховницах! Не разучились еще наши доблестные вояки стрелять! давно пора (и жертв было бы меньше!)! Первый рухнул Юдин, за ним сыграл Аркин, руководитель культбригады, назначенный после освобождения из лагеря Гладкова, переутонченный, томный пидар, с жирным, виляющим, вихляющим, симпатичным, откровенно-женским задом, знаток Пруста и Джойса, бездна вкуса, перед ним когда-то наш герой разоткровенничался и вывернул наизнанку душу, и в нежную юношескую душу ему Аркин плюнул; за ними под корень срезаны и завалены Митя, Алексеев, другие; вся зэчья рать качнулась, скособочилась, повернулась, ринулась на ОЛП, несмотря на окрик блатных, несмотря на их ножи; бежал и Женя, вокруг него падали люди, его угораздило споткнуться о кого-то, шлепнулся, ничком упал, зачем-то приподнял голову. Трое воров. Они швырнули перед собой бушлаты, стояли в белых рубашках на показуху, обнявшись, как братья; они были молоды и красивы. Очередь автомата прошла их, они осели. Грибов не бежал со всеми, а тихо стоял под плакатом, с которого идеальный зэк каждого из нас грубо одергивал и спрашивал, выполнил ли ты, устрица травоядная, хитрожолая, норму? глаза Жени и Николая Николаевича встретились, и Николай Николаевич улыбнулся Жене последний раз, если то, что изобразилось на лице Николая Николаевича, можно назвать улыбкой, и его скосила очередь; лицо исказилось жалкой гримасой боли, схватился за живот, завалился на бок. Женя закрыл глаза, ткнулся в чью-то спину, не шевелился, не поднимал головы. Лежал.

Автоматная злая лихва удалялась в глубь ОЛПа. Чей-то голос: — Кто жив, вставай, быстро, к изолятору! Он уловил, что кто-то рядом встал, ничего, уразумел сердцем, что и ему пора, надо подняться, и тогда он открыл глаза, приподнял голову, начал

вставать на ноги и — ничего, вроде ничего. Он, ах ты, жопа с ручкой, тридцать три несчастья, оплошал, оказался невзначай слишком близко (бессмысленный, тупой случай, черт бы его подрал, стечение обстоятельств, пред господином случаем мы все испытываем священный ужас, у Горького где-то, наверняка в Климе Самгине, случай назван «псевдонимом дьявола», а о дьяволе вот что сказано в Святом Писании: «берет Его дьявол на высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: всё это дам Тебе, если, пав, поклонись мне», соблазн, кем нужно быть, чтобы такое отвергнуть, нам не устоять! слаб человек!), ахнуть не успел, отворился внутренний голос, лишь он, ему положено повиноваться безропотно, кольнул этот таинственный голос, как язвящее шило-жало: *ё. твою мать!* авось, кривая, которая до сих пор подмахивала нашему герою и вывозила, на сей раз подгадила, несомый в небытие всё же видел, что всё пространство от ворот и пошлого плаката до конца конторы заполнено телами в темных бушлатах, кровь, кровь, пятна крови на снегу, мартовское лохматое солнце, кривляющееся, этот мальчишка, необученный, прямо из сна, вот те раз, тот сон оказался пророческим, а как различать пророческий сон от того, что до обеда, является лишь симптоматичным плодом раздраженного ума и несварения желудка, святые как-то различают, загадка! на то они и святые; безусый, каким был Женя, залетев в лагерь в 49-м, безус; несчастный солдатик совсем рядом, промахнуться невозможно и при желании, конец, черное, злое дуло так близко от него, что Женя мог даже цапнуть за автомат, смелость города берет, это его единственная соломинка, хватайся, не дрейфь, держись за неё, эх, если бы на его месте был энергичный Саша Краснов, нет, такое не для Женьки, вялотекущая шизофрения, недостает прыти, он не цапнул, взгляд его сделался малахольным, скулящим, выразил что-то, что можно перевести: *вверю тебе мою молодую жизнь; то был голос сердца, голос отчаяния; лицо солдатика серо, губы бесцветны, в руках автомат, оружие смерти, страх подмял юного вояку, бушует страх, страх объективирует, реализует ситуацию; Женя не слышал глухого, астматического кашля автомата, не скользнул на верные, чугунные рельсы Святой и Святоотечественной традиции, не произнес: Господи, спаси и помилуй, да и не знал традицию, не знал слов и благоразумного разбойника, распятого рядом со Спасителем; не было на этот раз сверхчувственной и трансцендентальной гостии в белом из неведомого мира; наш-то птенец, продохнуть не может, он захлебывается, задыхается в собственной физиологии, блевотине, крови, мгновенно сломалось, замутилось созна-*

ние, утратилась напрочь вся ипостасность, увлекаем могучей струей небытия, исчезло напрочь безжалостное, непобедимое время, загадка загадок, удушье, посинение, хана, поглощен бурной пучиной небытия, никаких островов несравненного счастья, делу венец, поминай, как звали.

Погиб Женька Васяев, студент химфака МГУ, оставил начальнику год (если учитывать зачеты), мы уже и забыли, что когда-то он был студентом, химия, химия, вся залупа синяя, погиб во цвете лет (такой финал никак не вытекает из его эмпирического характера), жизнь Женьки отнюдь не насыщена днями, что верно, то верно, ничего не попишешь, где тут, в лагере, насытишься; когда-то мы его любили, увлечены им были, а нынче готовы от него отречься, забыть напрочь это поганое имя, не нужен нам Женя Васяев, и Африка нам не нужна, и если он все же чем-то мил, возможно лишь тем, что так и остался девственником, ни одна ему так и не подвернула, на ОЛПе нет женщин, и как-то жаль, что он, очарованная душа, восторженный охламон, гибнет измученным девственником в свои двадцать пять лет, на скрижалях судьбы поди это было записано («погибельная судьба» — выражение Иосифа Флавия), он, как и в 49-м, худ, гремит костями, хоть в ОП клади на поправку, как у латыша, ... да душа, худ-то худ, а вообще-то это страстный п...оострадатель, жертва отдельного школьного обучения, мальчишки без девочек; восбразите, этот юноша не целовал ни разу девочку, даже не фланировал с каким-нибудь нежным, эфирным созданием по распрекрасной улице Горького, не касался женской руки, лишь раз в жизни позволил себе недозволенное, тихонечко дернул Риту за косичку, ей не было больно нисколько, удивилась, сурово глянула, словно злой кошкой-фурией фыркнула (вот еще!), мол, мы не в первом классе, чтобы так ухаживать за девочками, экзальтированно плечиком повела; догадалась ли эльфическая Рита, супертургеневская, нежная девушка, в какую полынную мистерию сверзился сидящий рядом с ней робкий юноша, какая бездна боли холонула в его душу: обжегся, явственно ощутил, что каждая клеточка косы имеет исключительно женскую природу, пронзительно женственна, испытал сильнейшее возбуждение, стало от этого его неопытное сердце зияющей, обнаженной, незастегивающейся, незатягивающейся раной.

Суховатый, но зато точный рисунок последних, печальных событий (да надо ли стремиться к точности, к фактографии, может, прав Хемингуэй, в хороших книгах больше правды, чем в жизни, да и сама жизнь есть лишь тень, «подобие» того, что

должно быть). Опять те же поверки, опять звук от удара мощным било по висячему у КВЧ рельсу надолго висает в морозном, люту кусающем воздухе, нас, голубчиков, без вины виноватых, влипнувших, как мухи, в историю с географией, тех, кто не попал под пули, сгоняют на озеро, на то самое, знаменитое, наш славный Китеж, летом здесь водное раздолье, чайки, богатая рыбалка, трехкилограммовые щуки, мерные, кишат, леши ох.енные, что твои вологодские подносы, природа и дети ближе к Богу, чем падший рефлектирующий, ропщущий тростник, да и мы сейчас не на рыбалке, не лето, а вокруг нас снежная равнина, вдали синее фронт тайги (еще пронизательный историк Ключевский подметил, что русский человек любит степь, все песни о степи, степь да степь кругом, и не любит леса, я его не сажал, я его и пилить не буду, не хотим мы на повал, хотим в тепло, на электростанцию, у котла греться, а еще лучше на подсобном хозяйстве пряники перебирать, работенка не бей лежачего), над лесом холодное, волосатое солнце, по-волчьи зло скалится на нас, солнце на лето, зима на мороз, распустило до земли свои холодные космы, застывшие молнии, погода еще далеко не демисезонная, морозец знатный, хищные, безблагодатные и неуместные порывы ветра, шикуют, пробирает, злобится ветропросвист, вечное его: у..у! гага северная птица и морозов не боится, а мы не северные, у всех обледенели ресницы, не брови, а именно ресницы, словно пар из глаз валит, е..т северный мороз южного человека, лучше маленький Ташкент, чем большая Колыма; лишь дымящаяся слегка труба лесозавода вызывает приятные ассоциации своей неколебимой устойчивостью, рвет горизонт гуманным урбанизмом, приветствует нас, напоминает, как хорошо мы жили, жили — не тужили, в тепле, там, на электростанции. Чем они топят, завод-то не работает, опилок, отходов лесоматериала нет?

Мы стоим на льду, словно в легком подпитии, легкое головокружение, возвращенное время, угоды катарсии, живы, выжили, очухались, есть еще опасность, что под тяжестью наших тел, пусть слегка прихваченных десятидневным штрафником, запросто может треснуть лед, буль-буль, Му-му, булькнем в ледяную воду, пиши пропало, все там, разумеется, кто спорит, будем, но очень как-то не хочется туда, ледяная, страшная вода, позади час гнева (и Истины), ой, не хочется угодить в холодную воду, захлебываться, захлебнуться, а нас много, много, лед бодро, весело потрескивает, намекает, что близок предел его прочности, что с неговорчивой физикой пора считаться, а то потом какой-нибудь Колобок аппетитно хихикнет стишком, это уж непременно, кругом поэты, *посредине утонул, только х..м болтанул*. Мы злобно,

откровенно (распустили языки, ну — совсем обнаглели!), от чистого сердца и скопом ругаем блатных и их прихвостней, эту шоблу-ё..лу, имя им — легион, устроивших нам счастливую жизнь, хулу на них изрыгаем, а тех, солдатиков, кто пиф-паф в нас, мы понимаем, оправдываем, уже опять балдеж, гвалт, балагурство без гармошки (— Крепко взбудрили! — Грамотная банька! Теперь полгода можно не мыться. — Да ты и так, таежник, не моешься, вшей загашник. — Не говори так, он в лагере вшей вывел. Микроб от грязи дохнет. — Да что ты ко мне при..ся, от..ись! — Покурим? — С начальником на разводе. — Хорошо дали прикурить!), с ОЛПа выносят тех, кто лежал в стационаре, кто сам двигаться, ходить не может. На носилках несут несчастного старика, беспмятные, белесые, офонарелые глаза, маразматик, далеко зашедшее слабоумие, сильно заговаривается, не понимает, что происходит вокруг, трясун его бьет, сильнейший, отвратительный трясун, а кто-то скалит гнилые зубы, охотно комментирует, белобрыйсый одуванчик вроде Колобка, одна повадка, уйма таких, в лагере этих затейников, развлекающих и отвлекающих нас, пруд пруди; и ему большой кураж, кричит, словно на толкучке товар продает, зазывала, потешает: — От онанизма! Ему кажется, что он очень остроумен, остер, сам принимается первым громко хохотать, и этот смех ферментирует общее настроение; неусыпный червь, сосущий душу, смолкает, теплее становится на душе, возвращаются сверхприродные силы, поддерживающие жизнь лагеря; кто-то еще добавляет, что на носилках большой ученый, математик, реабилитирован, впереди свобода, а тот, солнечный одуванчик (на первый и поверхностный взгляд под стать Колобку, нет, нет, где ему, сходство кажущееся, поверхностное, не попадитесь на дешевую удочку, Колобок бесподобен, был! уже покойник, сомкнулись вежды, в самое сердце пуля, не страдал, и морда у Колобка забавнее (была!), выразительнее, улыбка детски-солнечная, корзубая, ясная, глаза — голубец, синие-пресиние, живые, лживые, смеющиеся, а у этого, как стершийся пятак, не запомнишь и в то же время кирпича просит, а наш-то — поэт Божьей милостью, самородок, каргопольский Вийон, «Малое завещание»), хлопает профессора по плечу, развеселый, разудалый апокалипсис, позади экстрема, жизнь, простите нас, грешных, великодушно, продолжается! смеховое забвение, бодро, смело глядим в будущее, сохранились бы зачеты, а там трын-трава, витальность ээчья, избыток сил, радуемся, как улей (а нам-то ... ли!), жизни, резвимся, подлю, подлю устроен человек: — На волю идешь! физкульт привет! — и крепко, дружески ударяет по плечу математика, опять шутовской хоровод, кто-то рассказывает, что

сам видел, как Седой, юный пахан, наводящий на нас жуть и ужас (и это блистательное положение в восемнадцать лет!), вершитель судеб, упившийся сполна кровью, вбежал в санчасть, метался, лётал там, как чумная ворона, сбросил бушлат, *дипломат*, задрал белую рубашку, одним сильным движением, прямо самурай, располосовал сам себе живот, картинка с выставки и не для слабонервных, кишки вывалились, кровища: чай, думал (— Индюк думал!), прямо здесь, в санчасти, его госпитализируют, койку дадут, на белые простыни положат, перетрусил и перетрухал паренек, жидок на ответ оказался, не чета песенному Стеньке Разину. Кто-то видел, как Седого волокли за ноги два надзирателя, а кишки вывалились из живота, волочились, цеплялись. Рассказывалось с хихиканьем и глумливым злорадством. Так ему и надо, свое заслужил.

Кто-то, вот глазастый! выглядел Минаева, здесь, на льду; Минаев сбрил харизматическую бороду, за такую-то бороду протащить по городу, еще вчера на трибуне, царственная осанка, борода по ветру, подлинный олимпиец, Зевс-Громовержец, а нынче буквально, а не фигурально, потерял лицо, подменили, оно до отвращения и неприличия жалко, скобленное, голое, без бороды это пошлая порнографическая мерзость. Нелегко распознать, как последний подлец, замаскировался; как-то разглядели старатели, засветили, стукнули, увели речистого адвоката блатных, не прошла маскировка, прихвостень, старый негодник, не зря ему Лепин в морду въехал, крепко вlepил подонку по физике, черносотенцу и отцу черносотенцев, скрытому, тайному антисемиту, мастеру разговоров о русской идее, о твердом народном якорь, о почве и беспочвенности, мастеру тенденциозных натяжек, притом самых неприглядных, махровых, дурных, почва, якорь, получай якорь и позор, вечный позор, убить мало, и как это Лепин (при его-то близорукости, без очков с толстенными стеклами не видит буквально дальше носа, заумь непролазную, диалектический кирпич «Науки логики» на сантиметр к глазам подносит, когда погружается с головой в Гегеля и хлебает обильными глотками недоступную простому человеку заморскую премудрость) прозрел и предугадал будущее, деградацию, падение, коллаборационизм Минаева, нашего бессменного президента, кормчего и учителя, зверски крепка и символична пощечина, ее эхо уже, подобно черному монаху Чехова, несколько раз облетело землю, достигло луны, подняло там бурю песчаную, рвется к солнцу, что-то будет (откуда Лепин всё знал? вот когда по-настоящему мы зауважали Лепина, безумно зауважали за эту совершенно точную, снайперскую оптику, да и как не уважать, когда всё совпало, лазерный луч

интуиции просек плотную завесу будущего)! Еще науськивающий подмиг, увели Бирона, тоже хорош гусь, ну, гаденыш, оказывается, к плакатам, которые звали, требовали (и весьма категорично) прекратить произвол и дать нам женщин, этот пакостник приложил руку, представляете, Бирон оказался в большом фаворе у Седого, придворный художник, писал плакаты (Маяковский? Владимир Владимирович? *а тут — не знай ни зим, ни лет, сиди, рисуй плакаты!*), непростое дело, шрифты знать надо, одарен Бирон разносторонне, в эти суровые дни бурно расцвел его талант художника (— День и ночь, как собака, пишу плакаты! — сказал Бирон, Женьке сказал), смычка блатного мира с интеллектуальной, просвещенной интеллигенцией, ничего нового, и Гладков развлекал и баловал блатных высокой поэзией, свое читал, Пастернака, Есенина, знаменитую «Балладу Рэдингской тюрьмы», *убил, потому что любил, так повелось в веках*, уважали Гладкова блатные за выразительную сердечную, со слезой, мелодекламацию, правду говорил Александр Константинович, что *с людьми ел*, не хвастал, сущая правда. Блатных и тех, кто с ними был связан, отвели на вахту. А там их крепко, со сладострастием утюжили, всё сапогами, сапогами железом подбитыми, с подковами, очень наши надзиратели увлеклись, озверели, их понять можно и нужно, перепуганы нашими требованиями отдать их под суд; Бирон лежал на полу, извивался, как вертлявый червяк, как сангвинистический живчик, закрывал от ударов голову руками, виски, увертывался, инстинктивно угадывая, по какому мягкому месту будет нанесен следующий удар, напрягал мышцы живота, надзиратели утомились, быстро устаешь, ноги отбиваешь, это тоже работа, да еще какая, тяжелая, ушли передохнуть, сил новых набраться, перекурить, Минаев (поделом тебе, старый дурак и негодник!) тихо и безостановочно скулил голосом малого, беспомощного ребенка: *Смилуйся, Царица Небесная! И Царица Небесная сердечно смиростивилась (И впустила в царство вечно паладина своего):* когда надзиратели после отдыха и с новыми силами вернулись, дабы доконать всю эту сволочь, доконать втихую, без шухера (без суда и следствия, да и что может суд, одно посмешище, дела нынче решаются в пользу эков!), он затих, был уже готов, а они вернулись, снова принялись за работу, лупили, выбирали местечко послаще, с размаху и с разбегу, и так вдарит, ловко.

И все (блатные и их прихвостни, всякая шобла-ёлла) были забиты до смерти, кроме Бирона: уже четыре дня, как из Москвы пришла бумага о его реабилитации и освобождении «за отсутствием состава преступления», и оперуполномоченный, тот, с ним Бирон в прошлом году в одной команде играл на комендантском

в волейбол (Бирон удивлял всех нас спортивностью и джокерской вездесущностью, то и дело гремело: — *Эдик, гвоздя!* — давно, давно всё это было, в мифологической, седой древности, не имеющей никакого отношения к суровому современному климату лагеря), и начальник спецчасти с трудом вырвали Бирона, наследника русского престола (якобы!? а чем черт не шутит), у очумевших надзирателей, отбиты почки, барахлили, четыре месяца бедолага мочился кровью, ничего, был молод, двадцать семь лет, на живом всё заживет, жив до сих пор. Позже, уже в постлагерное, хрущевское времечко, когда исполнились времена и сроки, сатирический ум, склонный к звонкой экстравагантности и чудовищным парадоксам, не моргнув глазом, отмочит крылатое, запомнившееся и оскорбившие современников *mot*, будто бы никогда он не был так свободен, как в Каргопольлаге, что это время Истины и Свободы (фу, чушь собачья), и никогда ему не было так хорошо, как на комендантском, никогда не ел с таким аппетитом и так сладко, как в те годы у Окуня и Карпа. Раз наш министр плохой (Берия!), значит, и мы (зэки, фашисты) плохие! Запомнилась его реплика, мол, еще не раз вспомним о Берии (— Как, неужели вы хотите предоставить свободу слова Минаеву? это же ужас! старая баба!). На закате наша тюрьма прекрасна! Потерянный рай (его словцо: — *Приговорен к свободе!*). К этому краснобайству мы серьезно не относимся, не верим, придуривается, выпендривается, одно сплошное выё.ывание, любит пырнуть афоризмом, ради красного словца не пожалеет и родного отца, художественная натура в своем роде, а потому его речи нас нисколько не задевают, не оскорбляют однообразно-навязчивые сентенции, сарказмы, парадоксы, треп, пустое, а вот Лепин это совсем другое дело, Лепин оскорбил наши тайные, сокровенные мечтания, наши слабости, оскорбил не желчным, бодливым, нарочитым словом, а делом, оскорбил нашу чистую, светлую грезу о воле, но мы запомнили сей оскорбительный пассаж, всё простили ему за золотые глаза, за их гениальные прозрения, надо же, чудовищная близорукость, дальтонизм, цвета вовсе не различает, весь мир для него сплошные *синие груши*, а тут снайперская точность, ворошиловский стрелок, как в копеечку бьет в жизнь, без промаха, гениальное прозрение.

Вдалеке от столбовой дороги истории, тусклые будни, скучный, без всяких заключительных эффектов тоскливый эпилог, плохо конвертируемый текст, сплошная развесистая клюква. Агония комендантского ОЛПа. Следующие печальные три дня мы не работали, хоронили тех, кого срезала безжалостно-равнодушная пуля, много, много народу пало жертвой безответственного ли-

берализма и глупостей лагерной администрации (лучше сразу вырвать больной, воспаленный, либеральный зуб! XX-й век — расцвет хирургии, да здравствует хирургия!), большой урон понес богохранимый ОЛП, но всё же большинство остались живы, уцелели (и на том спасибо!), говорят (кур доят, коровы яйца несут!), сто сорок с гаком убитых, около трехсот раненых, да наверняка больше, всё пространство от ворот лагеря до санчасти было заполнено телами, впечатляющее зрелище! Так-то. Да кто считал? А на ОЛПе ведь около двух тысяч (трудная со многими неизвестными математика; Минаев обещал, что треть спасется, спаслось много больше). Метаисторическая богатая метафора! Зри и помни! Неужели и шумок, и лихорадочный, радикальный, кроваво-барочный финал задуман на небесах? Если задуман, в чем смысл задумки? А если не задуман, почто не явился ангел с огненным мечом и не остановил бесчинства блатных и последующий расстрел? Богатая пища для размышления в духе Уайлдера. Трудно истолковать честно, ясно и непредвзято. Увлекательной шустро-халтурно-изворачивающейся, уклончивой, кабинетной теодицеи в духе великого Лейбница не получается. Какая теодицея, звук пустой, Панглос, насмешка неба над землей, о теодицее лучше и не заикаться. Никто и не прикидывается, что во всем этом есть глубина или вообще что-то вразумительное, конвертируемое хотя бы с художественной точки зрения, и мы смущены судьбой нашего героя (мы им были недовольны, но смерти не желали), судьбой благословенного комендантского ОЛПа, одно сплошное недоумение, недоразумение, ускользает смысл события, можно с тоски удавиться, а смысл явно был, мы держали его крепко за хвост, был да сплыл, хоть караул кричи благим матом и во всё горло, как выл Малышев. Кровавое воскресенье, 1905-й год — какой резонанс, столько шуму, стал нулем меж девятки с пятеркой, и вот вам результат, двенадцать негрят, полетела монархия, полетела вверх тормашками, а убито было даже меньше, чем на нашем ОЛПе. Да что и говорить! ОЛП видал виды и раньше, но такого, чтобы нам, голубчикам, ни с того, ни с сего рубали этот самый, ... его знает (признаем честно, что и мы невольно капитулировали перед блатными и не только перед их ножами, а в более глубоком смысле: нас полонил, захватил их язык, «который ненавидит», мы капитулировали перед его силой, напором, мощью, яростью, блатная лингвистическая агрессия; читатель наверняка обратил внимание, что чем ближе к концу повествования, тем чаще мы пользовались ненормативной лексикой), как называть поприличнее, ну, словом, тайный, опупелый, дымящийся, неугомонный, без усталости готический уд, огонь неутасимый, вос-

петый Розановым, жизненная сила, нестигаемая воля, вообще-то не очень нужный в условиях лагеря, выполняет чисто декоративную функцию, когда на ОЛПе нет женщин, наших, замечательных, всегда готовых нам подвернуть, а затем четвертовали, как песенного Стеньку Разина, из-за острова на стрежень, из ряда вон сие, изуверство, отродясь не было (не нужны нам такие метафоры). И не должно быть. Прошлое ОЛПа (вплоть до бунта!) в обратной розовой оптической перспективе, удачно используемой византийской иконописью, видится умеренным и благоразумным, без крайностей, таким выглядит девятнадцатый век из двадцатого.

Сила сроков; так завершается не только эпопея Женьки Васяева, птенца кузьмовского гнезда и парня с нашего ОЛПа, комендантского, трудного героя, с которым давно пора бы нам порвать все отношения и расстаться. Смутил он нас беспринципностью симпатий, и мы готовы его забраковать и выбраковать, вялотекущая психозфрения, рефлектирующий неврастеник, миллион терзаний, лишен он в нормальной быстротекущей жизни, лишний человек, на воле мы его представить не можем и не желаем представлять; и его учитель и друг, Кузьма, вскоре умер, оказавшись вне лагеря; темная лошадка этот Женька и непонятно чьей конюшни, слишком и без разбору всеяден; повел себя странно и сомнительно, ну вольно ж ему было и зачем, скажите честно и на милость, понадобилась вся эта маниловщина, черносотенное — неуютен смысл этого слова, ой! липок и гадок, гаже нет и быть не может — посещение эдаким тайным Никодимом больного Минаева, явного, красочного, откровенного беспросветного мракобеса, танцующего от русской печки, уж эта нам печка русская. Вскоре и наш славный ОЛП, ОЛП-2, комендантский, будет ликвидирован, а также 15-й, женский! где обитали наши прелестницы, в том числе Зойка, помните ли (как не помнить!) эпистолярные шуры-муры, озорные заочницы шлют нам затейливые ксивы, и влобляют нас запросто, переворачивают наши грубые и в то же время нежные сердца, ё-моё, хотим еще раз, уже последний, напомнить, что на 15-м ОЛПе полторы тысячи баб! и у каждой, как уверяет Колобок (скорее всего, эту истину он вывел из общих, априорных, метафизических, как бы выразился старик Аристотель, соображений), п...а! и мы, страстные п...оострадатели, романтики, охотно верим его смелому слову.

Мы сами во всем виноваты. Свободу мы понимаем исключительно, как своеволие, мы народ такой, шалавый, без царя в голове и с романтической придурью, вот Колобок, поэтическая жилка у него ярко выражена (была!), вечно дурацкая, счастливая

улыбка, рот до ушей, дар импровизации, дошлый комедиант, комедийная хватка, клоун, охальник и большой выдумщик, вот бы кто согласился с Шекспиром, что жизнь это театр, и чего Колобка в культбригаду не взяли, отличный был бы артист; да, да! все мы такие ухари, невинное озорство то и дело у вас переходит в откровенное буйство и безобразие, со всячинкой народец (где романтизм — Лермонтов с Тамарой и демоном, любимый поэт первой четверти двадцатого века, включая Пастернака, чего они в этом Лермонтове нашли, а он, мятежный, ищет бури, Терек, гривы львиц, у львиц не бывает грив, не точно, но зато красиво, обольстительно, а Бог? Он на нас не бросит взгляда, Он занят небом, не землей — там и всячинка, там и темные выходки, выбросы, пошаливаем мы время от времени, чаще даже немотивированно, ни с того, ни с сего, так, характер показать, под пьяную лавочку и под стих, зло сорвать, отвести душу, чуть что — зверь взбесившийся, а дебош — высшая ценность бытия, без эксцессов у нас не получается, без придури и немотивированного, дикого куража, который являет собой символ истиной сорвиголовушки, вы не в состоянии дня просуществовать). Опасен вне лагеря, социально опасен неистовый и неменяемый Куцик; что? не наш? цыган? Мора? черножопый? не русский, жопа узкий? да разве он нам вовсе чужой и тайна за семью печатями? Наш, наш. Еще более опасен головорез Алексеев, мстительная гнида, крикун, горлопан, скандалист, склочник, напьется по случаю освобождения, как не выпить, натворит что-нибудь обязательно, вечный порыв к чему-то такому, когда ею сильно нагрузится, порыв сложить буйную головушку, насолить кому-то; не менее опасен, с ним вас и поздравляю, Малышев, или они нам чужие, непонятные, в чем загадочность славянской души, разве в каждом из нас не сидит бес Куцика, Алексеева, Малышева или дьявол Мити, а Ульманис, честный работяга, честный труженик, да и вообще честняга, для нас куркуль, серая, картофельная, пошлая, скучная нация, буржуазная серость, да вся Европа такая! а крестовые походы, соборы, собор в Шартре, устремление ввысь, стрельчатая арка — тогда что-то было, всё в прошлом, когда-то Европа и была «страной святых чудес» (образное выражение славянофила Хомякова, широко использованное Достоевским), но не сегодня, не сейчас, давно прошедшее время (Фауст у Пушкина: — Мне скучно, бес! — Всё утопить!). Скучна нам Европа, серое на сером, оттенки серого, скучно, пресно, комфортабельный тупик, уютные бары, закат Европы, как говаривал когда-то Шпенглер, а чуть-чуть заката и уюта хочется, нам бы с вами немного уюта! нет на Руси уюта, уют нам только снится, даже не уюта, а капельку

сносной жизни. Вот, вот! Вот она, Святая Русь, *русская свинья форсит своим рылом (РСФСР)*, как говаривал прозорливый мыслитель Лепин (ныне канонизирован и причислен к сонму героев нашего времени, к сонму бессмертных, большой человек, властитель дум), никуда не денешься, реализм, она, она, Русь моя, жена моя, во всей невозможной, невообразимой красе, без абзацев, запятых, точек, эдаким мутным, несуразным, чрезмерным, угрожающим, сбивающим с толка сплошняком, аморфна, русское безумие, Ванька в рыло, я в карман, дыхание жизни, весело было нам, всё делили пополам! Здесь русский дух, здесь Русью пахнет Е.ёна мать, ишь ты! Берегись, пошла! Эх, всё муде-колеса.

1997

**И ВЕРТИТСЯ ЗЕМЛЯ
ПОДОБИЕМ РУЛЕТКИ...**

* * *

Виолончель,
читающая книгу
под звуки нескончаемых дождей,
дрожала
и была подобна крику,
живущему отдельно от людей.

Влюбленный бюст,
стоящий истуканом,
пенсионер,
жующий чебурек,
пустой башмак,
оплаканный фонтаном,
и постовой,
живущий в кобуре,

и мост,
напоминающий качели,
и сытые ночные поезда —
всё протекло меж струн виолончели
и унеслось неведомо куда.

**Ефим
БЕРШИН**

— родился в 1951 году в Тирасполе. Окончил факультет журналистики МГУ. Подборки стихов публиковались в журналах «Континент», «Юность», «Стрелец», в альманахах «Теплый Стан», «Перекресток». Автор сборников стихов «Снег над Печорой» (1982), «Острова» (1992), в издательстве «Третья волна» готовится к печати сборник «Монолог осколка». Живет в Москве.

Поскольку в этом скопище живых,
где больше не до живу — быть бы жиру.
она одна
была угодна миру,
висящему на нитях дождевых.

* * *

Скупая геометрия зимы.
Квадрат окна.
Гипотенуза шторы.
Две улицы, бредущие из тьмы,
забытые, как заповеди Торы.

Два дерева на ледяном ветру
углом склонились на манер холопьев.
Красавица, рожденная из хлопьев,
в моих руках растаяла к утру.

Мне холодно.
В руке сжимая уголь,
рисую стены.
Дело к февралю.
И медленно делю шагами угол,
как будто зиму надвое делю.

* * *

Хранила комната,
хранила
икону,
коврик,
два стола,
расстроенное пианино,
молчащее от «ре» до «ля».

Хранила книги,
воздух душный,
хранила,
сумраком обвив,
на остывающей подушке
дыхание былой любви.

Приходила в дом невестой,
воровала вечера
и, как ризой,
занавеской
укрывала часть двора.

И пока летали низко
над роялем
крылья рук,
всё казалась пианисткой,
небом посланною вдруг.

Но потом,
взлетев со дна
этой музыки дремотной,
ты какой-то хищной нотой
выпорхнула из окна.

И стою белей листа
перед пропастью оконной,
как свеча перед иконой,
на которой
пустота.

Рождение

Предчувствие конца.
Предчувствие ухода.
Предчувствие дождей,
идущих поперек
распахнутой земли.
Но странная свобода
является в крови
и гонит за порог.

И мне еще дано
услышать запах пота,
ползущий сквозь метро
в ночные поезда,
и женщину,
с трудом давящую зевоту,
вести через Москву
неведомо куда.

Спасибо,
что с тобой
сошлись мы в этом доме,
и мне дано вкусить
от призрачных щедрот,
когда передо мной
в мучительной истоме,
как рана, на лице
зияет черный рот.

И можно подглядеть,
как спяну или сдуру
стоит среди двора
седеющий кретин.

И вот — наискосок,
как в мусорную урну,
летит в него плевок.
Потом — еще один.

Спасибо,
что Москвой
еще гуляют страсти,
и можно угодить
в божественный обман
и вылететь в окно,
и, плавая в пространстве,
ненужною звездой
пронизывать туман.

Да здравствует вранье
и видимость полёта,
и видимость любви,
свершенной в темноте,
пока цветут глаза
ромашками помёта
и гребни — на ушах,
и перья — на хвосте.

И вертится земля
подобием рулетки.
И я не знаю сам,
где оборвется шаг.
И в лифте скоростном,
как жаворонок в клетке,
срываюсь в никуда
с седьмого этажа.

* * *

Мокрою кошкой
октябрь опускается в лужу.
Время гулять и горланить,
но, веря приметам,
я понимаю,
что больше уже не нарушу
вашего сна.
Потому что не буду поэтом.

Спите спокойно.
Я снова к Москве привыкаю.
Снова ночами не сплю,
но, однако, при этом
не сочиняю стихов,
не грешу
и не каюсь
и никогда уже больше не буду поэтом.

Желтые листья пеку
на осеннем бульваре.
Водки не пью.
В целлофан упакованным летом
грустно торгую
на грязном унылом базаре
и никогда уже больше
не буду поэтом...

Монолог

Ты стань жуком,
я стану муравьем.
И лучшей доли,
кажется, не надо.
Е. Блажеевский

1

Безлюдна полночь,
и Москва пуста,
как женщина,
утратившая нежность.
Всё кончено.
И я живу с листа,
как будто раньше никогда и не жил,
как будто бы не ведал,

сорзавшись вниз,
я всё ещё живу —
без имени,
без возраста,
без места
в пустом доме,
где стены из стекла,
вражда наивна,
а любовь — бесплодна,
где нами молча выбрана была
прекрасная,
но странная свобода:
свобода
выбирать от сих до сих,
свобода
стать жуком в навозной жиже,
свобода
даже самый лучший стих
не написать
и все-таки не выжить.
Мы волчье племя.
Мы сродни волкам.
Но, предавая чистую породу,
мы сами стрелы выдали стрелкам
и сами на себя ведем охоту.
И спорим о природе ремесла,
в дыму табачном коротая вечер,
когда уже отпущена стрела,
и за спиною
страшно дышит
вечность.

РАССКАЗЫ БАБКИ ПЕТРОВНЫ

«...Как земля»

Не могу сказать, что я люблю слушать бабкины рассказы. Слово «люблю» здесь неуместно. Но слушаю. Не потому, что она складно рассказывает, а потому что говорит истинную правду, разве что иной раз 1908 год с 1918-м перепутает.

Ее сын Никола погиб на фронте в Отечественную. Время не излечивает материнских ран и не утоляет боль невозвратных потерь. Открыто и слезно убиваться по нем она вроде бы как перестала только недавно, когда торжественно открыли у Кремлевской стены могилу Неизвестного Солдата. Она верит, что именно там покоится прах его, вечный огонь горит не зря, а то ведь двадцать с лишним лет она так и не знала, где погребен ее сын и, главное, погребен ли?..

Еще у бабуси остались две дочери. Одна — Шура — живет в Донецке, муж не пьет, живут в согласии, только сама дочка хворает сильно. У нее два сына: один — на шахте в Усть-Норильске, денгу гонит и тратит ее без видимого толку; другой — в Караганде, срочную военную службу отбывает, и бабка ему нет-нет, а вышлет десятку. При каждой весточке от него, где солдат просит очередную десятку, ликующе восклицает: «Вот зараза! Не забывает бабушку! Не забывает, пес-перепес! Бабушку не забывает». Вторая дочь Надежды Петровны в Москве живет, тоже двух детей имеет, паренька-подростка и дочку, вырывающуюся в совершеннолетие не без приключений. Вторая, московская, дочка — Валя — замужем уже лет девятнадцать, но об этом браке двумя словами не скажешь, и тут бабуся повествует с подробностями.

**Теодор
ВУЛЬФОВИЧ**

— родился в 1923 году в Бухаре. Участник войны. Окончил Институт кинематографии. Кинорежиссер, автор фильмов «Последний дюйм» (1959), «Крепкий орешек» (1967), «Шествие золотых зверей» (1978; сценарий совместно с Ю. Домбровским) и др. Автор сборника повестей и рассказов «Там на войне» (1991), «Ночь ночей» (1995). Живет в Москве.

— В то утро по всему-городу-области гололед был, — Надежда Петровна любит по несколько слов объединять в одно, и у нее получается. — Дочкин-Валин-муж-Петр-Васильевич работал сцепщиком вагонов на железнодорожных путях завода Сталина-бывшего-Лихачева-автомобильного, а сам Жуков... Сцепщики по такой погоде галоши надевают. Склизота — один лед. А Петр галошу не надел, осклизнулся на застрелке. Зацепило... А он тверезый был... Сам на энтой стороне, а машинист на ту смотрит. Семь вагонов ему по ногам и проехало. Уж и кричал машинисту и свистел (у него свисток при себе был)... Видит, нет ему помочи, а тут паровоз накатывается. Уцепился он за энтот, буфер что ли, и давай. Дёржится. А сам сил-здоровью-и-росту агромадного. Откуда только берутся? Грецкие орехи без удара ломит, словно дверной створкой; бывало, как ударит Валю-дочку-мою, сразу омарок. Он за это и в тюрьме два года сидел. Бигамот-проходимец-мучитель свао семейства!.. Сын ему, Толик, говорит: «Вот погоди, подрасту, вымахая с тебя-каланчу, в одно прекрасное утро убью». А он ему, Петр, отец значит, — «Не доживешь, — говорит, — я вас всех одним распрекрасным утром зарезу». — Это он спьяна всё. Как земля! Аглашенный. Пьет. Ему одна поллитра ништо, ему вторую давай, а то и третью... Не умеет.

Вот дядя у меня был, отцовый брат. Он водку пробовал пить, а не умел. В девятьсот шестом году на молодень-рождество братья приехали, ещё на Смоленщине, — пили, а он пошел их провожать. Бисиком по снегу. Кувырк, кувырк по сугробам — получилась воспаления. Легких. Теперь-то уж известно — двустороннее. За две недели отлетел. Не умел, а пил. Вот жена его умела. До восьмидесяти четырех лет прожила, семерых детей подняла. Сама...

Я-то вот говорю вам, а его уцапило и тащит. Он и кричать перестал, потому как знал, где этому паровозу остановиться на маневре положено... Остановился паровоз. Машинист глядь — мать честная!..

— Ты чего, сучий сын? Я ведь и кричу, и свистом, а ты...

— Не слышал, — один ответ.

А у Петра не токмо ноги, ухо порвало, кожу по дороге с головы наперед завернуло, и ещё много разного — два ребра, кость тазовую... другие части тоже...

Говорит всё это бабуся слишком не вздыхая, не охая, излишними эмоциями обстоятельств не окрашивая, а если и ругается, то мирно.

— Это специализация у них, у сцепщиков, такая. Одна судьба — один каюк. За 12 лет он уж восьмой али девятый. Так что тут жена каждый день жди. Ровно космонация. А сама она в роддоме. Только-только второго родила: доченьке полтора года, а энтому

два-три денечка. Я к ней в роддом. — «Зацепило, — говорю. — Гипс». А она и так белая лежит.

— Да его, наверное, и капельки-крошечки нету. Какой там гипс? — так прямо и сказала.

А его, значит, и то правда, после процедуры прямиком в моргу. Это уж он сам мне потом рассказывал: «Очнулся нагишом, глядь, пять покойников — я шестой. Думаю, так не пойдет!.. Дотянулся до палки, давай окна крушить. Опять полуподвал! С улицы толпа собралась, милицию вызвали, решили фулиганы в моргу забрались — безобразничают».

Долго они там рассуждали, всё стыдили его, через битые окна — урезонивали. А он сказать им толком не может, что это не от фулиганства, не от водки, он ее, конечным делом, пьет, аглашенный, без всякого понятия, но и в покойницкую его тоже пока нельзя. Это что ж за порядок такой?! Тут уж разобрались, переполошились. — «Вы, — говорят, — не волнуйтесь, чего только у нас не случается, бывают дни, — говорят, — по тридцать-сорок случаев за сутки — в ночь на 8 марта, например, ликордное!..» А он им: «Причем тут праздник? Нынче ведь будни — четверг...»

Стали выправлять положение, в операционную его. Я в коридоре сторожу. Они подходят по-одному, говорят ласково: «Бабушка, чего вы здесь сидите, идите домой, мы вам сообщим». А я нет. Сижу себе и сижу. Нагляделась — страсть! Там ещё одна хорошая женщина уборщицей работает, та всё мне рассказывала... Одного везут прикрытого, я отвернула простинь — мертвый, а не он. Потом уж, через сколько часов, гляжу, нянька таз несет. Тоже прикрытый. Дай погляжу. Откинула — евонные ноги лежат. Припадок их возьми! Я их знаю, он столько разов при мне мыл их. Одна, значит, по сих... а другая помене, у сидиколотки кончается. — «Жив, — говорит, — пока». — Ясное дело. Можно и домой бежать. А там уже и ходить за ним стала. Бульоны, пельсины, чимес морковный, с ложки всё его кормила. Он как очухался, так и говорит: «Петровна, я как отойду малость, все окна им тут заново перешибаю. Я им эту моргу так не оставлю. Я прямо родному правительству сообщению, чтоб их здесь всех тут...» — прости Господи, выражаться стал, зараза, до неприличности, и так и поперек, прямо нехорошо перед иными помирающими, они, может, про что другое думать должны...

Полтора месяца я за ним ходила, всё деньги свои тратила. Где ни пропадала... Мне их не жалко... А там ему уж и протезы сделали, две штуки, тяжеленные, как кувалды, ей-богу!

Тут Лихачев, значит, завод ихний, комнату ему обменял и говорит, сапожником работать у нас будешь. А ему что? Даже

лучше, сиди в тепле — тот полтинник, тот рубль подкинет, а он работать мастер, денную норму за два часа делает. Теперь жёнчины, бедные, вертят задницами — надо! — каблуки и отрываются. А он с них за каблуки и берет. «Калым!» — говорит, пес-перепес. И пить стал ещё швыдче. Уж больно здоров, зараза. Пьет, как земля! — «Чего, говорит, мне повесть о настоящем человеке? Я не против Маресьева, мы по ногам с ним родня. А натяни мне канат через всю Красную площадь, при огромном скоплении народностей, я туда заберусь, протезы скину и могу любую головокружительность зафигачить. Ахнут!.. Ты, — говорит, — Петровна, на своей работе с известными людьми встречаешься, они к Кремлю поближе, пусть там произнесут — Петр Васильевич Жуков готов по канату любое задание Родины!.. Или в цирке... но тут уж за деньги, само собой. А на Красной могу, как бессеребренник».

Так я и попросила его, он мастер хороший: «Почини, говорю, Петя, мне ботинки». А он оглядел ботинки: «Стоить будет — четвертак. Это по-старому».

— Чего? — я и не поняла сразу.

— Двадцать пять, — говорит, — чуть мене поллитры.

— Я ж тебя, говорю, — с ложки кормила!

А он: «Потому и мене, а не боле». И весь сказ. Вот ведь ирод, зараза безногая... Бигамот!.. Другой раз, думаю, отрежет тебе что, так и близко не подойду. Шалели люди, прямо шалели. Припадок их возьми! И это в пору космонации! — уже с некоторым пафосом продолжает бабуся. — Всё небо исчиркали. Стребают, богатырствуют — силу показывают. Стыкуются тама, из кузова в кузов перелазют. Во, шалели!.. Ихние матери, небось, исплакались вконец, из нервного радикулиту в скрулез перебираются. Что за жизнь?! Вчерась, например, Толик-дочкин-сын, внук мой, в половине первого домой привалился!.. Вот пес. Ложись, говорю, спать не жрамши!

— Что я сдурел, — говорит, — чтобы ложиться спать не жрамши?!

Стал блины разводить, ему пятнадцатый год, вот ведь зараза! Чад в квартире — дым пеленой. Час ночи — он всё блины ладит. Трудолюбивый такой. Авиамодели всё в доме пионеров запускает и мастерит сам. Премию получил, грамоту. Смышленный... Отец проснулся. Как земля — две поллитры зараз выжрал. Истинный Бог! Одну в обед, другую к вечеру. Хочет заснуть — не может, курить стал, скотина. Папиросу за другой... Мать пробудилась... Доченька моя, устала спать... Ад-адёшенек! Штается болезная, да и рухнула — омарок. Мы ее на ноги, а она на пол. Мы ее на ноги, а она в стенку... Думаем, помрет. Шале-е-ли! Вызвали

доктора... «Удивляемся, — говорит, — как вы здесь при своем энтузиазме все не перемерли».

А энгот, блины печет. Говорит: «Я вас знаю! Сейчас отойдете, все захотите... Подсядете... Я не одурел, чтобы ложиться спать не жрамши!»

А кот с сибирским хвостом, сам-драный-такой-один-шкилет, — орет по квартире, метается. Нервный он у них, прямо заходится, страсть! Одна-чистая-нерва — никакого кота нету! Метается!

— Убери, — говорю, — эту заразу с хвостом! Мельгает он у меня перед глазами, света не вижу!

— Если ты, старая, — говорит, — такая революционная (это он четырнадцати лет — пятнадцатый отроду!), то сама и убери его. Он сибирский! С хвостом! Он тебе не то что глаза, он тебе печенку выдерет.

А сам, подлец-малолетка, — прости меня, Господи!.. — жарит блины, словно на целую кавалерию! Я так осерчала, что... прямо проголодалась. Села с ним... Догадливый такой, смысленный парнишка... Чтob его скорее в армию загребли, идола!.. Вы не знаете, нынче с какого года берут?

«...Как птица»

— Разве можно матери своё дитё переживать? Не по-людски это. Не по-божески... Спаси её Царица Небесная!.. Да куда там!.. Рак он и есть рак, а у нее в ноге, — говорила Надежда Петровна и замолкала надолго в раздумье.

Вот уже три раза ездила Надежда Петровна в Донецк хоронить свою дочку Шуру и всё назад в Москву возвращалась. Первый раз — полтора месяца, второй — три с половиной, а тут — почти что пять...

— Круг! В Донецке мука-мученистая, а здесь — вдвое. Шуредоченьке под шестьдесят, из себя вся объемная, повыше мужа-Ивана, хоть и тот росту среднего. Работница, рассудительная, в грамоте, правда, не так уж сильная, а не мудрит: какой сказ ей ведом, так и излагает — не выдумывает, какая буква слышится — ту и ставит в словечко. Ничего — кому надо, понимают...

На этот раз Петровна как-то быстро свернула свои дела пенсионные, уложила тяжелый чемодан, три узелка, две авоськи, коробку из-под обуви тесемкой повязала, сумку набила самолетную «Эр Франс», попрощалась со всеми, как положено, пожелала «добра-радости-здоровья и чтоб дети не ленились-учились-отца-матерь-слушались», села в поезд купированный — «на нижней

полке, повезло!» — и покатила снова в Донецк. Решила: либо дожидаться дочкиной кончины, либо самой предстать — отмяться уж насовсем.

— Шурин-муж-Иван весь худой, отработанный, а тихий. Та его не шпынует, не одергивает, иной раз даже тянет силком в разговор, а он не поддается. В смысле хорошей компании, очень любит посидеть-помолчать-послушать... Ран до дьявола — четыре пгуки основных! И всё не шалай-валяй, настоящие, на вакацию, на тыловой госпиталь рассчитанные. Длительно излечится и в боевой строй. Командир автороты! Автомобилей этих он не любил-не любит. Прямо не терпит. Любит дома строить обыкновенные, беззатейные, для жилья-для жизни приспособленные. В этом деле всё может справиться сам. Так и вышел на пенсию при Никите, в пору всеобщей размобилизации и пониженной обороны. Пенсию не полную, а получил... С лесом в этих местностях завсегда трудно и дорого, а шлаку в Донбасе на тысяццо лет запас — больше, чем земли родной. Вот он шлаковые стены с опалубкой и научился лить — там еще, в демократиях. А кому дом не нужен? Всем нужен. Сил бы только хватило. Себе дом Иван не сразу, а поставил — казенную квартиру так сдал. Потом уж сколотил из пенсионников фронттовую строительную бригаду, и два сезона в год они льют дома в других областях-районах, чтоб не застукали, два сезона дома отсиживаются, хозяйство отлаживают, здоровье регулируют. В промежутках телевизор глядят: мильгает и ладно, а иной раз и попадет что стоящее, даже полезное... А еще в тот предпоследний раз у меня снова беда — зуб заболел. Поеду, думаю, в Москву лечить. Спортют мне здесь весь протез... На вокзале провожает меня Иван, на дворе заметь большая, прямо свердлом свердлит, да как заплачет при народе, волосы рвет — «Мама! Мама! Помирает Шура... Это что же будет?!» А по вагонам ветрило — того и гляди повалит его — а капли не пил... Она за ним, как птица летала, чтоб не завалился где, не заболел... чтоб устоял... Она за ним, как п т и ц а...

Приехала с зубами в Москву — как заменили город! Гоняют с места на место, и везде один ответ — «Приезжая!».

— Что я, — говорю, — с Америки приехала?!

Рассерчала. Села... Думаю, буду сидеть, пока не справят... Помучили — справили. Хороший такой еврей попался, Марк Борисович — мастеровитый, зараза. Перед ним все на цыпочках ходот — «Марк Борисович, да Марк Борисович!»... Как перед чином!.. А я то знаю — еврей в Иесуса Христа не веровали, не верывают, а все равно, кто у нас Бог?.. Один Он — НЕБО! И покрывает, и поит, и кормит все нации-исповедания... Вот он и справил мой протез — Марк Борисович!..

Зубы — зубами, а к дочке-Шуре ехать надо... Поехала... Десять месяцев-без-малого-одиннадцать тянулась эта пытка-каторга. Всё в напряге, в напряге... Я вроде опять выжила, дочка-Шура преставилась. Кроме мужа-Ивана оставила сына-Петьку, из армии только вернулся, срочную отслужил, и Генку-сына-старшего, что в Норильске, бес его знает, что под землей долбит — уголь не уголь, кокс какой-то... дорогостоящий... Ему платят!.. Доченька моя, доченька, такую муку приняла! Я, бывало, руки сложу, думаю, — ладно, помру сама, только бы она жила. А помирать страшно!.. Доченька, кровинушка моя, всё помирает, помирает, а не может — силы дёржут! Не пускают туды!.. Мне и говорит: «Вы, мама, как я взаправду стану помирать, мне не мешайте. А то плакать-кричать станете... я пожалею вас... и еще лишних дни три промучаюсь... А зачем?..» И тут дело стала говорить. Значит, так... «Мама! — это дочка-Шура-говорит-а-сама-уж-и-нету, — купите мяса 10 килограммов свдинны, 10 килограммов говядины — котлет наделаете; колбасы — 5 палок, помидор — 10 килограммов; огурцы, яблоки, овощи — пусть свои... Пирожков чтоб!.. 2 кило масла, 2 кило сметаны. Учините тесто с яблочной повидлой...» — Так это она мне всё спокойно говорит, словно стольный праздник впереди, а не Суд Божий. «И постных пирожков, — говорит, — 2 листа, к ним сметана, тех самых 2 кило, больше не надо, не покупайте... Пустые пирожки не начинятые, поливайте сметаной... Я больше всего-другого эти пустые сметаной поливать люблю... Дальше, купите 20 платочков — больших по рублю птука и 10 маленьких. И чтоб каждый, кто гроб понесет (восемь, значит), и тем, кто два стула несть будет (еще две птуки), — всем по платку... И чтоб гроб несли!» — строго так наказала. «А то дорога туда тряская, я не хочу. Чуть повернуть ногу и то боль-больношная, а тут трястись весь путь!.. Гроб чтоб за 70 рублей — обитый грубым, не тонким и чтоб с кисточками... На два рубля кистей возьмите... 70 рублей за гроб берут! Ведь это в два раза, чем за старые!» — Она это всё мне говорит, доченька моя дорогая, и плакать не велит... Я и не плачу. — «Туфли за четыре рубля. Я их уже глядела, — говорит, — ничего туфли, приличные. Покрывало — два рубля. Ну, венчик, крест и молитвенник — три по рублю... Вы бы записали, мама, а то ведь напутаете...» — «Нет, — говорю, — родимая, я и так всё помню, ты говори, говори...» — «10 рублей за молебен. Свечки по рублю, ну, там 30 или 40 свечек, сколько потребуется... Ну, значит, крест и гробница — чтоб загородка-загородкою, без халтуры! Коську старого не нанимайте, мама. Ворованную поставит, а я ворованного не принимаю... Теперь, — говорит, — водки, — а я всё запоминаю, чтоб не про-

пустить, она хозяйственница-доченька, — водки берите трехлитровыми шесть бутылей — самогону, конечно...» — Ну, уж мы от себя нарушили, потом еще в магазине вина взяли на 15 рублей и пива на 10... Повелела, чтоб венки от мамы — раз, от мужа — два и от детей, чтоб в отдельности... Одну кровать, чтоб Генке, одну — Петьке, одну кровать — мужу-Ивану и с подушками, и со всеми удобствами-пододеяльниками-подматрасником. Матрасы купили к ним новые-не драные.... Опять же одежду всю поделила. Это она всё распорядилась. И ковры на стене большие — по 78 рублей! И дорожки широкие, длинные, еще не раскатанные, как для Юры-для-Гагарина. Его мать, небось, день-ночь-места-краю сваво не находит. Н-е-е-т! Не находит, как я по своему Николаеньке-сыну, что в могиле неизвестного солдата покоится, да по дочке-Шуре — земля ей пухом-перышком... Горят дети — горят! И в космате темном, и в раковой боле, и атомом их зашибает,.. и дерутся-дерутся по всей земле в ентуй жизни, на кусочки расшибают друг дружку, каждый в свою сторону тащит... А матери — неси поклажу, терпи — переживай за своих деточек... Мой-то комиссар в гражданскую тоже, агитировал-агитировал меня с пистолетом на боку, да с тремя детишками и бросил. На кой другой женился... Плащ мне велела болоньевый, шубу — 2500 заплатила — мне. Шапку-муфту сказала возьми... Я ей: «Моя душечка! Сама поправишься...» А она один сказ — «Не мешайте, мама!» А Иван смиренный такой, он и на войне-то, говорят, ни разу «ура», никакого другого слова не крикнул. Он меня уважает-жалует... Иван говорит — «Не дам, мама! Или это — или это. Мне еще жениться... Что тогда?» — Иван слово скажет — не соврет. Ему мерещится, как соврет слово — все увидят. Он и не врет. — «Петр с Красной Армии пришел, у него ничего нет...» Это Иван говорит. А Петр — он теперь шофером первой статьи на поливалке работает. Доволен. Говорит — хорошая работа, вольготная, и никто пальцем не тычет. Поливает... Платют... Выкрасил её сам — чистый праздник! И меня на этой поливалке на вокзал доставил... Попрощалась доченька со всеми — семнадцатого померла... Телеграмма от Генки — «Не хороните, еду!» Высохла, одни косточки стали, как шкилет — доченька моя... Во намучилась!.. Уже без зазвания была, а я ногу поправить хотела ей, так закричала чистым криком!.. А то не говорила уж совсем... Перед самой смертью чихнула... И ротиком открытым умерла... Тихо... Спокойно... Только чихнула. Да так здорово, словно жить взялась. А то мужу-Ивану: «Парни поженятся, а ты не женись. Ты слабый. На работу сильный, а на женитьбу слабый, и водку пить не умеешь... А они бабы какие?.. Особо в летах. Их век на исход

клонится, да еще застоялись-затосковались, особенно честные. А ты не честную не возьмешь. Я тебя знаю, Ваня. А вдовы и того страшней — у них вдовьи права особые. Она не посчитается, что ты с войны и за Родину... Разве что одна на тыщу, иль на миллион!.. А ты искать-выискивать не умеешь. Нет, Ваня, не жёнись — так живи». Сказала и отдыхать стала. Отдыхает. А Иван думает. Переживает.

И правда — вот мой комиссар-Кинстантин всё по бабам-девкам шастал — набаловался там на флоте. Всё моря-океаны — Кронштаты. А почему? По той же причине. По той же. Кто по мужской части сильнее будет, тот мене шастает. Ему и так ладно. А кто слабый — ему чем разней, тем надежнее. Вот он и мотается. У нас это дело известное. Вот сейчас целые книжки про это пишут и у Белорусского вокзала на лотке торгуют, а люди убиваются на расхват. А зря. Про это уже давно в библии (спаси, Царица Небесная, и помилуй!) всё изложено... Она ж за ним, как птица летала... Как птица!..

Четыре смены обедало по 25 человек, а мы уж сами в пятый круг! Каждому угоди, а сам оголоди... И званые тут были, и незваные, и люди, и нахалы — по два раза умудрились. Истинный Бог! Своими глазами видела...

Петровна перевела дух, устала.

Вот теперь будет год, будем звать, кто несли, кто яму копали, крышку подносили... Пейте жилы пока живы, помрёте — трясыца попьёте... Генка, пес, приехал: «Где мама?!» — «Ты что ж так долго ехал? На перекладных, что ли?! Похоронили уже...» Это я ему... Ну, сел за стол. Выпили первоприезжую, ко второй приступил. И взялся пить по-северному. Я ему: — Генка! — говорю, — чего-й-то у меня шишка на ноге болит, зараза — нет сил терпеть, у большого пальца на левой? На похоронах доченьки доска соскользнула и по пальцу мне... Крышка гробная. Хочешь покажу?

— Не надо, — говорит, — врачу покажи.

— Да я показывала, а он мазь приписал, а от мази еще хуже. Я и травы варила и желчь прикладывала, разламывает ногу, хоть руби ее.

— Взяла бы да отрубила.

— Ты ведь за мной ходить не станешь?

— А кто за меня в шахте колупаться будет? Не дури, — говорит, — валяй в Москву. Пусть вылечивают! А то, как маманя — поляжешь в гроб, а я на похороны не успею. Знаешь, как у нас самолеты на севере летают? Хочет летит, хочет — нет. Валяй в Москву поездом!

— Генка! — говорю, — не макай лук в солонку.

— Это почему еще?

— Июда в солонку макал.
— Ну!! — он прямо взбесился, — пожрать без религии не дадут!
— Не, Гена, ты, как безбожник, жри сколько хочешь, я не против. Кушай на здоровье... — Знаешь, — говорю, — я за государству нашу... Отделенную от церкви.

«...Как хлеб в голодуху»

Первый чемпионат мира по хоккею с шайбой с участием русских — там, в Америке — был в полном разгаре.

Наши играли великолепно. Все тогда в семье следили за событиями с неподдельным энтузиазмом, но лидировала — бабуля: первая включала телевизор, оповещала соседей по даче, следила за расписанием трансляций, торопила с едой, созывала к экрану. А было ей тогда уже семьдесят два, если не три...

— Деточка, посмотри расписание на ночь, а то пропустим... Ну, этот, что в алтаре метается?.. Валтары!.. Не люблю я этих... Бьются насмерть, падают, фулиганичают... Вчерась плохо играли — сонные были, а сегодня ничего — проснулись...

В острые моменты столкновений почти рычала:

— Метаются! Заразы!.. У-у, шаленные!! Гляди-гляди в овсах загулял! (действительно, комментатор объявляет: «Офсайд!») — Я б не ела-жила, а в тот хатей не стала б!.. На их же лица нет, скрозь побито. Живота нет, одни глаза торчат. Стоит, Гимну слушает — вот-вот падет... — Неожиданно вскрикивает: — Ну! Ну!.. Ведь в положении!!

И действительно, в следующее мгновение комментатор объявляет: «Положение вне игры!»

Или:

— Гляди-гляди, снова мордой об клюшку! Ну, разве так можно, деточки вы мои?! Ведь лицо, лицо же!.. Аба-юдно его, проходимца. Аба-юдно!

И правда, несколько секунд разбирательства, и объявляется решение судьбы: «Обоюдное удаление».

— Ну, заразы! Неугомон какой-то (а там общая драка нсрас-тощима), — ну, скотина нехорошая!.. Он уже и так весь в крови полщется. И что, нет на них, иродов, управы? Скажи?.. — это она мне. — Невинного теперь ищи... Как один безобразничают! — заключает безнадежно бабуля, словно вынося приговор всему мировому спортивному сообществу.

А когда всё улеглось, угомонилось:

— ... Чего попросить тебя хотела... А?.. (ласково так), приспособь вот сюда икону. У тебя есть, я знаю... Христом-Богом

прошу... — показала в угол над телевизором, комнатка небольшая, не больно-то разгуляешься.

— Чего ж ты раньше не сказала, бабуленька? Ну, конечно. Хоть сегодня...

— А я чего-й-то боялась... Ведь всеобщее безбожество. А если кто увидит?..

Повесил и закрепил невысоко — туда, куда просила. Серафима Саровского Преподобного, в замечательной глубокой золотой раме.

На третий день просит:

— Спасибо тебе... только замени его на кого-никого...

— Почему?

— Я с ним не знакома... Если Иесуса Христа нет, то хоть Николая Угодника. Мы с ним свои (как будто они на одной улице в деревне жили)...

Но Николы не было.

Зато была икона Спаса, такая, как ей хотелось — деревенская, и она всех примирила. Доска была старинная, сильно подожженная лампадою, но подреставрированная, она и была водворена на то место, где располагался Серафим. Счастливая бабуля, тихо сияя, проговорила:

— Спасибо тебе. А то сколько лет крещусь на яку-сь проститутку.

Уж не знал, что и сказать: в комнате действительно висела превосходная акварель Рудакова, иллюстрация к роману Мопассана «Милый друг» — танцовщица с фрачным партнером в цилиндре. Мадам была пышная, роскошная, французская, весьма вероятно, что и проститутка.

— А ее убрать? — спросил на всякий случай.

— Зачем?.. Пусть себе... Теперь и так хорошо.

Надо же? — БАБУЛЯ ЗАБОЛЕЛА, слегла и взялась помирать.

— Каса-а-атик! Видать, представляться пора... Радикулит по-смертный — ни вздохнуть, ни ахнуть...

Ее прижало всерьез, и требовалась срочная помощь. Надежда Петровна добросовестно прощалась со всеми, готовилась отправиться в «Летучий М и р ь» — так и говорила:

— Может, и примет меня Т у д а?.. Господь-Вседержатель Всесветлый?.. (Перекрестилась.) Прости и помилуй... Нету мне спасения. Нету...

А спасение, в общем-то, было: остатки японской растирки, приобретенной другом в Канаде специально для меня — лекарство (с п р е й!) снимало сковывающие последствия контузии спины, когда все другие способы не помогали... Но — остатки... Поборол,

даже подавил приступ тупой лекарственной жадности, решился и сказал:

— Бабуленька, раздевайтесь. Вот по сих... — показал значительно ниже пояса.

— Это как же? — спросила Надежда Петровна.

— А вот так. Догола и без тесемок.

— Юрьев-и-ич! — взмолилась. — Я же верующая...

— Вот и славно, снимайте всё. Ляжете на диван, спиной вверх. Лечить буду... Если не поможет, тогда и померем.

— Отвернись, — сказала строго, я вышел в коридорчик.

...Тело у Надежды Петровны оказалось удивительно молодое, упругое и красивое. Я промассировал ей спину от шеи и до самой поясницы, глубоко разминая и уговаривая терпеть. Она и терпела. Размял до покраснения — аж спина пятнами пошла... Спрыснул весь остаток чудодейственного японо-канадского средства — снова растер... И укрыл бабулю шерстяным платком, а сверху еще и одеялами.

— Подремлете, бабуленька?

— Подремлю, подремлю... — вроде бы дышать она стала полегче.

— Если что, позовите... — и я пошел мыть руки.

Решил: поработаю пока на кухне, там чисто, тихо и никто не помешает.

... Время вырубилось — то ли полтора часа прошло, то ли два с половиной, только услышал я осторожное:

— Как там?.. Можно?

На пороге, прямая как свеча, стояла Надежда Петровна в белом платке, чистой кофте, длинной выходной юбке — помолодевшая, небольшая и, сияя взглядом, смотрела на меня. Молча... Потом совершила полный поклон, дотянулась пальцами до пола, снова выпрямилась и торжественно громко выговорила:

— П р о ф е с с о р! Профессор!.. П Е Т Р П Е Р В Ы Й !! — развела руки в стороны. — Понимаешь, П Е Т Р П Е Р В Ы Й !.. — ещё раз поклонилась в пояс и ушла. Выше званий она среди гражданских, по-видимому, не признавала.

Отходная — на неопределенное время — откладывалась.

— ...Спасения ищи, как хлеб в голодуху, — слышалось уже издали.

«На гробки»

Беляев-доктор: «езжай домой, бабка, — говорит, — живи!» А другие жалели: санитарок мало, так я за десьтерьми в нашей палате ходила, как бродяга. Всё тя-я-желые!.. Таблетки давала,

мазь вишневскую — она у них пудами идёт, от всех болезней помогает. Так я ему, Беляеву, говорю: «Милый вы мой-драгоценный! Помочь нужна!» И растирку тут просить стала. «Что, — говорит, — тебе, бабка, семнадцать лет?» — «Нет, не семнадцать». — «А вот сердце у тебя как у шестнадцатилетней девчонки». Ей-богу! Так и сказал...

Палец мой, который на ноге, на практике был. Рентген десять раз переделывали. «Что, — говорит, — тебе плохо?» Им тоже учиться надо. «Чего тебе, палец жалко?» Ладно, думаю, пусть изучают, деточки мои. Можя, пригодится другой раз такой палец лечить. А сама говорю: «Плохо мне тут. Дует. Давай у батарее!» Что думаешь? Положил у батарее. Во! — доктор Беляев!.. По 30—40 человек смотрели мой палец — черные, белые, всякие — практиканты. Ну, издевались! Все чисто смотрят и даже кто другой потрогает. У других или отрежут или приставят на срастание, а у меня так берегут — для учебы. Ещё физкультурой занималась, как учили. Кувыркалась. Все дивились: ровно в телевизоре. А доктор Беляев говорит: «У Надежды Петровны очень интересное зашибление». Уколы делали — больно. Атомные, что ли?.. Ничего лечат. Терпеть можно. Молодица там лежала здоровенная-незамужняя, а больная. Одна там была. Муж к другой пошел. Так этой физкультурой я ее прямо подняла и на ноги поставила. Только померла она. Царствие Небесное!.. Сыночка Николу... доченьку Шуру... — помянула заодно Надежда Петровна.

Бабуся рада, что выжила, вырвалась оттуда, доехала-добрела. Говорит, говорит и сама себя перебивает.

— Одного парня змея укусила. Распух. Привезли его и ту змею, что укусила. Привезли. Лечили, толщина на спад пошла. Полегчило, полегчило, совсем хорошо стало. Но тоже умер. А Генка в Донецке женился. Девочка в Харькове училась. Петька-младший хотел жениться сам, купил водку, а жениться не стал: «Зачем всё с другими ходишь, — говорит, — если я на те жениться хочу?» А она — ну, никак. Он и не стал. А Генка говорит: «Не пропадать же водке» — и стал жениться сам. Не на этой вертихвостке, а на своей харьковской... Сам Иван ещё не женился. Говорят, ходит-приглядывается там к одной. Вдова!.. Так вот теперь Петр Васильевич, пес-перепес-младшей-дочкин-муж, остепенился малость — как не пьет, а на работу идет. С утра ковырнет бутылку кихвира и бегом на работу. На двух протезах. Он автобусом, околи дома остановка, 8-й автобус или троллейбус 26-й. Дом там — «Слава Советскому Союзу» написано, овощи-картошку продают внизу по 10 копеек, а на рынке рядом 30! Да 40! Вот идолы

проклятые!.. У Тани-внучки нема-зна-чего. В положении вторая половина, и тут те на — пеницилит разлился. Перировали. Внучкин муж Димка, он электрик и слесарь, — две должности занимает! Полы моет сам, стирает, сам балалайку делает. Одну сделал — играет, за другую принялся — скоблит. Димка зовут!.. Меня уважает. Чего нажарит — «Бабу-уля! Идите кушать, то просты-ы-ынет!..»

А Толик-внук всё в армии.

Тут в воскресенье утром схватилась, захлопотала, собрала гостинцы и на Таганку к дочке-Вале поехала. Возвратилась в понедельник утром мрачная, лицо подтянуло. Села завтракать и не ест. Видно хлебнула у доченьки полную чашу.

Оказалось, что всем семейством стали донимать мать-тещу-бабушку, что помирать ее домой не возьмут, раз она не с ними живет, и, мол, из армии Толик-внук вот-вот вернется, сразу оженится, и нет у бабки комнаты! Бабуля им сдаваться не стала и сообщила: «Вот тут три дня болела, так меня и лечили, и ходили за мной, и питанию прямо в диван подавали». А те в ответ, как из миски: «Так это три дня, а ты похворай на три месяца, тогда посмотрим, кто тебе «в диван подаст!»

— А Валя-дочка даже, прости, Господи, по-матерному на меня: «Детей не помогла поставить?» Да как же не помогла? Два года один на руке, другая за руку, и Петра ходила, две тысячи пятьсот рублей своих выплатила, чтоб его на ноги поставить, хоть у него и нет их — ног... А он, Петр, жалеет, говорит: «Одна ты у меня мать, а все остальные — мать их...» За зло отместников много, а за добро — с фонарем не сыщешь.

Тиранили бабку, тиранили, а Петр-зять всё настаивал, что, мол, он-то ее жалеет, но всё равно живет она у чужих и что по-настоящему помирать ей негде будет. Он, мол, ее хоть и жалеет, а домой не пустит. Бабка всё насупротив говорила, да защищалась как могла.

— А почему у чужих?! Потому как нет тут житья. Места нету. Лада нету.

— А как занеможешь? — настаивало дружное семейство.

— Так оне ж за мной ходить будут!

— Долго не будут.

— Так в больницу положат.

— А апосля больницы?

— А куда повезут, туда и поеду.

— А апосля?!

— А апосля на гробки, как и все. Да сперва вот сюды. Тут буду представляться, где прописанная законно.

— ТОЛИК ИЗ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ АРМИИ ПРИШЕЛ! — сообщила как-то бабуся. — Гляди, жаниться не стал, пошел работать. С наганом — деньги возит. Сутки возит — сутки спит. Злой сделался, страсть! Пожрет и спать. Валя ругает: «Зачем, — говорит, — тебе эта маята? Забьют ведь и деньги отымут. Что тогда будет?.. Ты жанись — зачем тебе деньги возить?» — «Не твое, — говорит, — дело, мать... Бабка, ты там общаешься, скажи, пусть достанут джинсы мериканские, размер 48, штоб жесткие и не гнулись. Достанешь — за ценой не постою», — и спать пошел. А водки не пьет. Уволят, говорит, сразу. И в партию кандидатскую записался.

Только не успела бабуся достать американские джинсы своему внуку-инкассатору. Снова заболела, слегла и тут уж всерьез помирать принялась.

— Не лепится мне, не лепится. Наверно, к погибели?

А вообще-то вся жизнь давалась бабуся тяжкой тяжестью и неусыпным трудом, и только в больнице она могла оглядеться по сторонам и перевести дух. А потому шла туда без надрыва.

В палату положили хорошую, на пять человек, хоть доктор Беляев был в отпуске. Только помогать и обихаживать остальных она уже не могла. Соседнюю койку занимала тоже старая женщина с лицом, отмеченным значительностью и покоем. Из актрис. Вдова, Александра Васильевна. Соседка знала, что доживает последний предел, и бабуле было удивительно, как спокойно она к этому относится.

— Видать, есть к кому идтить. Видать, кто стоящий ждет ее тама, — с пониманием и завистью говорила бабуля. И принималась поминать сыночка Николу, доченьку Шуру, комиссара своего матроса шалопутного...

А тем временем с внуком Толиком судьба сыграла скверную историю. Недаром мать ему говорила: «Женись. Чего тебе чужие деньги возить?!» Отнять у него их не отняли, не такой вышел Толик парень, чтобы у него что свои, что государственные так просто отнять можно было. Не зря его на их охрану определили и не зря наган выдали.

К бабуле эту новость дочка-Валя уже в больницу принесла.

Сумерки были в городе Москве. Ездил, как обычно, Толик в таксомоторе по точкам, сидел в машине на заднем сидении и деньги в мешках сторожил. А его опытный напарник те деньги забирал, где положено, и приносил к Толику в машину... Пошел напарник в большой ресторан деньги большие забирать («а чем больше деньги, тем больше напруг должен быть по инструкции!»). Тут какой-то парень и распахнул без спросу дверцу, что возле

водителя. Толик что надо прокричал: «Назад! Стрелять буду!» — а тот словно ошалелый в машину прет и понять не может, куда лезет. — «А у них работа тоже нервная, не веселая. Касаторов тоже грабят среди бела дня. И убивают. Их так и обучают». — Толик из того нагана и бабахнул два раза, да прямо, в упор. В этого шустрого. А паря-то прямехонько из того ресторана выкатился, да и был совсем не трезвый. Обе пули и схватил. Говорят, в больнице через час или два скончался. Не успел Толик раздобыть американские джинсы, размер 48, а вот человека угробил. Как пришел домой, так и принялся вместе с отцом пить, и все рассказывал. Паренек-то годоводок был Толику. «Ему ничего не будет, — говорила дочка-Валя, — вроде бы всё по закону, а всё одно, насмерть»...

Соседка Александра Васильевна заплакала, а у бабули слез вдруг не стало, и она молиться начала. И всё приговаривала: «Прости его, Царица Небесная! А не можешь, так на меня его грех положи, а его, дурака, прости. С меня взыщи за смертный грех. Прости — и взыщи...»

В палате до самой ночи было тихо и мрачно.

На следующее утро бабуля проснулась задумчивая, в разговоры вступала неохотно, да и когда я пришел, поначалу всё больше молчала. Потом вдруг поманила меня к себе:

— Послушай-ка, Юрьевич... Вот какой сон мне приснился! Удивительный! Да и вы тоже, Александра Васильевна, — обернулась она к соседке, — послушайте-ка, может растолкуете что...

Оказалось, приснился ей даже не сон, а самая настоящая явь — то, что на самом деле всё в ее жизни было. И доподлинно — тридцать лет тому или сорок — в общем, когда ей самой едва перевалило за тридцать. Работала она тогда на шахте. И вот пришли как-то шахтеры со смены. «А у меня их сорок душ было, — гордо пояснила бабуля. — Я им как сестра, как мать. Бывало, с ног валяются, черные, в грязи, в пыли, а мылись в корыте... И вот пришли они, значит, все — радостные, ботинки мне новые принесли. Шумят! Схватили меня и давай подкидывать. И всё кричат: «Надежда ты наша — Надежа!.. Надежда ты наша — Надея...» И ну — подкидывают...

Тут бабуля замолчала — видно, дальше продолжать рассказ что-то мешало.

— Да вы рассказывайте, бабуля — подбодрил я ее, — рассказывайте. Но только всё по правде, а то будет неинтересно.

Надежда Петровна снова собралась с духом, махнула рукой и стала по правде:

— Ну, цаловать меня стали мои шахтерики. Ц а л у ю т!

— Как следует целуют, или просто так? — это соседка с другой стороны подала голос. Вся палата уже бабулю слушает.

— Как следоваит.

— По-настоящему?

— По-настоящему...

И опять замолчала.

— Ну, ещё, ещё расскажите, — тихо попросила Александра Васильевна.

— Да всё уж, и рассказывать дальше нечего. Мне и самой удивительно — чего это вдруг вспомнилось-приснилось?.. Наверно, к гибели... Ох, шахтерики мои, шахтерики мои шалопутные... — вздохнула Надежда Петровна. И пошла, пошла опять вспоминать:

— Я ведь тогда страсть как всего боялась, да и теперь не смелая. А на шахту пошла. Куда деться — трое детей на руках, а мой матрос с наганом уже давно в городе с другой живет, да и с третьей. А тут целая бригада на мне! Со смены забойной придут — горячей воды к приходу нагрей. Отмоются — накорми, прибери, постирай — всё в одном бараке. Мне закуток хозяйственный выгородили — окно рядом, на двор. Витенька-бригадир очень к тому времени на меня глядеть стал. Это он меня нынче во сне по-настоящему... Цаловал... Как-то, помню, покормила я их, прибрала со стола. Кто приделся в чистую рубаху, да пошел, кто намаялся — прилег сил набираться. А я стирать стала. Стираю. Про жизнь свою думаю, про деток, про Есуса Христа Назаретского думаю, а сама всё стираю. Мне как раз Витечкина-бригадира рубашка попалась под руку. Где, думаю, он ее так загваздал, и, прости, Господи, нечистую силу помянула. И тут — дверь настежь, и на пороге — Сам! Нечистый Черт!! И кричит гвалту, визжит-корчится! Я как кинулась — прямо в окно. А за окном была веревка натянута бельевая. Сама навесила. Об ту веревку я лицом-то со всего маху, да ведь с подоконника! И, говорят, с криком уж, да без сознания и пала... Уж и не помню теперь толком, что там и как было... Хлопцы сбежались, люди из бараков, а рядом Степка стоит, бес-перебес, полушубок вывернут, на голое тело напялил, рожу сажей — усы там, загогулины всякие намалеваны. Как ещё раз увидела, опять обмерла. А ребята уж меня на руках держат, обмывать стали. Лицо... А его, Степку-то беса, бить взялись, да все вместе... Я еле вижу, глаза заплывают и рука порвана. Ну-у, думаю, каменящая твоя душа — сердце мое терпивое! — а сама прошу: «Не бейте его. Не бейте, Бога ради! Это он от дурости. Это я сама пугливая. Не бейте!..» Послушались. А бригадир тот Витенька: «Ладно, — говорит. — Штоб духу твоего

в бригаде не было! Не то придущу в забое. Ахламон!» Так и сказал: «Ахламон!» А меня — в госпиталь...

Слово «охломон» она произнесла торжественно, будто как царственное звание...

— Ну, что это вы, бабуля, вспомнили, — говорю ей с укором, чтобы чуточку успокоить. Причем здесь сон? Во сне ведь ничего этого не было, наоборот — только целовали вас...

— Не-е-т, — она своего не уступала, — неспроста все это! Уж больно они все за меня убивались, жалели меня, шахтерики мои... Наверно, ждуг... Так и вижу этого Степку в вывороченном. И Витеньку-бригадира, и остальных хлопчиков. Всё «Надежда» да «Надёжа», «Надежда» да «Надея». Витеньку-бригадира завалило ведь в забое насмерть. Уж потом... Да и другие — кого на войне, кто по пьянке... Жив ли кто?..

Александра Васильевна рассказывала потом: весь остальной день Надежда Петровна лежала тихая, не жаловалась, к шахтерикам своим не возвращалась. Только так, пошепчет разок-другой, как вспомянет: ...сыночка Николу... доченьку Шуру... да и Валю тоже... бригадира Витеньку... и того, что простреленный безвременно... Толика вспоминала грешно-безвинного... И всю ночь тихая была — не шелохнулась.

А утром Александра Васильевна глянула со своей койки — Надежда Петровна уж и вытянулась вся. Видно, перед рассветом случилось это с ней — п о с л е д н е е. Будто сама назначила своей кончины срок. Душа и отлетела...

В гробу бабуля лежала аккуратная, прибранная, руки крестом на груди, как положено. Посмотришь со стороны — и росту-то всего ничего... Малосенькая. А сколько было в ней силы, да разума, да сердца, да проворства!

Только вот обещания своего не сдержала: померла не там, где прописана была по закону...

ЧЕТВЕРИК

*Из поэмы**

1

Просторно. Пустынно.
И здесь ты крылат:
поднявшись легко над излучкой озерной,
мысок оплыви и окажешься над
вмерзающей в заберег баенкой черной.
Ноябрь. Светает с трудом. Поглядим,
не выбьется ли где-нибудь над избоу
дымок?
Нет... По осени край нелюдим.
Дома заколочены. Белой крупую
помечены ямины и колеи.
По отмели — по льду — разводы агата...
Вставайте!
Не встанут старушки мои.
Чернеется лодочка продолговато.
Десяток домов на мысу коренном.
Два-три с развалюхой торчат в заозерье.
Но все пепелища рельефны, где дом
когда-то вставал и справлял новоселье.

**Владимир
ЛЕОНОВИЧ**

— родился в 1933 году в Костроме. С 1944 года живет в Москве. Учился в Одесском мореходном училище, Институте военных переводчиков, на филологическом факультете МГУ. Автор поэтических книг — «Во имя» (1971), «Нижняя Дебря» (1983), «Время твое» (1986), «Явь» (1993).

* В сентябре 1990 г. была освящена часовня во Имя Рождества Богородицы на погосте д. Пелус-озеро. Три года рубил ее Ваш покорный слуга. В монографии Евг. Нилова о Муромском монастыре сказано: это первое за годы советской власти культовое здание, сооруженное в Карелии. Ну как не похвастаться?.. Автор.

На двух берегах мал-не сотня дворов,
хозяева коих за лахту уплыли
в лодейках сосновых под полог и кров...
А кто убежал. А кого уводили.
От Бога ли срок, от людей ли указ —
оставим пока эту грустную пропись.

Осиновым белым огнем распаясь,
сквозят облака. Через хвойную прорезь
пробьется вот-вот...
Хорошо с высоты
окинуть в земле потонувшее время:
боры, что на избы пошли, на кресты,
целы. Вся угадывается деревня.
С Колоды, с Корбозера колокола,
с Гужова — сюда долетят издалека...
Глядь —
вышел хозяин в чем мать родила
из крайней избы, что дымит одиноко.
Мужик как мужик. Постоял на крыльце,
шлеп-шлеп — сосупает по инею сходней.

Во времени сущем и в третьем лице
ему оставаться, однако, свободней.
И крепок же Север!
Парок недвижим.
Жердиною лед разбивает... Да скоро ль!
Ждем-ждем — отвернулись.
(Представим — дрожим)
— Как в Сороть! —
и в озеро прыгает. — Сорок!
— За сорок! — то эхо рифмует, то звон
самой тишины — или впрямь, издалека? —
то музыка льдинок, тепла поволока,
где заберег свежий сломал он, как слон.
Дверь бузднула, иней сползает с окон.

А было:
по озеру он и она,
а озеро только что отходило:
промоина рядом, алмазно черна —
теплом ключевым восходящим промыло...
Всё было — всё, что он бормочет:

Одна,
всё одна и та же сила
в поле травы всколосила
и себя перевозмогла
и слова произнесла.
Замела поля кривые,
где оранжевую выю
отморозил агрегат
комбайнеру невдогад.
Накопаю дров ольховых
в голубых снегах пуховых,
лед метровый прорублю,
камеленку протоплю.
Всё одна и та же сила
жар со стужею смешала —
по снегу бегу босой
да за русою косой!
Поведут ее за гробом...
Лед рвануло под сугробом!
Эхо глухнет в берегу.
Всё мне любо — всё могу!

2

Погибшей и гибнущей жизни ходатай
и душеприказчик последних старух
поплакать бы рад над *полоской несжатой* —
но в этом краю небывалых разрух
не сеют. И пашня становится пожней,
и пожню затянет, глядишь, соснячок —
тем гуще и тем веселей, чем ухоженной
был чей-то надел: попотел мужичок —
двупалой окованной сошкой-виланьей
как пенья повыкорчевал валуны.
Ступали по собственному желанью
в оглобле крестовой быки-балуны.

«Кнута им не натъ. Сам и ходит и ходит —
падет — ровно шука лежит в борозде.
— Ну, Глазушко, ну! — не стает. Ну, и хватит,
знать весь уходилсы. Ин — двое в кресте
падут как заленятся. Вынести надо
какого-ни поила — манишь калачом...»

В бору островном исполинские гряды:
валун — шевельнешь, а поднять — нипочем.

Кругом

этой были следы-отголоски...

И что в этой гибели, чем он живет?

Прогнили на крыше смоленые доски —
горбыль раздобудет, притащит, нашьет.

От нереста щучьего до сенокоса

и впредь весь черед — как священный обряд!

Что делать? Такого не знали вопроса

кормильцы Руси. *Всё* — в черед и подряд.

Лет триста деревня жила — лет уж двадцать

при нем отходила... Трудясь при одре,

он хочет понять — заодно и похвастать —

что было, что ясно об этой поре

в пустом ноябре.

На Руси есть веселье:

попить да похвастать — тому он и рад,

что экологической «Водлоозерье»

почетной он премии лауреат.

Труды его были любезны старухам

и сено коровам полезно весьма —

весьма отличаясь и видом и духом

от затхлой трухи, что идет на корма.

... Возвеселись, душа коровья,

попробуй моего сенца:

тут шелковое разнотравье,

где земляничка, где сольца:

труждался до поту лица...

Себе по праву и по нраву,

как повелось от римлян, сам

воздвиг я памятник на славу:

охлопал стог и очесал.

На памятнике разумею

коровье слово обо мне:

«Он был поэт. Не гнул он шею

в рабовладельческой стране.

Когда что делать, знал и делал,

брал в руки вилы и топор,

в страду Отечества не бегал,

за недосугом, за бугор».

Он мостики ладил, часовню поставил —
деревне покойной свечу в головах,

плотами за лахту сарай переплавил,
сложил себе избу
и к Богу воззвах:
О Боже! Деревня моя — нежилица.
О Боже! Не будь к ней по смерти жесток.
О Праведный! Да возродится, продлится
разумная жизнь! Зарони же росток
туда, где телятник забила малина,
бурьян да крапива сосут перегной,
где *цяй пить* ждала меня мать — баба Лиза,
где мать — баба Катя поет надо мной:

«Шли-прошли наши некруты молодые
За има вслед идут мамушки родныя.
Во слезах пути-дороженьки не видя
Во горящих словецюшка не молвя.
Один маненький-молоденький солдатик
Он промолвил своей мамушки словецко:
Вы не плацьте, наши мамушки родныя,
Не горюйте, наши жены молодья.
Вам не выходить бела свету за нами,
Не смоцить пути-дороженьки слезами.
Принасырела дороженька дождями,
Цясто-мелкима шумливыва руцьями...»

3

На лезвие плюнул, поправил топор он,
к ровеснице статной подходит сосне,
примерился... Гул рассыпается бором.
Пустынностроитель, вздохни в стороне,
пока замирает окрестное эхо —
не то ли хохочет Потемени Князь?
С последним ударом красавица эта
пошла, развернулась в падении —
хрясссь!..
И так каждый раз — сотый раз как впервые.
И сколько ж ты их завалил, человек?
Огромно-тяжелые, сонно-живые
кренились и рушились в зелень и снег..
Ноябрь. Сосна суховата, и горек
под скобелем бледный ее поднаряд
(как сахарный в мае). Дружок мой топорик,

как быть-то? Похвалят ведь — не укорят...
Четвертый венец: ей еще подыматься
три лета, три осени с главных камней.
Три лета, три осени с нею промяться
до маковицы и креста по-над ней.
Зовется она РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ*
часовенка наша у края могил.
Срубить помогла — десять раз не утробиться
Пречистая Дева, друзья помогли.
Стоит — на слезах, безответно оплакана,
рыданием жертвенным освящена...
Дымит костерок — листовничного ладана
по пояс одеда ее пелена.
Со строчки нечаянно дактилической
прямой четверик подался на развал
десятым венцом — ради кровли готической
(чего и не думал, и не рисовал),
а крышица над крылечком полога...

Чтоб эту округу спасала,
она
септемвриа месяца двадцать седьмого
была, как положено, освящена.
Народу, отцу Михаилу и причту
и ангелам певчим — поклон до земли.
Пустынностроителю хлеб — паляничку
ржаную — и соль на холсте поднесли.
Поклон мой тебе, Валентина Борщова,
поклон тебе, Аннушка-труженица...
— А был ли ты счастлив? — *там спросят* —
— Еще бы!
Тогда — совершенно... до слез... без конца...
Как Вечную Память о духе нетленном
в оградке у Лизы отец возгласил,
в погостный песок ты вдавился коленом,
постигнутый, согнутый Силою Сил.

* На медной табличке выбито:
Елизавете Ивановне
Екатерине Игнатьевне Калининым
Царство небесное Земной поклон
Всем пелусозерским крестьянам

Познай же себя, малодушный и гордый,
случайный во взоре Его столбовом!
Еще ли ты дышишь?
Еще ли не мертвый —
в столбе световом и в мешке долговом?
Познай себя слабостна, худа и нага —
да жажда чужая тебя напоит!
... Столбами стоит Беломорская тяга
на каждом потопленном. Так и стоит.

4

В часовне — наверх погляди — крестовина
и сумрак за ней. Развиднеет потом.
Сквозь «небо», сходящееся восьмиклинно
навьлет проходит Четвертый простор.
На память о всех куполах *осьмиплечих*
(Сиони, Манглиси, Ахпат, Санаин)
о высокогорьях в тропинках овечьих,
где небо взлетает и сходит на клин...

И это клин, который длинн
и оттого певуч,
который в небесах плывуч
как старый цеппелин,
и клинопись моя стара,
летуча и легка,
и восьмиклинные шатра
светла Одна Рука —
там узко устье, тесен свет,
в который я влюблен,
которым во мгновенье лет
я был испепелен!

А в каменном полумраке теснится
тот образ небес. Вместо камня-замка
отверста — звездой пополуночи — Зеница...
Так мастер велик, что десная рука
отрублена и глядит с барельефа
(моя-то цела, но топор украдут).
Капелла-часовенка в сумраке нефа —
святыне такой позавидуешь тут:
громадина храма обстала часовню
не трогая уголо четверика

на месте святом —
уродлив безусловно
богов и народы,
века и века.

Как некогда, по завету Христову,
Святую Марию хранил Богослов,
обнимет часовенку Храм Богослова
среди золотистых, как свечи, стволов.
И к этому важному делу я встану,
уставший от смерти, от праздности лет —
рубить крестовидный не гроб Иоанну,
а Храму Его лиственничный подклет.

... Септемвриа месяца двадцать шестого

все семеро учеников
ведут наперсника Христова —
им радуется Богослов.
Уже стоит в виду Ефеса
коронай — свет со всех сторон,
как та полярная завеса —
и смерти радуется он.

Столетний разум строг и ясен...

И повелел, глаза смежив,
гроб истесать крестообразен
и в оном погребся жив.

И то, что век ему служило,
спросил орлиное перо,
затем, что время смерти — живо,
а не мертво.

И явственно еще и слабо
он говорил свои слова,
егда возлег крестокрылато,
но мы бежали от волхва.

И ТОЛЬКО СВЯТЫНЯ ВОССТАНЕТ ИЗ СРАМА!

воскликнул — а может, послышалось нам...

Разумная жизнь начинается с Храма,
с часовенок памятных по деревням.

МОЙ СОСЕД ГРИГОРЬЕВ

Рассказ

У многих сейчас жизнь не устроена. У нашего соседа Григорьева из квартиры напротив неустроенность провальная. У него не только материальная основа рухнула, но и душа куда-то отлетела.

«У меня была крепкая материальная основа, — говорит он, когда я прихожу к нему, — а теперь я оболочка без души, разума и денег. Я дурак, и вся надежда только на мою дурацкую беспечность».

Он беззаботно проедает свою пенсию за несколько дней, а потом говорит кому-нибудь по телефону: «Скоро я вам преподнесу финик. Скоро вы завалите мой гроб розами и зальетесь слезами, что потратили профсоюзные деньги на цветочки, а не на хлеб с маслом та-а-кому драматургу».

Бросает трубку и глядит на меня, мигая желтыми ресницами. Старенький. Круглые глаза мерцают в омуте морщин, щеки рухнули, второй подбородок тоже опустел и дышит, как у жабы.

«А вот ты, Элен, не заплачешь, когда я умру. Ты даже обрадуешься: наконец-то этот хронический курильщик выключился, перестал отравлять атмосферу».

Я не спорю. Те наивные времена, когда я обижалась, доказывала, что я не Элен, а Лариса, что сердце у меня доброе, прошли. Я вытряхиваю окурки, мою пепельницу, потом посуду, иногда включаю пылесос. В эти минуты мне кажется, что это не я, а какое-то другое, трудолюбивое и безропотное существо, приносит пользу ближнему. Григорьев меня поддерживает: «Вот если бы все так. Представляешь какой была бы жизнь? А то ведь слов нагородили до небес, а сами погрязли в пыли и паутине. Преступность

**Римма
КОВАЛЕНКО**

— родилась в Белоруссии. Окончила Белорусский государственный университет. Автор многих книг прозы: «Свой человек Зойка» (1974), «Добрая сила доверия» (1976), «Хоровод» (1981), «Жена и дети майора милиции» (1990) и др. Живет в Москве.

их заела! Как с ней бороться, не придумают. А чего проще: надо исправлять преступность и всю нашу заскорузлость чистотой. Надо, чтобы преступники в своих камерах постоянно находились в санитарной самообработке. А те сидят и вшей разводят да передают свои пороки друг другу. И нам всем надо почиститься, отмыться, вылечить зубы, расставить по улицам мусорные урны. И тогда исчезнет грязь из голов, продавщицы перестанут гавкать, а старухи коченеть от безделья на лавках у подъездов. Культ нужен! Культ государственной трудовой санитарии!»

Слушать его одно удовольствие. Сидит старикашка на фоне немытого окна, выбрит с пятого на десятое, домашняя куртка, когда-то вельветовая, в дырах и пятнах и рассуждает о государственной трудовой санитарии.

«Она издевается надо мной, — говорит моя мама моему отцу, — она специально там надрывается, чтобы достать меня. Дома дел — конь не валялся, а она в чужой квартире совершает трудовые подвиги».

Это их любимое занятие: говорить обо мне так, будто меня нет рядом. Они умолкают и глядят друг на друга удивленно, когда я подаю голос.

«Стыдно, — говорю я, — сами тоже могли бы помочь старому больному человеку. Гордились бы, что дочь не выросла равнодушной».

«Этот старый и больной переживет всех, — говорит мама, ее слова опять облетают меня, они предназначены отцу, — у него есть сын и дочь, и внуки постарше нашей альтруистки. К тому же не надо забывать, что этот драматург — отпетый ловелас и бабник. Он, конечно, давно не в форме, но я не хочу, не желаю, чтобы моя дочь общалась с ним».

«Не нагораживай, — успокаивает ее отец, он по натуре примиренец и умеет гасить ссоры, — она девочка, в ее душе живет Тимур вместе со своей командой. Это мы от всего такого враз отказались, а им сложней, им этого Тимура не навязывали».

Я понимаю, о чем он говорит: их поколение отказалось не только от плохого, что было в прошлом, но и от хорошего, потому что это хорошее было им навязано из-под палки.

«Зато нам навязывают свободу, — говорю я, — и скоро от нее все сойдут с ума. Уже многие окретинились, потеряли человеческий облик».

На лице у мамы испуг: о чем это она говорит, как это понимать?

«Свободу нельзя навязать, — объясняет папа, — свобода — это выбор. Хочешь — одолевай вершину, а не хочешь — сиди в яме, болоте, будь кретином».

«Нет, нет, — волнуется мама, — пусть она объяснит, что это такое «уже многие окретинились»? Я догадываюсь, что это такое, но пусть она сама объяснит».

Ничего я им объяснять не собираюсь. Пусть читают газеты и журналы. Те разделы, в которых пишут, как уберечься от СПИДА, как удержать мужа, рожать или не рожать, если забеременела в четырнадцать лет. Мне и в школе, с девчонками, этих разговоров хватает.

«Прошу всех успокоиться, — говорю, — лично меня никакая свобода не коснулась. О чем вообще речь? Какая свобода? Руку помощи протянуть не имеешь права. Тут же твой добрый порыв обзовут «трудовым подвигом», а бедного старичка ловеласом и бабником».

Не всегда у нас такие нервные разговоры. Чаще все-таки мир и покой. Все по своим углам: отец читает, мама на кухне вяжет, я у телевизора или делаю уроки. Иногда мама на весь вечер выключается из семейной жизни, это когда звонит ее школьная подруга Жанна. У этой Жанны всякий раз какие-то любовные трагедии: то ее бросит муж, то любовник, то жена любовника выскочит из-за угла и огреет бедную Жанну хозяйственной сумкой. Когда я была маленькой, мне казалось, что Жанна красавица, что-то такое большеглазое, кудрявое, с родинкой на щеке. Машины телефонные разговоры с ней сложили у меня такой вот образ. Я чуть не заплакала, увидев ее впервые. Жанна оказалась похожей на грустную курицу — маленькая головка, кругленькое туловище и короткие тонкие ножки.

«Почему ей так не везет в любви?» — спросила я у мамы то ли в шестом, то ли в седьмом классе.

Мама вздргнула, как от удара.

«Ты соображаешь, о чем спрашиваешь?»

Я уже потом сообразила. Действительно, нашла с кем поговорить о любви. Вот так осадят один раз, другой, а потом ждут откровений. И еще обижаются: вроде бы переходный возраст кончился, а все такая же грубиянка, как и была. Грубая, неблагодарная и ленивая. Больше всего маму угнетает моя лень. «Трудовые подвиги» в квартире Григорьева не в счет. Это не признак моего трудолюбия, а все та же неблагодарность, подлый выпад против своей семьи. А вот мама трудолюбива, не теряет времени даром. Разговаривая с Жанной, прижимает плечом телефонную

трубку. Руки в работе, она вяжет. То свитер отцу, то мне голубое из козьего пуха платье. Платье эпохальное, вяжется уже три года. Вяжется и на ходу перевязывается, так быстро я из него вырастаю.

«Она оформляется, — говорит мама, — скоро будет совсем взрослой. А ум детский, жизненных навыков никаких».

«Когда-нибудь она наденет это платье, — отвечает папа, — и выяснится, что оно ее очень молодит».

Мама такой юмор озадачивает.

«Ты хочешь сказать, что я закончу платье, когда она будет старой?»

Именно это он и сказал. Но папа не так прост, чтобы дать ей шанс на него обидеться.

«Видишь ли, — объясняет он, — так уж устроена жизнь: сначала молодость, потом старость. Я, например, считаю, что старость — награда. Чем старше человек, тем больше у него заслуг перед жизнью».

Они всегда разговаривают поверх моей головы, но это совсем не значит, что у меня нет в их диалоге слова.

«Одним награда, другим наказание, — говорю я, — я вот не возьмусь утверждать, что Григорьеву старость дана в награду».

«У нее "Григорьев" каждое второе слово, — заявляет мама, — а он не такой уж старый. Просто износился. Привык срывать цветы удовольствия, а это наказуемо».

«Цветы удовольствия» вызывают у меня приступ смеха.

«Что тебя развеселило?» — мама смотрит на меня с обидой. Уж если человек у нее на подозрении, то и смех его подозрителен.

«Сказала бы по-простому — изменял жене, а то какие-то цветы удовольствия. Ты же не дамочка в фетровой шляпке...» — я никак не могу справиться с напавшим на меня смехом.

«Дай ей воды, — говорит отцу мама, — с ней что-то творится».

Ничего со мной не творится. Просто каждый человек хочет быть человеком, а ему не дают. В школе учителя, дома родители. Но самые жестокие тираны — это одноклассники. Кто гений, кто придурок, кто красавица, кто божья коровка — все это раз и навсегда припечатано, не смоешь, не отдерешь. И никого не смущает, что придурок поумней гения, а у красавицы лик надменной козы. Что припечатали — с тем и живи. У меня тавро чокнутой. Не такой чтоб уж очень поврежденной в уме, но с прибабахом, от которой не знаешь чего когда ждать. Шушукуются перед праздниками, бросают на меня испытующие взгляды. Решают: звать-не звать. С одной стороны, я могу их повеселить, если вечеринка не заладится, а с другой — могу и порушить

веселье, разозлить. Все-таки зовут. Как правило, это чей-нибудь богатый дом. Большой стол посреди комнаты, красивая посуда. Родителей нет. На столе салаты, всякие закуски, бутылка шампанского. Бутылки с более крепкими напитками в прихожей. Это такой ритуал: манерно пригублять за столом и назююкиваться по темным углам. Пьют, танцуют, потом расползаются по квартире: интеллектуалы на кухне, влюбленных утягивает на лестничную площадку. Там они стоят, целуются и простужаются на сквозняках. Две-три хозяйственные девицы моют посуду, накрывают стол для чая. Я перебираюсь в кресло, раскрываю какую-нибудь книгу. Ко мне такой привыкли. Только иногда гость со стороны дает совет: «Не надо так явно всех презирать». Не думаю, что я их презирала, просто вся эта праздничная суэта скользила мимо меня. До поры до времени. Минувшей весной, в Первомайский праздник, я уже не сидела в кресле с книжкой. Появился у нас в классе во второй четверти новенький. Симпатичный, молчаливый, какой-то весь отсутствующий. У девчонок к нему интерес быстро пропал, а я влюбилась. Мне именно его замкнутость и отрешенность от нашей визгливой школьной жизни нравились. И вот застолье. Тосты иссякли, танцы поднадоели. Интеллектуалы — на кухне, влюбленные — на лестничной площадке. А мы с ним — на балконе. Ночь, почки на деревьях только-только лопнули и пахнут, как цветы. Мы стоим высоко над землей, обнявшись, и такое чувство, что на этой высоте мы давно-давно, на ней родились, на ней и умрем. Кто-то за спиной, в комнате, закричал: «Девочки! Конец света! Ларка целустся!» Мы даже не оглянулись. Потом, на рассвете, он провожал меня. В этот же день в шесть часов в скверике напротив школы должно было состояться наше первое свидание. Я не пришла. Ветер на балконе оказался коварней сквозняков на лестничной площадке. Температура взлетела под сорок, вызвали врача. До сих пор не могу понять, почему я не подошла потом к нему, почему не объяснила. Он не глядел в мою сторону, а я в его. Потом — летние каникулы. А сейчас, будто ничего на том балконе и не было. Мы не глядим друг на друга, а когда случайно сталкиваемся взглядами, то хмурим лбы и отворачиваемся.

Григорьев звонит мне только в одном случае, когда приходит к нему его дочь Она мало кому известная актриса, давно уже немолодая, тощая и злая. Мне она однажды сказала: «Уж если ты взялась наводить здесь порядок, то убирай как следует».

Я опешила: «Вы в своем уме? Это вам надо взяться, вы его дочь, а я всего-навсего соседка».

Но она и впредь никакой уборкой себя не утомляла: вывалит на стол продукты, доведет отца до сердечного приступа и скроется с глаз на неопределенное время. Григорьев звонит мне: «Элен, опять была эта Гидра, зайди».

Я прихожу, он благоухает валидолом, тычет пальцем в пакеты с едой: «Ты не считаешь, что все это я должен отправить в мусоропровод?»

Я этого не считаю. Да к тому же считай-не считай, а голод не тетка. Григорьев и сам преисполнен интересом к пакетам, но побитое самолюбие сильнее его. Я берусь за пакеты сама. Ого! Красивая банка растворимого кофе, крекеры, соленые орешки, закатанная в целлофан импортная ветчина. Царское подношение. Но когти на этой дающей руке такие, что бедный Григорьев растерзан вконец и действительно не знает, как ему быть.

«Знаешь, что она сказала? Что весь мир задолжал мне, и я сижу и жду той минуты, когда по моему приказу начнут всем рубить головы».

Я знаю, что в ссоре можно сказать и не такое. К тому же я знаю, что Гидра не от богатства, не от избытка в своем холодильнике притащила эти высококачественные дары. Помирить их я не могу, но смягчить Григорьева пытаюсь.

«Все взрослые дети, — говорю, — сплошное разочарование родителей. А вся разница между родителями в том, что одни ругают своих детей, а другие помалкивают».

Григорьев успокаивается: «Ты возвращаешь мою душу на место», — показывает мне подбородком, чтобы я поставила чайник, пытается открыть банку кофе. Я ставлю чайник, забираю у него банку и оглядываюсь по сторонам. Кухню уберу сегодня. Успею и белье прокрутить в стиральной машине. Но вот кто его вымоет? Он такой ветхий и растренированный, что в ванне или под душем вполне может ошпариться или потерять сознание.

«А что же ваш сын, — спрашиваю, — он почему не возникает?»

«У сына жена, дети. Когда у него случаются лишние деньги, он присылает».

Ему живой человек нужен, а потом уже деньги и эти банки с кофе. Я бы женила его на какой-нибудь хозяйственной веселой особе. Она бы навела здесь порядок и посмеивалась бы над его чудачествами — та-а-кой драматург. Кандидатура у меня одна — Жанна, но она не подходит. Во-первых, у нее хорошая квартира, с бытом она не намыкалась, во-вторых — там, где у людей в голове

извилины, ведающая юмором, у нее слепое пятно. Жанне нужны романы, свидания, а нам с Григорьевым нужен нормальный человек для семейной жизни.

«Может, вам жениться, — говорю, наливая в чашечки кофе и открывая пакетик с солеными орешками, — вы не очень приспособлены к одинокой жизни. Вам нужен друг, хозяйка».

Григорьев зыркает на меня хмурым глазом. Мои слова ему не нравятся.

«Не списывай меня с корабля, — говорит, — я еще живой. Куда-то плыву, а вот куда — понятия не имею. Вокруг море без берегов. А раньше были берега, не очень добрые и понятные, но были... Берег должен быть, потому что тогда у человека бывает выбор. Может плыть к нему, а может барахтаться в волнах и никуда не стремиться».

Я не очень понимаю, о чем он, но не перебиваю.

«Ты наверняка не задумывалась, почему люди курят, верней, почему начинают курить. Это их прорыв к свободе. Вредно, губительно, опасно. И начать-то не очень просто: отвратительный вкус, мутит. Я курю с одиннадцати лет и лучше других это знаю. Никто из домашних не курил, все были переполнены заботой, чтобы я когда-нибудь не вляпался в эту вредную привычку. Нельзя, нельзя. Ах, всем нельзя — тогда мне можно!»

Я пытаюсь вклинить в его монолог.

«Как говорят юмористы: если нельзя, но очень хочется, то можно».

«Какое "очень хочется" в одиннадцать лет! Тут какая-то другая сила толкает человека ломать запреты».

Слушать его можно до вечера, а дело не делается. Меня убивает безграничность домашней работы. Вот уж действительно море без берегов. Стирай, убирай, вари и опять все сначала. Тут нужен вечный двигатель, а не жалкие приспособления в виде пылесосов и стиральных машин. Эта техника тоже не хуже метлы и корыта мочалит человека. Подлость все-таки обозвать все это тихими мирными словами «домашняя работа» и всучить ее женщинам.

Конечно, я злось. Без злости и не бросишься в эту пучину. Наливаю в кастрюли горячую воду, чтобы они отмокли. В одной у него сгорела картошка, в другой тоже что-то варилось до окаменелости. Григорьев сопереживает: «Дай мне полотенце, — говорит, — я буду тебе помогать».

Собрался вытирать посуду. Еще не всю перебил.

«Нечего примазываться к чужим подвигам, — отвечаю, — лучше расскажите, как вы стали драматургом, что вас вывело на эту дорогу».

«Знаешь, где у меня эти вопросы? Из ушей торчат. «Расскажите, как начинался ваш творческий путь, над чем сейчас работаете?» Одна читательница спросила: «Если не секрет, сколько раз вы влюбились?»

«И что вы ей ответили?»

«Ответил, что секрет, государственная тайна. Не хватало еще на людях, в библиотеке, исповедоваться. А вот ты мне один на один скажи, почему ты ни в кого не влюблена?»

Стиральная машина гудит, как заводская труба, но это еще ничего. Хуже, когда она вдруг начинает дергаться и прыгать. Что с ней происходит, выше моего понимания. Школьная физика всю эту бытовую технику в гробу видела. Я вытаскиваю вилку из розетки, машина успокаивается, говорю Григорьеву: «Очень даже влюблена. Но сейчас не лучший момент говорить об этом», — выключаю машину и с напряжением жду, когда она опять начнет выкидывать свои колена.

«Как его зовут?»

«Лелик».

«Это такое имя?»

«Вообще-то он Леопольд, но пока еще Лелик».

«Пока! Он будет Леликом еще лет двадцать».

Я в ванной, Григорьев в коридоре, машина гудит, и разговор наш сплошной крик, как у заблудившихся в лесу.

«Так и будет Леликом еще лет двадцать, — повторяет Григорьев, не дождавшись моего вопроса, — потому что Леопольд без отчества звучит нелепо».

Я выключаю машину: теперь прополоскать, отжать, развесить. Звонит мама.

«Ты поселилась там?»

«Мама, не усложняй, всё в порядке».

«Я сейчас приду туда и выскажу ему все, что думаю».

«Выскажешь мне, я скоро буду».

Я возвращаюсь вовремя: мамино возмущение перегорело. К тому же у нас в гостях Жанна. Отец мается с ними: Жанна парализует его своими любовными несчастьями. Они уже выпили бутылку вина, веселья оно им не прибавило, сидят за столом и ругают молодежь под аккомпанемент орущего телевизора. Я не вслушиваюсь. Мой воскресный день чересчур насыщен, мне бы

куда-нибудь скрыться от них. Даже самые близкие люди понятия не имеют, как иногда их бывает много. Но скрыться некуда.

На экране — конкурс красоты. Длинноногие девушки, не очень красивые, но старательно изображающие какую-то неземную женственность, вышагивают по сцене. Жанна возмущается: «Нет, вы мне объясните, что это должно означать? Что это вообще такое — пустоглазые лица с приклеенными улыбками?»

Странно. Мне казалось, что Жанна все это должна одобрять.

«Они красавицы, — говорю, — носительницы той самой красоты, которая спасет мир».

«Глупости, — сердится мама, — Достоевский совсем другое имел в виду. Эта красота никого не спасет, а только сама себя погубит».

«Вот именно, — воинственно соглашается Жанна, — пусть сначала откроют публичные дома, а потом устраивают эти конкурсы. Вот ты, Лариса, ты из нас ближе всех к этим девкам, что ты о них думаешь?»

Я думаю, что девочки рвутся в иной, более радостный мир. Если нет никаких талантов, а есть молодость, длинные ноги и милое личико, почему бы всё это не пустить в дело. Станут манекенщицами, моделями, будут зарабатывать валюту, увидят разные страны. Хотя быть манекеном — от такой карьеры свихнуться можно. Это не для живых людей.

«Мы такими не были, — не может успокоиться Жанна, — мы влюблялись, разбивались, нас бросали, обманывали, но такими полугослыми перед миллионами не выставляли. Я бы умерла, если бы меня оскорбили таким предложением».

Это очень смешно: Жанна в купальнике, на своих куриных ножках среди участниц конкурса красоты. Папа, наверное, про себя посмеивается, но, мудрый мужчина, слушает и помалкивает. Молчание его не спасает.

«А он глазеет, — говорит мама, — ему это нравится. Мир, возможно, красота не спасет, но удовольствие многим мужчинам доставит».

Папа поднимается со своего места.

«Сначала Чехова терзали — выдавим из себя раба. Теперь за Достоевского взялись: красота спасет мир. Скучно, девушки».

Он презирает нас и правильно делает. Миротворцы тоже нуждаются в передышке. Он перебирается на кухню, я иду за ним.

«Ну что твой подопечный, — спрашивает он, — пишет новую пьесу или тоже ругает молодежь?»

«Вспоминает детство. Представляешь, в одиннадцать лет начал курить».

«Такое ужасное было детство?»

«Наоборот, его любили, воспитывали: это нельзя, то нельзя. А он через это нельзя: ах, так — значит, я буду! Протест у него такой был, тяга к свободе».

Папе это не нравится.

«Попозже бы начал курить, — говорит он, — подольше был бы здоровым».

Он не воспитывает меня, он действительно верит: то, что нельзя, — это нельзя. Он любит меня, и всё же в его глазах я не совсем человек. Сказать мне что-то такое, свое, он не может, и я у него спросить о чем-то таком, что меня тревожит, не могу. А надо. Мне очень нужен его совет. Но я даже Григорьеву не смогла рассказать о прошлом первом, балконе и не состоявшемся свидании. А папе... кто это из дочерей рассказывает отцам о своих любовных терзаниях?

Да ругайте молодежь, если вам это нравится. Она и такая и скаяя — ленивая, неблагодарная, бесстыжая. Откуда вам знать, что никакой молодежи нет. Есть мальчики и девочки — умные, глупые, красивые и не очень. Они все чего-то ждут, какой-то награды за свою молодость. И каждый ощущает только себя, хотя потом будут вспоминать о каком-то единении, дружбе. «Вот мы умели любить и дружить, не то, что эти, сегодняшние». А я буду говорить правду: ничего мы не умели — ни любить, ни дружить, ни поссориться по-человечески, ни помириться.

Я бы к нему не подошла в тот день, если бы не платье. Голубое, пушистое, наконец-то довязанное. Из-за него и опоздала на первый урок. И Лелик где-то задержался. Стоял у окна в коридоре напротив классной комнаты. Увидел меня и отвел глаза. Я сказала себе: поспокойней, без паники. Приблизилась к нему и швырнула сумку на подоконник. Тут уж ему некуда было деться. Взглянул на меня и отодвинулся. Ну что ж. Мог ведь и уйти.

«Я не смогла тогда придти, заболела», — сказала я четко и упрямо. Платье руководило мною. В таком платье не колят, не заискивают.

Он стоял столбом и молчал.

«Заболела, — повторила я, — температура под сорок, врача вызывали».

«Ты была при смерти?»

Повернул ко мне лицо с поднятыми бровями, изобразил удивление. Глаза прозрачные, с большими зрачками, как у рыбы. Кто это выдумал, что он красивый?

«Должна тебя огорчить: смерть надо мной не витала. Простудилась, видимо, тот балкон сыграл со мной злую шутку».

Я была довольна собой, держалась стойко.

«Балкон виноват?»

«Никто не виноват. Так получилось».

«Ты права. Никто не виноват».

Достал пачку сигарет и закурил. Я обомлела. В школьном коридоре, под дверями класса!

«Не надо, Лелик. Зачем рисковать?»

«Ты опять права».

Поправил на плече ремень своей сумки и пошел от меня. Дым потянулся за ним ломаными, тающими ниточками. Я бросилась вдогонку.

«Постой! Так нельзя. Давай договорим».

Он остановился.

«Договаривай».

И я, забыв о своих девичьих достоинствах, стала унижаться: «Давай помиримся. Это же глупо, мы даже не здороваемся. Если я виновата, прости меня».

Я тонула, погибала, а он даже взглядом мне не посочувствовал. Надо было как-то закруглять это унижение.

«Видишь платье? — спросила я, — моя мама вязала его три года. Если бы я в нем была на балконе, то не простудилась бы. А ты был в куртке, утепился, не заболел. Ты такой. Это рядом с тобой будут простужаться, болеть и умирать, а ты застегнешься на все пуговички и будешь злорадствовать, как греческий сфинкс».

Мы были одни в коридоре, он вполне мог меня стукнуть. Но он до того оторопел от моей тирады, что даже брови свои забыл приподнять. Прошипел в недоумении: «Ты действительно чокнутая» и пошел от меня, обратно к классной двери. А я устремилась к выходу. Не будь это мой последний учебный год, я бы ушла отсюда навсегда, перевелась бы в другую школу.

А чего я от него ждала? Признаний, обьятий? Своего ума нет, так училась бы на чужих ошибках. Той же Татьяны Лариной. «Я вам пишу, Лелик, чего же боле...» Не уж, Элен-Лариса, чего нельзя, того нельзя. Никто тебя не обижал, не бросал. Чтобы бросить человека, его до этого высоко вверх поднять надо.

Я шла домой, проклиная себя. Потом немного успокоилась, стала думать о Григорьеве и Лелике. Наверное, пьесы рождаются из каких-то правдивых, простых разговоров. Я ведь могла сказать Лелику: «Очень нужна твоя помощь. Надо помочь человеку знаменитому, старому и одинокому. А он бы мне ответил: «Знаменитых и одиноких не бывает». И я бы рассказала ему о Григорьеве, о том, что надо взять мочалку и вымыть та-а-кого драматурга, как ребенка. Лелик бы смутился: «Я этого не умею». А тут уметь нечего, надо только взяться. И так слово за словом, мы бы поговорили с ним, как люди, мирно и по существу. Но мне нужно было другое: я унижалась ведь не от раскаяния, меня мучило любопытство, почему он отдалился, не замечает меня.

Я почти простила Лелика, поднялась на свой этаж и, не глянув на свою дверь, позвонила Григорьеву. Он всегда открывал не сразу, но тут меня охватила какая-то уверенность, что дверь мне никто не откроет. Звонила, звонила, потом бросилась мимо лифта по лестнице вниз. Решила позвонить по телефону, из автомата. Могла бы из своей квартиры, родители на работе, но меня тащило на улицу. Паника превратила меня в пушинку. Я летела по двору, одуревшая от страха: скорей, скорей, он лежит там без сознания, его еще можно спасти! Дверь телефонной будки примерзла и не открывалась, я огляделась вокруг — может, кто-нибудь сможет помочь — и тут увидела его.

Он сидел на скамейке прямо напротив меня, нахохлившийся и скучный, как зимний воробей. Силы покинули меня, я подошла к нему на ватных ногах.

«На дворе декабрь, а он сидит на холодной скамейке и зарабатывает себе воспаление легких».

Григорьев улыбнулся и поднял руку, приветствуя меня.

«Что это ты обо мне в третьем лице? Надо говорить: вы сидите, ты сидишь. Хочешь, перейдем на "ты"?»

Он легко поднялся, потопал ногами и пошел, кивнув мне, чтобы я следовала за ним. По дороге он что-то бурчал себе под нос, потом остановился, повернулся ко мне.

«Я говорю: все должно происходить в свое время. В твои годы надо сбежать с уроков на свидание или с подружками в кино. А ты прибежала ко мне. Тебе кажется, что я при последнем издыхании, меня надо спасать. Ты боишься, что я испущу дух без свидетелей?..»

Он еще что-то молчал про благородство, которым каждый хотел бы украсить, об энергичных, деловых людях, которые обгоняют время, — никаких новых людей нет, в каждом веке кто-то летит

в ракете, а кто-то тащится на телеге. И вообще, человек — величина постоянная, каким родился, таким и проживет свою жизнь. Я бы дослушала этот монолог до конца, если бы мы не стояли на узкой дорожке и не мешали идущим людям. Кто-то протискивался, толкая нас, а кто-то обходил. Те, кто обходили, прокладывали новую дугу-дорожку в снегу.

«Мы перекрыли движение», — сказала я.

«Да-да, — подхватил он, — смотри, это не просто новая тропка, это замечательные следы деликатных людей».

Дома, когда он снял пальто, я увидела на нем выстиранную рубашку, неглаженную, со скрученным воротником. Волосы на его голове торчали пушистыми перьями. То, о чем я так пеклась, свершилось. Он самостоятельно вымылся и остался жив.

«С легким паром. Это была ванна или душ?»

«Это было то, что было. Не все в жизни надо обкладывать словами».

У него и раньше не всегда концы сходились с концами. Уж кто обкладывал словами чистоту, ратовал за государственную санитарию, так это он сам. Мы располагаемся на кухне, едим холодную картошку с тонкими ломтиками ветчины. Приканчиваем роскошные дары Гидры. Импортная ветчина красивая, но вкус у нее, как у переваренной репы. Я говорю об этом Григорьеву, и он со мной согласен.

«Ваша Гидра могла бы это знать и тратить деньги более осмысленно. Она вообще у вас странная. Обвиняет вас, а сама, наверное, думает, что это ей мир задолжал и неплохо бы своим врагам поотрубить головы».

Ну, что я такого сказала? Всего лишь повторила то, о чем он мне сам говорил. Чего же он так задышал? Чего затрубил, как разгневанный слон?

«Не смей! Никогда больше не смей называть ее Гидрой! Она прекрасный несчастливый человек! Она глупа, но умней многих!»

Запутал вконец. Сам ругает ее, жалуется, я его успокаиваю — «все взрослые дети — сплошное разочарование», а в итоге я и виновата. Вот уж точно: добрые дела наказуемы. Он спохватывается, идет к плите, наливает чай. Чашка с блюдцем бренчат в его руке, когда он движется ко мне. Говорит уже своим обычным голосом: «Чужих детей нельзя ругать в присутствии родителей. Вообще никого нельзя ругать за глаза, а в глаза тем более».

Воспитатель. Изрекатель житейских истин. Пустынник в богатой запущенной квартире.

«Знаешь, о чем я вчера подумал? У тебя же есть паспорт. Это бы помогло нам решить кое-какие проблемы».

Я не злопамятная, но вот так, мгновенно, выключиться из обиды не могу. Я же не приходящая домработница, я с ним дружу, даже если он этого не понимает.

«Молчишь? Обиделась? Только не научись молчать по-настоящему. Самые ужасные существа на этом свете — молчащие женщины. К счастью, не все из них догадываются, какое это убийственное оружие — молчание».

Хватит ему поучать. Дружба не измеряется возрастом. У меня действительно уже второй год паспорт и вообще, как говорится, стою на пороге самостоятельной жизни. Молчать я не собираюсь.

«Вам лучше знать, — говорю, — какие бывают женщины. Говорят, у вас было большое количество романов».

Григорьев поскущел, не ждал такого поворота.

«Где говорят? На базаре? И что прикажешь понимать под большим количеством — невеликое качество? — он не смотрит на меня, это мамин взгляд поверх моей головы, и говорит без всякого энтузиазма, — у меня не было романов, у меня были пьесы о любви и бессмертии. Если собрать все эти пьесы и сосчитать, а потом поделить на прожитые годы, то от всего большого количества останутся крохи. Можешь спросить меня: почему? И я тебе отвечу: потому что жизнь не только большая, но и длинная».

Нет, не буду я ему рассказывать о встрече с Леликом. Напрасно спросила и про его романы. Не всё в жизни надо обкладывать словами. Надо уметь оставлять за собой дуги-дорожки. И еще не надо завладевать чужой душой, когда спасаешь. А то мечешься, не знаешь, как помочь, а он сам намылил мочалку, сам преспокойненько вымылся.

«Я тут осмотрел свое хозяйство, — говорит он, — кое-что можно отнести в комиссионку. Купим хорошей еды да и курить надоело черт знает что. Как ты на это смотришь?»

Вот для чего ему понадобился мой паспорт.

«Я смотрю на это спокойно, — отвечаю, — можно отнести, продать, если кто-нибудь купит».

Он покидает кухню и возвращается с ворохом какой-то чепухи. Какие-то вазочки, коробочки, сувенирные пожухлые безделушки. Вываливает всё это на стол и смотрит на меня, как двоечник на учительницу: я, как всегда, ничего не знаю, но что тебе стоит поставить мне тройку?

«Несите обратно, — говорю, — это несерьезно. Люди сейчас покупают драгоценности или полезные вещи, без которых не обойтись».

«У меня есть драгоценность, — восклицает он, — я ее тебе сейчас покажу».

Приносит золотые часы, старинные, карманные, с массивной золотой цепью. Это товар. Но я их в комиссионку не понесу. Никто там не поверит, что это мои часы.

«Не жалко, — спрашиваю, — наверное, семейная реликвия?»

«Меня пожалей, я тоже уже хорошая реликвия».

Мне его жаль и себя немножко. И маму жалко: вязала, вязала платье, а оно оказалось несчастливим. Жуткий все-таки тип этот Лелик. «Ты действительно чокнутая». Как будто не чокнутая смогла бы влюбиться в такого истукана.

Григорьев кладет часы себе на голову, цепь свисает до плеча. Сидит, боясь пошевелиться, и смотрит на меня, как филин, выцветшими глазами. Потом поднимает плечи, втягивает в них голову и, не меняя позы, говорит: «Иди домой. Уже закончились твои уроки. Иди, иди. Потом расскажешь, что там сегодня у тебя случилось».

«Ничего не случилось».

«Случилось. Надела новое платье, а оно себя не оправдало. Никогда не надо делать ставку на новое. Помнить надо: старый друг — лучше новых двух».

Нет у меня никаких новых друзей, а старый — так уж действительно старый. Идет к входной двери, шаркая, часы всё там же, на голове. Открывает мне дверь и злится, что я никак не реагирую на часы. Вполне возможно, что молчание убийственное оружие, но и просто обижать мне его не хочется. И я говорю ему с укором: «Такой весельчак, да? Прямо не драматург, а знаменитый клоун. Всю жизнь на арене, да?»

Он доволен. Стаскивает с головы часы за цепочку, и они болтаются у него в руке, как маятник. А у самого лицо хитрое, вихры торчат, круглые глаза смеются в омуте морщин. И я вдруг вижу, каким это лицо было много-много лет назад. Наяву вижу, каким трудным и милым ребенком был мой сосед Григорьев в свои одиннадцать лет.

Февраль 1995 г.

ВСЕ, ЧТО ЗАБЫТЬ НЕ ЗАХОЧУ

ШЕСТИДЕСЯТЫЕ

Играет бабка на валторне,
а дед на пионерском горне,
повсюду взмахи, взлеты, всплески.
Гагарин с нимбом — в центре фрески.
Своей судьбы никто не знает,
ничто еще не предвещает
заката пламенной эпохи,
и неподкованные блохи
спят в ожидании Левши.
Лет двадцать до конца лафы.

ВЯТКА, НОЯБРЬ 1982

Ничего не запомнила, только вокзал,
выплывающий медленно из тишины,
привокзальная улица, белый овал
угасающей утром луны.

Поздней осени желтая с перцем халва,
из тумана крадущийся снег...
Зазвенели над ухом стальные слова,
и в транзисторе умер генсек.

Что ни ночь, то изъеденный ветром пустырь,
даже звезды — глаза неприкаянных сов,
этот кованный лед, ледяная псалтырь
староверских медвежьих лесов.

Эта странная жизнь — вперекос, вперехлест,
как стекло, разбиваются сны,
только бешеный стук торопливых колес,
только голос из тьмы — «от тюрьмы да сумы...»

Марина
ТАРАСОВА

— родилась в Москве. Окончила Московский полиграфический институт. Автор восьми книг стихов и прозы — «Певчий город» (М., 1978), «Старая музыка» (М., 1987), «Воздушный мост» (М., 1993) и др. Живет в Москве.

* * *

Очнется всё под зимний дождь,
всё, что забыть не захочу,
я вспомню ужас, стыд и дрожь,
стаканы вдребезг и свечу —
ночного пламени стилет
и в голове подземный гул.
Ты Божий свет, ты десять лет,
как крошки хлебные, смахнул.
Бродяга, горе-чародей
в чужом обрубленном пальто...
Мне страшно, что из всех людей
меня любил ты, как никто.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ КРЫСЫ

— Что святого в Христовом причастье,
в этой крови, предвестнице бойни?
От нее все убийства и войны,
катаклизмы, земные напасти —

Искушает ученая крыса
и макает в чернильницу хвост,
и скрывает свой мизерный рост
под плащом сверхзначительной мысли.

Писк пера и магический круг,
тайный пир и обманчивый пост,
и готически-острый клубук,
а под ним тот же скрученный хвост.

Потайная лиана, спираль,
искривленный, петляющий мост,
опоясавший древний Грааль,
заморочивший вздрюченный мозг.

Это он, черный ворон Эдгар,
что молился всегда миражу.
И в колодец упав, как в Тартар,
я на маятник острый гляжу.

Это он, рыжий Готлиб, шелкун,
новый Гофман, флейтист, стеклодув,
перевертыш, проворный прыгун,
растопырил сверкающий клюв.

И затянутый в строгий сюртук —
темный сполох на белой стене —
зорким Кафкой скользнул полужук
в золоченом пенсне, в полусне.

Раскачалась и стонет земля,
как ковчег, вознесенный волной.
Это крысы бегут с корабля
расшатавшейся жизни былой.

Тот же свернутый жилистый хвост,
притворившись церковной свечой,
заменяет свечение звезд
черной мессой и черной дырой.

То не воск, а паленая шерсть
ест глаза, затуманила взгляд,
а внизу только серая персть,
только горькая копоть и смрад.

С неба капает черная кровь,
серный дождь, ледяная зола.
— Что ж великая наша любовь?
Сучий потрох, прислужница зла.

Вас распнут, разметают на части
за Христа, за его колдовство.
Что святого в Христовом причастье? —
И в крысиных зрачках торжество.

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

Ты влетаешь в окно, как бандитская пуля,
серый оползень ночи, щекочущий темя,
узнающий на ощупь, все ли уснули
мертвым сном или только на время.

Ты поломанный зонтик, помятая шляпка,
несуразная ветошь, отброс мирозданья,
леденящим жгутом, шевелящимся кляпом
затыкаешь сквозную воронку сознанья.

Эмигрантка полуночи, страшная муза
саганиста, безумных стихов паутина,
ты хрипящий аккорд похоронного блюза,
первобытной трубы роковая сурдина.

Ты не ведаешь детства, незрячий уродец,
ты рождаешься там, где уныло и сыро,
пух и прах темноты — твой угрюмый народец,
перепончатый бес параллельного мира.

Черный след за тобой в поднебесье клубится,
перевертыш, рогатка, мохнатая груша,
проникаешь в окно, притворяешься птицей
и уносишь в когтях отлетевшую душу.

* * *

Умирала бабка Ефросинья,
а вокруг избы бродили свиньи,
вынимали морды из осота —
как у Босха. Лета позолота
вся разбухла от недоброй влаги:
семь недель в глухом смурном овраге
шевелился дождь, как шерсть души.
По домам сидели алкаши,
и росли, забившись под коряги,
звероящерки, чтоб в теплом иле
подогреть бунтующую слизь, —
не заснуть стеклянным сном рептилий,
а вгрызаться в печень, в горло, в жизнь
на лугу зеленом, в дымке синей,
где гуляла девкой Ефросинья.

«РОССИЯ НА ПУТЯХ ПРАВОПРЕЕМСТВА»

Под этим название в мае 1996 г. в Москве прошла научная конференция, участники которой сформировали после окончания ее работы общественно-просветительское движение «Правопреемство». О проблемах, которые вызвали необходимость проведения этой конференции и формирования движения «Правопреемство», а также о самой конференции рассказывает один из ее организаторов, член редколлегии «Континента» профессор А.Б. Зубов.

Древние по-разному именовали тот божественный строй мира, ту неотмирную Премудрость, которой следует вся живая и неживая природа. Для греков это был космос, для китайцев — дао, для древних ариев — ритма (отсюда современные слова — ритм, ритуал, rite, right), для индийцев — дхарма. И право исконно считалось проявлением этого единого божественного закона мироздания в социальной и политической сфере, хотя только следование природному закону абсолютно и неизменно для всего творения, а в исторической жизни человек может свободно соблюдать, а может и не соблюдать тот божественный строй бытия, который реализует себя в праве. Однако нарушитель закона не отменяет его объективность — он только пренебрегает им, и с таким беззаконником неотвратимо происходит то же, что и с тем, кто, игнорируя закон всемирного тяготения, бросается в пропасть. Другое дело, что в социальных законах причина и следствие, нарушение и воздаяние часто не следуют немедленно одно за другим, но бывают разделены многими годами и даже поколениями.

Такая разведенность преступления и наказания, с одной стороны, сохраняет за человеком свободу, а с другой — заставляет с особым вниманием исследовать божественные установления, дабы научиться отличать правильное от неправильного, законное от беззаконного. Не случайно многочисленные собрания поучений и законоустановлений принадлежат к древнейшим памятникам письменного слова и, безуслов-

Андрей ЗУБОВ — родился в 1952 году в Москве. Закончил МГИМО. Доктор исторических наук, сотрудник Института востоковедения РАН. Автор двух монографий и многих десятков статей по политологии, религиоведению, истории русской философии. Живет в Москве.

но, восходят к еще более раннему дописьменному бытию человечества. Именно из этой глубочайшей древности пришла к нам традиция отношения к праву как к святыне. Клятва на Библии во время судейской присяги — прямое ее проявление.

Ныне, конечно, право очень не часто сознается во всей его глубине. В результате изменений в миросозерцании европейского человека в XVIII—XX веках божественную и естественную теории права сменила теория позитивная. И теперь мы самоуверенно полагаем, что можем выдумывать любые нормы, а с другой стороны — считаем любой действующий в обществе закон законным уже в силу его актуального существования. Однако в действительности и у нас имеется здоровое чувство со-ответственности абсолютного закона правды конкретному нормотворчеству. Заглушить это чувство для законодателя — то же, что человеку заставить умолкнуть свою совесть. Общество, силившееся существовать по неестественным законам или, столкнувшись с трудностями, изменит эти законы, или придет к катастрофе.

Национальный правопорядок — это частный вариант общего мироустроющего закона, присущий определенному народу, данной земле. Общечеловеческие принципы отношений человека с человеком, власти с обществом, учреждений друг с другом национальный закон проявляет со-ответственно конкретному народу, движущемуся в истории и всегда сохраняющему собственное лицо, свою личность. Национальное право несовершенно так же, как несовершенен, грешен любой народ, но оно мрно народу, оно создает рамку народной жизни, переводит и приспособляет абсолютные истины Божии к конкретному историческому и национальному бытию.

И русский правопорядок на протяжении тысячелетия тоже постепенно развивался, усложнялся вместе с развитием, усложнением самого общества. К обычному славянскому праву, к X веку кое в чем сохранявшему еще древние общезарийские формы, прибавились с христианизацией элементы византийского законодательства, через Кодекс Юстиниана восходившие к классическому римскому праву, и каноны церковного права, сплавленные тогда с правом гражданским. С XVII столетия русское право активно акцептирует нормы и саму юридическую логику западноевропейского законодательства — и акцептирует достаточно органично, так как базисная для Европы римская правовая традиция была воспринята Русью от Константинополя вместе с христианством еще в X—XI веках.

Древняя «Русская Правда», княжеские уставы и уставные грамоты, судные грамоты и судебники, «Стоглав» и Соборное уложение 1649 года, петровские артикулы и указы, законодательные акты Ектерины Великой и Александра I, Великие реформы Александра II и Основные Государственные Законы 1906 года являли собой единую правовую ткань создающегося в истории народного организма. Одни нормы устаревали, отмирали, другие приходили им на смену. Некоторые правовые новадции оказывались неудачными, не со-ответственными строю народной жизни

и переставали применяться. Это была жизнь, и как любая жизнь она несла в себе существенное и случайное, вечное и сиюминутное. Но течение реки русского национального правопорядка, теряющей своими истоками в далекой доистории, было жестоко остановлено 1917 годом.

Как случилась Февральская революция, что стало ее причиной и началом? Где бы не находили мы исток Великой русской Смуты, катастрофа, всеми давно ожидавшаяся, разразилась совершенно неожиданно. Уже 8 января 1917 года брат Государя Михаил Александрович спрашивал Председателя Думы М.В. Родзянко, будет ли революция. Последний свой всеподданнейший доклад императору 10 февраля тот же Родзянко закончил словами — «будет революция и такая анархия, которую никто не удержит». Но и для этого опытного и мудрого человека обрушение государства Российского произошло нечаемо.

«Дума продолжала обсуждать продовольственный вопрос. Внешне всё казалось спокойным... Но вдруг что-то оборвалось, и государственная машина сошла с рельс. Свершилось то, о чем предупреждали, грозное и гибельное...» — так закончил Михаил Родзянко свою книгу «Крушение Империи»¹.

Другой пронизательный очевидец февральских событий, Владимир Набоков, признавался: «Еще 26-го вечером мы были далеки от мысли, что ближайшие два-три дня принесут с собою такие колоссальные, решающие события всемирно-исторического значения»².

Люди, дальше стоявшие от вершины российской власти, тоже почти все, как животные — землетрясение, предчувствовали катастрофу, и никто, однако, ее не ожидал.

Но точно ли случившиеся в последние дни февраля и в начале марта 1917 года события являлись катастрофой «всемирно-исторического значения»? Или же это был сравнительно второстепенный акт отечественной истории, вполне перекрытый Революцией Октябрьской?

Здесь не место для тщательного и всестороннего исторического исследования. Но, замечу, вовсе не случайным было всеобщее ожидание, что с верховной властью в России что-то должно случиться. Страна действительно управлялась всё хуже, Двор всё больше отделялся от общества, от всех сословий и групп. Отвратительная фигура лжестарца Григория Распутина, выросшая в глазах общества до колоссальных размеров национального бедствия, стала знаменем конца несчастного царствования. И вот — во Пскове, в ночь со 2-го на 3 марта, в салон-вагоне императорского поезда Государь Николай Александрович «признал за благо отречься от Престола Государства Российского и сложить с себя Верховную власть».

¹ Родзянко М.В. Крушение Империи//Архив Русской Революции. — Том XVII. Берлин, 1926. С.169.

² Набоков В.Н. Временное Правительство//Архив Русской Революции. Том I. Берлин, 1921. С.12.

XX век явился свидетелем стольких революций и отречений монархов, что акт, датированный 15 часами 2 марта 1917 года, выглядит достаточно заурадно. Внимание русских людей вскоре было захвачено куда более грандиозными и кровавыми событиями борьбы за власть Временного правительства и Советов, всё углубляющегося развала фронта и тыла, Корниловского мятежа и Октябрьского переворота, созыва и немедленного разгона Учредительного собрания, Брестского мира, развала России, Гражданской войны, красного террора и, наконец, полного воцарения нового строя жизни, который сам его создатель определил как «ничем не ограниченную, никакими законами, никакими абсолютно правилами не стесненную, непосредственно на насилие опирающуюся власть»³. Говоря *юридически*, под этой насильнической властью существовали мы до 12 декабря 1993 года.

Но почему вместе с отречением Государя рухнула как карточный домик власть закона на пространствах Российской Империи?

Нет, читатель, я не «махровый монархист», уверенный, что без царя народ существовать не может и, коль низложен был «удерживающий», то России ничего не оставалось, как пойти вразнос. Власть царская значительно моложе человечества и принадлежит к исторически относительным, а не к сущностным его явлениям. Немонархические сообщества порой веками сохраняют незыблемый правопорядок, а монархии часто страдают от хронической аномии⁴.

Глубинная причина послефевральского безвластия (а отнюдь не двоевластия, как говорили советские историки), постепенно перелившегося в неприкрытое коммунистическое насилие, в том, что отречение само по себе было незаконным, а потому и власть Временного правительства не зиждилась на законе. И это если не понималось, то чувствовалось. Ведь у власти могут быть только два источника: или естественный для общества преемственный правопорядок, или прямое незаконное насилие. Первого Временное правительство не имело, а на второе не могло решиться. Стараясь во всем следовать букве Основных Государственных Законов, Временное правительство презрело самое главное в них и для любого государственного сообщества вообще существеннейшее — закономерное преемство верховной власти. И потому власть его не только формально-юридически, но и фактически оказалась призрачной. Будь закон лишь

³ Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 24. С. 441

⁴ Свой взгляд на историко-политический и духовный смысл монархии я попытался выразить в следующих работах: Роль монархии в воззрениях славянофилов//Современные зарубежные исследования русской политической мысли XIX века. М., ИНИОН (для служебного пользования), 1980; Парламентская демократия и политическая традиция Востока. М., Наука, 1990. Главы 6 и 10; От 373 речения Текстов Пирамид до 6 новеллы Codex Juris Canonici Юстиниана//Взаимодействие культур Востока и Запада. Вильнюс, 1988; Харизма власти//Восток (Москва). №№ 4—6, 1994; № 2,

измышлением человеческого ума, пренебрежение им не имело бы столь разрушительных последствий — сегодня выдумали одно, завтра, коль надо, выдумаем иное. Но глубина катастрофы русского общества вновь и вновь указывает нам именно на неотмирный источник права, которым мы столь необдуманно пренебрегли.

Отбросив волю Творца и Вседержителя, выраженную, в частности, в самом преемственном строе права, соответствующем естественной непрерывности жизни и ее развития, мы, поскольку в полном безволии существовать невозможно, заместили божественную волю нашей собственной, человеческой. Слова революционного гимна, что Бог «не даст нам избавленья» и освобожденья мы добьемся «своею собственной рукой» — оказались не бессодержательной риторикой, а обнажающей подсознательное проговоркой. И эта-то несинергичная божественной, самостная наша воля и обернулась «ничем не ограниченной, никакими абсолютно законами не стесненной, непосредственно на насилие опирающейся властью» Ленина и его сообщников.

Не имея в себе божественного творящего начала, немедленно восстав на Бога, новая власть могла только разрушать и жить продуктами полураспада былого государственного организма. И в той степени, в какой человек советского времени соединял себя с властью, он с неизбежностью разрушался сам. Через эту личную духовную драму прошли очень и очень многие — в той или иной степени, наверное, все мы.

Но вернемся во 2 марта 1917 года.

Вышедший к приехавшим из Петрограда во Псков представителям палат Государственного собрания В.В. Шульгину и А.И. Гучкову император сказал: «Ранее вашего приезда после разговора по прямому проводу генерал-адъютанта Рузского с председателем Государственной Думы, я думал в течение утра, и во имя блага, спокойствия и спасения России я был готов на отречение от Престола в пользу своего сына, но теперь, еще раз обдумав свое положение, я пришел к заключению, что, ввиду его болезненности, мне следует отречься одновременно и за себя и за него, так как разлучаться с ним не могу»⁵.

Несостоятельность, неправомерность формы отречения от престола, избранной Николаем II, была очевидна с момента ее первого объявления Государем. Ее заметил В.В. Шульгин. Ее подробно объяснил Владимир Набоков в апреле 1918 года⁶.

Дело в том, что в Российских законах вовсе отсутствовала норма отречения от престола царствующего Императора. Статьи 37 и 38 Основных Государственных законов рассматривают возможность отречения наследника до его вступления на престол, но об отречении правящего

⁵ Протокол отречения Николая II (по записи начальника походной канцелярии Е.И.В. свиты генерал-майора К.А.Нарышкина)//Отречение Николая II. М., 1990. С. 220.

⁶ *Набоков В.Н.* Указ. соч. С. 18—21.

Государя ни в этих, ни в иных статьях нет ни слова. Разумеется, отсутствие нормы, как хорошо знают юристы, не исключает факта. Но в рассматриваемом нами случае факт отречения, по точному замечанию Набокова, юридически был тождествен смерти Государя.

По объявленным императором Павлом законам о престолонаследии, в непреложной верности которым торжественно клялся при достижении совершеннолетия каждый Наследник Престола вплоть до Николая II, император не может распоряжаться Всероссийским Престолом как частным своим наследием и завещать его кому пожелает. Престол Империи наследуется в строго установленном законом порядке (Вторая глава Основных Государственных законов). Поэтому в случае отречения Николая II престол переходил его сыну Алексею Николаевичу. Отречься можно только за себя. Отречься за другое лицо — в данном случае за сына — российский император не имел права. Цесаревич Алексей мог только сам отречься от своего права на престол, да и то лишь по достижении совершеннолетия (16 лет). До того он должен был царствовать при Правителе (регенте), которого мог определить перед отречением-смертью Николай II, но которым, если такого определения не последовало, становился «ближний по наследию Престола из совершеннолетних обоюбого пола родственников малолетнего Императора» (ст. 45). В 1917 году самым ближним был брат царя Михаил.

В Думе был проработан именно этот, вполне законный вид отречения: «призываем благословение Бога на Сына Нашего, в пользу которого отречаемся от Престола Нашего. Ему до совершеннолетия регентом брата Нашего Михаила Александровича ...». Но Николай воспротивился, а Шульгин и Гучков не стали перечить. В окончательном тексте манифеста об отречении объявлялось: «Не желая разстаться с любимым Сыном НАШИМ, МЫ передаем наследие НАШЕ Брату НАШЕМУ Великому Князю МИХАИЛУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ и благословляем Его на вступление на Престол Государства Российского»⁷.

Такая форма отречения была незаконной, а ввиду клятвы цесаревича «соблюдать все постановления о наследии Престола... во всей их силе и неприкосновенности, как пред Богом и судом Его страшным ответ в том дать могу» — и клятвopеступлением. Невозможно представить, что прекрасно юридически образованный и двадцать два года управлявший Империей Государь Николай II не сознавал, что так отрекаясь, он нарушает закон и никакого властного статуса для великого князя Михаила Александровича тем самым не создает. Чего желал достичь Государь, заведомо нарушая правила престолонаследия, мы скорее всего никогда не узнаем. Но ясно одно: по причине незаконности отречения за сына, после отказа Николая II от Престола Императором Всероссийским становился, по статье 28 Основных Государственных Законов, Алексей Николаевич при регенте Михаиле Александровиче.

⁷ Манифест отречения Николая II // Отречение Николая II. С. 222—223.

Шульгину, Гучкову и другим лицам, присутствовавшим в салон-вагоне во время обсуждения текста Манифеста, следовало бы тут же указать Государю на юридическую несообразность. Но никто этого не сделал.

«Если здесь есть юридическая неправильность... — передает в «Днях» свои тогдашние мысли Шульгин. — Если Государь не может отречься в пользу брата... Пусть будет неправильность.. Может быть, этим выиграется время... Некоторое время будет править Михаил, а потом, когда всё утомится, выяснится, что он не может царствовать, и престол перейдет к Алексею Николаевичу ... Всё это, перебивая одно другое, пронеслось, как бывает в такие минуты ... Как будто не я думал, а кто-то другой за меня, более быстро соображающий... И мы согласились ...»⁸

Однако всё получилось совсем не так, как надеялся Шульгин. «Принятие Михаилом престола было бы, — отмечает Набоков, — ab initio vitiosum, с самого начала порочным». И сам великий князь, и окружающие его это или сознавали или ощущали. Когда, узнав о передаче ему короны, Михаил Александрович спросил М.В. Родзянко, может ли Председатель Думы гарантировать ему безопасность, в случае если он вступит на престол, то в ответ услышал: «Единственно, что я вам могу гарантировать — это умереть вместе с вами»⁹.

3 марта великий князь Михаил Александрович, не всходя на престол, на который он при несовершеннолетнем цесаревиче Алексее не имел никаких прав, отказался от принятия верховной власти. И это было вполне правомерное действие. Однако действием этим Михаил не ограничился. В акте отказа от престола великий князь, по совету Шульгина и Набокова и при полном одобрении членов Временного правительства, объявил: «Всем гражданам Державы Российской подчиниться Временному Правительству, по почину Государственной Думы возникшему и облеченному всей полнотой власти».

«С юридической точки зрения, — замечает творец этой формулы Владимир Набоков, — можно возразить, что Михаил Александрович, не принимая верховной власти, не мог давать никаких обязательных и связывающих указаний насчет пределов и существа власти Временного Правительства. Но мы в данном случае не видели центра тяжести в юридической силе формулы, а только в ее нравственно-политическом значении. И нельзя не отметить, что акт об отказе от престола, подписанный Михаилом, был **единственным актом**, определившим объем власти Временного Правительства и вместе с тем разрешившим вопрос о формах его функционирования, — в частности (и главным образом) вопрос о дальнейшей деятельности законодательных учреждений»¹⁰.

⁸ Шульгин В.В. Дни//Отречение Николая II. С. 183.

⁹ Ксюнин А.И. Предисловие к заметкам М.В. Родзянко «Крушение Империи»//Архив Русской Революции. Т. XVII. С. 8.

¹⁰ Набоков В.Н. Указ. соч. С.21.

Как можно видеть, юридически власть Временного правительства строилась ни на чем. Это была чистая узурпация, отягченная келовкой попыткой сознательной правовой фальсификации. De jure в России правил двенадцатилетний Алексей Николаевич, de facto никакой властью не располагавший и о своем положении Императора Всероссийского не ведавший.

Перед Временным правительством открывалось несколько возможностей дальнейшей деятельности. Оно могло вернуться к законному порядку, утвердить в положении Правителя Михаила, вступив с ним в некоторое неофициальное соглашение по разделению властных полномочий. Либеральный Михаил скорее всего согласился бы на разумные условия думцев. Могло Временное правительство пренебречь историческим правопорядком и установить собственную диктатуру, вполне незаконную. На это оно так и не решилось. И, наконец, последняя возможность — это делать вид, что в своей деятельности оно следует Российскому правопорядку, букве Основных Государственных законов, и действительно стараться в меру сил так поступать. Этот путь — самый непоследовательный, самый безвольный.

Если вспомнить о том, что говорилось несколькими страницами выше, то первая возможность предполагала восстановление правовой синергии божественной и человеческой воли, вторая — прямое восстание на божественный закон и утверждение собственного, человеческого права силы. Третья же — это безволие, расслабленность. Временное правительство избрало третий путь, обернувшийся скорой гибелью и для него, и для России.

«Отречение, которое должно было спасти порядок в России, оказалось недостаточным для людей, вообразивших себя способными управлять Россией, справиться с ими же вызванной революцией и вести победоносную войну. Безволие теперь действительно наступило. Это была уже не анархия, что проявилась в уличной толпе, это была анархия в точном значении слова — власти вовсе не было. Ничто «не заработало в усиленном темпе», кроме машины, углублявшей революцию, не наступило «быстрого успокоения», не произошло подъема патриотического чувства, и решительная победа не оказалась обеспеченной, как это обещали князь Львов и Родзянко в ночь на 3-е марта», — вспоминал несколько месяцев спустя один из важнейших участников отречения¹¹.

Власть захватил в конце концов тот, кто менее всех считал себя связанным каким-то «историческим правопорядком», кто не только смеялся над принципом богоданности закона, но и делал из своего неверия наиболее последовательный вывод, отрицая закон как таковой. Власть в России захватили Советы и наиболее радикальный элемент в них — большевики. «Легкость, с которой Ленину и Троцкому удалось свергнуть

¹¹ Пребывание Николая II в Пскове 1 и 2 марта 1917 года. Беседа генерала Н.В. Рузского с генералом С.Н. Вильчковским//Отречение Николая II. С. 165—166.

последнее коалиционное Правительство Керенского, обнаружила его внутреннее бессилие. Степень этого бессилия изумила тогда даже хорошо осведомленных людей...» — отмечал полгода спустя Владимир Набоков¹².

Развитие национального правопорядка было остановлено. Российские законы сразу же были прекращены к исполнению. Вместо многотомья государственных законов, хранивших в себе многовековой опыт приспособления божественной Правды к конкретному, грешному, несовершенному историческому бытию нашего народа, в России воцарилась ничем не ограниченная, на голом насилии утверждающаяся богоборческая власть. Падшесть Адамова, более ничем не сдерживаемая и не целимая, вырвалась на свободу. Плоды этой свободы нам всем известны.

Если ход наших рассуждений верен и в России за короткий срок от марта к октябрю 1917 года произошло не просто замещение одной системы права другой (феодально-буржуазного — социалистическим, теистического — позитивным), а полное изменение источника власти от закона, ориентированного на соответствие божественному миропорядку, к противобожескому незаконному насилию, то в таком случае в после-революционной России просто не могло быть никакого действительного правопорядка. И его и не было. Большевики, пойдя почти немедленно после захвата власти на беспрецедентное в человеческой истории уничтожение всего национального законодательства, заместили его своими законами, своей конституцией, но не надо быть проницательным законоводителем, чтобы обнаружить, что истину высказал именно Ленин («непосредственно на насилие опирающаяся власть»), а не многочисленные специалисты, целые институты, занятые в коммунистический период изучением советского правопорядка как чего-то реального.

Советская власть действительно создавала гражданские, уголовные и процессуальные кодексы, писала конституции, но чем выше в системе права находилась норма, тем менее она исполнялась и предполагалась к исполнению.

Конституции провозглашали все гражданские права и свободы, объявляли, что «вся власть в СССР принадлежит народу» (ст. 2 Конституции 1977 г.). Ниже конституции находились законы, еще ниже — подзаконные акты, под ними — ведомственные инструкции и, наконец, на самом дне — законопослушная деятельность граждан, законом облеченных властью. Так было в теории советского права, которую изучали на уроках обществоведения и в юридических вузах. На практике все было совершенно наоборот. Конституционные нормы не имели никакой силы. Любой советский человек прекрасно знал, чего стоят правовые гарантии свободы совести, слова, собраний, научного, технического и художественного гворчества, право на труд, на жилище, на власть. Некоторую силу имели законы, раскрывавшие «как надо» нормы конституции. Намного существ-

¹² Набоков В.Н. Указ. соч. С. 10.

венной оказывались подзаконные акты, еще сильнее были ведомственные инструкции, и, наконец, подлинной властью в стране обладало только «телефонное право», то есть та самая «внезаконная сила», о которой как об основе нового строя говорил Ленин.

Примеров можно приводить множество. Свобода слова, провозглашенная в ст. 50 последней Конституции СССР, превращалась, спускаясь с одной ступеньки права на другую, в полную невозможность безнаказанно произнести и два слова вразрез с «генеральной линией КПСС». Да и сама КПСС, первый секретарь которой безраздельно управлял государством, жизнью и смертью всех граждан, ни в одном советском законе в качестве обладателя власти не выступает. По конституции, как известно, полнотой власти располагали «избранные снизу доверху» советы. Но в действительности советы не имели и грана власти, да к тому же никем и не избирались, а назначались по указанию властной верхушки КПСС.

Безраздельной властью в Советской России обладали те, кто по закону никакой властью вовсе не располагали, а те, кто по конституции имели полноту власти, на практике были вовсе лишены ее, если только не совмещали свой советский пост с местом в партийной номенклатуре.

В обществе, где действительно право, низшая норма обесценивается, если она противоречит более высокой. И даже высшие государственные акты не могут явно нарушать те абсолютные нормы священного права, которые хранит исповедуемая обществом вера. Одной из проблем предреволюционного российского законодательства было, например, всё большее расхождение между суровым библейским законом и жизнью секуляризовавшегося общества — скажем, в отношении права на развод и вторичный брак. Если рассмотреть пирамиду законодательства правового общества, то несложно обнаружить, что волевые действия регулируются законом, закон определяется конституцией, а конституция объявляет своим истском или непосредственно Правду Божью (вспомним хотя бы американское — *In God we trust*; начало немецкого Основного Закона 1949 года — «Сознавая свою ответственность перед Богом и людьми...»), или естественное право, которое через естество человека также восходит к его Творцу. Неотмирный источник любого закономерного акта в таких системах совершенно очевиден.

Законодательство Российской Империи вполне соответствовало «божественной пирамиде». Ст. 4 Основных Государственных законов провозглашала: «Императору Всероссийскому принадлежит Верховная Самодержавная власть. Повиноваться власти Его не только за страх, но и за совесть **Сам Бог повелевает**». Царь был правителем «милостью Божей», и понятно, что сознательные нарушения им божественной воли, лишая в глазах подданных царя этой милости, одновременно обеззаконивали и его право на престол.

Но какой статьей «Сталинской Конституции» определялась власть Иосифа Сталина над жизнью и совестью граждан Государства Российского — власть, которой он так свободно, совершенно бесконтрольно располагал?

Понятно, что власть эта никоим образом не коренилась в божественном правопорядке. Любая положительная апелляция к Богу и Его закону в коммунистический период была не только юридически бесполезным, но и практически крайне опасным делом. Но власть Первого секретаря ЦК не проистекала также и из конституции или закона. «Первый» сам определял, что можно и что нельзя, что правильно и что ложно, — разумеется, не в отношении некоего абсолютного идеала, а в отношении себя самого. Подобно Юстиниану, он мог бы объявить себя «одушевленным законом», но в отличие от константинопольского базилиевса Первый секретарь ЦК отрицал существование Того, Кто сделал его «душею живою», Кто стоял над его властью.

Не определяемый никаким законом божеским или человеческим, правитель советской России был **сам-себе-закон**. Это он и только он обладал всецелой полнотой внезаконной власти телефонного права, власти, отливавшейся в должностные инструкции, которые в свою очередь оформляли подзаконные акты. Внешней, более или менее пристойной оболочкой подзаконных актов были законы, а уж ширмой всего этого удивительного правопорядка являлась конституция с размалеванными на ней гарантиями, правами и свободами.

Советская система тоже была пирамидой, но ее вершина — это не Бог, а ничем не обузданный тиран, возведенный людьми в божественное достоинство и требовавший для себя восхваления, приличного божеству, — осуществившийся человекобог («человек греха, сын погибели») Второго послания к Фессалоникийцам апостола Павла и «Бесов» Достоевского.

Две властные пирамиды имеют, как можно видеть, диаметрально несходные структуры. И если Бог всех теистических религий по определению есть Абсолютное Благо и потому закон Его благ в той мере, в какой не подпорчен на земле человеческой падшестью, то любой нумерический человек, даже вознесенный к вершинам власти, не есть благо абсолютное, и потому власть, исходящая от него, коль внешним законом она не регулируется, есть не что иное, как **всецелое беззаконие**.

Понятно, что беззаконие — как явление чисто отрицательное — не может быть источником никакого закона. И именно поэтому коммунистическая власть была незаконной, а коммунистическое право — чистейшей воды юридической фикцией. Это было своего рода *fata morgana*. Недаром более двух третей всего советского корпуса права имели форму секретности или гриф «Для служебного пользования», причем это были не статьи конституции и не законы, а большей частью самые властные в советской правовой пирамиде подзаконные акты и инструкции. Чем ближе к источнику незаконной власти приближалась норма, тем более зыбкой, оставляющей место произволу оказывалась она, дабы на последней глубине вовсе исчезнуть, освобождая место полному беззаконию.

И дело даже не в том, что советский строй был аморален, жесток и бездуховен. Были такие государства и раньше, существовали они и бок о бок с СССР — например, в нацистской Германии или в фашистской

Италии. Но в Советском Союзе правопорядка не было, а потому и государства не существовало. Владимиру Ленину нельзя отказать в честности и точности, когда он определял свою власть как абсолютное насилие.

За три четверти века в Советском Союзе были правители разные — более и менее жестокие, кровавые маньяки и лично достаточно добрые, даже совестливые люди. Но сущность их власти от этого ни на йоту не менялась. У Горбачева, так же как и у Ленина, власть оставалась совершеннейшим беззаконием. В любой нормальной правовой системе человек, распоряжающийся такой властью, однозначно именуется разбойником, бандитом.

В определившем на весь XX век судьбу России 1917 году большевики, отбросившие как помеху всё российское законодательство, оказались разбойниками более решительными (как сейчас на похабном языке любят говорить — «крутыми»), чем создавшие Временное правительство думцы, делавшие вид, что они действуют в пределах исторического правопорядка. «Крутым» и досталась вся полнота незаконной власти над страной и народом.

Что проще — ломать или строить? Известная русская поговорка дает вполне ясный ответ на этот вопрос. И всё же сам факт существования поговорки свидетельствует о многом. Склонность к разрушению весьма сильна в душе нашего народа. «Разорю я всё именье — сам улягусь на камень»; «возьму шашку, возьму остру — и зарежу сам себя» — подобны им фольклорные мотивы, многократно проявлявшиеся в действительной жизни то исходом на «теплые воды», то Пугачевским бунтом, то Черным переделом, обрели трагическую полноту в Великой смуте 1917—1920 годов, когда весь строй народной жизни и само имя России были уничтожены самим же русским народом.

Коммунистическая идеология, сгущенная в известной фразе русской версии «Интернационала» — «Весь мир насилья мы разрушим до основания, а затем мы свой, мы новый мир построим, кто был ничем — тот станет всем», идеология эта оказалась удобной рамкой для воплощения разрушительных, бунтарских наклонностей народа, потерявшего нравственные ориентиры и духовные цели бытия. Не здесь говорить, почему случилась эта утрата духовного стержня народной жизни¹³, но важно подчеркнуть, что революция 1917 года явилась не причиной, но следствием духовной катастрофы, постигшей русское общество.

Романтический байронизм первых лет новой власти, убеждение, что человек может всё, обусловило «героику» и «пафос» послереволюционных преобразований. Но умножавшиеся и умножавшиеся жертвы при созидании нового общества вскоре ясно показали всем, желающим видеть, что силы человеческие далеко не беспредельны и, отказавшись от величайших и одновременно простейших законов, на которых стоит социальное бытие — «Возлюби Бога всем сердцем своим и ближнего своего как самого себя», — мы смогли только разрушать, только «резать самих себя»

¹³ Об этом я попытался сказать в статье «Пути России» — «Континент», № 75. М., 1993. С. 124—159.

В годы Великой войны советская власть, дабы выжить, попыталась придать некоторый положительный смысл защите пространства, на котором она господствовала, вспомнив древнее, как мир, понятие **отечества** и тем — почти инстинктивно — связала себя со здоровыми основаниями народной жизни. Обращение «братья и сестры», имена великих полководцев и правителей Руси на знаках отличия и полковых знаменах, воинские звания, крой офицерской формы, признание Церкви Христовой и тост «за великий русский народ» бросали золотой отблеск истинности на коммунистический артефакт. Отблеск этот до сего дня прельщает некоторых.

Но сущность коммунистической государственности нимало не изменилась от патриотических «белил и румян». Ее деспотический, внеправовой, искусственный характер, ее самоутверждающаяся гордыня, пренебрегающая человеком якобы во имя человечества, ее органическая лживость не могли не кончиться крахом всего того образования, которое мы привычно именуем «советским строем», СССР, социалистическим сотрудничеством.

И на этот раз разрушено всё оказалось быстро. И вновь — «до основания». Нет уже ни Варшавского договора, ни СЭВа, ни Советского Союза, ни КПСС, ни вертикали советов. Начавшаяся в 1917 году небывалым насилием «самоизмышленная пагуба» завершилась рядом таких же насильственных и незаконных по отношению к самой внеправовой коммунистической системе действий. Но беззаконие и не может кончиться вполне законно, насилие — ненасильственно. Каждый наказывается тем, чем грешит, и поднимающий меч от него же и погибает. Закон для беззакония — такое же насилие, как и беззаконие для закона.

Шельмование демократами на первых Съездах народных депутатов коммунистической государственности, разгром КПСС в августе 1991-го, развал СССР в декабре того же года, танковый штурм цитадели советской власти в октябре 1993, двухлетняя Чеченская война — всё это моменты одного целого. Это зеркальное отражение того, что происходило семь с половиной десятилетий назад. Отражение и, одновременно, воздаяние. Это — отмщение за ту кровь и неправду, которой было ознаменовано начало новой власти на пространствах, до того носивших имя «Россия». И не должны ли мы, положа руку на сердце, признать, что и пролившаяся в Москве в октябре 1993 года, и два года лившаяся в Чечне кровь не только ужасает (хотя любая пролившаяся кровь оскверняет и душу и землю), но в то же время даже как бы и удивляет своей малостью в сравнении с теми морями крови, которые затопляли нашу землю в годы революционной смуты, гражданской войны, красного, а потом сталинского террора. Дай Бог, чтобы только этой кровью и свершилось отмщение, а времени разбрасывать камни пришло на смену время собирать их. Ибо хотя и не наше дело «знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти» [Деян.1,7], но всё же хочется надеяться, что со старым покончено и с 12 декабря 1993 года незаметно для глаз начался создание новой России. Ведь не то даже по-настоящему важно, действительно ли в референдуме по конституции приняло участие 53,6 процента граждан

России, имевших право голоса, или чуть меньше половины, как полагают некоторые эксперты, — важно иное: новый Основной закон России не ищет себе формальной опоры в коммунистическом прошлом. И потому он не выглядит продуктом полураспада советской системы, а действительно может стать началом строительства новой России.

Не потому ли новый порядок и воспринимается обществом все-таки достаточно спокойно, а не отвергается с негодованием? Ведь все-таки нельзя не признать, что хотя причин для недовольства еще немало, а аппарат подавления весьма слаб и практически не применяется в качестве стабилизирующего фактора, люди пытаются преодолевать сегодня трудности не в бунтарском разгуле, но прежде всего в созидательном труде — умелостью, хозяйственной сметкой, хитростью, усердием. И если и принимают участие в акциях протеста, то прежде всего с требованиями платить заработанное. Характерно, что и современная городская молодежь предпочитает учиться и работать, а не ходить на демонстрации под ниспровергательными лозунгами. «Ниспровергают» существующий строй главным образом старики и сельские обыватели, голосовавшие на президентских выборах 1996 года за Геннадия Зюганова. Но любопытно, что даже проигравшие на этих выборах коммунисты нашли в себе силы подчиниться воле большинства. В 1917-м всё было точно наоборот. И это вселяет надежду, что песенный Стенька Разин перестает быть властителем дум в нашей стране.

Но если эти оценки верны и в России действительно перестают разрушать и начинают строить, то это значит, что первый вопрос, который нам необходимо задать себе сегодня, это — как строить, по какому плану? Без плана, наугад, «методом тыка» можно слепить какую-нибудь голубятню или нелепую сараюшку, но дома настоящего не построить. **А есть ли у нас план преобразования отечества?**

Казалось бы, планов много, и они вполне профессиональны. Один предлагается «Выбором России», другой «Яблоком», третий отстаивают аграрии, четвертый — последователи генерала Лебеда. Но, внимательней приглядевшись, замечаешь, что планы эти вторичны. Они исходят из того, что у нас уже имеется государственный организм, нуждающийся в некотором хозяйственном и политическом реформировании — чаще даже в хозяйственном, чем в политическом.

Однако вся беда в том, что государственного организма ныне в России нет. Есть лишь желание построить его на руинах советской системы, которая не являлась ни государством, ни организмом в общечеловеческом смысле этих слов. Ведь государство — это всё же не средство для установления диктатуры одного класса над другими, как утверждают марксисты, а правомерная организация жизни в человеческом сообществе. Вспомним, что известный диалог Платона «Государство» имеет второе название — «О справедливости». А справедливость — это не что иное, как веденье правды и осуществление ее.

Но вот именно правды (а по-современному говоря — права) в советской системе «непосредственно на насилие опирающейся власти» как раз

и не было. Была мощная армия, был неплохой управленческий аппарат, были наука и техника, были искусство и литература, подчас достигавшие больших, всемирно значимых высот, а вот права не было, ибо всё наше законодательство, начиная с правил поведения в городском транспорте и кончая конституцией, являлось правовой фикцией. Жизнь шла не в соответствии с законом и не нарушая закон, а как бы вне закона. Напротив, именно следование букве советских законов немедленно вызвало бы мощное сотрясение и гибель всей системы, что и произошло за считанные годы Перестройки, когда к советской правовой системе попытались отнестись всерьез, как к действующему, актуальному законодательству.

Но если советское право было фиктивно, фантомно и существовало исключительно для драпировки внеправовой, незаконной силы, то что тогда и есть использование этого права сейчас, когда мы стремимся вновь войти в реку правовой государственности, если не попытка общения с духами, причудливый юридический спиритизм? А между тем, мы продолжаем жить в системе именно советского права. В сегодняшней России не действует ни один закон Российского Государства, принятый до Октябрьского переворота 1917 года, и в то же время действуют **все** законы, принятые после 1917 года, не отмененные закономерным же образом в системе послереволюционного права.

До 12 декабря 1993 года это советское право завершалось конституцией РСФСР 1978 года — классической советской псевдоконституцией, прикрывавшей власть в существе своем разбойничью. Декабрьский референдум существенно изменил ситуацию. Новая конституция прошла процедуру демократического всенародного одобрения. Существенно она никак не связана с властной системой советского периода. И, наконец, она действительно является **Основным Законом** Российского государства. Конституционный суд перегружен делами о соответствии Конституции тех или иных законов, большей частью наследованных от РСФСР, и он, как правило, выносит решения о несоответствии закона той или иной конституционной норме, что ведет к пересмотру дела.

И всё же 12 декабря 1993 года у нас возникла очень странная система права, в которой действительный Основной Закон, как Екатеринбург в Свердловской области или Санкт-Петербург в Ленинградской, возглавил пирамиду фиктивного законодательства. Власть Президента Российской Федерации может считаться чрезмерной, авторитарной, но она законна в том смысле, что, в отличие от власти Первого секретаря ЦК, подробно зафиксирована в Конституции и за её пределы не выходит. Но если высшая государственная власть теперь законна, то правовое поле, в котором она действует, большей частью призрачно.

Вот только один характерный случай. 5 мая 1995 года в Конституционный Суд обратился некто Валерий Смирнов, осужденный в 1982 году за измену родине на десять лет лишения свободы по статье 64 «а» Уголовного кодекса РСФСР, поскольку, выехав в служебную командировку в Норвегию, он отказался вернуться, попросил о предоставлении

политического убежища и сообщил некоторые сведения о сотрудниках «закрытого» Института электронных систем, в котором работал сам. Статья 64 «а» полагает изменой бегство за границу и отказ от возвращения на родину, равно и разглашение сведений, составляющих государственную тайну. Конституционный Суд уже одним тем, что принял дело к рассмотрению, фактически признал, что статья 64 «а» и весь Уголовный кодекс РСФСР всё еще действуют, то есть, что они суть действующее законодательство. Таким образом он признал, что инстанция, давшая Уголовный кодекс и дополнение «а» к 64 статье, была во время принятия этих актов законной. А так как этой инстанцией был Верховный Совет РСФСР, то Конституционный Суд признал в качестве законного фиктивный декоративный орган разбойничьей власти, незаконно управлявшей Россией с 1917 года. Следовательно, Конституционный Суд России, созданный по Конституции 1993 года, признал законной узурпацию власти сначала Временным правительством, а затем и большевиками.

Эта правовая логика нашла свое выражение в постановлении Конституционного Суда по делу В. Смирнова. Решение первой палаты Конституционного Суда, оглашенное 20 декабря 1995 года, указывает, что квалификация бегства за границу и отказа вернуться как измены родине не соответствует статьям 27.2 и 55.3 Конституции. А вот выдача государственной или военной тайны иностранному государству и оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против Российской Федерации — это, по Конституции, есть измена родине и потому подлежит наказанию.

Последний вердикт Конституционного Суда можно признать справедливым только в том случае, если РСФСР мы признаем государством, преемником которого является Россия, организованная Конституцией 1993 года. Тогда разглашение тайны РСФСР может караться в сегодняшней Российской Федерации. Но поскольку ни РСФСР, ни СССР правовыми государствами не являлись, а были с самого своего возникновения незаконными властными структурами, типологически сходными с разбойничьими бандами, то можно ли ставить в вину измену **такому** государству? Если Конституционный Суд в заседании 20 декабря 1995 года заявил, что можно, то тем самым высшая судебная инстанция страны признала Советское государство законным, а нынешнюю Российскую Федерацию его наследником. Но может ли быть законным наследник бандита в отношении награбленных этим бандитом имуществ? Не превращается ли такой наследник в банального соучастника?

«Если существующий порядок есть сплошная несправедливость, то само нарушение его уже сулит какую-то справедливость», — сказал как-то Джавахарлал Неру. Может быть, это *not*, если бы вспомнили его в заседании 20 декабря, подтолкнуло бы судей вынести иное решение? Попробуйте представить себе суд над немцем, укрывавшим евреев или работавшим на союзников в годы Третьего Рейха, если дело открылось после мая 1945 года. Возможно ли такое? Нет, скорее такой человек, как полковник граф фон

Штауфенберг, станет героем освободившейся от нацизма Германии. И потому, когда в России подтверждают в Конституционном Суде вину В. Смирнова в измене **советской** родине, это и не может означать ничего другого, как то, что Суд юридически мыслит себя наследником нашего Рейха, а не созданием освободившейся от коммунизма России.

Очень характерно в этой связи и то, что суд России до сих пор не рассмотрел, а государственный прокурор не возбудил дело об узурпации власти в марте 1917 года, о массовых фактах измены родине во время братаний на фронте, о большевицкой агитации против войны и за поражение своего правительства, о пресловутых немецких деньгах революции, об убийстве царской фамилии 16 июля 1918 года. По каким законам судить эти преступления? По законам Российской империи? Но законы эти отменены большевиками. По советским законам? Но обратной силы законы не имеют, да к тому же Конституция СССР 1977 года в первой фразе преамбулы превозносит «Великую Октябрьскую Социалистическую революцию» как ни с чем не сравнимое благо в истории человечества. И вот результат: в нынешней правовой логике тячайшие преступления не считаются нарушением закона и потому не подлежат наказанию. Более того, тело главного преступника покоится в стеклянном гробу в самом сердце России — на Красной площади, его статуи красуются во всех городах, а имена его и его сообщников носят тысячи улиц, площадей, городов и поселков. Валерия же Смирнова объявляют изменником родины по законам, навязанным России беззаконной властью.

Не поддаваясь соблазну риторики, оставаясь строго в системе логики права, нельзя не признать, что Конституция 1993 года, лишь *формально* оторвавшись от советского прошлого, *по существу* сохранила Россию в послереволюционном пространстве. Именно поэтому диаметрального изменения государственно-правовой ситуации после референдума 12 декабря так и не произошло.

Вывод этот подтверждается и анализом текста новой Конституции. Откуда в Конституции республиканская форма правления, федеративная система, национальные республики, автономные области, автономные округа? Разве были они до 1917 года? Совершенно очевидно, и официальные комментарии Конституции подтверждают это безусловно, что все указанные элементы восприняты из советского прошлого. Из советского прошлого воспринята и сама идея Российской Федерации, ее границ с иными «союзными республиками», на которые произвольно и совершенно незаконно было рассечено тело унитарной Империи. Помните знаменательную фразу, с которой начиналось всё российское законодательство? — «Государство Российское едино и нераздельно». Признав как **fait accompli** эти границы и эти новообразования, признав в России республику, законодатели 1993 года связали себя не со всей российской историей, но только с последним, самым кровавым и, главное, вполне беззаконным ее периодом, когда власть в Государстве Российском оказалась захвачена бандой воров и разбойников, действовавших не силой права, а правом силы.

И, наконец, последнее, но отнюдь не самое маловажное. Когда знаменитым указом № 1400 от 21 сентября 1993 года Президент Ельцин положил начало конституционному процессу, завершившемуся 12 декабря всенародным референдумом, он не высказал ни разу, что его целью является возвращение России в правовое пространство, из которого страна была выведена в 1917 году. Напротив, указ № 1400 именовался «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации». Но коли реформа, значит есть что реформировать, коли федерация, значит советское установление признается вполне законной данностью. Задачей указа объявлялась «безопасность народов Российской Федерации» (часть 2, пункт 1), а отнюдь не выход из внеправового советского пространства. Но если задача не ставилась, гражданам не разъяснялась, то и референдум 12 декабря 1993 года не может считаться ничем иным, как **узакониванием государственно-правовых отношений послереволюционной России.**

Статья 86 Основных Государственных Законов Российской Империи гласит: «Никакой новый закон не может последовать без одобрения Государственного Совета и Государственной Думы и воспринять силу без утверждения Государя Императора», а статья 94 объясняет: «Закон не может быть отменен иначе, как только силою закона. Посему, доколе новым законом положительно не отменен закон существующий, он сохраняет полную свою силу».

Свод Российских законов никаким законным образом отменен не был. Узурпация власти Временным правительством была незаконной, а о праве большевиков на власть и говорить неловко. Следовательно, в России *de jure* продолжают действовать законы Российской Империи.

Если бы Борис Ельцин вынес на референдум 12 декабря свою Конституцию, объяснив при этом, что она является альтернативой Основным Государственным Законам 1906 года, а большинство российских граждан при такой постановке вопроса проголосовало бы за новый конституционный проект, то тогда можно было бы считать, что Россия предпочла, отбросив старое, вступить в новое правовое пространство, начать жизнь с белого листа.

Но этого сказано не было. Напротив, всячески подчеркивалось преемство с непосредственно предшествовавшим строем, и потому *вполне* государственнообразующей Конституция 1993 года не может быть признана. Форма ее выставления на референдум в лучшем случае может квалифицироваться как «нарушение закона из-за его незнания», а в худшем — как «сокрытие прав истца ответчиком в корыстных целях». Под истцом здесь выступает народ России, которому без необходимых объяснений был предложен новый конституционный проект.

Повторюсь: если бы закон был только *человеческим* измышлением, то, по большому счету, было бы всё равно, как он принят — честно, нечестно или получестно. Но если за источник закона признаем мы Абсолютную Истину, то нарушение такого закона неизбежно будет приводить к самым губительным последствиям. Знаменитое крючкотворство муфтиев в тонко-

стях шариата, споры талмудистов-раввинов или христианских канонистов преследуют одну цель — «испытывать, что угодно Богу» [Еф.5.10]. Менее явно гражданский суд в большинстве обществ стремится к той же цели. Нарушение закона страшно даже не тем, что дурной человек остается не наказанным, а хороший — не отмщенным, но в первую очередь потому, что творимое нами беззаконие разрывает устроение мироздания, превращает стройный космос в хаос, жизнь — в смерть. Через беззаконие в мир глядят глаза сатаны — первого беззаконника. Чем обернулся для нашего народа этот убийственный взгляд, какую цену пришлось заплатить нам, открывшим врата ада, — стоит ли говорить об этом вновь?

Конечно, несмотря на всю непоследовательность, всю половинчатость правовых установлений 1993 года, хаос беззакония мало-помалу все-таки начал сменяться в нашей стране порядком, основанным на силе права. Президентские выборы июня-июля 1996 года — явное свидетельство и значимый промежуточный итог этого процесса. С юридической точки зрения граждане России избрали себе Верховного Правителя, выступившего с откровенно антикоммунистической позицией, вполне нормально, корректно, как бы мы ни относились к пропагандистским методам проведения избирательной кампании. Можно сказать больше: народ России этими голосованиями определил свою судьбу и в нравственном плане, отвергнув в лице Геннадия Зюганова незаконный коммунистический строй. Но будет ли отвергнут вместе с ним и правовой спиритизм — общение с фантомом коммунистической государственности?

Всё зависит от того, на каком основании решим мы возводить будущую Россию.

* * *

Поискам этого основания и была посвящена конференция «Россия на путях правопреемства», прошедшая в здании московской мэрии 24—25 мая 1996 года.

День начала конференции пришелся на празднование памяти святых Кирилла и Мефодия. Многие из участников по приглашению патриарха приняли участие в литургии, совершавшейся в Великой Успенской церкви Кремля. Пополудни в этот день состоялось первое пленарное заседание; следующий день был посвящен секционной работе и принятию документов конференции.

В конференции приняли участие ученые (историки, экономисты, политологи, юристы, философы, богословы), политики, деятели Русской Православной Церкви. «Бог да благословит всех ее устроителей на плодотворную и полезную для Отечества работу», — писал в своем обращении к конференции Патриарх Алексий II. С приветствием к ее участникам обратился митрополит Смоленский Кирилл. Председателем и одним из инициаторов конференции был председатель Научного совета Москвы А.П. Брагинский (бывший вице-премьер Московского правительства и

депутат прошлой Государственной думы)¹⁴. Значительную практическую помощь в организации конференции оказал мэр Москвы Ю.М. Лужков. Идеи, положенные в основу дискуссии, активно поддержали общественные деятели самых разных убеждений — от А.И. Солженицына и до Е.Т. Гайдара, с которыми при подготовке конференции организаторы проводили неоднократные содержательные собеседования. Эти собеседования показали возможность достижения нужного общественного консенсуса на основе идей правопреемства, рассматривавшихся на конференции.

И председателем и многими выступавшими отмечался тот примечательный факт, что впервые с 1918 года в России законно и свободно собрались люди, дабы обсудить проблему обращения общества к традиционному русскому правопорядку. Удивительно, но в горячке Перестройки этот вопрос ни разу никем не поднимался. А теперь и практический политик, депутат Государственной думы и бывший министр финансов Борис Федоров, и один из ведущих специалистов по экономической теории, доктор экономических наук и заместитель директора Института экономики переходного периода Владимир Мау, и поэт Юрий Кублановский, много лет проведенный в эмиграции, единодушно удивлялись, как же так получилось, что не вспомнили о правопреемстве ни в 1989-м, ни в 1991-м, ни в октябре 1993 года.

«Да, удивительно и требует особого культурологического исследования, почему россияне остались совершенно равнодушны к проблеме государственного и правового преемства, в то время как освободившиеся от коммунизма народы Центральной и Восточной Европы от Венгрии до Эстонии этим в высшей степени были озабочены и вели не столько теоретические споры, сколько практические политические баталии по вопросам правопреемства, реституций, степени законности институтов коммунистического времени», — заметил заместитель главного редактора академического журнала «Мировая экономика и международные отношения» Сергей Чугров. Но равнодушие общества не снимает проблемы, а только заставляет энергично взяться за ее популяризацию. Ведь объективно проблема правопреемства существует, она только не сознается, и потому патриотизм проявляет себя в стихийных, часто диких, деструктивных формах, которые на руку только крайним радикалам и ниспровергателям.

Отсутствие юридически взвешенной, политически точно сформулированной, либеральной по духу идеи правопреемства в России, как заметил сотрудник Московского правительства Андрей Зданьски, превращает в оружие политической борьбы естественную любовь к отечеству, которая должна стать нравственным фундаментом возрождения России.

«Глубоко убежден, что постановка проблемы правопреемства жизненно необходима. Причем это должно быть сделано не только на уровне

¹⁴ Интервью с А.П. Брагинским напечатано в 89 номере «Континента».

ученых дискуссий, но и в процессе деятельности органов законодательной и исполнительной власти», — подчеркнул в обращении к участникам конференции Митрополит Смоленский Кирилл.

Участники конференции не раз вспоминали, что нынче модно говорить о новой русской идеологии, но не выдумывание чего-то в замен коммунистических догматов, а потеря «под собой страны» — вот главная и нравственная и политическая проблема. «Русскость» — это не умозрительная конструкция, а та реальная жизнь, которая текла в стране до 1917 года и которая была жестоко извращена нами в жизнь советскую. Как продолжить нормальную жизнь и изжить извращенность?

«Для меня это больше проблема того, что происходит сегодня, кто мы такие, что мы за люди, — сказал Борис Федоров. — Говорят, «русские люди». Допустим. А вот выступая вчера в Воронеже на одном из остановившихся предприятий, я понял, что беседую с советскими людьми. И любые попытки сослаться на русскую историю, на жертвы или на разрушенные храмы наталкивались на стену равнодушия: а нам всё равно, у нас другие проблемы. И совершенно очевидно, что общество, которое живет вот так без корней — такому обществу трудно развиваться. Оно и бездуховное, и не имеющее традиций. Так было и при советской власти, так продолжается и в последние годы, когда по существу всё идет ни шатко, ни валко, а иногда просто стихийно... Сегодня иногда показывают памятники, допустим, связанные с именем Пушкина, с прошлым веком, и иногда ощущение такое, что это было не в нашей стране, что это — в другом государстве. Настолько мы к нему небольшое отношение имеем, что страшно становится. А где наши корни? Да вот они там где-то — расплываются в страшных смутных временах, когда братья убивали братьев, и народ, в общем-то, пошел, понимая или не понимая, совсем не в ту сторону...»

Далеко не все в нашем обществе ясно понимают глубокий метафизический смысл права и потому не всегда видят в нем тот инструмент, который может шить полотно отечественной культуры. Большевизм отравил саму идею права, правового общества, цинично сделав из права служанку власти и объявив при этом, что так было всегда и везде. Восстановить подлинное отношение к праву — то отношение, которое было характерно и для российских законодателей и правоведов, не живших под гнетом тоталитаризма, — это, по мысли выступавшего на пленарном заседании ученого секретаря Московской Духовной академии профессора архимандрита Платона, — важнейшая подготовительная задача на пути к правопреемству.

Уже на пленарном заседании прозвучали не только доклады-размышления, но и доклады-предложения — как восстановить прерванное единство. Весьма интересная дискуссия произошла между Владимиром Мау и Андреем Нестеренко, сделавшим доклад о реституциях и восстановлении докоммунистического хозяйственного права в странах Восточной и Центральной Европы. В.А. Мау полагал, что русское хозяйственное право

безнадёжно устарело и ныне неприменимо, а реституции «за давностью лет» бессмысленны. А.Н. Нестеренко, напротив, уверенно доказывал, что между хозяйственным правом России и большинства стран Восточной Европы нет принципиальной разницы в сроках принятия. Что в Венгрии, Болгарии, Польше были акцептированы кодексы XIX века; они успешно применялись в межвоенный период, и ими вновь замещено коммунистическое право в 1990-е годы. Новые законы часто оказываются не столь приспособленными к местным условиям, менее удачными, чем старые. Что же касается реституций, то имеется много форм ее осуществления, и некоторые из них вполне приемлемы для России, если русское общество захочет перестать владеть незаконно присвоенной чужой собственностью.

Дискуссия развернулась и вокруг пределов правового преемства в России: что именно из прошлого законодательства следует брать, а что устарело. Многие полагали, что можно ограничиться рецепцией отдельных норм и установлений. Но такая позиция, как утверждали другие участники дискуссии, вовсе не есть правопреемство. Кое-что принимают из дореволюционного наследия и сейчас. Правопреемство же — это признание последовавшего за 1917 годом времени юридически как бы никогда не существовавшим. «И речи идти не может о восстановлении только какой-либо части российского права, о восстановлении российского права по частям, — заключил пленарное заседание Андрей Зданьски. — Мы должны, и это вполне естественно, воспринимать правопреемство, российское законодательство во всей его целостности. Только в этом и есть смысл правопреемства».

В секционных заседаниях обсуждались три круга вопросов: духовно-нравственные основания правопреемства; юридические основания правопреемства и государственно-политические следствия правопреемства.

К сожалению, время не позволило всем участникам выступить с докладами. Некоторые доклады были представлены в секретариат конференции в письменном виде и будут включены в материалы конференции.

В заключительном пленарном заседании участники конференции решили создать общественно-просветительское движение «Правопреемство» и Институт по проблемам правопреемства.

Журнал «Континент», его главный редактор, члены редколлегии и многие авторы приняли в работе конференции самое активное участие. В последующих номерах журнал продолжит публикацию материалов, связанных с проблематикой правопреемства.

БУДНИ «ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОГО ГОДА»

Передо мной в ксерокопии документ, очень важный для понимания нашей истории. Я его не открыл и не добыл хитроумным способом. Просто нашел в книге, которая доступна всем. Он — один из фрагментов, составляющих приложение к этой книге. Называется она — «МИНА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ (Политический портрет КГБ)» и выпущена московским издательством РУСАРТ еще в 1992 году. Автор книги и, следовательно, первый публикатор этого документа — известная журналистка Евгения Альбац, написавшая много интересных и важных статей о «ЧК—ГБ». Некоторые из них в расширенном виде вошли в эту книгу. Но сейчас меня интересует только вышеназванная публикация.

Материал этот важен, а в том, что содержит его вторая часть — достаточно сенсационный. То, что многие подозревали, о чем догадывались, что глубокомысленно выводили из имевшихся у них фактов, — подтверждено теперь официальным документом — приказом — и служебной перепиской. И вот об этом-то материале мне за три года не обмолвился ни словом ни один человек. По-видимому, такие факты уже никого не волнуют — о них даже не говорят. Даже Евгения Альбац почти не комментирует свою публикацию. Видимо, считая, что документ говорит сам за себя. И что не такая уж это новость — то, о чем все, кто об этом думал, давно догадывались.

Да, если рассматривать этот документ только как еще одну улику против сталинщины — тут и говорить не о чем. Уличать эту напасть и лично товарища Сталина (а в том, что за приказом стоит Сталин, читатель вполне

**Наум
КОРЖАВИН**

— родился в 1925 году в Киеве. Печататься начал в 1941 году. В 1945 году поступил в Литературный институт им. М. Горького, в 1947-м был арестован по обвинению в антисоветской деятельности. Отбывая ссылку в Караганде, окончил там Горный техникум. В 1954 году амнистирован, в 1956-м реабилитирован. В 1959 году окончил Литинститут. Автор известных поэтических книг, вышедших у нас в стране и за рубежом («Годы», 1963; «Времена», 1976; «Сплетения», 1981, «Время дано», 1992 и др.), пьес и многих статей о литературе (в «Новом мире», «Континенте», «Гранях» и др.). Член редколлегии журнала «Континент» с 1974 года. В 1973 году вынужден был эмигрировать. Живет в Бостоне.

скоро убедится) в безграничном беззаконии и в государственном бандитизме — нелепо и скучно. Впрочем, даже если скучно, всё равно надо: желающие этому не верить не перевелись до сих пор. Но я займусь другим.

Я попытаюсь прокомментировать этот приказ как документ эпохи. А это — необходимо. Прежде всего потому, что исчезает память. Эпоха, крайним выражением которой был этот приказ (вторая половина 30-х годов XX века), становится, ввиду своей ирреальности, непонятной (гораздо непонятней, чем 30-е годы XIX века) и поэтому как бы не существовавшей. Привычные термины — террор... жестокость... произвол — ставят ее в ряд обычных неприятных эпох. Дескать, прискорбно, но о чем тут говорить... Между тем, говорить тут есть о чем. Ибо эта ни на что не похожая, непредставимая и практически невыносимая эпоха не только существовала, но до сих пор держит нас в тисках своих последствий.

Вот первая страница этого документа, точнее его обложка (видимо, на папке «Дела») и название. Привожу здесь — правда, графически сжато — всё, что значится на этой странице, кроме инвентарных и архивных штампов и обозначений.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Экз. № 1

**ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ
НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
СОЮЗА С.С.Р.**

№ 00447

**Об операции по репрессированию бывших кулаков,
уголовников и пр. антиоветовских элементов**

гор. МОСКВА

30 июля 1937 года

Мы по крупицам собирали свидетельства, доказательства, мучительно умозаключали, опять сомневались, опять убеждались... А тут это черным по белому, в приказе самого Ежова, во второй его части. Впрочем, и весь приказ посвящен «операции по репрессированию» — можно было бы сказать, не вдаваясь в лингвистические тонкости: операции по массовому уголовному наказанию людей за несовершенные, но, по абстрактным представлениям наказывающих, возможные деяния.

В этом смысле интересно заглянуть в часть III — **ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ**, которая начинается с прямо фрейдистской «оговорки» — «каждый арест оформляется ордером». Лучше про роль юридической формы в СССР не скажешь. В это время как раз принимается сталинская демократическая конституция, ни одного ареста без ордера и прокуратуры! Но народного комиссара внутренних дел это не беспокоит. Он, как видите, хорошо знает, что ордера не испрашиваются у прокуратуры, от которой формально зависит давать их или не давать, а именно оформляются по мере надобности его наркоматом. Приказ об этом говорит почти открыто. Ордера

отнюдь не учитываются как лимитирующий фактор. Дело прокуратуры — поставлять вовремя ордера. Думаю, что поставляла она уже подписанные бланки — фамилию жертвы быстрее было вписать самим. В тех обстоятельствах это было даже разумней. Юридический смысл тот же, а волокиты меньше. С волокитой у нас всегда любили бороться.

«Операцию», о которой говорит этот приказ, — велено начать 5 августа (через 6 дней, в некоторых местностях через 11 и 16) и закончить в четыре месяца. Это не первая волна таких репрессий в те годы, хотя по замыслу она несколько отлична от предыдущих. Но об этом потом. Начнем со II части приказа, как с наиболее сенсационной и существенной фактически.

Вот она с комментариями:

II. О МЕРАХ НАКАЗАНИЯ РЕПРЕССИРУЕМЫМ И КОЛИЧЕСТВЕ ПОДЛЕЖАЩИХ РЕПРЕССИЙ

Так в тексте — и «меры наказания репресслируемым», и «количество подлежащих репрессий». Остальной текст приказа тоже часто неловок, но такого элементарного несогласования падежей в нем больше нет, что чрезмерно даже для этой публики — видимо, торопились, и не до того было, чтоб вычитывать. Возникает вопрос — куда было торопиться? Но он сродни многим другим естественным вопросам, и о нем после, когда речь пойдет о преамбуле и I части. Там же пойдет речь о «конtingентах», подлежащих репрессированию. II часть, с которой мы начали, — сугубо деловая. И все определения ее следует воспринимать как данность.

1. Все репресслируемые кулаки, уголовники и др. антисоветские элементы разбиваются на две категории:

а) к первой категории относятся все наиболее активные из перечисленных выше элементов. Они подлежат немедленному аресту и, по рассмотрении их дел на тройках — РАССТРЕЛУ;

б) ко второй категории относятся все остальные, менее активные, но всё же враждебные из перечисленных выше элементов. Они подлежат аресту и заключению в лагеря на срок от 8 до 10 лет, а наиболее злостные и социально опасные из них, заключению на те же сроки в тюрьмы по определению тройки.

2. Согласно представленным учетным данным Наркомаами республиканских НКВД и начальниками краевых и областных управлений НКВД утвердить следующее количество подлежащих репрессии.

ВСЕГО	Первая категория	Вторая категория	
Азербайджанская ССР	1500	3750	5250
Дагестанская АССР	500	2500	3000
Московская область	5000	30000	35000
Омская область	1000	2500	3500

Это случайные, выбранные для примера строчки из списка-таблицы. Всего там значатся 64 административные единицы — автономные республики, края и области. Есть еще и последняя, 65-я единица:

Лагеря НКВД	10 000	—	10 000
-------------	--------	---	--------

На эту 65-ю строку следует обратить особое внимание. Из нее видно, что термин «репрессирование» по отношению к заключенным, уже находящимся в лагерях (о том, что «репрессирование» должно проводиться там, приказ говорит неоднократно), был синонимом термина «расстрел». 10 000 репрессируемых, и все по первой категории — на месте второй стоит прочерк. Проясняется несложная тайна массовых лагерных расстрелов (точнее отстрелов) — кашкетинских на Воркуте и гаранинских — на Кольме.

Общего количества репрессируемых в этой операции таблица не подсчитывает. Республиканским наркомам и начальникам местных управлений НКВД это было ни к чему, им бы каждому со своими справиться. Но я подсчитал и добавляю строку:

ВСЕГО	(1 кат.) 80 150	(2 кат.) 223 750
(в сумме) 303 900		

Вот так. Живет где-то почти 304 тысяч и ничего не подозревающих человека, заняты своими делами, строят планы, а через несколько дней их безжалостно вырвут из жизни, оторвут от родных, любимых, дорогих, начнут предъявлять несусветные обвинения, заставлять невесть в чем сознаваться, — причем просто так. Ибо независимо от исхода допросов, 80 тысяч (26%) из них расстреляют, а остальных зашлют в лагеря. По постановлению «троек», которым по логике документа приказано так постановить. Тем более, что председатели этих «троек» — получатели сего приказа, начальники местных управлений НКВД. Впрочем, эти впечатляющие цифры, как увидит читатель, далеко не полные. Дальнейшие параграфы содержат скрытые, но весьма широкие возможности для их перевыполнения, понуждающие лихорадочную самодеятельность перепуганных не менее, чем жертвы, начальников НКВД в этом направлении...

Но с другой стороны, это прямо запрещается текстом приказа. Пожалуйста! —

Однако наркомы республиканских НКВД и начальники краевых и областных управлений НКВД не имеют права самостоятельно их превышать. Какое бы то ни было самочинное увеличение цифр не допускается.

И вообще налицо стремление выглядеть пристойно — у нас не махновщина какая-нибудь, даже не беспредел «красного террора», а государственный порядок. «Лимиты» взяты не с потолка, а из учетных данных, представленных самими адресатами. А собственно, что это еще за «учетные данные», по которым можно репрессировать? Ведь не обвинение же — в чем-либо заподозренных и без того всегда сажали. Нет, были эти

«данные» явно общие — социальные, биографические, анкетные — да еще и подогнанные. Ибо составлялись они людьми, знавшими, чего от них ждут, да в том состоянии, в котором они тогда могли быть среди той свистопляски «бдительности», которая бушевала в стране. И боюсь, что составление этих «данных» было наиболее серьезным следствием, которого удостоились репрессированные. На следующих этапах следствия истиной интересовались еще меньше. Такое и не было задано... Вот первая после этого сатанинского списка фраза:

3. Утвержденные цифры являются ориентировочными.

Вот тебе и «учетные» данные! Ориентировочные они, оказывается. Но делается попытка выдать это (не перед адресатами, а, как это ни фантастично, перед абстракцией — бумажным благоразумием) за крен в гуманную сторону. Как же! — спущенные сверху лимиты на невинно арестованных превышать нельзя, а уменьшать вроде можно. Но дураков нет — куда ветер дует, все знают.

Да и приказ позаботится о том, чтобы быть понятым правильно, ему тоже себе дороже жертвовать сутью ради благообразия. И ошалевшие начальники тут же после этого строгого предупреждения обязывались

В случаях, когда обстановка будет требовать увеличения утвержденных цифр (а когда и где у нас была другая обстановка? — *Н.К.*) ... представлять мне соответствующие мотивированные ходатайства.

Оказывается, это называется ходатайствами (почти слезницами), и они должны быть мотивированными. Чем может мотивироваться гром среди ясного неба? Но гуманность как будто сразу не сдается.

Уменьшение цифр, а также перевод лиц, намеченных к репрессированию по первой категории — во вторую категорию, и наоборот — разрешается.

Да, разрешается. Но не думаю, что находились охотники воспользоваться разрешением уменьшить цифры или переводить из расстрельной категории. Ведь не первый раз такие приказы — знали, как их читать. Вот уж где — хоть об этом не говорится — потребовались бы мотивированные основания. Адресаты не раз имели возможность убедиться, что умение мотивировать такие поползновения тогда — в обстановке нагнетаемой истерии — ох как не поощрялось! Это ведь означало притушение бдительности, а то и пособничество. Те, кто был на это способен, до 30 июля 1937 года в «органах» не продержались...

А вот просьбы об увеличении этих «квот», как говорится, в деле имеются. Прежде чем сказать о них, придется на время отвлечься от части II приказа и заглянуть в следующую, уже поминавшуюся часть III ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ. Она содержит в числе прочих и такое, на первый взгляд, чисто административное распоряжение.

В первую очередь подвергаются репрессии контингенты, отнесенные к первой категории.

Контингенты, отнесенные ко второй категории, до особого на то распоряжения репрессии не подвергаются.

Нет, это не всплеск внезапной гуманности. Слова наркома тут же объясняются в том смысле, что если какой начальник с первой категорией уже покончил и считает возможным приступить ко второй,

он обязан, прежде чем к этой операции фактически приступить, — запросить мою санкцию и только после получения ее начать операцию.

Так что всё в порядке — запросит и получит. Административные игры? Но в публикации, кроме приказа, есть еще четыре документа, три из которых мы сейчас приведем. Из них видно, что игры это совсем другие. Вот первый:

СТРОГО СЕКРЕТНО

(снятие копий воспрещается)

ШИФРОВКА

Из Махач-Калы отправлена в 0-05 26.IX.1937 г. поступила в ЦК ВКП на расшифрование 26.IX.1937 г. в 9 ч. 20 м.

Вх. № 2063/III

МОСКВА, ЦК ВКП(б) т. СТАЛИНУ

Следствие органов НКВД показывает, что лимит для беглых кулаков и антисоветских элементов недостаточен, что выдвигает увеличить лимит по обеим категориям. Дагобком просит увеличить лимит первой категории вместо установленного ЦК ВКП(б) 10 июля с.г. 600 до 1200 и второй категории вместо 2478 до 3300.

Секретарь Дагобкома Самурский

Верно (подпись)

Этот документ интересен еще и тем, что в нем попутно «засвечивается» (для тех, кто в этом сомневается) — ЦК ВКП(б). Разговор в шифровке от 26 сентября идет о цифрах, «установленных» не приказом по НКВД от 30 июля, а заседанием ЦК ВКП(б) 10 июля с.г. Кстати — «квоты», приводимые секретарем обкома Самурским, расходятся с цифрами в приказе. В приказе смертников 500, в шифровке — 600 (у ЦК на 100 больше!); заключенных — в приказе 2500, в шифровке — 2478. Так что неведение ЦК — тогда это уже был псевдоним Сталина — исключается.

Хотя НКВД — как видно из текста этой «слезницы» — уже идол, которому следует поклоняться и секретарю обкома. Вот как предупредительно он ссылается на следствие органов НКВД, которое «показывает» И только на этом «веском» основании просит увеличить количество смертников вдвое, а заключенных на 822 человека (против квот ЦК). Эта демонстрируемая предупредительность сама по себе о многом говорит. Надо было показать «Москве», что я — ни-ни! — не против первенствования НКВД. Наоборот, содействую. Но нас сейчас интересует другое. Из

этой шифровки тоже видно, что так или иначе в той обстановке «установочные цифры» легче было пересмотреть не в сторону уменьшения, а только увеличения.

Впрочем, в следующем документе это проявляется более прямо.

МЕМОРАНДУМ № 26212

Из Омска

13 августа 1937 года

НАРКОМУ ВНУДЕЛ — тов. ЕЖОВУ

По состоянию на 13 августа по Омской области первой категории арестовано 5444 человека, изъято оружия 1000 экземпляров. Прошу дать указание по моему письму № 365 относительно увеличения лимита первой категории до 8 тысяч человек.

13.VIII № 1962

ГОРБАЧ

В е р н о:

Нач. 1 Отд. Омск. У.В.Д.

Лейтенант Гос. безопасности ПОДПИСЬ
(Аленцев)

А слева на полях меморандума (вот какие слова уже употребляли некоторые энкаведисты во внутренней переписке!) красуется резолюция: «т. Ежову. За увеличение лимита **1** (так в оригинале: цифра «1» — непропорционально-огромна. — *Н.К.*) до 8 тысяч. И. Сталин». Итак, контрольные цифры — на основании учетных данных, а вместо 1000 можно запросто расстрелять 8000. До этого согласно приказу вместе с лагерниками всего намечалось репрессировать 3500 человек, а тут только под расстрел подводится 8000! По «ходатайству» энтузиастов. Вот как!

Публикуется еще одна, правда, опосредованная, резолюция вождя: «Дать дополнительно Красноярскому краю — 6600 человек лимита по первой категории. За И. С. — В. Мол.» Молотов, значит, подписал. За вождя. Но за него, как известно, против его желания не подпишешь! И если «за», значит, он «за» — поручил, не прячется. Он ведь вполне мог и Вячеслава заставить взять на себя — любил такую тактику. Но нет. Не заставил. Сам «дал» Красноярскому краю 6600 трупов — дополнительно к 1000 первоначального лимита. «Дал», а не «приказал» — значит, в ответ на «слезницу». Уважил.

Но сейчас я пока не о Сталине. Я о том, что в свете рассказанного указание о том, что, покончив с первой категорией, к репрессированию второй впредь до специального доклада наркомку и получения в ответ его санкции не приступать, получает иной, отнюдь не административный, а зловещий смысл. А.И. Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» вспоминает, как опасно и страшно было тогда в зале, где произнесена здравица в честь Вождя, при обязательно разразившихся «бурных и несмолкаемых» аплодисментах, первым перестать хлопать в ладоши (хотя хлопали чаще всего искренне). Видимо, не менее опасно для этой ошалевшей публики было

«самоуспокоенно и благодушно» доложить, что враги этой «наиболее опасной» категории уже все обезврежены. У других не обезврежены, а у тебя обезврежены? — надо к тебе присмотреться поближе. Дешевле (для шкуры энкаведиста) было проявлять рвение — выдвигать, как в первую пятилетку, всякие «встречные». Внутри этой адской машины тогда была своя «аура», наиболее густой экстракт того безумия, которое прививалось всей стране. Так что план 303 900 человек (из них 80 000 первой категории) был намного перевыполнен. И необходимость докладывать об исполнении первого этапа была отнюдь не единственным резервом этого «перевыполнения плана».

Такая «забота о «резервах» проявляется в приказе и более прямо. Она отчетливо слышится и в пункте 1 части IV этого приказа — **ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВИЯ**. Вот этот пункт:

1. На каждого арестованного или группу арестованных заводится следственное дело. Следствие проводится ускоренным и упрощенным порядком.

В процессе следствия должны быть выявлены все преступные связи арестованного.

«Следствие», которое проводится «ускоренным» и, главное, «упрощенным» порядком, — конечно, производит впечатление. Впрочем, после убийства Кирова такое открыто объявлялось и в печати. Но на что главным образом нацеливается это «ускоренное-упрощенное»? На выяснение вины? Это, конечно, требуется, но никого не беспокоит — она уже доказана самим фактом репрессированности. Нет, нацеливается она на выявление связей арестованного. Естественно, преступных, как он сам. Ведь это приказывал человек, хорошо знавший, с какими преступниками имеет дело, другим, знавшим это еще лучше. Ясно, что речь шла об оговоре знакомых, другими словами, об обеспечении резерва.

Но вперед мы заглядывали только затем, чтоб точнее проявить смысл того, о чем я говорил раньше, и нам пора вернуться назад, ко II части. В ней дальше пойдет разговор еще об одном резерве — о семьях репрессируемых. Он начинается внешне невинной фразой:

Семьи осужденных по первой и второй категории, как правило, не репрессируются.

Наивный добрый человек может и обрадоваться — хоть семьи не репрессируются. Но радоваться он, как мы увидим, будет зря. Да и сама эта фраза, если вчитаться и подумать, подозрительна. Хотя бы тем, что произнесена — о таком ведь и говорить не надо. На Руси, как мне помнится, после Ивана IV (если исключить династические причины) семей своих политических противников никто специально не преследовал и не трогал. Даже «классовый» «красный террор» жен прихватывал далеко не всегда — разве распущенное большевиками «революционное творчество масс» уж слишком разгуливалось. С чего ж объявлять? Но с другой стороны, семьи репрессированных не могли быть юридически более

защищены от произвола, чем их главы (те ведь были не «осуждены», как здесь сказано, а «репрессированы» — Ежов тут не врет, просто понятия уже путаются). Ведь «чистосердечное признание» можно вырвать одинаково — как у главы семьи, так и у любого ее члена. Так что объявить вроде бы и не худо. Но под «гуманность» этой фразы между делом подведена мина — в виде вводного речения — «как правило». И эта «мина» взрывается в следующей же фразе. Ибо правила предполагают исключения, а в них всё и дело.

4. (...) Исключения составляют:

а) Семьи, члены которых способны к активным антисоветским действиям. Члены таких семей, с особого решения тройки, подлежат водворению в лагеря и трудпоселки.

Такое вот исключение. Трудно сказать, кого из членов этих семей нельзя репрессировать согласно этому «исключению». И ведь говорится даже не о наклонности вести борьбу — в этом главы семей «обвиняются» сами, — а только о способности ее вести. О какой, о физической? Неважно. Для репрессии достаточно начальственного подозрения. Это исключение «а» 4-го параграфа II части приказа № 00447 позволяет репрессировать кого угодно и дает солидную прибавку к намеченным 300 000 жертв.

Но есть еще «исключения» по пунктам «б» и «в»:

Семьи расстрелянных по первой категории должны быть выселены из приграничных районов, больших городов и курортных местностей.

Так что исключений хватает и средств, которые можно к ним применить, — тоже. Кто же на фоне таких исключений будет думать об уменьшении спущенных по «правилам» цифр?

А вот и красноречивое завершение этой части приказа.

5. Все семьи лиц, репрессированных по первой и второй категориям, взять на учет и установить за ними систематическое наблюдение.

Зачем эта «игра в войну» с мирными людьми? Ведь какая ни туфта, а она денег стоила! На людей обрушивались бессмысленные и безжалостные удары, но сами-то они в массе своей были изначально мирные аполитичные люди, хотевшие одного — чтобы от них отстали. Слежка эта нужна была отнюдь не для раскрытия их тайных замыслов, а чтоб «продолжать борьбу». Жестокий этот спектакль играется как бы перед самими собой, но в нем в качестве марионеток используются (а часто по требованиям сюжета убиваются) живые люди, не имеющие никакого отношения к этому театру и этой драматургии.

Вообще ЧК—ГБ, как разыскная организация, как в точном смысле слова политическая полиция, никогда не стояла особенно высоко. Ее активность внутри страны была всегда гораздо менее эффективна, чем вне ее. Извне иногда раскрывали кое-что и внутри, через иностранных

жуликов, а главным образом, через беспардонных идеалистов, работавших на нас, — так был раскрыт Пеньковский. Она всегда компенсировала себя возможностями «классовой борьбы» — произвола. Такой она была и до «ежовщины», когда она еще не лишилась квалифицированных кадров. А уж после «37-го»!.. Член руководящего круга НТС Георгий Сергеевич Околович, ныне, к сожалению, уже покойный, рассказывал мне несколько лет назад, как в 1938 году (когда прославлялись зоркие пограничники и их собаки) он вдвоем с товарищем, фамилию которого я запомнил, перешел советскую границу в районе знаменитой тогда станции Негорелос («граница на замке!»), используя польское «окно» (которое, надо полагать, поляки содержали не для НТС, а пользовались им и сами, как хотели), и прожил в СССР столько, сколько счел нужным. А когда товарищ заболел, они беспрепятственно ушли с ним той же дорогой назад. Причем «славные органы» были осведомлены об их пребывании в стране — сестра Околовича, которой тот, будучи в Питере, позвонил по телефону, в испуге сообщила о его появлении «куда надо». Но она не знала, под какой фамилией проживает ее брат в СССР, и это оказалось для «славных органов» непреодолимым препятствием. Это лишало их возможности объявить всесоюзный розыск (по всем паспортным столам милиции), а иных способов розыска, чем через паспортные столы, они, видимо, не знали. Еще бы! Они привыкли искать тех, кто не прячется. И пограничники были им под стать — ловили на границах только тех, кто в ужасе бежит, не разбирая дороги. И все ухищрения — древесные завалы — были обращены против беглецов, а не против пришельцев. Впрочем, для Околовича и его больного товарища эти завалы и на обратном пути тоже не оказались большим препятствием. «Были способы», — скромно объяснил он. «Органы» иметь дело с противником, действовавшим своими «способами», разработавшим свои меры предосторожности, — не умели. Они были институцией репрессий, а не розыска. Тут их квалификация, если тут требуется квалификация, была неоспоримой.

До сих пор мы говорили только о механизме репрессий тех лет. О том, чем в сущности эта «операция» не отличается от предыдущих. Но сейчас надо сказать о том, чем она от других отлична. Собственно это видно уже из названия приказа, но я намеренно не задерживал на этом внимания.

Между тем, скажу, забегаю вперед, эта «операция по репрессированию», в отличие от предыдущих (в 1935—37 гг.), направлена не против «троцкистско-бухаринских шпионов, диверсантов и убийц» или всяких «двурушников» — их «охвостья», а против «бывших кулаков», уголовников и других антисоветских элементов» — другими словами, против людей беспартийных, аполитичных, против всех.

Проясняется ее суть сразу — при чтении преамбулы и I части приказа № 00447, названной кратко и выразительно: 1. **КОНТИНГЕНТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РЕПРЕССИИ**, — которые мы пропустили. Определения его преамбулы намеренно расплывчаты. В сущности I часть — тавтология преамбулы. Просто те, о ком в преамбуле говорится, что насчет них что-то

«установлено», здесь именуются «контингентами», которые «подлежат». А кроме того, в ней есть некоторые частные уточнения, из коих существенные будут отмечены.

А пока — преамбула. Начиналась она с такой полуфразы:

Материалами следствия по делам антисоветских группировок устанавливается, что...

Намеренно обрываю цитату и хочу обратить внимание читателя на то, что сама эта полуфраза — фрагмент того бредового и кровавого спектакля, который шел тогда на столь громадной сцене, как вся территория СССР. Проглотив эту фразу (а она в таком виде вполне могла появиться и в газете), мы оказываемся внутри этого бреда, обретающего как бы черты реальности. Ведь о раскрытии антисоветских организаций газеты трубят каждый день. И установить в процессе следствия что-нибудь еще вроде бы вполне возможно. Но фантазмагория состояла в том, что этот приказ был обращен как раз к тем, кто, собственно, всё это и «устанавливал» и кому истинность этих установлений была хорошо известна — даже самым тупоголовым из них. Но важно, что именно сейчас установлено. А установлено сейчас, что

...в деревнях осело большое количество бывших кулаков, ранее репрессированных, скрывшихся от репрессий, бежавших из лагерей, ссылок и трудпоселков.

Собственно то, что в описываемый период репрессии никогда не ограничивались одними партийцами, знает любой, кто «сидел» при Сталине. Осенью 1948 года одним этапом со мной прибыли в ссылку человек 30—40, в основном «набора 1937 года», — отсидевшие свои «десятки», потом немного сверх того «до особого распоряжения», а теперь отправленные «навечно» в ссылку. Среди них человека три были раньше низовыми функционерами, которые свое «высокое» прошлое отнюдь не выпячивали, ибо среди остальных — самого разного, в основном простого люда — оно не котировалось. Потом прибыло еще этапов восемь, соотношение если и менялось, то не в пользу партийцев. Среди всех был только один «верующий коммунист», бывший полковой комиссар. Конечно, часть партийцев в лагерях и тюрьмах была расстреляна, но никак не большинство. Это не совсем соответствует псевдопатриотической схеме сталинских репрессий, но для нас, послесталинских «реабилитантов», тут ничего нового нет.

Прочитав о том, что уголовники здесь связаны с «бывшими кулаками», посвященный читатель горько улыбнется. Дескать, власть проговорилась. «Кадры» уголовников тогда в значительной мере составляли дети раскулаченных. В детстве потеряв дом и семью (а заодно веру в закон и справедливость), они были подхвачены «шпаной» — блатным товариществом. Но вдохновитель «операции» объединил их не поэтому. Вечная забота его была о том, чтобы спутать в умах людей — в том числе и в умах уже и без того порядком обезумевших «энкаведистов» — все представ-

ления о реальности. В данном случае, чтоб содействовать — соответствием общей какофонии — стиранию всяких различий между политическими и уголовными. Действовало обычное сталинское «остроумие». Дескать, какие же они политические, если все, кто не с нами, — диверсанты, убийцы, вредители и их пособники. К ним надо относиться, как к бандитам. А с другой стороны, и уголовных можно было при случае не признавать таковыми. Ибо всякий, кто нарушает социалистический порядок, — вредит делу социализма, а значит — враг. Следовательно, с ним и следует быть беспощадными, как с врагом. В лагерях в это время специальные комиссии в общем списке с бандитами-рецидивистами расстреливали оппозиционеров. Объявлялось: за бандитизм, за антисоветскую деятельность и т.п. — в том же перечне. А что удивительного? Под обвинение, не имевшее юридического смысла, можно подвести что угодно и даже ничего не подводить — им можно действовать, как жу-пелом.

Но вдумаясь снова в логический смысл этого приказа. Забудем на минуту смысл конкретный, забудем, что «кулаки» — это лучшие крестьяне, которых неизвестно за что выгнали с семьями из их изб и выслали неизвестно куда — в основном, мучиться и погибать. Забудем, что бежали они, чтобы жить и работать — правда, в основном, не в деревнях, а на стройках и в промышленности, где тоже показали себя ценными работниками. Поверим, что бежать из такой ссылки и «осесть» — преступно и безнравственно (хотя преступники не они, а государство). Но спросим себя просто — что значит «ранее репрессированные»? Или «скрывшиеся от репрессий»? Ведь это не от суда, не от обвинения, а неизвестно от чего — под репрессию вообще можно подогнать любого, а уж под несостоящуюся!.. Но дальше, уже в I части, эти «скрывшиеся от репрессий» дополняются еще одним «контингентом» — «скрывшимися от раскулачивания». С тем же дополнением — «которые ведут (а не «продолжают вести». — *Н.К.*) антисоветскую деятельность». Впрочем, такое в различных модификациях говорится почти обо всех. В другом месте (той же I части приказа) сказано еще наглей, что репрессированию подлежат все бывшие кулаки, вернувшиеся после отбытия наказания. Вот так. Правда, для порядка тут тоже добавлено: и продолжающие вести активную антисоветскую подрывную деятельность. Вполне логично для врагов: вели раньше, потом за это были наказаны, теперь вернулись и продолжают. Но это ведь крестьяне! — откуда у них такая массовая политическая завзятость? Ничего этого, кроме наказания, конечно не было. А если бы было, не было бы ни Ежова, ни Сталина, ни порядка вещей, их допустившего.

Но даже если не соотносить с реальностью и поверить в «деятельность», то как забыть, что она должна была состоять в уголовно наказуемых деяниях, за которые отдают под суд? Тем более при «учетных данных» — чего же было дожидаться указанной «операции»? Не получается. Но камуфляж, на первое время, неплохой — дескать, репрессируем не всех вернувшихся, а только «продолжающих».

Но вдумайтесь в язык этого приказа. Смотрите, как при всей своей глухоте и часто косноязычии эта власть обращается с языком, как превращает в нечто зловеще-сакраментальное обыкновенный глагол — «осесть». Словно так уже это криминально и злоумышленно — осесть, начать вить гнездо, работать. Вроде все эти гады не поселились, как люди (что невозможно, поскольку они из списка людей нелюдьми исключены), а каким-то подлым образом — «осели». С одной стороны, это слово тут звучит брезгливо — оседает грязь. С другой, грозно — оно приобретает смысл, похожий на «засело», «окопалось». Засели, и вот-вот откроют огонь, надо предупредить. Механизм травли был разработан задолго до этого.

Однако имели наглость «осесть» (и это тоже «установлено») не только «бывшие кулаки».

Осело много в прошлом репрессированных церковников и сектантов, бывших активных участников антисоветских вооруженных выступлений. Остались почти нетронутыми в деревне значительные кадры антисоветских политических партий (эсеров, грузмек, дашнаков, мусаватистов, иттихадистов и др.), а также кадры бывших участников бандитских восстаний, белых, карателей, репатриантов и т.п.

Всё перемешано, и все одинаковы — священники и каратели, белые и дашнаки, повстанцы и репатрианты, сектанты и эсеры. Почему-то из русских партий в деревне «осели» они одни, эсдекам России (в отличие от Грузии, где они «грузмеки»), по-видимому, полагалось «оседать» только в городах. При помощи привычных до этого в политическом обиходе слов, в которых заглушается их смысл, на наших глазах убивается сама память об этом обиходе. Во всех. Даже в ближайших исполнителях.

Так удивляться ли тому, что здесь возникают некоторые загадки? Какая, например, разница между «антисоветским вооруженным выступлением» и «бандитскими восстаниями»? Ведь слово «бандитское» в применении к восстанию — не определение, а ругательство, и как раз по поводу «антисоветских вооруженных выступлений». Бандиты, как известно, восстаниями не занимаются. Видимо, это просто риторическое излишество для еще большего раскошегаривания низовых работников. Кстати, если имеется в виду именно этот контингент (или бывшие белые), то ведь потому они и смогли «осесть», что сдались советской власти на честное слово — кто мог знать наперед, что такого слова у этой власти нет и никогда не будет. Ну а что касается священников, то они по логике приказа виноваты по определению — про них даже не говорится, что они «продолжающие». Репрессировать их предлагается просто за то, что они, отбыв наказание, не подошли, а «осели». Особенно любопытна тревога по поводу осевших (таинственно, что ли?) репатриантов. Между тем, они вернулись домой с разрешения власти, ни в чем дурном замечены не были (а то б их без репрессий замели), и вдруг оказалось, что они живут по недосмотру. Его-то вроде теперь и приказывалось компенсировать репрессиями. Но преамбула на этом не кончается. Следует немаловажная оговорка:

Часть перечисленных выше элементов, уйдя из деревни в города, проникли на предприятия промышленности, транспорта и на строительства.

Часть эта объявляется вдруг как бы в развитие предшествующей мысли. Но для тех, кому был адресован приказ, это было весьма важным дополнением. Оно позволяло находить упомянутых врагов не только в деревне, но и в городе. Иначе бы им не заполнить контрольных цифр, а это бы означало пособничество. И то, что эти «элементы» не только оседают в деревне, но и «проникают» в города, для них спасение. Не потому ли потом в I части в список «подлежащих» вклинивается и новая группа — бывшие чиговники? Круг широкий — хватай и не печалься. НКВД нужен фронт работ. Конечно, и деревню не оставили в покое. Среди людей «набора 37-го», прибывших в ссылку одним со мной этапом, о котором я уже тут упоминал, были и простые мужики, арестованные в деревне. И было их немало.

Помню я и своего тамошнего соседа, вовсе не ссыльного, а местного жителя, сибиряка. Человек вполне достойный, профессиональный охотник, но и политически, и всяко малограмотный, он был в 37-м арестован как бывший колчаковский офицер. «Догадаться», что это нелепость, лишь когда при смене Ежова Берией начался показной «реабилитанс» — к счастью, мужик этот тогда еще не был осужден, и его отпустили. Но в целом к репрессиям в деревне наркомвнудел был хуже подготовлен. Раскулачивание было явлением иного порядка и иного времени — оно было открытым, чуть ли не военным нападением государства на крестьян, и его акты почти не требовали даже подобия юридического оформления. Теперь это подобие требовалось. В том и отличие репрессий от, допустим, акций «красного террора», что судьбы людей решались хоть и «ускоренно-упрощенно», но обязательно с имитацией юридического оформления. Между тем, все, кого по существу или с далеким приближением можно было бы отнести к перечисленным элементам, «оседали» отнюдь не в деревне. Так что без «помощи» города было не обойтись.

Следующий абзац приказа напоминает о том, что уже было в названии:

В деревне и в городе до сих пор еще гнездятся значительные кадры — уголовных преступников — скотоконокрадов, воров-рецидивистов, грабителей и др. отбывавших наказание, бежавших из мест заключения и скрывающихся от репрессий.

Тут уж волей-неволей пришлось отмечать, что «и в городе». Эсера или колчаковца найти или «создать» в деревне с грехом пополам еще можно, а представить вора-рецидивиста, «гнездящегося» в деревне, наверно, и тогда было невозможно. А без воров-рецидивистов — не та декорация!

После сообщения обо всех этих «установленных» и — с непонятной точки зрения — «прискорбных» фактах (что осели и гнездятся) объясняется, почему они прискорбны.

Как установлено (это тоже «установлено». — *Н.К.*), все эти антисоветские элементы являются главными зачинщиками анти-

советских и диверсионных выступлений как в колхозах и совхозах, так и на транспорте и в некоторых областях промышленности.

Обычно таким способом валили на «врагов» вину за реальные неудачи «социалистического строительства», но тут и этого нет. Эти несчастные «элементы» — зачинщики того, чего никогда не было (и за что бы, если б такое случилось, их бы без всяких репрессий судили и расстреляли).

И часть, в основном, «уточняет» (значит расширяет) заданное преамбулой. Контингентом, подлежащим репрессированию, кроме снова все упомянутых бывших кулаков, оказываются еще по тем же соображениям ...и социально-опасные элементы, состоявшие в повстанческих, фашистских, террористических и бандитских формированиях (и, конечно, опять же без различия. — *Н.К.*), отбывшие наказание, скрывшиеся от репрессий или бежавшие из мест заключения...

«Бывшие кулаки» здесь для красоты слога и разгона. А вот упоминание о «социально-опасных элементах» — требует внимания. Это гениальное изобретение советской юстиции не должно быть забыто. В те времена эта статья была «буквенной» (СОЭ), в мое — она называлась «7-35». Что это значило? Это сплав из двух статей, относящихся к «Общей части» УК РСФСР, то есть к его предисловию. Статья 7 декларирует, что преследуемые могут быть и «лица, не совершившие преступления». Да, если по своим связям, прошлой деятельности и каким-либо другим (следовательно, любым) причинам они могут представлять опасность для социалистического государства. А статья 35 была просто перечислением всех санкций, применяемых Уголовным Кодексом. Это означало, что к любому из «обвиненных» по статье 7 может быть применена любая из санкций, перечисленных в статье 35, то есть вообще любая санкция. В сущности эта сборная статья была формулой репрессий как таковых, хотя чаще всего репрессии обходились без нее. А в мое время замена этой статьей знаменитой статьи 58-й даже означала смягчение — замену ГУЛАГа ссылкой. Но во времена этого приказа «банальную» лагерную десятку она обеспечивала легко, а теоретически по ней не исключен был и расстрел (но таких случаев я не знаю)...

Впрочем, остальное тут не лучше. Откуда вдруг в СССР лица, состоявшие в фашистских формированиях, если самих таких формирований никогда не было? Из Италии, что ли, подоспели как раз к репрессиям для их удобства? Что значит террористические формирования? Но смысл слов здесь не очень важен. Важна их окраска. Она создает общий неблагоприятный фон, якобы требующий срочных ответных мер. Без него такой приказ существовать не может.

Относится к подлежащему репрессии и следующий контингент:

Изобличенные следствием и проверенными агентурными материалами наиболее враждебные и активные участники ликвидируемых сейчас казачье-белогвардейских повстанческих организаций.

Об этом в общих чертах уже было. Перед нами какая-то мутная тавтология с вариантами. Господи, какие казачье-белогвардейские повстанцы в 1937 году? Но нет сомнения, что раз о них зашла речь, то они будут Правда, их будут не ликвидировать, а наоборот, создавать — под пытками на допросах в лубянских и сходных кабинетах. Но они — будут. Ибо есть решение пошерстить и казаков — очередной раз. Но тут ничего удивительного — мало ли что там создавали таким способом и до, и после этого. Но следует обратить внимание на саму словесность. Лица, «изобличенные следствием и проверенными агентурными материалами», да к тому же еще «ликвидируемые сейчас», тоже отнесены к контингенту, подлежащему репрессированию, а не суду, — и это никого не удивляет: ни автора приказа, ни адресатов. Не удивило бы тогда и многих других, к делу непричастных, но читавших газеты и слушавших радио. Многие находились во власти такой декламации.

Но вернемся к репрессиям. Репрессированию, согласно различным пунктам приказа, подлежат, оказывается, и «элементы этих контингентов, находящиеся в данный момент под следствием или в ожидании суда в тюрьмах, а также уже отбывающие наказание в лагерях». Можно было бы воскликнуть, как Твардовский: «что про что?», но мы уже знаем, что в лагерях это значило расстрел. Дальше голос наркома обретает металл.

Перед органами государственной безопасности стоит задача — самым беспощадным образом разгромить всю эту банду антисоветских элементов, защитить трудящийся советский народ от их контрреволюционных происков и, наконец, раз и навсегда покончить с их подлой подрывной работой против основ советского государства.

Как видно из следующего абзаца, «именно в связи с этим (видимо, с тем, что «установлено») и произносится «ПРИКАЗЫВАЮ». И приказывается в сроки, которые мы уже упоминали, начать означенную «операцию».

Важен для нас (и для автора) не этот абзац, а тот, что перед этим «ПРИКАЗЫВАЮ». Не зря же каждая строка в нем подчеркнута — в нем ставится задача.

Интересен в этом месте сам язык приказа. Обо всем говорится так, словно враг у ворот и готовится к штурму осажденной крепости. Он требует проявлять осторожность, организовывать специальные группы захвата, словно атака готовится не на мирные дома и квартиры, а на боевые партизанские караулы. Такую атмосферу создает и поддерживает этот приказ. Вместе с газетами и радио тех дней он подменяет в сознании людей реальность, в которой они живут, фантастическим бредом. И реальные, даже дикие и жестокие действия власти могут восприниматься (и часто воспринимаются) людьми в каком-то фантастическом свете, не вызывая должной реакции. Буйство бедного, болезненно-самолюбивого уязвленного сознания, лежащее в основе этих деяний и событий, начинает выглядеть таинственно, интересно и даже грандиозно.

И вместе — более локально — в этом языке как бы оживала уже становившаяся анахронизмом романтическая чекистская легенда. Изначально ложная, она всё же в сознании многих, да и самих чекистов, существовала. На нее как бы равнялись. На ней даже играли — вот традиции, которым мы следуем, а вы... И этот стиль — стиль, выкованный в якобы тяжелых схватках с контрреволюцией, — вполне может почудиться за этими словами. А ведь пишет их один перепуганный насмерть человек другим не менее перепуганным. И всем им, хоть многие этого не сознают, а только чувствуют, сейчас не до легенд — им бы шкуру уберечь.

Смысл слов опять ничего не значит. Все эти случайные «элементы» (значит, не имеющие представления друг о друге люди) гением Сталина и под пером Ежова превратились в единую банду, от чьих происков и необходимо защитить народ и «основы советского государства». Но потом они опять перечисляются раздельно. Детская игра. Но только в нее играть и принимать ее всерьез обязаны все. А для десятков тысяч ничего не подозревающих людей она обернется неисчислимыми муками и гибелью. И всё же забавно (сегодня!), что эти перепуганные вурдалаки, оказывается, еще и защитники чего-то от кого-то или кого-то от чего-то.

Многие абзацы этого приказа, как уже отмечалось, похожи на абзацы из газет того времени. Тогда массовые коммуникации тоже не лимитировались логической связностью и обходились выкриканиями и заклинаниями. В сущности то же делает и формальный приказ. А кто вдумывается в слова заклинаний и выкриканий? Исполнителям же этого приказа эти заклинания говорили только о «накале борьбы», значит о том, что в случае если они уступят человечности, здравому смыслу и самоуважению, им не следует ждать для себя ничего хорошего.

Сами исполнители, разумеется, своей судьбы еще не знают. Тогда, к июлю 1937-го, смена энкаведистских «поколений», видимо, еще не завершилась. Старые кадры еще не вовсе исчезли, новые — в условиях патологической вакханалии — еще себя не осознали и не вовсе освоились. И кроме того, есть все основания полагать, что и новы эти новые были еще не окончательно, что Сталин и ими собирался пожертвовать (как что-то узнавшими), и они это предчувствовали. Поэтому, ко всем, кто создавал и кому адресован приказ 30 июля 1937 года, можно отнести определение «обезумевшие». И всё это стоит за его формулами.

И понятно, из-за чего по его поводу не стоит спрашивать: «Зачем?» Смысла в приказе нет никакого, а последствия его — сколь угодно велики. Люди, которые потом, в годы войны, позволяли натаскивать себя на солдат и офицеров, убежавших из плена, которые преследовали их, подозревая во всех смертных грехах за то, что те остались живы, тоже прямо или опосредованно сформированы такими приказами.

Но это потом. А пока еще никто не знает своей судьбы. Даже самые главные. Вот 1-й пункт VII части этого приказа:

1. Общее руководство проведением операций возлагаю на моего заместителя — начальника главного управления государственной безопасности — комкора тов. ФРИНОВСКОГО.

(ГБ—ГУГБ считалось тогда только главком в НКВД. — *Н.К.*)

Неужто ничего не чувствовали? Например, тот же комкор Фриновский к 30 июля 1937 года уже должен был понимать, что он среди чекистов долгожитель и что к этому времени успел проводить большинство своих коллег и товарищей в лучший мир и в дальние лагеря. То, что, повернись иначе, любой из товарищей проделал бы то же самое с ним самим (одна школа!) — другая тема. Но что и его «долгожительству» может прийти конец, понимать он должен был. То же можно сказать и об авторе приказа 00447, его начальнике, наркоме тов. Ежове. Но что-то они чувствовали, в глубине их душ кошки наверняка скреблись. Что ж!.. Тем больше рвения они проявляли, стремясь избежать неясной угрозы, висевшей в воздухе. Боялись. О чем сам Ежов сказал на заседании ЦК. Правда, Сталин ответил: «Ежов боялся!.. Смышно». Однако «смышно» не было. Любой из участников заседания мог оказаться (и некоторые потом оказались) в таком же «смышном» положении. Но сейчас эти двое вершат судьбы и по воле Вождя легко, хоть и секретно, в массовом порядке подводили под монастырь сотни тысяч людей, и это отвлекало, казалось могуществом. Но Вождь не любил быть благодарным и не любил свидетелей — через несколько месяцев им обоим предстояло быть арестованными и расстрелянными. Причем, Ежова перед этим еще хоть маленько секретно пора зоблачали (на упомянутом чуть выше Пленуме ЦК), а комкор, надо полагать, исчез и без такой публичности. Но пока всё звучно «Возлагаю». «Приказываю».

Я не сочувствую этим двум нисколько — уж кто-кто, а эти точно свою судьбу заслужили. Но всё равно такое их падение — ни об их устраниении, ни об их вине никому ничего не сообщили — было не освобождением, а еще большим сгущением непонятной, запутанной и безвыходной фантазмагии. Таких случаев внезапного и необъяснимого вознесения на Олимп и такого же падения с него в небытие было тогда много. И все к этому привыкали. Привыкали к непонятному, привыкали не понимать. И удовольствоваться непониманием. И это было страшно. И это только утвердилось с приходом Берии в 1938 году, когда было разыграно очередное «Головокружение от успехов» — часть заключенных, в основном еще не осужденных и сидевших в тюрьмах, была реабилитирована и выпущена. Большинство репрессированных при этом продолжали сидеть, и ряды сидевших продолжали пополняться (например, аппаратом Наркомата иностранных дел), но, тем не менее, было блестяще продемонстрировано, что у нас «зря не сажают», «разбираются» и «невиноватых выпускают». И само собой выходило (особенно поначалу), что уж посаженных после этого «выпуска» замели не зря.

Вакханалия не кончалась, но приобретала «спокойные» стабильные формы, а это еще больше усиливало фантазмагорию. Это тоже прививало протрацию сталинщины.

Сталинщина не имела лица, но зато у нее было много личин. Она очень хорошо умеет обходить, разрушать, подменять и заглушать логику и даже впечатления бытия, личный опыт... Надо учиться ее распознавать и ей сопротивляться. Серьезный анализ приказа Народного Комиссара Внутренних Дел СССР № 00447 от 30 июля 1937 года может способствовать этому. Этот год — 1937-й — БЫЛ! Он оставил глубокий след в нашем сознании и истории. Иной, чем всё, что было раньше. Ибо он уже был не просто преступным безумием идеологии, как «красный террор», и не имитацией этого буйства, как коллективизация, а сознательным насаждением безумия в чистом виде.

Но тут мы уже вышли за рамки подробного рассмотрения приказа № 00447, которому посвящена эта работа.

Зоя МАСЛЕНИКОВА

МАЛЕНЬКИЙ ФРАНЦУЗСКИЙ ОАЗИС

Повесть-воспоминание*

*Светлой памяти Эжена Сент-Эва,
живого или мертвого.*

1

Казалось бы, чего проще начать мои воспоминания так: в декабре 1944 года я приехала под Тамбов в лагерь военнопленных № 188.

Но — стоп. Кто это я? Откуда приехала? Как туда попала? Почему через полстолетия с лишним принялась в жарком приморском Коктебеле вспоминать мрачные события той военной зимы?

Нет, придется все-таки начать издалека — от моей бабушки.

А нашем семейном альбоме сохранились четкие фотографии га толстом фирменном картоне. За партами сидят гимназистки, среди них моя будущая мама. Круглая железная печь, муляжи внутренних органов человеческого тела. На заднем плане чинные учителя в сюртуках, посреди них затянута в корсет, в черном шелковом платье с буффами и в боа —

**Зоя
МАСЛЕНИКОВА**

— родилась в 1923 году в Керчи. Во время войны служила в армии военным переводчиком. Окончила Московский институт иностранных языков. Скульптор, автор известного скульптурного портрета Б. Пастернака и ряда других работ, хранящихся в музеях Москвы, Петербурга, Красноярска, Чистополя. Автор книг «Портрет Бориса Пастернака» (два издания — 1990, 1995), «Жизнь отца Александра Меня» (1995), а также воспоминаний и работ о Б. Пастернаке, А. Ахматовой, о. А. Мене. Автор сборника стихов «Как дышит дух» (1993), ряда стихотворных публикаций в антологиях и периодических изданиях. Живет в Москве.

*Журнальный вариант.

начальница. Волосы ее уложены в высокий шиньон. Это и есть моя бабушка Софья Александровна Верцинская, урожденная Яблонская.

Мама моя окончила с золотой медалью частную женскую гимназию, созданную ее матерью, моей бабушкой, на взятые займы 500 рублей.

Бабушка, родом из обедневшей дворянской семьи, образование для девушки получила по тем временам хорошее: знала языки, недурно рисовала, играла на фортепьяно, даже сочиняла музыку и писала стихи. Закончила Бестужевские курсы, учительствовала. Неудачный брак с одесским адвокатом закончился разводом, а дальше дорогу в жизни она пробивала сама.

Мама тоже учила языки, много читала, музицировала. По окончании гимназии учительствовала под началом бабушки и наконец поступила в Новороссийский университет (в Одессе). Сначала на исторический факультет. Год стажировалась в Сорбонне и всю жизнь любила читать по-французски. Первая мировая война началась, когда мама перешла на последний курс университета. Вместе со знакомыми барышнями, воодушевленными патриотическими чувствами, она поступила на курсы сестер милосердия и неожиданно для себя самозабвенно увлеклась медициной, бросила свой исторический и перешла на медицинский факультет. А судьба привела туда же Афанасия Ивановича Власова, выходца из глухого хутора Ушкалы в двадцати верстах от карельской деревни Линдозеро.

Чем покорила королеву одесских балов самоучка-карол, с трудом сдавший экстерном гимназический курс? В отличие от властной бабушки характер у мамы был мягкий, податливый. Отец же, напротив, обладал сильной волей, председательствовал в студенческих комитетах, ораторствовал на революционных сходках. Может быть, мамина нежная женственность искала опоры в авторитарности отца? Так или иначе, они получили в 1917 году дипломы врачей и обвенчались.

В 1918 году родился мой рыжеголовый брат Сергей, а в 1923 году я, Зоя. Тогда отец служил на Черноморском флоте в Керчи, но через три года был переведен в Севастополь, где прошло мое детство.

Папа с раннего утра до поздней ночи пропадал на работе и довольно успешно продвигался по службе. Мама работала школьно-санитарным врачом, но была не так занята и занималась нашим с братом образованием. В основе его лежали, помимо школы, иностранные языки, музыка, рисование, постоянное чтение классической литературы, то есть то, чему учили в детстве ее саму.

С первого класса ко мне на дом ходила полунищая старушка-немка, мама ее подкармливала после урока. Позже я стала учить еще и французский с женой известного в Севастополе доктора Свешникова. Училась я и в музыкальной школе по классу фортепьяно.

Обе мои учительницы языков педагогическими навыками не обладали, просто одна была немкой, а другая француженкой. И все же я занималась с увлечением.

Вслед за братом стала брать уроки рисования и живописи у старого художника Юлия Ипполитовича Шпажинского, его картины и поныне

висят в Севастопольской картинной галерее. Одно из самых счастливых воспоминаний детства: иду по осенним верхним улицам, стребая ногами ворохи разноцветных кленовых и тутовых листьев, несущая за уголок еще не просохший этюдик с изображением обливного горшка. Сердце поет: последние три мазка светло-зеленым кобальтом, охрой золотистой и чистым крапplаком придали моему горшку объем и жизнь, и так волнующе пахнет от картонки красками и льняным маслом!

Но, увы, настал роковой тридцать седьмой. Первой исчезла немка. Божий Одуванчик, как мы с мамой называли ее за глаза. Затем взяли мадам Свешникову. Арестовали взрослую дочь Шпажинского, жена его повесилась, бедного Юлия Ипполитовича увезли в Симферопольский сумасшедший дом. Я разом лишилась трех учителей. Над городом навис страх. Брали родителей наших друзей. Моих закадычных подружек двойняшек Стеллу и Спарту Баттис увезли в лагерь для детей врагов народа.

Но учиться хотелось, и родители не отказывали. Военным в те времена платили мало, школьным врачам и подавно. Питались мы в основном пшенной кашей и соленой хамсой, картошка считалась роскошью. У мамы было всего два приличных платья: летнее и зимнее, мой школьный гардероб состоял из шерстяного сарафана и двух хлопчатобумажных блузок. А вот на учителей денег не жалели.

Другой преподавательницы французского поначалу не нашлось, и с седьмого класса я стала учить английский с женой севастопольского адвоката Сесиль Наумовной Портновой. Преподавала она так талантливо, что через несколько месяцев я уже читала в оригинале Оскара Уайлда, а еще через год — хотите верьте, хотите нет — Шекспира!

Нашлась и неплохая учительница французского. Я применила метод Портновой и начала читать в подлиннике без словаря любимого моего Ромэна Роллана. В школе нам преподавали немецкий, и я научилась свободно читать и по-немецки.

С седьмого класса к нам пришел новый учитель литературы, высокий статный старик в морском кителе, Григорий Петрович Кастров. Он был влюблен в поэзию, уроки вел захватывающе интересно, и чуть не треть класса принялась писать стихи и рассказы, я в том числе. На моем письменном столе появились Маяковский, Волошин, Ахматова, Цветаева. Мандельштам — и, наконец, Пастернак, ставший на всю жизнь самым любимым поэтом. Я собиралась поступать в ИФЛИ, втайне мечтая посвятить себя поэзии.

2

Выпускной вечер состоялся 21 июня. Мне он показался скучным. Получив аттестат, я довольно рано вернулась домой и легла спать. Только уснула, как разбудила мама:

— Зоя, посмотри, какое красивое учение!

— Мам, спать хочу!

— Все-таки встань, ты такого еще не видела.

Обнявшись, мы с мамой любовались у притворенного окна феерическим зрелищем.

По случаю военных учений уличное освещение было отключено, из затемненных окон не выбивалось ни лучика. Ночь была по-южному темной. Только что прошел дождь. По низким тучам метались прожекторные лучи, и небо со всех сторон прошивали разноцветными пунктирами трассирующие пули. Два прожектора поймали в перекрещение лучей крестик самолета. От него отделилась черная капля, над ней, как белый цветок, распустился хорошенький парашютик.

Вдруг перед нами вспыхнуло ослепительное пламя, раздался грохот, окно резко распахнулось, и нас отбросило воздушной волной на стоящую близ окна кровать. Канопада смолкла.

В наступившей тишине раздался мелодичный звон падавших на тротуар стекол. От того места, куда упала бомба, доносились крики о помощи. Зазвонил телефон: папу вызывали в штаб флота.

— Разве они не знают, что он в море на маневрах? — недоумевала мама.

По громкоговорителю объявили Большой Сбор. Но мы все еще не понимали, что на самом деле происходит. В Севастополе часто проводились военные учения, приближенные к боевой обстановке. Как-то облили ипритом крейсер, проверяя его герметичность. Погибли сотни краснофлотцев, десятки командиров. Госпиталь на Корабельной был переполнен пострадавшими. И сейчас стоны раненых из развалин казались, хоть и ужасной, но не такой не обычной частью боевых учений.

А командование в ту ночь пьянствовало в ДКАФе (Доме Красной Армии и Флота), уже празднуя завершение маневров, хотя еще не все корабли вернулись на базу. Командиры артиллерийских батарей начали стрельбу из зениток на свой страх и риск, не дождавшись приказа командования.

О том, что это война, мы узнали по радио из речи Молстова в 12 часов дня.

Что полагалось делать по случаю войны, мы плохо себе представляли. Заляпали жидкой грязью наш свежеекрашенный бело-розовый домик и чистые окна, чтобы не отвечивали в лунные ночи. Стекла заклеили крест-накрест газетной бумагой. Я поступила на курсы медсестер.

Сидеть во время воздушных тревог в нашем подвале, заваленном углем, было тошно, я предпочитала дежурить на крылечке, с которого было далеко видно. Мы с соседкой Лидой разглядели и сообщили в штаб ПВО, что в развалинах Пятой школы, куда угодила та первая бомба-цветок, появляются, когда стемнеет, красные и зеленые огоньки.

В ближайшую же ночь по улице-лестнице мимо нас пробежал к развалинам вооруженный отряд краснофлотцев. Стоньки перестали мигать. Нас с Лидой вызвали в штаб ПВО и объявили благодарность за помощь в ликвидации группы немецких диверсантов.

Все это было так непохоже на надоевшую школьную рутину! Война поначалу показалась увлекательным приключением и сулила долгожданные перемены в жизни.

Я помогала организовывать эвакуацию детей и, хотя будущее было в тумане, готовилась к вступительным экзаменам. Увы, от иногородних заявления в столичные ВУЗы уже не принимали, и вместо желанного ИФЛИ пришлось отправить документы в Симферопольский пединститут

3

Немецкие войска продвигались стремительно и были уже недалеко от Крыма. Командование приказало офицерам готовить свои семьи к эвакуации.

22 августа, через два месяца после начала войны, мы с мамой очутились в караване автобусов, двинувшихся на восток из родного города. В Симферополе остановились для заправки бензином и продовольствием, я успела сбежать в пединститут и забрать свои документы.

С трудом добрались до Куйбышева. Там нас радушно приютила знакомая семья ленинградского профессора Перфильева. Но, опасаясь, что мы их стесним, мама тотчас начала хлопотать через военкомат и горсовет о предоставлении нам хоть какого-нибудь жилья. Я наведальась в Куйбышевский пединститут. На филфаке мест уже не было, мне предложили факультет иностранных языков. Я выбрала французский.

К зиме мамины хлопоты увенчались успехом. Мы оказались подселенцами хлебозерки Вали — была такая прибыльная должность во время войны. В единственной комнате и без нас было четверо — кроме хозяйки еще ее мать и двое взрослых детей.

— Понавезли чемоданы денег, цены из-за вас взвинтились, — то и дело слышали мы.

— Понасхали тут, все продукты поели, жрать нечего.

— Опять эта больна, всех перезаразит, хоть бы подохла скорее.

Центральное отопление не работало, стены покрылись наледью. За ночь вода в чайнике промерзала до дна.

Мама работала через ночь дежурным врачом в поликлинике. В ее отсутствие Валя подрабатывала проституцией.

Немцы продолжали наступление, и вести с фронта были нерадостные. От папы пришло в Куйбышев всего два письма. Из первого мы узнали, что наш дом разбомблен, стерт с лица земли, и даже улица сползла с горы. Из второго поняли, что папа руководит санитарной обороной осажденного Севастополя. Потом письма перестали приходить.

От брата, воевавшего на Ленинградском фронте, не было вестей целых полгода. Нам с мамой часто снились кошмарные сны о гибели то папы, то брата, но признались мы друг другу в этом только после войны. Наконец пришел солдатский треугольник из Омска. Брат лежал в госпитале после серьезного ранения и слава Богу уже выздоравливал.

Я пробовала ходить в институт, но бросила. До него было далеко, в переполненный трамвай не влезть. Учебный корпус не отапливался. Я отсиживалась в теплой городской библиотеке, а мои прогулы занятий мама покрывала справками «по болезни».

Но в 18 лет жизнь не могла сводиться к учебе, стоянию в километровых очередях за пайком хлеба или к обменным операциям на толкучке Цыганского рынка. Было в ней и другое.

В местном дворце культуры давал спектакли Большой театр. Билеты на галерку на всю декаду стоили не дороже коробка спичек. А кое-какие деньги у нас все-таки были: папин аттестат, мамина зарплата, моя стипендия. Мы по многу раз переслушали все оперы, пересмотрели все балеты. Каждый понедельник — это был выходной день местного драмтеатра — там давали концерты лучшие музыканты страны: Ойстрах, Гилельс, Оборин, Барсова, Козловский и многие, многие другие.

Искусство искусством, но так хотелось встречаться с молодыми людьми, танцевать, нравиться, влюбляться! Но их там почти не было.

Не помню уж как, я познакомилась со скрипачкой из Большого, рыжекудрой Верочкой, лишь недавно закончившей Консерваторию, а через нее — с театральным электриком Володей. Володя хромал и не подлежал призыву, но был пригож лицом и покладист нравом, хоть и малоразвит. И мы с Верой всерьез соперничали из-за него. Потом я поняла нелепость происходящего и прекратила встречи с обоими.

В Куйбышеве разместился эвакуированный из Москвы дипломатический корпус. Мы, невесты невестные, сталкивались с дипломатами в Большом, на концертах, летом на пляже и на теннисном корте, зимой — на катке. Но, будучи детьми сталинской эпохи, прекрасно знали, чем кончаются знакомства с иностранцами, особенно во время войны. И все-таки не выдерживали искушения.

И у меня тоже появилось два поклонника: секретарь норвежского посольства Кристен и офицер польского добровольческого корпуса Казимир. Вот из-за этого Казимира я и погорела: он почему-то очень интересовал контрразведку, и меня стали вербовать в СМЕРШ. Три ночи подряд вызывали в Куйбышевский НКВД и то сулили золотые горы, то запугивали до смерти. Их главный аргумент: у вас отец и брат на фронте, а вы отказываетесь помочь Родине в такой трудный час. Вы понимаете, какие для вас будут последствия? Я отвечала одно: пошлите меня на фронт, с вашими заданиями я не справлюсь.

Я чудом отбилась, но знакомства с дипломатами пришлось прервать. В Куйбышеве мне стало совсем тошно.

Вдруг неожиданно-негаданно приходит телеграмма от отца, от которого так долго не было вестей. Он едет к нам! Счастливы мы с мамой были несказанно! И вот, наконец, он сам. Как всегда бодр и деловит, только лицо в морщинах и голова седеющая.

По счастью, за несколько дней до сдачи Севастополя командование флота вызвало его на Кавказское побережье и он ушел туда на подлодке.

Теперь назначен в сануправление Наркомата военно-морских сил и заехал к нам по пути в Москву.

Папа тоже был бесконечно рад встрече. Одобрил и мои занятия, и поведение при вербовке в СМЕРШ, но опасался, что дело на том не кончится — так просто не отстанут. Огорчала его худоба мамы, он боялся за ее здоровье.

Я упрашивала папу помочь мне перевестись в Москву. Так хотелось учиться по-настоящему, в Университете! Двухдневный папин отпуск промелькнул как один час.

Прошло несколько недель. Кончалось пустое и тоскливое лето сорок третьего. И вдруг на мое имя приходит заказной пакет из Москвы. Я призвана в ряды военно-морских сил, и мне надлежит срочно прибыть в отдел кадров разведуправления. Ничего не понимаю! К документам приложена папина записка с объяснением, как его найти по приезду.

4

И вот я волоку тяжелый чемодан от Казанского вокзала по длинной обшарпанной Домниковке. Моросит дождь, на душе смута. На Спартак-овской улице отыскиваю здание папиного наркомата. Звоню из бюро пропусков, долго жду. Папа сбегает по лестнице в новом синем кителе с золотыми полковничьими погонами и четырьмя рядами орденских планок, в руках листок бумаги. Наспех целует меня, ему некогда.

— Папа, что все это значит? Я вовсе не хочу на военную службу!

— Другого выхода не было. Ты же хотела в Москву. Вот адрес, поезжай туда, тебя там примут. Чемодан оставь здесь, вечером я привезу его, тогда поговорим. Сейчас не могу.

Добираюсь до Софийской набережной, где напротив Кремля в коммуналке живет папин коллега. Подполковника дома нет, жена его щедро угощает меня тарелкой щей и горбушкой пайкового хлеба. Я засыпаю на диване мертвым сном после трех бессонных суток сидения на чемодане в бесплацкартном вагоне.

Поздно вечером приходит папа. Начинается долгий мучительный спор. Не хочу на военную службу, не хочу! Резоны отца гораздо весомей: немосквичам въезд в столицу категорически запрещен. Он сделал все, что мог. Я буду учиться в Военном Институте Иностранных языков Красной Армии. Меня будут кормить и одевать, а все деньги по аттестату пойдут маме. Она потеряла 27 кило, ее туберкулез может дать вспышку в любой момент.

— Лучше бы я в Куйбышеве осталась, — чуть не реву я.

Папа шепчет мне на ухо: в Куйбышеве СМЕРШ не отстал бы, тебя надо было непременно оттуда вытащить!

Отец — председатель военно-медицинской комиссии наркомата, он обещает демобилизовать меня, если через полгода я этого захочу. А пока просит потерпеть ради мамы.

На следующее утро едем с ним в разведуправление. Там со мной мило беседуют, просто для проформы — все решено заранее.

Еду на Таганку искать ВИИЯКА, нахожу его в здании школы в одном из Котельнических переулков. Военно-морским факультетом командует капитан третьего ранга Иванов. Женщины во флотской части для него личное оскорбление. Но приказ из разведуправления однозначен: зачислить.

Правда, есть загвоздка: я закончила два курса французского, а на военно-морском факультете имеются отделения немецкого, японского, итальянского (языки врагов) и английского (язык союзников), французского же нет. Сообщаю, что изучала английский.

Вызывают для проверки начальника английской кафедры Зою Михайловну Цветкову. Да я же именно по ее учебнику занималась с Сесиль Наумовной! Экзамен кончается благополучно.

Факультет существует только второй год. Меня зачисляют на второй курс в одно из двух английских отделений.

В каптерке получаю обмундирование: две черных юбки — полушерстяную и хлопчатобумажную, синюю фланелевку, матерчатые погоны с буквами ВМС, две тельняшки, один гюйс (морской воротник), широкий ремень с латунной бляхой, мужские ботинки, шинель, берет и ушанку, к ним две красные эмалированные звездочки, чулки, белье, золотой галун для двух галочек на рукав, означающих второй курс.

Надеваю форму, меня в ней фотографируют. Жду, пока фотографии высохнут. Наконец мне вручают удостоверение личности и отпускают. Завтра в семь часов утра я должна быть на утреннем построении. Поражает, как быстро все делается, никакой гражданской волокиты. Приказ — есть! Приказ — есть! Вошла в здание штатским человеком, вышла краснофлотцем в форме.

На следующее утро построение принимал начальник строевой части — тоже Иванов, но майор. Худой, малорослый и очень злой. В строю около 150 мужчин, на левом фланге пять девушек, я — шестая. Переключка. Двух курсантов нет, больны. На вечерней поверке их уже не называют. Эти двое пыгались отравиться, в госпитале их откачали. Отдали под военный трибунал, судили и отправили в штрафной батальон на фронт.

За минуту надеваем шинели и головные уборы, строем шагаем метров триста прямо по лужам в столовую. Ботинки тут же промокают. На завтрак пшенная каша, чай, отдающий мочалкой, зато не морковный, как мы пили в Куйбышеве, два куса рафинада и целых 300 (триста!) граммов мягкого белого хлеба с двадцатиграммовым кубиком масла! Настоящее пиршество после эвакуационной голодухи.

Через десять минут шагаем обратно. Вешаем шинели в коридоре, командиры отделений разводят нас по классам-кубрикам. По стенам двухъярусные койки, в середине пять парт, я в отделении одиннадцатая.

— Смирн-но! — Командир отделения отдает рапорт преподавателю.

— Здравствуйте, товарищи курсанты!

— Здрр-жжм-тррщ-пррль!

— Вольно. Садитесь.

А мне-то сесть некуда.

— Новенькая? Фамилия?

— Власова Зоя.

— Не по уставу отвечаете. Садитесь.

Я растерянно озираюсь. Командир отделения резко дергает меня за руку и усаживает третьей на парте рядом с собой. Десять мужчин лет двадцати пяти, я одна женщина, мне скоро двадцать. Все они отслужили свой срок на Тихоокеанском флоте и остались на сверхсрочную службу. А тут война, и тех, кто пограмотнее, послали во владивостокское училище военных переводчиков. Там их шпиговали английским и японским, а год назад перевели на только что открывшийся военно-морской факультет ВИИЯКА.

Я тайком оглядела хмурые недобрые лица. Казалось бы, совсем недавно соперничала с Верой из-за хромоногого Володи, а теперь радуйся, единственная девушка на десяток мужиков! Но встала какая-то стена. Ни один, ну ни один не вызвал симпатии. Рука соседа легла на колено и поползла вверх. Я резко, с отвращением сбросила ее.

— Пожалеешь, — прошелестел он на ухо.

Шел разбор устройства танка по-английски. Одни непонятные термины. Вторая пара в расписании называется «практика». Преподает язык молодая симпатичная учительница из Кембриджа, по-русски не говорящая. Третья пара — всемирная география на английском. Господи, когда это кончится? Сухопарая рослая шведка, ни слова не знающая по-русски, объясняет карту Китая. Названия совсем не похожи на русское их звучание. Шведка быстро пишет их по-английски вместе с транскрипцией, мы строчим за ней в тетрадях. Между парами десятиминутные перекуры. Четвертая пара — морское дело. Нам раздают куски линьков. На классную доску вешают плакат за плакатом с изображением морских узлов. Парни шутя вывязывают какие-то замысловатые штуки, у меня ничего не получается.

Наконец обед. Опять строим в столовую. Щи да каша — пища наша. Хлеб черный, но получше куйбышевского, 200 граммов. И приятный сюрприз: компот из сухофруктов.

После обеда приносят еще парту, однако я оказываюсь на ней не одна, как надеялась, а с огромным силачом по имени Петька Куцобин.

Самоподготовка идет в полном молчании. Полтора часа — перекур десять минут и так три раза. У соседа не ладится с заданием по грамматике. Даю слух. Наконец ужин: каша перловая, двести граммов чернухи, чай.

После ужина свободное время. Знакомимся. Похабные шуточки. Я тоже никому не симпатична. Зачем им эта салага в очках, которая дергается от простого матюга. Откуда-то стало известно, что французский изучала, фря. Не то что остальные девчонки, те свои, простые. Мнение обо мне было вынесено сразу и обжалованию не подлежало.

С первых же дней я становлюсь объектом цуканья. Это старый флотский термин, обозначающий планомерную травлю избранной жертвы. То очки раздавят, то тетрадку с заданиями стащат — мне ставят двойку, и я получаю наряд вне очереди, — то опрокинут на колени тарелку с горячим борщом, — ах, извините, нечаянно! И так без конца.

Держусь изо всех сил. На переменах прячусь в гардеробе среди шинелей и реву. Слезы приносят короткое облегчение.

Особенно достается от Андрея Полешука, того самого, который пытался засунуть мне руку под юбку. Теперь он уже не командир отделения, а старшина факультета. Каждую неделю получаю от него наряды вне очереди. По три раза перебиваю пол в длинном школьном коридоре.

Приказывает мыть мужской галльон, который продолжает действовать. Правда, большинство ребят старается не заходить, пока я там.

Единственную из девушек ставит на наружный пост. Мороз, мерзнешь даже в караульном тулупе до пят и в шапке с опущенными ушами, винтовка тяжелая, из-за затемнения тьма кромешная, страшно, война ведь! Нас четверо по периметру здания, через положенные промежутки времени перекликаемся. Смена каждые два часа, больше не выстоять даже мужчинам, считаешь секунды. Отстоять за сутки надо четыре раза с четырехчасовыми перерывами, спать удается урывками.

К тому же, в наряде ты или нет, к занятиям на следующий день должен быть готов. Программа огромная, проходит в ускоренном темпе. Боевой устав английской пехоты, строевой устав английской пехоты, боевой устав американской пехоты, строевой устав американской пехоты — и так по всем родам войск. Назначение, вооружение, устройство всех типов военных кораблей, самолетов, артиллерии — все на английском. Петька Куцобин не тянет, все чаще нуждается в моей помощи.

А я еще живу на квартире. Отец снял мне угол у хозяйки в Вишняковском переулке, все лучше, чем в кубрике. После вечернего построения в 23.00 добираюсь туда в первом часу ночи. Моюсь, стираю, ложусь во втором. Встаю в шестом: глажу, чищу ботинки, драю мелом быстро зеленеющие пуговицы на шинели. Опоздать на построение невозможно, вечный недосып.

Я уже перестаю чувствовать себя человеком. Как ни старайся, все бесполезно. Прохожу жестокую школу унижения человеческого достоинства.

Но вот в один прекрасный для меня день Петька Куцобин говорит:

— Сними ремень. — Я снимаю. Своими медвежьими лапами он разгибает выпуклую пряжку. — Надевай. Ты больше не салага. Гюйс вываривай в щелоче пока не побелеет. Круглые бляхи и синие гюйсы одни салаги носят

Петька выходит к преподавательскому столу, упирает в него свои ручищи и рывкает на отделение:

— Кто Власову тронет, будет иметь дело со мной. И на наружный пост ее больше ставить не будут. Всем ясно? Кому не ясно, иди сюда, я тебе сейчас объясню. Все запомнили?

Добрый увалень Петька, мой первый защитник на факультете! Потом будет и второй.

Но имелся еще майор Иванов, над которым Петька был не властен. В самое неожиданное время заливается дудка дневального и раздается команда: в головных уборах стройсь!

А это майору Иванову пришла в голову идея проверить, есть ли у нас в головных уборах положенная по уставу иголка с обмотанной вокруг нее ниткой. Все живут тут же, безотлучно, ни у кого, кроме предупрежденных им стукачей, иголок, разумеется, нет. Я так даже про такой пункт устава и не слыхала, никто меня вообще с ним не знакомит, я новенькая. Иванов с удовольствием лишает нас долгожданного, первого за несколько месяцев увольнения.

Майор часто проверял личные вещи курсантов. В матросских сундучках разрешалось держать лишь положенное по уставу. Однажды во время шмона он нашел у Гриши Приходько деревянную ложку. Ее дала ему мать, когда он уходил служить из своей белорусской деревни. Деревню бомбили, и от дома и семьи у Приходько ничего, кроме этой ложки, не осталось. Майор орал до визга на «дярёвню», стоявшего по стойке смирно со вздувшейся на лбу жилой, все больше входил в раж и растирал каблуками в щепы Гришину святыню.

Как-то, боясь опоздать на построение, я пыталась сесть на ходу в переполненный трамвай, ухватилась за поручни, но сорвалась со ступеньки и ушибла ногу. Слетевшую с головы ушанку перерезало колесами.

Состояние глухой безнадежности нарастало. И хотя еще не прошло назначенных отцом шести месяцев, я решилась просить его об обещанном комиссовании. Он в то время лежал в военно-морском госпитале с воспалением легких и уже поправлялся. Я написала ему большое письмо, получила увольнительную. Мела метель, трамваи от метро Сокольники не ходили, тротуаров в войну не чистили, и я с мукой вытаскивала больную ногу из глубокого снега.

Папа вышел ко мне в коридор в больничном халате.

— У тебя что, температура? — спросил он.

— Да нет. Я тебе письмо написала.

— Подожди с письмом. Ты больна. Сестра, дайте термометр.

У меня оказалось 39,2. Папа посмотрел ногу и определил: воспаление надкостницы. От вечно мокрых ботинок давно уже сочился гной с кровью из больного с детства уха. От авитаминоза простой укол иголкой вызывал нагноение всего пальца. Меня оставили в госпитале.

Папа отказался помочь с демобилизацией. Причина смешная. В госпитале для больных имелось только мужское белье. Ну, не могла я носить под халатом кальсоны, не могла! Соседка по палате пожаловалась отцу: стесняется ваша доченька, глупая, носить кальсоны, застудится же. Папа рассердился и сказал, что приучить меня к дисциплине может только армия.

Теперь-то я его понимаю. Он очень любил маму, спасал ее как мог, а я все-таки училась, была сыта и одета. Но тогда я смертельно на него

обиделась, произошла ужасная, невыносимая между отцом и дочерью ссора, я наговорила ему Бог знает что, и всякие отношения между нами прекратились.

Я вернулась в Институт, переселилась в девчачий кубрик, потому что угол в Вишняковском оплачивал отец.

Мне досталась судьба не моя —
Тельняшка ушедшего к рыбам матроса.

Это из моих стихов того времени.

5

Как-то в течение одного месяца я получила одиннадцать нарядов. Стоишь (ночью сидишь) шесть часов в холодном продувном коридоре у столика с судовым журналом, приветствуешь по всей форме каждого офицера, сколько бы раз он ни проходил мимо. На рукаве «рцы», белоголубая повязка, на груди блестящая боцманская дудка с цепочками. Я уже умею залиvisto свистать и командовать басом: па-ад-ем! аат-бой! наабед стройсь! Шесть часов отдыха. Хорошо, если поспишь пару часов. Потом снова шестичасовая вахта.

Девушке-матросу трудно вымолвить стыдную фразу
О том, что ей хочется быть больным ребенком.
Она вычесывает частой гребенкой
Такие мысли и убивает сразу.

Тоже из моих тогдашних стихов.

В тот месяц с одиннадцатью дневальствами я не выдержала: пробиралась ночью тихонько в кубрик и ложилась на десять минут закрыть глаза и восстановить кровообращение в затекшем теле. Кроме того бегала в галюн, не будя подменного. Почему-то всегда стыдно было.

И вот в одну из моих ночных отлучек с никому не нужного поста исчез со столика ритуальный судовый журнал.

Был у нас такой курсант по имени Саади. Девчонки по нем сохли, находили, что он похож на принца из восточной сказки. Он, правда, был смазлив — с огромными томными очами и вкрадчиво ласковыми манерами. Саади вечно терся в вестовых при начальстве и выполнял щекотливые поручения. Он-то и унес журнал и отдал начальству.

То, что я отлучилась с поста и допустила исчезновение судового журнала, было воинским преступлением. С меня сняли погоны и ремень и в арестантском виде отвели под конвоем на гауптвахту. Это была каморка в подвале без освещения с голыми дощатыми нарами и поганым ведром. На ночь отдавали шинель, она служила и подстилкой и одеялом, а из рукавов я устраивала изголовье.

Кончились пятнадцать суток моего ареста. Предстоял суд чести. В самом большом классе без коек собрался курсантский состав факультета и

начальство, в том числе замполит. Эту должность ввели у нас недавно, я впервые его видела. Майор лет сорока, рябой от оспин, с внимательными незлыми глазами.

Собрание открыл каптри Иванов. Сообщил итоги учебной подготовки, кого-то распек за дисциплинарные прегрешения. Обычная рутина ежемесячных факультетских собраний.

— Второй пункт нашей повестки дня воинское преступление курсанта Власовой и суд чести над ним. Обвиняемый, займите место на скамье подсудимых.

За отсутствием таковой поставили табуретку и посадили лицом к аудитории. Судьей был каптри Иванов.

Я четко доложила о том, как совершила преступление: отлучилась с поста в галюн.

— Почему не вызвали подменного?

— Не нашла в кубрике. Тоже отлучился в галюн.

— Не могли подождать?

— Никак нет, товарищ капитан третьего ранга. Не могла, невтерпех было. — Раздались смешки.

Началось долгое судилище. Ни одна десятиминутная отлучка с поста не осталась незамеченной, припоминали все мои дисциплинарные нарушения, подсчитывали наряды вне очереди. Вменили в вину даже мой библиотечный формуляр: почти не изучала классиков марксизма-ленинизма, зато читала западно-буржуазную литературу, не входящую в программу. Власова не наш, не советский человек, чужда интересам народа, недостойна учиться на нашем факультете.

Почувствовав, что у меня дрожит подбородок, я отвернула голову к окну и стала одно за другим вспоминать стихотворения Пастернака. От происходящего удалось отключиться. Мое внешнее безразличие к суду накаляло атмосферу. Замполит настойчиво шептал что-то на ухо каптри. Наконец команда: подсудимому встать!

Я думала, что меня отдадут под трибунал, в лучшем случае отправят на фронт в штрафной батальон, в худшем — расстреляют. Война ведь! Но приговор суда был другой: ходатайствовать перед командованием Института об отчислении курсанта Власовой за систематическое нарушение воинской дисциплины. Про судовой журнал — ни слова.

Дело было в воскресенье. После обеда предстояло увольнение до вечернего построения. Я, конечно, получила наряд вне очереди — мыть полы в классах-кубриках. Все ушли, я одна. Заглядывает замполит.

— Власова, кончите уборку, зайдете ко мне.

— Есть, товарищ майор.

Неторопливо лазаю с тряпкой под койками. Чего мне спешить? За ними не заржавеет, выгонят завтра же. Куда деваться? К отцу за помощью — ни за что! Лучше подожду с голоду. Если вернут паспорт, так он без прописки — временная куйбышевская давно кончилась.

Опять замполит.

— Еще не кончили?

— Никак нет, товарищ майор.

— Кончайте. Жду через пять минут.

Подождет, думаю я, — теперь они мне никто не начальство.

Проходит время. Снова он.

— Почему не выполняете приказание?

— Виновата, товарищ майор. Заканчиваю.

И вот вхожу в кабинет строевым шагом, выпягиваюсь по стойке смирно

— Курсант Власова по вашему приказанию прибыл.

— Садитесь.

— Есть садиться, товарищ майор. — Сажусь на самый край стула, спину держу прямо, руки по швам.

— Давайте поговорим. Сидите вольно.

— Есть сидеть вольно, товарищ майор.

Такой команды нет. Закладываю руки за спину, ставлю ноги пошире, но спина — будто линейку проглотила. Глядит с любопытством, чуть улыбаясь.

— Ну, как вы смотрите на сегодняшнее собрание?

— Фарс, товарищ майор, только скучный.

— Как фарс, почему?

— Не могу знать, товарищ майор.

— Ну, вы мне тут Швейка не стройте. Давайте говорить по-человечески. Что думаете делать? Вы ведь из Севастополя, а там всего шесть целых домов осталось. Родные помогут?

— Нет.

— А отец?

— У меня нет отца.

— А полковник Власов?

— Не спрашивайте, если по-человечески хотите. Нет у меня отца — и все.

— Так куда пойдете?

— На любой завод, если возьмут без прописки. Куда угодно. Везде будет лучше, чем здесь.

— Почему так? Я ведь тут недавно, не совсем разобрался в обстановке. Никто правду не скажет, а вам терять нечего.

— Нечего терять? Тогда так. Здесь не образованных переводчиков, не военных интеллигентов готовят, а скотов и подонков. Никто ни разу не был в музее, в театре, на концерте. Да что там, просто на свежем воздухе не бывают, не то чтобы спортом позаниматься, передышку мозгам от зубрежки дать. Заключенных и то на прогулку выводят. У нас тут экспедиционный психоз, все друг друга ненавидят, как на зимовке. Думаю, даже в уголовном мире отношения человечней. Учебный процесс и режим построены без малейшего представления об основах педагогики, без элементарного учета человеческой психики. Отсюда кое-кому одна дорога — в дом умалишенных.

Замполит достал блокнот и стал что-то записывать. Я остановилась.

— Вы не бойтесь, что я записываю. Не бойтесь, продолжайте.

— А чего мне бояться? Я уже фактически штатский человек. Спасибо, под трибунал не отдали.

— Знаете что? Я буду ходатайствовать, чтобы вас не отчислили. Думаю, получится.

— Спасибо. Только я, правда, не знаю, что для меня хуже.

— А мы попробуем тут кое-что изменить.

Решение суда чести в исполнение приведено не было. Майора Иванова от нас убрали.

6

Стало полегче, к тому же наступила весна. Сессию сдавали досрочно, в мае: наши два английских отделения отправляли на подлодках в Англию работать переводчиками при приемке судов по лендлизу и при переходе их в Мурманск. Не взяли только меня. Да зачем все эти мучения, если не берут в дело? Я же переводить могу не хуже любого из наших парней! И оставили меня не потому, что жалели, просто живо на флоте суеверие, что женщина на корабле приносит несчастье. И вообще мы существа третьего, десятого сорта!

Клету ВИИЯКА получил здания Красных казарм в Лефортово. Помещения были дико загажены, некоторые до нас использовались под конюшни. Сначала вывозили хлам, выгребали навоз. Потом белили и красили. Девчонки отмывали после побелки сотни метров полов, очищали от краски бесконечные стекла.

К концу лета из двадцати наших курсантов четверо не вернулись. На пути в Мурманск караван разнокалиберных судов бомбили с воздуха, обстреливали с суши и с моря, торпедировали с подлодок. Один был убит, трое ранены.

Начинался новый учебный год, не суливший мне ничего хорошего, кроме третьей галочки на рукаве и сержантских лычек. И вдруг вызывает каптри. Он непривычно вежлив, приказывает сесть.

— Мы тут посмотрели ваше личное дело. У вас два курса французского. Командование приказало увеличить число изучаемых на факультете языков. Смогли бы вы учиться на третьем курсе французского? Конечно, программа не та, что в пединституте. Но вы же способный человек.

Тон, пожалуй, просительный. И вспомнил, что — человек! Бойтс отказу? Значит, могу отказаться?

Каптри разъясняет обстановку. Раз на нашем факультете нет французского, заниматься придется на армейском, оставаясь в личном составе военно-морского. Лихорадочно соображаю и делаю ход конем.

— Товарищ капитан третьего ранга! Мне жаль потерять знания, приобретенные на вверенном вам факультете, и средств, затраченных госу

дарством на мое обучение. Разрешите заниматься английским на нашем факультете и французским на армейском.

Каптри ошарашен.

— Да как вы справитесь? Занятия же идут одновременно!

Вст он, единственный шанс освободиться от факультетской каторги.

— Справлюсь, товарищ капитан третьего ранга! Разрешите свободное посещение лекций по моему усмотрению. Обещаю учиться на отлично.

Ах, какая лафа началась для меня! Не жизнь, а малина.

Порядки на армейском факультете совсем другие: три-четыре пары лекций — и гуляй! Никакой тебе обязательной самоподготовки в классе, никаких самодурств начальства с увольнительными — у каждого постоянный пропуск. Москвичи живут дома. Наряды, праеда, есть, но на каждого приходится по одному раз в две-три недели, так много здесь народу. Наряд вне очереди, а тем более губа — чрезвычайное происшествие.

На третьем курсе французского почти одни девчонки, они нормальные незатюканные студентки. Есть смешливые болтушки, есть сплетницы, даже добрые есть. Они сразу принимают меня в свой круг.

Преподаватели первоклассные, чисто военных предметов меньше. Тщательно изучаем французскую историю и литературу, более поверхностно — мировую. Одно удовольствие!

Отсидев всего три-четыре пары на обоих факультетах, остальное время провожу в институтской библиотеке. На учебную программу уходит не так много времени. От ненавистной прошлогодней зубрежки разработалась механическая память: за 10 минут запоминаю 120—150 иностранных слов или 7—8 страниц любого текста. Общий балл по всем предметам — пять.

С третьего курса нам стали выплачивать что-то вроде жалованья: тысячу рублей в месяц. Деньги невесть какие, но мы скооперировались с девицей из французской группы Мусей, добавили по 300 граммов хлеба в день и сняли крохотную комнатку рядом с институтом. Она была без мебели, совсем пустая. Муся выпросила у коменданта армейской казармы две койки с несложными деревянными креплениями, позволившими поставить их в два яруса, постельные принадлежности. Деревенская крепышка, общительная и услужливая, она каждому готова была помочь, поделиться сухарями, всегда припасенными про черный день, кусочком стирочного мыла, чистой тряпкой, нитками. Ко мне она привязалась с первого дня, и мы зажили на славу.

Замполит освободил меня от вечернего построения, теперь после обеда я могла легально уходить с территории института. Иногда гуляла по незнакомой мне Москве, заходила в музеи, бывала на концертах в Консерватории. Но все же много занималась, добывая пятерки из опасения лишиться моих льгот.

В декабре поползли слухи, что поедем на языковую практику в лагерь для военнопленных. Я не поверила: мы же «французы», что нам делать в немецком лагере? Но вот начальство велело приготовиться к отъезду. Куда, на какой срок — не полагалось спрашивать.

Мне приказали переобмундироваться в армейское, выдали гимнастерку, сапоги, серую шинель, даже ушанка была серая, а не черная, как у флотских.

Мы еще на гражданке привыкли к секретности как норме жизни: за лишний вопрос можно было поплатиться головой. А уж в нашем-то институте, где в особом спецкорпусе готовили контрразведчиков, и подавно все умели держать язык за зубами.

И вот мы трясемся в холодном автобусе с матовыми стеклами в энском направлении.

В декабре смеркается рано, прибываем куда-то в полной тьме, совсем ооченевшие. Валит снег. Нас ведут в столовую, кормят кашей, поят горячим чаем и показывают землянку, где предстоит жить.

Нагоплено, горит, мигая, электричество от движка. Подматрасники набиты соломой, койки опрятно заправлены. Согревшись под серыми солдатскими одеялами, тут же засыпаем.

Утро настало ослепительно солнечное. Умываться пришлось снегом. Только вчера выпавший, он легкий и ослепительно чистый, и мы с удовольствием растирали молодую кожу горстями колких кристалликов. Все раздумянулись и принялись подшивать к гимнастеркам свежие подворотнички...

На завтрак опять каша, но с ломтиком «улыбки Рузвельта» — так назывались консервы с яркорозовым мясным фаршем, поступавшие от американских союзников. Потом — беседа с заместителем начальника лагеря, при ней молча присутствовал худой чернявый мужчина в сером костюме и зеленой ковбойке.

— Вы находитесь под Тамбовом в лагере для военнопленных № 188. Лагерь особый, основной контингент те, кто не хочет воевать против Советского Союза. Вы будете иметь дело с французами из Эльзаса и Лотарингии. Это восточные области Франции, аннексированные фашистской Германией. Их жители и немцы — враги с давних пор, в прошлом веке между ними шла война, но немцы теперь призывают их в свою армию, и они при первой возможности сдаются нам в плен, воевать на фашистов не желают. Однако будьте бдительны. Среди них могут оказаться и засланные в наш тыл разведчики. Не отвечайте на вопросы, где служите, откуда прибыли, о положении на фронте и в тылу. Их можете спрашивать о чем хотите. Категорически запрещается передавать пленным какие-либо предметы, кроме курева и семечек. И еще раз повторяю: не забывайте о бдительности. Общаться с военнопленными будете в клубном бараке с 9.30 до 14-ти и с 15 до 19.30. Со всеми вопросами

обращайтесь к Василию Степановичу, — заместитель коменданта кивнул на мужчину в штатском, — он будет курировать вашу практику. Все.

Мы встали.

Заместитель коменданта вышел.

— Садитесь, девчата. — Василий Степанович подмигнул нам и заговорил по-свойски. — Девчонки, французы эти по полтора-два года не видели женщин, будут вам мозги пудрить. В этих делах, сами понимаете, они доки. Не вздумайте влюбляться и делать глупости. Вы советские девушки, служите в Красной Армии, а они пленные. Каждое ваше слово в лагере будет мне известно. Делайте выводы. Вот вам по пачке махры и бумага на самокрутки. Угощайте по одной только тех, с кем будете говорить, а то налетят. Вы сейчас находитесь во внешней зоне лагеря. Лейтенант Смирнов отведет вас во внутреннюю. Познакомитесь со штабом самоуправления французов. У нас тут есть еще немцы-антифашисты, итальянцы, румыны, венгры, словом, всякой твари по паре. Вас они не касаются. У них свои штаба, но клубный барак на всех один.

Нам выдали пропуска. По ним мы могли беспрепятственно входить во внутреннюю зону и выходить из внешней.

Несколько высоких рядов колочей проволоки, вышки с вооруженными солдатами в тулупах. Проходная. Вдали леса. В лагере и вокруг него много свежих пней, но оставлены и большие деревья. Огромные, занесенные снегом землянки закамуфлированы воткнутыми в снег елками. С воздуха, наверно, незаметно, да и не летают тут мессеры.

Входим со Смирновым в штабную землянку. Дневальный громко командует:

— Attention! Garde à vous.

Все вскакивают и застывают по стойке смирно.

— Вольно, — небрежно машет рукой лейтенант, — снимайте шинели, девчата, здесь тепло.

За нашими спинами встает по французу, и едва мы расстегиваем пуговицы, как шинели оказываются у них в руках и тут же вешаются на обструганную доску с аккуратно вбитыми в нее гвоздями.

Начинается короткая церемония знакомства. Начштаба зовут Жозеф. Он черноволос, черты лица четкие, правильные, крупные глаза с тяжело-ватыми веками, внезапная улыбка широкого рта. Хотя никаких знаков отличия военнопленным не положено, французы обращаются к нему «*mon capitaine*» и мгновенно выполняют его приказания. Жозеф представил нам остальных «штабистов».

Дверь землянки хлопнула. Вошел рослый светловолосый и сероглазый человек с коротким носом лет двадцати четырех. Что-то значительное было в его умном открытом лице, в вольной штатской осанке. От него исходила спокойная внутренняя сила. Сердце мое ёкнуло. Он сам представился: — Эжен Сент-Эв.

В штабе возобновилась прерванная нашим приходом работа. Дверь все время хлопала. Входили французы в зеленых немецких шинелях, в

стеганках, полушубках, в обмотках, деревянных сабо, подшитых валенках. У некоторых обувь состояла из привязанных к ногам обрезков автомобильных шин. Но двигались они легко, молодцевато. Что-то докладывали Жозефу, он отдавал распоряжения, они тут же выходили. Штабные составляли списки больных и дневальных.

Смирнов принес с собой свежую «Правду» со сводками Совинформбюро и репортажами с фронтов о доблестных подвигах Красной Армии. Спросил, кто из нас грамотно пишет по-французски, девочки указали на меня.

Оказалось, что за информационный бюллетень о ходе военных действий отвечает Сент-Эв. Смирнов увел наше отделение в клуб, а я осталась переводить сводку.

Эжен предложил поступить так: я буду переводить устно, он запишет, потом прочтет вслух, что получилось. Работа зашпорилась. Когда перевод был готов, он сел за машинку с латинским шрифтом и напечатал его под мою диктовку.

Мы передвинули флажки на двух больших самодельных картах — с нашим фронтом, где советские войска продвигались на запад, и со вторым, где союзники переместились на восток. Повесили бюллетень, в штаб тут же набилось много народу, французы столпились у сводок и карт, оживленно обсуждая военные новости.

Меня предупредили, чтобы я не оставляла «Правду» — еще прочтут, что им не положено, есть тут такие, кто понимает по-русски, и я сунула ее в свой полевой планшет, полученный вместе с армейской формой. Эжен взялся проводить *mademoiselle la sergente* в клуб. Но когда он хотел снять мою шинель с вешалки, его опередил Жозеф. Как я поняла позднее, шинель женщине тут подавал всегда старший по званию.

Мы шли по узкой тропинке, протопанной в свежем снегу, в скользких местах Эжен поддерживал меня за локоть.

Едва вошли в большую полутемную землянку, как раздалась команда дневального: *Attention! Garde a vous*. Военнопленные вскочили. Я не понимала, что это из-за меня они стоят по стойке смирно. Пауза неловко затянулась.

— *Dites: repos!* — шепнул мне на ухо Эжен. Я тихо и неуверенно повторила. Пленные стали по стойке вольно.

— *Dites rompez! Essayez-vous!* — подсказал Эжен. Все сели.

До сих пор на военной службе я только выполняла чужие команды. Но то, что я приказываю и мне подчиняются десятки солдат и офицеров, которые к тому же старше меня по возрасту, мне не понравилось: показалось чем-то деланным, неестественным.

В огромном бараке стояли столы со скамьями. Наши осваивались — угощали французов махоркой и разговаривали, кто робко, кто поуверенней.

Перед Лилей сидели человек пять и пели ей по-французски веселую песенку, которая в переводе звучит примерно так:

О юность, о юность,
Двадцать лет нам не всегда,
Проходят юности года.
Старость настанет,
И цветок увянет,
Нынче время для любви,

Цвет весны скорей сорви.
Если упустишь свой час мечты,
То горько пожалеешь ты.
О юность, о юность,
Время думать о любви.

Лиля была самой хорошенькой и женственной из нас. Высокая, ленивая, волоокая, повадки грациозно-уклончивые. Мило пела низким томным голосом русские романсы под гитару. Ей было действительно ровно двадцать, пробовала тихонько подпевать, но путала слова, они смеялись, там было весело.

Вера о чем-то вполголоса беседовала с румыном, лет уже под тридцать, по виду кадровым офицером.

Остальных развлекал венгр Буби. По-французски он говорил плохо, зато до войны работал в ресторанном оркестрике и его многоязычный эстрадный репертуар был неистощим. Из подручных итальянцев Буби соорудил ансамбль. Откуда-то появились гребенки с папиросной бумагой, свистелки, трещотки из спичечных коробков с примотанной нитками спичкой.

Но Буби сам был человек-оркестр. Цыгановатый, в непрерывном ритмичном движении, он отбивал такт ногами, барабанил ладонями по столешнице и пел на все голоса: от баса до женского контральто.

— Хотите к ним? — спросил Эжен.

— Нет. Лучше мы бы с вами побеседовали, если вы не заняты.

— Я в вашем распоряжении, *mademoiselle la sergente*.

— Меня зовут Зоя, Zoé.

Мы сели за стол в тихом углу. Я предложила махорку и бумагу. Эжен стал тщательно и медленно сооружать самокрутку. Пальцы его дрожали. Заметив, как я на них смотрю, объяснил извиняющимся голосом: шесть дней не курил. Легче шесть дней голодать.

Сунул цыгарку в рот, но не закуривал и не двигался с места. Думаю, много глаз следило за этой сценой, потому что к нам тут же подошел пленный и протянул Эжену коробок, в котором было две спички. (Наши разговоры я и дальше буду приводить по-русски.)

— Разрешите, *mademoiselle la sergente*?

— Курите, Эжен. Курите, сколько хотите.

Я протянула махорку и курительную бумагу владельцу коробка. Оторвав листок и отсыпав порцию, он поблагодарил, коротко, по-военному склонил и поднял голову, щелкнул задниками сабо и исчез.

Мы разговорились. Эжен был родом из Меца, где в старом доме остались родители и сестра. Учился в Сорбонне, собирался стать школьным учителем в деревне.

Боже мой! Такой видный, обаятельный молодой мужчина — ему бы в киноактеры! — учился в Парижском университете, чтобы стать сельским учителем? Да в задрипанном Куйбышевском пединституте уже любая пер-

вокурсница, как чумы, боялась распределения в глубинку. Парни в педагогический не шли, и до войны там училось разве что несколько инвалидов, но и они сочли бы, я думаю, назначение в деревню полным жизненным провалом. А Эжен и здесь, в лагере, все еще мечтал об этой жалкой карьере.

Так началась наша языковая практика. Моим главным собеседником стал Эжен.

Сначала говорили о французской литературе. Он был не только прекрасно образован и начитан, но еще обладал отличной памятью. Как-то исподволь приобщал меня к французской поэзии XIX—XX веков. Читал он стихи превосходно. В такие минуты к нам подходили послушать его другие французы. С тех пор я на всю жизнь полюбила Верлена, Малларме, Рембо, Валери, а через два года, на последнем курсе МГПИИЯ написала дипломную работу по самому любимому поэту Эжена — Шарлю Бодлеру.

Пробовал он мне рассказывать и о французских импрессионистах, но я не только их картин, но даже и репродукций не видела. Сталин признавал одних передвижников, и ни о каких нереалистических школах и направлениях я понятия не имела. Однако запомнила имена Ренуара, Моне, Дега, Писарро, Гогена, и когда через несколько лет их картины появились, наконец, в Музее изобразительных искусств на Волхонке, сразу пришла в восторг.

Зато о музыке говорили почти на равных. Два года в Куйбышеве, когда я три-четыре раза в неделю бывала в Большом, да еще еженедельно на концертах великолепных музыкантов в драмтеатре, много прибавили к моему севастопольскому музыкальному образованию. Эжен тоже играл на фортепьяно, мы любили одних и тех же композиторов.

Мы привыкли к новой лагерной жизни, к предупредительности и корректности наших собеседников. Но вот нам, практиканткам, пришла пора мыться. Пленные надрачили и протопили баню во внутренней зоне, нагрели воды. Василий Степанович, старавшийся наладить с нами приятельские отношения, каждой уделил из личных запасов по березовому венику, и мы отправились париться.

Дело молодое, мы весело хлестались вениками, окатывали друг друга из шаек попеременно то горячей, то ледяной водой.

И вдруг я замерла, а потом завизжала с перепугу. К длинному окошку под потолком были приплюснуты носы, и десятки горящих мужских глаз следили за каждым нашим движением.

— Ты чего, Зойка? Только сейчас заметила? — насмешливо спросила Вера. Я кинулась за простыней завесить окошко.

— Да брось ты! Не убудет тебя. Мне вот этих ребят жалко. Пусть побалдеют, — урезонивала меня Лилька. Я наспех домылась и оделась.

На другой день в клубе глаз от стыда не могла поднять. Неужели кто-то из этих мужчин видел вчера меня голой? Но все шло, как обычно.

Мало-помалу мы с Эженом стали говорить не только о литературе и искусстве. Я рассказывала ему о моем еще недавно прекрасном, а теперь

разрушенном Севастополе, о школьных учителях, друзьях, о нашей семье. Он жадно слушал.

Сент-Эв был прирожденным педагогом. Он любил меня учить, придумывал оригинальные, запоминающиеся объяснения знакомых, но безжизненных правил грамматики. Я изо всех сил старалась, и Эжен радовался моим успехам. Я погрузилась в стихию этого прекрасного языка, иногда даже ловила себя на том, что думаю по-французски.

Эжен вспоминал свой Мец, отца, мать, сестру, увлекательно рассказывал о детстве, о родовитой, но обедневшей семье, в которой многие становились потомственными учителями. Когда я ему поведала похожую историю моей бабушки Софьи Александровны, он спросил:

— А почему бы и вам после войны не стать учительницей французского и английского? Учить детей! Лучшая профессия на свете!

И я впервые подумала: и правда, почему бы нет?

Однажды, рассказывая историю Меца, Эжен прочел стихотворение о родном городе.

— А кто автор? — спросила я. Он покраснел и не ответил.

— Вы? — Он смущенно кивнул.

— Я так и думала, что вы пишете стихи. Я ведь тоже пишу, Эжен. Почитайте, пожалуйста, еще что-нибудь.

— Нет, Зоэ.

— Эжен, я вас прошу.

— Не просите. У меня есть невеста. Стихи о ней. О нас.

У меня перехватило горло, и все же, справившись, я весело сказала:

— Вот и прекрасно! Мне больше всего нравятся стихи о любви.

— Как вы не понимаете! Я два года ничего не знаю о ней. Жива ли, ждет ли еще меня? Это предательство — все эти наши разговоры, да еще читать стихи об Элен другой девушке, которая... Простите, *mademoiselle la sergente*, я должен идти.

Он встал, поклонился, шелкнул каблуками и вышел.

С того дня Эжен стал избегать меня. Теперь ежедневную сводку военных действий выпускал со мной другой военнопленный. Я была подавлена, думала только о нем и вскоре допустила в работе грубую ошибку. По-французски «на восток» — «à l'est», «на запад» — «à l'ouest», при произношении разница в одном звуке. Я перепутала, и получилось, что союзнические войска, на деле успешно продвигавшиеся на восток в сторону Эльзаса и Лотарингии, внезапно отступили на запад.

В лагере жили нашими сводками. Они несли надежду на скорое освобождение родины, на победу, на возвращение домой. И вдруг союзники терпят поражение! Пленные заволновались. Сверили с русским текстом, слава Богу, ошибка.

Все, кто был в штабе в этот момент, вдруг поднялись, стали как бы выше ростом и вдохновенно запели (вот перевод этой песни Вильмера, псевдоним Жермена Жирара, и Анри Назе. Она стала народной после франко-прусской войны):

До встречи, Франция! Надежда свята.
В прощальный час она в сердцах у нас.
Об избавлении от супостата,
О будущем мы молимся сейчас.

На наших стенах реют их знамена,
И кажется, что в трауре наш флаг.
О, Франция! Ты помнишь поименно
Своих детей, polegших на полях?

Ни Лотарингии не взять вам, ни Эльзаса.
Французами мы встретим свой конец.
Не будет родина немецкою ни часа —
Ведь наших вам не покорить сердец!

Но на следующий день в штабе ждал другой помощник, уже третий. Того арестовали за саботаж. Я кинулась к Жозефу, рассказала, что ошибка моя, я вечно путаю l'est и l'ouest, но он ничего поделывать не мог.

Пулей помчалась к начальнику лагеря. Он совещался с интендантом. Я отпихнула дежурного офицера, преградившего мне путь, и ворвалась в кабинет.

Выслушав мои горячечные объяснения, майор нахмурился. Отменять приказ об отдаче под суд моего несчастного помощника ему не хотелось.

— Французы тут болеют, случается и умирают. Жаль, конечно. Может, его и оправдают. Ну, в крайнем случае одним будет меньше. А допущенная вами ошибка может иметь политические последствия и для командования лагеря, и для вас лично, сержант. Забудьте об этом.

— Нет, товарищ майор! Виновата я, мне и нести ответственность. Пусть лучше меня расстреляют.

Майор внимательно посмотрел на меня и неожиданно улыбнулся.

— Ну, ладно, замнем. Идите!

В клубной землянке Эжен больше не появлялся... Я разговаривала с земледельцами и металлё (рабочими металлургических заводов), с виноделами и вогезскими пастухами. Они показывали фотографии жен, матерей, детей, с нежностью рассказывали о них. Поражала природная деликатность этих в общем-то не слишком образованных людей. Никто из них не садился, не вставал, не закуривал, без разрешения, они были приветливы и непринужденно услужливы.

8

Я давно чувствовала на себе пристальные взгляды из итальянского угла. Наконец владелец этих страстных очей уллучил минутку, когда я осталась за столом одна, и решительно направился ко мне.

Я его и раньше замечала среди Лилиных почитателей. На этот раз он почему-то был в шегольском офицерском мундире, чисто выбрит, черные

волосы маслянисто блестели. Это придавало ему слегка опереточный вид. Итальянец заговорил по-русски:

- Винченцо Корелли, коммунисто. Можно вас спрашивать, синьорина?
- Смотря о чем.
- Parlate italiano?
- Увы, нет. Итальянского я не знаю.
- Вы скажаль — увы. Хотите учиться по-итальянски? Могу помогать.
- Как?

Винченцо вытащил из кармана итальянскую газетку советского производства. Мы сели рядом, и он принялся учить меня читать. Это был мой четвертый иностранный язык, и дело быстро пошло на лад. К тому же для русского человека итальянское произношение не представляет особых трудностей.

Через четверть часа я уже попробовала переводить. Сама удивлялась, почему все понимаю. Хотя все было просто: у итальянских и французских слов много общих корней, а содержание статьи повторяло то, что печаталось в «Правде» и «Известиях», по которым мы составляли французский информационный бюллетень.

— Почему вы скажаль, что не знает по-итальянски? — спросил Винченцо.

- Первый раз держу в руках итальянский текст.
- Непрада. Так не может быть.

Я вспыхнула:

— Уходите немедленно. И не смейте ко мне подходить!

— Простите, синьорина. Просто удивилась.

— Следующий раз принесите текст потруднее. Здесь все, как в русских газетах.

На другой день Винченцо пришел с итальянским изданием Нового Завета.

— Коммунист и Библия?

— Простите, синьорина. Другой книга не нашель.

Маленький формат и мелкий шрифт вынуждали нас сидеть плечом к плечу. Винченцо стал прижиматься ко мне. Пришлось его одернуть. Но я впервые в жизни видела Священное Писание! Да и понимать этот текст было несравненно труднее — масса незнакомых слов. Я увлеклась.

Из итальянского угла явно за нами следили. А с Винченцо сползала маска опереточного героя. Держаться он стал проще и естественней.

Его отец был крупным фабрикантом, у семьи Корелли имелась и поместья, и доходные дома. Винченцо учился в католическом колледже, где царил строгая дисциплина. Да и отец был суров нравом. Проча сына в свои преемники и в наследники большого состояния, твердо решил дать ему юридическое образование. Непоседливый, шалый юноша перелез ночью монастырскую стену и был таков.

Исколесив всю страну и пол-Европы, пристроился в Риме продавать коммунистическую газету, увлекся марксистскими идеями, познакомился

с журналистами, сам стал пописывать. И тут фашизм, к власти приходит Муссолини. Дальше он путался, я так и не поняла, где он выучил русский, как и на каких ролях попал в этот лагерь. Уж не завербовала ли его наша контрразведка?

Через неделю Винченцо признался, что познакомился со мной на пари: взялся вскружить голову и добиться поцелуев — будто бы в уединенном месте, а на деле при тайных свидетелях. А вот теперь рад, что проиграл.

Как-то в ожидании Винченцо я разбирала Евангелие от Матфея. Вера шепталась со своим румыном. Буби пел девочкам сочиненную им грустную песенку про синюю комнату в деревянном домике, где далеко-далеко от него будет жить его любимая с другим — везучим парнем. Этой любимой была, разумеется, Лиля. В песенке чередовались французские, итальянские, английские куплеты.

Вдруг в землянку вошел Эжен, которого я не видела уже дней десять. Он направился мимо меня к столу, где его друзья оформляли не то рождественскую, не то новогоднюю газету.

— Эжен, почему вы меня избегаете? — остановила я его. Люди вокруг глядели на нас и прислушивались.

— Тихо. Я скоро подойду, — шепнул он.

Да, но с минуту на минуту явится Винченцо! Что делать? Я заметалась, руки теребили Новый Завет. И вдруг взгляд упал на строчки, которые сразу сами собой перевелись: «И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». Я ухватилась за эти слова, как за протянутую руку, и мысленно обратилась ими к Кому-то уже по-русски. И вдруг сразу успокоилась.

Пришел Винченцо, сверкнул невеселой белозубой улыбкой, извинился за опоздание: навещал умирающего друга-француза в больничном бараке.

— Что с ним? Почему он умирает?

— *Perche*? Здесь каждый день умирать сто люди, больше.

— Но почему, почему, Винченцо?

— Голодный, холодный, грязный, эпидемии. Ностальджия.

— Но я ничего такого не вижу! В штабе, в клубе все хоть и худые, но здоровые, бодрые.

— Элитарии. Специальный люди для показать. Кушать корошо, жить теплый дом.

— Но ведь эти французы наши друзья! Они отказались воевать против нас. Ничего не понимаю! И как вы не боитесь мне это рассказывать?

Винченцо разжал ладонь. На ней лежала какая-то черная штукovina.

— Что это?

— Микрофон. Под столом. Тут снял утром. Я тебе верю. Я был коммунист. До Россия. До этот лагерь. Теперь не знаю, как жить, как верить.

К нам подошел Эжен. Винченцо тут же поднялся и присоединился к свем. Сент-Эв, не садясь, громко сказал:

— Мадмузель Зоэ, от имени своих друзей имею честь пригласить вас отпраздновать с нами завтра вечером Рождественский сочельник. Если согласны, я приду за вами сюда в семь часов вечера.

— Могу я пригласить подругу? Если начальство разрешит нам.

— Конечно, мадмузель. Но все же лучше, если вы придете одна. Для ваших друзей Буби устроит концерт в клубе.

И в это мгновение погасло электричество. Настала полная тьма. Эжен сел рядом, нашел мою руку и прижал к губам. Он бережно целовал палец за пальцем и гладил моей ладонью свое лицо. Я почувствовала рукой его слезы. Эжен прижался дрожащими губами к моему уху:

— Придет день, я тебя найду. Даже если ты выйдешь замуж. Скажи адрес.

— Москва, улица Арбат, 57, комната 803. Он повторил за мной.

— Найду.

— А твоя невеста?

— Если Элен ждет меня, я на ней женюсь. Все эти дни я боролся с собой и с тобой. Слишком много препятствий между нами. Сейчас я могу обещать тебе только одно: если буду жив, найду тебя.

Зажигались спички, какие-то самодельные светильники. Эжен отодвинулся, но пальцы наши на скамье оставались сплетенными. Мигнуло и тут же погасло электричество. Эжен пересел на скамью по другую сторону стола. Когда лампочки зажглись окончательно, он уже читал мне длинное стихотворение Виктора Гюго.

На утренней пятиминутке я доложила начальству о приглашении на Рождественский сочельник. Заместитель начальника лагеря и Василий Степанович переглянулись.

— Какой барак?

— Двадцать восьмой.

Они снова посмотрели друг на друга, и замкоменданта сказал:

— Не возражаю. Но с пустыми руками в гости не ходят. Получите на складе полкило карамели и литр спирта. Вернуться можете в 24.30.

Василий Степанович вынул из внутреннего кармана пиджака деньги.

— Сходите на рынок при станции Рада, купите побольше курева, семечек, ну, чего достанете.

Зам вышел, Василий Степанович задержал меня.

— Мы уважаем религиозные убеждения военнопленных и в их праздники к ним не ходим. Вы первый представитель нашей армии, кого они пригласили сами. Присмотритесь к настроениям, прислушайтесь к разговорам. Завтра доложите.

Как же, разбежался, подумала я, но ответила с полной готовностью:

— Есть, Василий Степанович!

В условленный час я пришла в клуб с авоськой, полной газетных свертков.

Ночь была лунная, свежавывающий снег празднично искрился на опущенных слях. Мы с Эженом спустились по обледенелым ступеням в

его землянку. В углу тюфяки с нижних нар были убраны на верхние. В крестовине стояла небольшая аккуратная елочка, украшенная самодельными ангелочками и гномиками, крохотными домиками с окошками, в которые выглядывали хорошенькие дети и старушки в чепчиках. Под елкой стоял Санга Клаус. Сбоку от елки расположился миниатюрный вертеп: ясли с Младенцем, Мария и Иосиф на коленях, за ними бык и ослик. Все это было искусно вылеплено из глины и раскрашено. По другую сторону елочки было укреплено свежесрезанное деревянное распятие.

На чистой бумаге пленные разложили угощение: мелкие черные сухарики, посыпанные солью, и кусочки рафинада. На железной печке в манерках закипало какое-то варево.

Я развернула свои дары. Несколько карамелек в цветных обертках были повешены на елку, плитка шоколада разломлена на ровные доли, а из серебряной фольги сложена звездочка и укреплена на макушке елки. Восторг у собравшихся вызвали две пачки папирос «Казбек» и литровка медицинского спирта. Буханку черного хлеба разрезали на тонкие ломтики и смазали сгущенкой. Большую парафиновую свечу бережно разделили на части и один обрезок зажгли перед распятием.

В разных концах барака вокруг елочек собрались, как семьи, небольшие землячества. Друзья Эжена поделились с ними кусочками свечи и спиртом.

Наконец с приготовлениями было покончено. Все уселись на нары, для меня поставили табурет. Настала тишина. Что-то сказали по-латыни, и все опустили на колени. Насколько я поняла, читался наизусть текст из Евангелия о Рождестве Христовом.

Лица французов были сосредоточены и благоговейно устремлены на Младенца в яслях. Вдруг все встали и вполголоса прочли *Pater Noster*. Потом негромко запели. Глаза их светились, у некоторых по впалым зеленоватым щекам катились слезы. Эжен пел со всеми. Я впервые видела, как люди молятся. Не понимая толком, что происходит, невольно погрузилась в эту атмосферу надежды и веры. Все мое сострадание, сочувствие, все сердце было с ними. Они находились в плену у нас, но были свободней, духовно богаче нас, подневольных безбожников.

Молитва кончилась. По кругу пустили до блеска намытый граненый стакан со щербинкой, в который налили разбавленный спирт. Каждый отпивал глоток и закусывал сухариком. Когда я передала стакан Эжену, он, глядя мне в глаза, отпил точно из того места, где была щербинка, и я пригубила спирт.

До полуночи оставалось время, и Эжен повел меня погулять по лагерю. Светила луна, земля соперничала голубизной с небом. Мне казалось, что мы идем по воздуху, а звезды спустились и кружатся вокруг нас совсем близко, рукой подать. В ушах продолжало звучать молитвенное пение, в которое вплетались то мелодия «*Stille Nacht*», доносившаяся из немецкого барака, то «*Ave Maria*» — из итальянского. Мне хотелось идти по этому

вспыхивающему цветными огоньками снегу, держась за руки с Эженом, всегда, всю жизнь...

Мы заходили то в один, то в другой барак — у Эжена всюду были друзья. А потом мы спустились в лазарет поздравить больных и подарить им обрезок свечи. В Рождественскую ночь даже здесь царила особая торжественность. И сюда кто-то принес елку с игрушками и самодельное распятие. Люди, похожие на скелеты, тихо лежали и ждали смерти со светлыми лицами. Один брат милосердия поил их противцинготным хвойным отваром — единственным, как я поняла, здешним лекарством. Другой читал молитву по только что усопшему.

Здесь было очень холодно, хотя и горел огонь в маленькой печурке. На следующий день я спрошу краснощекую толстую врачуху об этом больничном бараке, и она скажет:

— Что я могу поделать? Они умирают от ностальгии. Не хотят жить — и все! Не всякая птица может жить в клетке. Не каждый выживает в плену. И с лекарствами, ясное дело, плохо, и с питанием неважно. Все идет на фронт. Война ведь.

Ответ ее был, конечно, лукав. Знаю, что в лагере случались самоубийства, и не так уж редко. Но те, кто попадал в больничный барак, были практически обречены. Их почти не кормили, не лечили, помещение едва отапливалось.

Настроение после больнички резко упало. Я решила не возвращаться к друзьям Эжена в двадцать восьмой барак. Этих людей лучше было оставить сегодня одних с их праздником, тоской по дому и недоступной мне верой.

Мы постояли с Эженом, держась за руки. Я ушла в нашу пустую в этот час землянку.

Утром после пятиминутки меня задержал Василий Степанович.

— Ну, что там было? Рассказывайте.

— Да скучища, Василий Степанович. Детские елочки, поют чего-то непонятное. Молятся. Я рано ушла.

— Да, вы прошли через проходную в 22.15. А жаль. Ну, ладно, идите.

После Рождества начались приготовления к Новому Году. Готовился большой праздничный концерт. В штабах и столовой шли репетиции, на которые пленные нас решительно не допускали. Клуб тоже был занят: среди французов нашелся театральный художник, и он мастерил там из ничего, как до нас доходило, диковинные декорации. Мы томилась ожиданием.

Как раз в это время в лагерь доставили английского военного летчика. Союзник в лагере для военнопленных! По слухам, его сбили в нашем тылу и после короткого следствия привезли сюда, еще не решили, что с ним делать.

Я одна тут говорила по-английски, и девочки уговорили меня познакомиться с летчиком, который раскрашивал декорации в клубе, а заодно и разведать, что там происходит.

Стив был хмур, держался высокомерно и замкнуто. Но услышав родную речь, смягчился. Он оказался выходцем из состоятельной шотландской семьи. У него был собственный спортивный самолет, он много летал на нем, поэтому его взяли в авиацию. Попал в наш тыл на истребителе, сбившись с курса в первом же своем ночном полете. Так ли это было на самом деле, не знаю. Нам удалось поговорить только один раз. Через несколько дней Стив исчез из лагеря бесследно.

Наконец настал новогодний вечер. Клуб был неузнаваем: появились сцена, занавес, кулисы, ряды скамей, впереди поставили стулья.

Наши офицеры пришли полупьяные, многие с дамами и, развязно развалившись в первых рядах, задымили папиросами. Я даже не знала, что в лагере столько начальства. Несколько рядов скамей заняли советские солдаты. Для штабистов мест почти не осталось, они стояли сзади и в проходах вместе с участниками лагерной самодеятельности.

Концерт долго не начинали, ждали начальника лагеря. Наконец он явился и сел в середину первого ряда.

На сцену выпорхнул подвижной развеселый конферансье — в настоящем фраке! Только ботинки его просили каши. Легко и быстро жестикулируя, он заговорил по-итальянски. Ничего подобного я никогда не слышала: речь его, совершенно мне непонятная, была завораживающей музыкой, хотелось, чтобы она длилась и длилась. На другой день я спросила Винченцо, почему говор вчерашнего конферансье так отличается от уже привычной мне итальянской интонации. Оказалось, это тосканский диалект, славящийся на всю Италию своей красотой.

Раздвинулся занавес, и перед нами предстали два хорошеньких домика с балкончиками. В синем холсте светилась круглая луна. На одном балконе сидел щуплый бледный Пьеро с бровями треугольником и грустно вздыхал на луну. На другой выпорхнула рослая Коломбина в розовой пачке и тоненько запела:

*En clair de la lune
Mon ami Pierro...*

Потом они обменялись воздушными поцелуями, сбежали вниз, исполнили душещипательную пантомиму, спели куплеты, потанцевали, и наконец Коломбина сунула дрыгающего ногами Пьеро под мышку и унесла за кулисы. Сделать ей это было нетрудно, поскольку все женские роли в концерте исполнялись, разумеется, мужчинами. Зал хохотал, свистел, топал ногами.

Итальянская капелла спела несколько неаполитанских песен и на бис:

Mamma son tanto felice...

Занавес задернулся, а когда открылся, на веревке висели зеленые полулитровые бутылки, по-разному налитые водой: одни больше, другие меньше. Ударяя по ним металлическими палочками, Буби виртуозно исполнил отрывок из Второй венгерской рапсодии Листа. Офицеры громко восторгались: «Ну, цыган, во дает!» — и мешали слушать.

Квартет немцев сыграл на двух шестигранных ручных гармониках и двух губных «Форель» Шуберта. Публика заскучала.

Дело поправил дуэт румынских чечеточников в белых рубашках и черных галстуках-бабочках. Они старательно работали ногами, а под конец стали на руки и постучали в воздухе друг другу по подошвам. Начальство оглушительно орало: браво!! Бис!!!

Посреди всего этого веселья меня охватила смертная тоска. Пьяное мордатое офицерье благополучно отсиживается в тылу, а мой брат Сережа опять в полевой разведке, и его ученую рыжую голову на туловище баскетбольного роста опять высматривает где-то в тылу врага немецкий снайпер. А эти-то несчастные! Изю всех сил веселят своих охранников! Перед моими глазами возник барак с еле живыми скелетами и накрытый простыней покойник, над которым брат милосердия читает зауспокойную молитву.

Многие ли из пленных вернутся на родину? Винченцо сказал: каждый день сто человек и больше. Кто из этих, еще живых, не увидит ждущих их матерей, жен, детей, невест?.. Невест... Передо мной возникло прекрасное, измученное лицо незнакомой девушки — Элен! Она ждет Эжена. Его невозможно не любить. И он по праву принадлежит ей. Слезы залили мне лицо. Я тихонько встала и вышла из клуба.

9

Остальное помню смутно. Эжена я избегала, и он сам перестал показываться мне на глаза.

Перед отъездом наши постоянные собеседники подарили девочкам школьные тетрадки с рисунками, нотами и словами французских песенок, которые они так часто нам пели. Кто-то вручил и мне такую тетрадку, шепнув: «от Эжена».

На розовой обложке был нарисован длинноволосый пианист во фраке за роялем. На первой странице тщательно выписано большими буквами:

**Souvenir
de
La petite
oasis française
du camp 188***

Начинался сборничек Марсельезой, после названия гимна стоял огромный восклицательный знак. Он как бы утверждал: хоть немцы и аннексировали наш родной Эльзас, нашу милую Лотарингию, но мы были, есть и будем французами, это наш гимн! Тут же были изображены

* На память о маленьком французском оазисе лагеря 188.

сине-бело-красный флаг, ружье и барабан. Затем следовало двенадцать песен о разном: о родине, о Париже, о разлуке с любимой.

Прощаясь с пленными Лиля и Муся плакали, остальные крепились. Не помню дату отъезда. Но поскольку мы пропустили зимнюю сессию и сдавали ее после всех отдельно, значит, вернулись в Москву, вернее всего, в конце января.

Вскоре в Институте появился Василий Степанович, передал нам приветы от наших друзей из лагеря.

Любезный Василий Степанович предложил нам купить альбомчики и цветные карандаши: французы хотят написать для нас песни и сделать рисунки на хорошей бумаге, а не в школьных тетрадках. Я спросила, можно ли передать еще тетрадь для словарика военного жаргона с переводом на литературный французский. Он разрешил даже послать папиросы, шоколад и записку без конверта. В официальной этой записочке я нечаянно употребила вместо французского *colis* (посылка) английское *parcel* (посылка). Но по-французски *parcelle* значит «частица», «крошка».

Недели через две-три я получила словарь и альбом, исписанный круглым разборчивым почерком Эжена.

На этот раз альбом состоял из двух частей: «Песни для вас», куда входило 19 песен и два гимна — Советского Союза (по-французски) и Марсельеза, а также «Стихи» — восемь стихотворений французских поэтов. Между разделами Эжен нарисовал уголок Меца. Я так поняла, что тут изображен дом Сент-Эвов, находившийся, как рассказывал Эжен, у моста через реку напротив собора. В альбомчике было много других рисунков, выполненных его твердой, уверенной рукой.

И вот среди стихотворений известных поэтов мое внимание привлекло одно, над которым стояло имя Франсуа Мориака.

Эти «радостные крохи» *parcelles de joie*, убедили меня, что стихи написал Эжен. Так хотелось в это верить! Вот перевод этого стихотворения:

МОЛЬБА

Я хочу хоть дружбы твоей,
О любви я не смею мечтать, —
Тихо шепчу я тебе,
Чтоб только не рассердить.

Я нищий, который следит,
Не закрылось ли сердце твое.
Я хочу, чтоб жалела ты,
Что меня не могла любить...

И пусть провидит мой взор
Лишь безнадежный мрак,
Бедное сердце мое
Алчет радостных крох.

Слеза, даже плач навзрыд
Благи, когда от тебя.
Желая моей любви,
Ты вечность даруешь мне.

Очень скоро нас вызвали к начальнику ВИИЯКА генералу Биязи. Василий Степанович не солгал: многое из того, что происходило между нами и военнопленными, становилось ему известно. Однако генерал предпочел отечески пожуричь наивных девчонок. Очень ему нужен был скандал с контрразведкой! Да и им не хотелось подмачивать репутацию института, кузницы их кадров. Отчислили одну Веру, но и то нашли какой-то безобидный предлог, никак не связанный с лагерем под Тамбовом, что-то вроде пропуска лекций. Вера была странная и загадочная девушка. На смуглом лице с персиковым румянцем, когда она поднимала опущенные ресницы, влажно мерцали большие еврейские глаза. По-французски говорила, как по-русски, но писала с ошибками. На вопросы, откуда так знает язык, не отвечала. Отличная память, мгновенная реакция — и скрытность. В марте я ее навестила.

Она уже училась в пединституте, радовалась, что так легко отделалась. Скрытная Вера вдруг разоткровенничалась. Подробно рассказала, как готовила побег офицера румынской контрразведки, в которого без памяти влюбилась.

Муся тогда простудилась, лежала в нашей землянке и не выходила даже в столовую. Вера собиралась передать ее форму своему другу, а тот вышел бы в ней во внешнюю зону и вместе с Верой отправился бы на рынок при станции Рада, куда мы с разрешения начальства часто ходили за махоркой и семечками.

Она уже успела обменять там свое московское платье на деревенские штаны, стеганку и треух и припрятала все это у дороги. Румын должен был переодеться и добраться в таком виде до юга, а там перейти фронт.

Из всех этих грандиозных планов осуществился один: румыны вырубил свет в клубе, и влюбленные целых десять минут целовались в темноте. Как раз в тот момент, когда Эжен пригласил меня на Рождественский сочельник и, по счастью, не успел уйти.

Побег сорвала Муська, вздумавшая на следующее утро выздороветь и надеть форму.

Однако о замысле побега Василий Степанович что-то пронюхал, но далеко не все, иначе бы Бере не одобровать. Что случилось с ее другом, Вера не знала, горячо надеялась, что как-то вывернулся.

Жизнь вошла в свою колею: занятия на обоих факультетах, зачеты, дневальства, строевая подготовка.

В конце апреля сорок пятого меня снова вызвали к генералу Биязи. Предстояло ехать в Будапешт в качестве военного переводчика и служить там в Дунайском военно-транспортном управлении. Мне присвоили

младшего лейтенанта, опять переделали в армейское, и в мае я выехала в Венгрию. Но это уже другая история.

Через полгода вернулась в ВИИЯКА. Опять пошла экзаменационная гонка из-за пропущенной летней сессии. Мама приехала из Куйбышева и помирила нас с отцом.

Наступил сорок шестой, шла массовая демобилизация. На военноморском факультете я была единственным курсантом-офицером, да еще женщиной, и всем мозолила глаза своими погонами. По уставу при входе офицера в помещение рядовым полагалось вставать по стойке смирно, при встрече — приветствовать, и все это должны были проделывать те самые сержанты и старшины, которые чуть не два года цукали меня. Все сложилось так нелепо потому, что на флоте воинские звания присваивались медленней, чем в армии, а я была какая-то не такая, полуфлотская-полуармейская.

Каптри Иванов предупредил о предстоящей демобилизации. В ожидании ее папа послал меня подправить здоровье в кисловодский военноморской санаторий.

Когда я вернулась, отец повел меня погулять по арбатским переулочкам и там рассказал, что в мое отсутствие какой-то тип привез мне письмо. Отец вскрыл его. Письмо было от итальянца, он писал, что их отправляют теплоходом домой. Звал меня в Одессу. А дальше шел какой-то бред: меня погрузят в специальном ящике в трюм, он ночью будет выпускать меня, а когда прибудем в Италию, тут же повенчаемся. Он помирится со своим отцом, и мы будем жить на вилле на берегу Адриатического моря.

Ах, почему Винченцо не написал это глупое письмо по-итальянски! Отец был перепуган и раздражен. Да как я посмела! Ничего подобного от своей дочери он не ожидал! Да стань эта история известной кому не следует, плохо кончилось бы для всей семьи! Все это папа кричал шепотом. Письмо он сразу сжег.

Он никак не мог успокоиться, пришлось переключить его внимание на мой кисловодский роман с капитаном третьего ранга Маслениковым.

За неделю до государственных экзаменов меня демобилизовали со всеми моими пятерками без диплома.

10

Дальше жизнь шла своими сложными непредсказуемыми зигзагами. Про Эжена я вспоминала со смесью грусти, нежности и обиды. Ведь еще целых 18 лет прожила я по тому арбатскому адресу, который дала ему в лагере. И ни весточки! Хоть бы открытку прислал!

Почему-то десятилетиями снился раз в несколько месяцев один и тот же архитектурный, так сказать, сон. Уголок старинного города. Я уже знаю тут каждый дом, каждый переулок. Помню, где сворачивать, чтобы выйти на берег реки с книжными развалами. Иногда во сне роюсь там в книгах, нахожу что-то удивительное. Наяву я никогда не была во Франции, но

почему-то мне кажется, что этот городской район на самом деле существует в точно таком виде и как-то связан с Эженом.

Сейчас мне идет восьмой десяток, к весне я устаю от уроков английского и французского, которые даю уже больше сорока лет. Иногда езжу на выходные передохнуть и что-нибудь пописать в Переделкинский дом творчества.

В одну из таких поездок в апреле 1996 года единственным моим соседом по столу оказался писатель Валерий Петрович Аушев. Мы здоровались, желали друг другу приятного аппетита, и этим наше общение ограничивалось.

В понедельник завтракаю в последний раз, в три у меня уже начинаются уроки в Москве. Аушев поднимает на меня вполне дружелюбные, вполне голубые глаза и со смущенной улыбкой говорит:

— Не повезло вам с соседом. Такой неразговорчивый тип попался. Извините меня.

— Ну, что вы, — говорю я, — видно же, что вы работаете, даже когда едите.

— Вы угадали. Не могу отключиться.

— А что вы пишете?

— Сценарий о лагере для французских военнопленных под Тамбовом. Ужасная история. К концу войны их было там десять тысяч человек. На родину отправили полторы, а остальным приказали готовиться к отъезду. Счастливых, веселых, с вещами отправили в Потьму и по дороге где-то всех уничтожили. Восемь с половиной тысяч! Настоящая французская Катынь...

До меня не сразу дошло, а когда дошло, потемнело в глазах.

Милые мои французы с их фотографиями мам, жен, детей, любимых! Помилуй их всех, Господи! Дорогой мой Эжен Сент-Эв, мечтавший стать сельским учителем! Такой молодой, такой красивый! Стыдно признаться, но к пронзительной боли, жалости, гневу примешалось что-то, похожее на облегчение: я думала, ты забыл, а ты просто не смог меня разыскать. Кто знает, может ты и умер с моим именем на губах? Господи, прости и помилуй каждого, каждого из них! Упокой их бедные души! Все поименно!

Ненавижу! Ненавижу тот сатанинско-фашистский строй, его бессмысленную потребность уничтожать все, на него не похожее!

А Аушев продолжал:

— Французы сделали уже два документальных фильма, а наши молчат. Теперь задумали снять франко-русский художественно-документальный фильм. Там и любовь должна быть. Вот и мучаюсь теперь над сценарием. Нет живых свидетелей. Местные жители до сих пор боятся об этом говорить. Да и мало кто из них был там, внутри лагеря.

— Я была, — сказала я Аушеву.

**«НЕТ ВЛАСТИ АЩЕ НЕ ОТ БОГА»:
13-я глава Послания к Римлянам
и государственная власть**

Первые семь стихов 13-й главы Послания к Римлянам почти безоговорочно считались протестантскими богословами основой христианского учения о государстве, пока государство не стало нацистским. Нацизм лишил богословов сна. Казалось, что Рим. 13, 1—7 недвусмысленнейшим образом признает гражданское правительство установлением Божественным, которому христиане должны повиноваться как законному повелителю, не только из страха перед наказанием со стороны государства, но из сознательного желания помочь государству наказывать делающих зло и поощрять делающих добро. Католическое и протестантское богословие слишком долго считало само собой разумеющимся соединение государства и христианства, установившееся на многие века, начиная с правления Константина Великого. Именно в этом контексте эти слова стали миниатюрной конституцией, вдохновлявшей и христиан-правителей (которым прилично было наказывать злых и поощрять добрых), и христиан-управляемых (которые повиновались не за страх, а за совесть). Меч, который обнажает государство, стоящее на столь высоких словах, словно исклю-

Джон ЙОДЕР — американский меннонит, один из ведущих современных богословов Запада. В 1949—57 гг. он работал в Центральном меннонитском комитете помощи жертвам войны, в 1959—65 гг. в Меннонитском миссионерском центре, в 1965—84 гг. преподавал в Гошенской духовной семинарии. Он часто представляет меннонитов на межхристианских встречах, а с 1985 г. по настоящее время преподает в католическом университете Нотр Дам. Всемирную известность ему принесла книга «Политика Иисуса», вышедшая в 1972 г. (печатаемая статья, опубликованная в 1967 г., вошла в этот труд в качестве 10-й главы). Несколько книг Йодера посвящены обоснованию христианского отношения к войне («Может ли война быть справедливой», Аугсбург, 1984; «Он пришел с миром», Скотдейл, 1985), причем он сумел сделать характерное для меннонитов неприятие войны понятным для христиан других конфессий.

чается из сферы заповеди «не убий». Можно было вообразить некоторые пограничные ситуации (правительство начинает несправедливую войну, или правительство просит своих подданных совершить грех). Но в христианском мире такие казусы казались редкостью, так что никому не приходило в голову требовать точного разграничения нормы и отклонений от нее. Определение казалось соответствующим природе любого государства, но прежде всего оно относилось к христианским государствам Европы и Америки.

Новозаветная наука давно уже отказалась от плоского взгляда на государство как Божественное установление, существенное для структуры мироздания; но сам взгляд-то существует в протестантском систематическом богословии и этике, составляя отличительную черту богословски консервативного протестантизма. Вот почему необходимо последовательно и доказательно оспорить то, что многими людьми до сих пор считается само собой разумеющимся, используя результаты научного анализа этого текста¹. Нужно даже пойти на риск упрощения ради того, чтобы прояснить спорные места. Я позволю себе четко обозначить, какое традиционное утверждение я считаю самым спорным и собираюсь опровергнуть: будто любая власть есть установленный Богом элемент благого мироздания и потому имеет право носить меч, а христианин обязан повиноваться государству, что в итоге создает нравственный долг христианина одобрять законные убийства, совершаемые государством (смертную казнь, войну), и участвовать в них, несмотря на то, что учение Христа или Его пример по видимости обязывают его к совершенно другому. Я буду анализировать текст апостола Павла не всесторонне, а именно как источник, на котором основывается эта традиция.

1. Рим. 13, 1—7 — не самое главное место Нового Завета, поскольку речь идет о проблеме государственной власти.

Евангельское учение недвусмысленно говорит о том, что власть государства есть часть более широкого явления: суверенной власти Сатаны. Ярче всего это выражено в рассказе об искушениях Христа в пустыне: Иисус не ствечает на предложение Сатаны принять власть над всеми народами. Если взглянуть на Евангелие с этой точки зрения, то все его тексты предстанут в совершенно новом свете.

Современному человеку такое утверждение покажется диким уже потому, что оно осуждает и власть, основанную на принципах гуманизма и прогресса, да и потому, что эту позицию часто доводят до крайности Свидетели Иеговы. Никто, однако, не сможет отрицать, что в Библии эта

¹ Изучение древнейшей рукописной традиции дает основание предполагать, что следует читать «все власти». В таком случае, однако, речь всё же идет именно о римской власти, не о какой-либо другой, только в различных ветвях и представителях этой власти.

точка зрения присутствует и что Церковь апостольских времен и ближайших последующих поколений эту точку зрения разделяла. С этой точки зрения очень важно помнить, что Рим. 13 написано о языческой власти. Эта власть в лучшем случае признавалась реальной, но не было и речи о том, что данное государство соответствует воле Божией или что Провидение несет ответственность за появление конкретного властителя.

Апостолы считали, что победа Христа над властями и начальствами включает в себя победу и над государством. К такому выводу пришли Хендрик Беркхоф и Дж. Кэрд. Рим. 13 предлагает нам не глядеть на государство как на нечто неизменное, существующее с момента творения мира. Апостол советует подумать о динамичном процессе, который связан со спасительным подвигом Христа, в котором отражаются усилия Бога спасти человека, усилия, выходящие даже за пределы Церкви. Особенно важно помнить о такой, более широкой перспективе при анализе текста Рим. 13, поскольку здесь используется термин «власти»². Обычно люди воспринимают этот текст как не связанный с другими посланиями апостола, но он употребляет слово «власти» не только здесь, так что не следует априорно полагать, будто это место можно понять, не сравнивая с другими. Оскар Кульман считал, что отношение Нового Завета к государству наиболее понятно именно в контексте христологии и космологии.

В Апокалипсисе (особенно в 13-й главе) власть рисуется в образах, которые более всего схожи с образом, данным в наиболее ранних новозаветных текстах. «Власти» изображены как преследователи истинно верующих; так же изображены они в среде, которая, как полагают ученые, была общей для Петра и Иакова. Ниже мы вернемся к проблеме соотношения между Откр. 13 и Рим. 13. Пока достаточно отметить, что их сравнение обнаруживает более сложное и не однозначно одобрительное отношение Церкви к властям, нежели то, которое *традиционно* формули-

² Термин «власти» (*exousiae*) в Рим. 13, 1 может иметь, как утверждают Беркхоф и Кэрд, подчеркнуто космический смысл. Этого же мнения вслед за К. Шмидтом придерживается О. Кульман. Этот текст похож на другие тем, что здесь слово появляется во множественном числе и, возможно, с прибавлением слова «все». От других текстов он отличается отсутствием шлейфа из синонимов (правители, престолы, ангелы, начальства...) и отсутствием прямого упоминания о Христе. Возможно, потому, что здесь слово «власти» обозначает непосредственных носителей власти. В остальных местах Нового Завета, если слово употребляется во множественном числе, оно имеет преимущественно космологический смысл. Единственное число допускает оба понимания. Роберт Моргентхалер («*Rome — Sedes Satanse*») подтверждает мнение Оскара Кульмана о том, что слово *exousia* имеет политический смысл, детально анализируя употребление этого термина Лукой. Спор ученых по этому вопросу имеет большое значение, поскольку он связан с проблемой «властей» и «подчинения» (ср. *The Politics of Jesus*, главы 8 и 9), но для темы данной статьи он несуществен.

ругуют толкователи Рим. 13. Так что в принципе уже ясно, что отношение протестантской политико-нравственной мысли к этому тексту как самому важному, своего рода конституции, определяющей отношение к политике, далеко не бесспорно.

2. Главы 12 и 13 являются единой по смыслу частью Рим. Поэтому Рим. 13, 1—7 нельзя понять вне их контекста.

Глава 12 начинается призывом «не сообразоваться с веком сим», основанном на напоминании о милосердии Божиим. Преображение жизни выражается, прежде всего, в качественно новых отношениях внутри христианской общины и, коль скоро речь идет о врагах христиан, в новом отношении к страданию. В 13, 8—10 апостол вновь обращается к теме любви. В этом контексте было бы ошибкой воспринимать 13, 1—7 иначе как часть учения о любви, готовой к страданиям и к служению. Ни текстуальный анализ, ни известные разночтения, ни стилистический анализ не дают оснований предполагать, что здесь в связный текст вставлен обособленный отрывок, посвященный особой проблеме.

Начало этого раздела текста (12, 1) крепко связывает ход мысли с темой предыдущего раздела Рим. — благодеяния Божии. Эти благодеяния включают в себя незаслуженное призвание язычников к новой жизни в Боге (главы 1—5), незаслуженное обновление Духом даже «плоти» (главы 6—8), продолжающаяся незаслуженная забота Бога об искуплении народа Израиля (главы 9—11). Текст, следующий за рассматриваемым отрывком (13: 11—14), обращается к будущему в надежде на спасение, причем эта надежда посторонняя и исторична: «ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». Подводя итог, апостол пишет о том, что забота о «неможных братьях» должна приобрести совершенно новое качество (14, 1 — 15, 21), что необходимо собирать денежные и духовные ресурсы, чтобы поддерживать друг друга (15, 26—29) и Павла (15, 22—25, 30—33). Таким образом, текст в целом считает, что христиане, верующие в победоносное шествие Бога от благодеяний прошлого к торжествующему будущему, должны «не сообразоваться с веком сим» и любить, даже страдая. Поэтому любое толкование 13, 1—7, делающее его выражением статичного или консервативного обоснования существующего общественного строя, является отказом от серьезного отношения к контексту. Чтобы воспринять текст как единое целое, мы должны понимать его как рассказ о благодеяниях Божиих, побеждающих враждебность мира через создание общины, вплоть до таких мелочей, как сбор пожертвований и поддержка миссионеров. В противном случае текст превратится в сборник разрозненных поучений.

Текст Рим. 13, 1—7 связан с предшествующим и последующим текстами не только общим смыслом, но и общим словоупотреблением. Мы будем подробнее говорить о том, что 13, 8 начинается с буквальной ассоциации с 13, 7. Оскар Кульман и другие ученые отметили, что повиновение властям (13, 1) обосновывается и подчеркивается в 13, 11—14 учением о надежде.

Стих 10 выявляет смысл стиха 8 и дает определение «добра», упомянутого в стихе 3 и определяющего поведение христиан в отношении правительства.

Павел исключительно детально и диалектично разбирает проблему соотношения мести и гнева. Он просит христиан (12, 19) не мстить, но оставить месть Богу и гневу. Апостол далее признает, что власти (13,4) исполняют определенную функцию, которую христиане должны оставить Богу. Не может быть, чтобы эти два стиха, использующие одну и ту же терминологию, следовало читать независимо друг от друга. Сопоставление показывает, что функция правительства не есть функция, которую могут выполнять христиане. Бесконечный Бог может в одно и то же время осуществлять Свою волю и через страдания Своих верующих последователей, воздающих добром за зло, и через гневное возмездие властей, которые воздают за зло злом. С человеческой точки зрения, это не взаимодополняющие, а противоречащие друг другу способы осуществления воли Божией. Бог же может в соответствии со Своей волей, через Свое высшее Провидение, попустить существование идолопоклоннической Ассирии и даже использовать Ассирию в Своих целях (Ис. 10), может поступить так же и с Римом. Бог использует в Своих целях разрушительные действия, совершаемые языческой властью. Но Бог не говорит, что эти действия — благо с нравственной точки зрения, что соучастие в этих действиях допустимо для народа, участвующего в Завете с Ним. Бог обращает человеческий гнев к Своей славе (Пс. 75, 11), и это подтверждает тот факт, что Провидение может использовать человеческое бунтарство, но не подтверждает, что Провидение одобряет его. Если бы утверждения 12,19 и 13, 4 находились в разных посланиях, мы могли бы и не уловить связи между ними. Тогда можно было бы утверждать, что запрет мести в 12,19 вовсе не исключает участия христиан в мщении, описанном в 13,4. Можно было бы сказать, что термины употреблены в совершенно разных контекстах и имеют разное значение. Но мы имеем дело с единым контекстом, в котором логика рассуждения разворачивается очень последовательно, употребляются одни и те же термины, и поэтому наиболее вероятно такое понимание текста, что «месть» или «гнев», находящиеся под Божественным контролем, это те же самые месть и гнев, которые Бог запрещает христианам.

3. Подчинение, к которому призваны христиане, признает любую существующую власть, принимает любую наличную систему господства. Текст не утверждает, вопреки традиционному толкованию, что Бог устанавливает или благословляет конкретную форму правления.

Слова «существующие власти от Бога установлены» можно понимать так, что если какая-либо власть существует, это означает, что она была установлена Богом, что Бог совершил определенный провиденциальный акт, который дал этой власти существование. Таким образом, правитель-

ство признается плодом Божественного откровения. События, которые привели то или иное правительство к власти, признаются промыслительными по своей сути. Если Германия оказалась под властью Адольфа Гитлера, это означает, что его правительство было «установлено Богом». События, благодаря которым Гитлер пришел к власти, являются откровением, данным немецкому народу в его истории, и благодаря этим событиям немцы должны знать, что они являются подданными власти Гитлера и должны считать его дело благословенным свыше. Концепцию, согласно которой всякое конкретное правительство является законным уже потому, что оно существует, мы можем назвать «позитивистской». Многие лютеране в прошлом были склонны разделять именно эту концепцию. Конечно, не обязательно было доходить до признания законности Гитлера. Но важно, что богословская структура этой концепции позволяет ей дойти столь далеко, что ничто внутри такой богословской системы не сопротивляется этому признанию. Все действительное есть действительно воля Божия. Когда мы видим существующее, мы видим, чего Бог хочет от нас. Эта позиция, разумеется, была сильно дискредитирована теми формами, в которые она отлилась в гитлеровской Германии. Но это не мешает ей оставаться живой в народном благочестии и патриотизме.

Слабость «позитивистского» взгляда заключается в том, что текст Послания к Римлянам не содержит положительной нравственной оценки существования конкретного правительства, не говорит ничего конкретного о человеке, которому довелось стать кесарем, о том, какую политику он должен проводить.

Другое толкование слова «установлены», противоположное позитивистскому и на уровне логики, и на уровне истории, присуще кальвинистской традиции. Мы можем назвать этот взгляд «нормативным». Его разделяли самые разные люди, от Ульриха Цвингли и Кромвеля до Карла Барта и Эмиля Брюннера. Бог «установил» не конкретную власть, а концепцию власти, само представление о необходимости власти. До тех пор, пока конкретная власть соблюдает определенный минимум требований к власти, она может считаться установленной Богом. Власть, однако, может уклониться от адекватного исполнения функций, которые ей заповеданы Богом, и в этом случае она теряет свою «властность», свой авторитет. Тогда христианин обязан говорить о том, что власть стала несправедливой, что против нее следует поднять восстание. Христиане как граждане могут оказаться перед необходимостью восстать против власти, не потому что они против власти как таковой, а потому что они за *достойную* власть. Концепция справедливого восстания, в которой проповедник восстания является не революционером, а защитником нравственного долга подняться против несправедливой власти во имя власти справедливой, коренится в учении Ульриха Цвингли. Второе поколение протестантов, поколение Кальвина, разработало эту концепцию в деталях, для того чтобы обосновать поведение французских гугенотов в отношении к власти. Эта же концепция вдохновляла Джона Нокса и Кромвеля, вдохновляла революцию в Америке, а в наши дни ее последовательно

реализовывали некоторые богословы-интернационалисты, которые обосновывали необходимость борьбы стран Латинской Америки и Африки против американского и западноевропейского империализма.

Эта концепция непротиворечива. Кто имеет право решать, насколько плоха власть, может ли она еще считаться делающей благо? Насколько слабость человеческой природы может оправдать отклонения от идеальной нормы? В какой момент власть перестает быть действительно властью? Но самый крупный дефект этой концепции заключается в том, что в тексте Рим. 13 нет ничего, чтобы оправдало справедливое восстание. В этом тексте совершенно отсутствует всякий намек на то, что государство должно иметь право называться государством, что во имя идеального государства человек имеет право восставать и пытаться свергнуть уже имеющееся в реальности государство. Для социального контекста, к которому адресовался Павел — то есть для иудеохристиан, живших в Риме, — текст имел совершенно обратное значение: у христиан нет права восставать против этой развращенной языческой власти или хотя бы эмоционально ее отвергать. Здесь нет определения теоретической «достойной власти», которая бы противопоставлялось какой-то иной, «реальной» власти, достойной осуждения и свержения³.

Очень часто «нормативный» или «легитимистский» взгляд выражается в противопоставлении Рим. 13 (хорошая власть) и Откр. 13 (плохая власть, которая обожествляет себя и потому заслуживает отпора). Христиане-де должны прежде всего выяснить, с каким государством они имеют дело, и либо поддержать его (если это упорядоченное государство римлян), или противостоять ему (если это сатанинское государство Откровения). Ни в том, ни в другом тексте такой взгляд не находит подтверждения; оба текста призывают повиноваться всяким властям.

Если и позитивистское, и нормативистское толкования текста насилуют его смысл, как же понимать текст? Апостол выносит не метафизическое, а нравственное суждение. Он говорит о ситуации, в которой в тот момент находились римские христиане, ситуации, типичной для всех христиан, живших в империи, и не говорит о природе политической реальности, не описывает, каким должно быть идеальное устройство общества.

³ Здесь я употребляю слово «восстание» в общепринятом смысле насильственного бунта. Конечно, можно дать слову «восстание» другое определение, как всякого несогласия с законностью правительства, necessarily связанного с насилием или с созданием альтернативного правительства. Даже если принять такой смысл слова «восстание», мы всё равно останемся с противопоставлением хорошей власти, которую христиане должны благословлять, и плохих властей, которым они должны противостоять. Данный же текст говорит, что христиане должны либо восставать против всякой власти, либо повиноваться всякой власти; ведь «повиновение» само по себе есть христианская форма восстания. Повиновение есть способ соучаствовать в Божьем снисхождении к той системе, которую Бог и мы, в принципе, отвергаем.

Павел не утверждает, что Бог «сотворил», «учредил» или «освятил» существующие власти. Сказано только, что Бог «установил» их — употреблен глагол, означающий «приводить в порядок». Бог как Самодержец указал властям их место в этом мире, в иерархии мироздания. Текст не следует понимать так, что было время, когда властей не было, и вот Бог создал власти путем творческого вмешательства в действительность; иерархичность, авторитет, власть существовали с момента появления человеческого общества. С момента грехопадения осуществление этой власти влечет за собой господство, неуважение достоинства человека, реальное или потенциальное насилие. Не следует понимать «установление» власти в смысле нравственного одобрения Богом всего, что власть делает. Сержант не рожал солдат, которых он обучает, библиотекарь не писал книг, которые он описывает и ставит на полки, он даже не обязательно одобряет содержания всех этих книг. Точно так же Бог не берет на Себя ответственность за существование незаконных «существующих властей», за то, кем провозглашают себя эти власти. Они уже существуют сами по себе. Текст говорит другое: Бог упорядочивает это существование, выстраивает власти в определенную линию, Своим попусшением делает так, что власти совершают нечто, соответствующее Его цели.

Это справедливо по отношению к любой власти. Это утверждение и фактическое, и юридическое. Оно приложимо и к власти диктатора и тирана, и к власти конституционной демократии. В сущности, оно приложимо и к власти бандита или завоевателя, насколько эти персоны могут реально и независимо от других контролировать поведение людей.

Бог устанавливает и упорядочивает власти, но это не говорит нам ничего нового о том, чем должна быть власть или как следует относиться к власти. Всякое данное правительство не имеет от Бога доверенности на управление, не будет спасено для вечной жизни, не является средством осуществления воли Божией. Бог лишь встраивает власти в космический порядок, использует их. Власть установлена, но это не означает, что члены правительства являются собой идеал человеческого поведения. Как мы уже заметили, библиотекарь не всегда одобряет содержания книги, которую он ставит на полку; Бог не одобряет жестокости и насилия, которые Ассирия обрушила на Израиль (Ис. 10).

Для евреев-христиан, живших в Риме, страдавших от государственного антисемитизма и от растущего тоталитаризма имперской власти, непосредственным смыслом этого текста был призыв воздержаться от всяких мыслей о восстании или уклонении от подчинения. Это призыв к отказу от сопротивления перед лицом тиранического правительства⁴. Таков

⁴ Под «отказом от сопротивления» подразумевается не уступчивость злу, не согласие служить злу, но то, о чем говорил Павел в Рим. 12, 7, о чем Христос говорил в Мф. 5, 39, — готовность пострадать из-за отказа от возмездия. Непротивление злу не исключает возможность противостоять злу какими-то иными способами, помимо мести.

конкретный и прямой смысл текста. Как же странно, что из него сделали классическое доказательство тезиса о том, что христиане обязаны убивать.

4. Павел учит римлян повиноваться властям, на которые они не имели возможности влиять. Текст не может означать, что христиане призваны к военной или полицейской службе.

Рим не требовал от покоренных им народов военной или полицейской службы. Несение такой службы было либо наследственной профессией, либо привилегией граждан Рима. Не существовало всеобщей воинской повинности. Большинство первых христиан были рабами или евреями. То и другое означало, что они не несут тех обязанностей, которые несли римские граждане. Власть требовала от своих подданных исполнения определенных функций, но в эти функции не входило участие в «несении меча» властью. Стихи 3—4 описывают лишь те функции, к участию в которых христиане не могли быть призваны. Стихи 6—7 перечисляют «должностные обязанности» власти, причем именно те, к исполнению которых не могли быть привлечены христиане.

Это наблюдение относится не только к сути текста, но и к политической ситуации той эпохи. Поэтому нельзя расширять значение текста и без дополнительных доказательств утверждать, что он требует от христиан участия во всех функциях власти, которые та во всякую эпоху может изобрести для своих подданных. Особенно неуместным буквализмом было бы, основываясь на этом тексте и словах стиха 5 «надо повиноваться», требовать от христиан безоговорочного принятия современной системы паспортизации и учета населения.

5. Христиане должны повиноваться тем, кто «носит меч», но под «несением меча» подразумеваются судебные и полицейские функции, а не смертная казнь или война.

Меч («*machaira*») есть символ судебной власти. Меч не был оружием палача, потому что римляне казнили преступников через распятие. Меч не был и оружием солдата, воевали особым оружием с длинным клинком, носившим особое название. Меч был скорее символом власти, нежели оружием, подобно пистолету у регулировщика уличного движения или шпате, которую носят по сей день в торжественных случаях швейцарские государственные служащие. Это не означает, что римская власть была беззубой или что это оружие никогда не пускалось в ход. Меч, однако, символизировал, что данная власть управляет своими подданными через насилие. Он не символизировал казни уголовных преступников, не символизировал агрессии по отношению к другим народам. В то время Рим не вел массированного военного завоевания окружающих народов. Фактически просто не существовало «соседних наций», с которыми Рим мог бы вести

«настоящую» войну. Отдельные пограничные стычки и конфликты являлись скорее полицейской деятельностью по поддержанию порядка, нежели войной.

Различие между полицией и армией важно не только для того, чтобы понять, насколько в данном месте Павел одобряет использование силы, сколько людей он считает допустимым убить или скольким дать разрешение на убийство. Это различие имеет глубочайшее структурное значение в социологическом смысле, определяя сам характер обращения к силе. Полиция использует насилие или угрозу насилия лишь для того, чтобы противостоять стороне, нарушающей закон. Использование силы полицией должно находиться под контролем высших властей. Офицер полиции использует силу в пределах государства, законодательство которого знает даже преступник, причем преступник знает, что закон относится и к нему. Во всякой упорядоченной полицейской системе есть специальные чины, которые должны следить за тем, чтобы сила полиции не обращалась против невиновных. Власть полиции обычно достаточно велика, чтобы подавить всякого нарушителя правопорядка таким образом, чтобы сопротивление с его стороны было бессмысленным.

Война принципиально отличается от полицейской активности во всех этих отношениях. Учение о «справедливой войне» есть попытка распространить на войну логику ограниченного насилия полицейской власти — но вряд ли эту попытку можно признать очень успешной. В мировоззрении, на котором основано представление о «справедливой войне», есть своя логика, а вот реализма очень мало. В самом лучшем случае, Рим. 13 можно использовать для размышлений о войне лишь в очень узком смысле, если речь будет идти об очень ограниченной операции, четко соответствующей жестким ограничениям всех классических критериев, определяющих понятие «справедливой войны». Чем честнее мы будем в попытках определить и соблюсти эти критерии, тем яснее мы увидим, что, коль скоро речь идет не об абстрактных войнах, а о реальных или известных нам из истории, о войнах, которые могут вестись, любой из известных нам властей или даже властью, какую только мы можем вообразить себе, невозможно честно говорить о том, что Рим. 13 оправдывает даже эти военные действия.

б. Христианин, подчиняясь власти, сохраняет нравственную независимость и способность к суждениям. Власть правительства не может сама себя оправдывать. Всякая власть установлена Богом; текст, однако, не утверждает, что всё, что власть делает или требует от своих подданных, есть благо.

А. Власти — «Божии служители, сим самым постоянно занятые» (Рим. 13, б). В чем грамматическое значение слов «постоянно занятые» («*proskarterountes*»)? Большинство переводов рассматривают эту греческую частицу как простой предикат: «Власти суть служители Божии и они заняты именно этой функцией (воздаяния добром за добро и злом за зло)».

Но такая грамматическая форма вовсе не является самой вероятной в данной конструкции. Частица, скорее, является модифицирующей формой предшествующего предиката. В таком случае мы должны читать: «Власти суть служители Божии *в той степени*, в которой они заняты», или «*когда* они посвящают себя», или «*тем*, что они посвящают себя» исполнению предписанных функций. Наиболее прямой смысл данной формы является ограничительным: «Власти суть служители Божии *лишь в той степени*, в которой они выполняют свои функции»; можно понять этот оборот и как утвердительное заявление: «Власти суть служители Божии *благодаря тому*, что они посвящают себя» на это служение. В любом случае, какой бы из оттенков смысла ни имел в виду Павел, выражение в целом означает, что есть критерий, которым может оцениваться поведение властей. В соответствии с контекстом, мы не можем судить, может ли конкретная власть лишиться законного статуса, а мы получить право и обязанность восстать против нее. Не можем мы судить, является ли данная власть установленной Богом, потому что всякая власть установлена Богом. Всякие существующие власти упорядочиваются Богом, и христиане должны повиноваться им всем. Но мы можем судить о том, в какой степени власти исполняют свое служение, спрашивая конкретно, насколько последовательно (Павел употребляет причастие настоящего времени) они воздают добрым и злым в соответствии с их поступками. Выражение «Божий слуга, тебе на добро» (Рим. 13, 4) — это критерий, а не описание.

До сих пор мы читали стих 6 так, как если бы традиционное толкование в целом было бы истинным. Но есть еще две трудности в истолковании текста, и внимательное исследование каждой из них еще более удаляет нас от традиционного понимания.

Глагол *proskartereo* обычно не соединяется с существительным в винительном падеже. Этот глагол может выступать без существительного вовсе, либо с существительным в дательном падеже. Чаще всего этот глагол встречается в новозаветном выражении, которое употреблено в Деян. 1, 14; 6, 4; Кол. 4, 2; Рим. 12:12 и которое означает постоянство в молитве. Но из этого следует, что данное предложение не может означать подтверждения сказанному о властях: «они посвящают себя этому самому», потому что «это самое» стоит в винительном падеже и потому глагол не может относиться к данному существительному. Глагол должен относиться к обороту «они суть служители». Следовательно, необходимо переводить это место как: «они суть служители Божии для данной цели, посвящая себя этому служению постоянно». В такой конструкции еще более вероятно, что частица имеет смысл наречия, но не определения. Это соображение поддерживает именно ту схему перевода, которая была предложена выше.

Самая большая сложность, однако, заключается в том, что не совсем ясно, к чему, собственно, относится оборот «есть Божий слуга» (Рим. 13, 4). [В оригинале выражение дано во множественном числе — «суть Божии

слуги» — *Прим. пер.*] Переводчики обычно считают, что «начальствующие», упомянутые в стихе 3, и «власти», упомянутые в стихах 1 и 3, как-то смешаны друг с другом в одно грамматическое целое, которое может быть то ли женского рода единственного числа, то ли мужского рода множественного числа, но значение при этом сохраняется одно и то же. Но это очень странный способ не замечать значения рода и числа для перевода. Следовало бы спросить конкретно: какое существительное множественного числа является подлежащим для сказуемого «суть Божии слуги»? Последнее существительное множественного числа, связанное с управлением, встречающееся до этого места, есть слово «начальствующие» в стихе 3, но оно очень уж далеко отстоит от сказуемого, чтобы быть его подлежащим. Вот почему некоторые серьезные ученые, включая М. Дибелиуса, предположили, что «Божии слуги» и есть искомое подлежащее. Тогда перевод звучит так: «Божии слуги поставлены для этой цели (насколько они ее выполняют)». В таком случае, мы должны сделать выбор между двумя значениями слова «слуги». В разговорном греческом языке той эпохи термин «leitourgoi» относился к правительственным чиновникам, обычно к тем, которые собирали налоги. Поскольку предшествующая фраза говорит о необходимости добровольно уплачивать налоги, следовало (вместе с Дибелиусом) перейти к разговору о правительственных чиновниках, которые служат Богу, собирая налоги; тогда текст означает: «Сборщики налогов существуют для этой именно цели, когда они ревнуют о ней». Но в Библии это слово обычно употребляется (как и синонимичное «диакон») по отношению к священнику или христианину, «служащему» Богу в богослужении и жертве. В тексте нет ничего, показывающего, что Павел под «служителями Божиими» понимал не христиан. Такое понимание тоже вполне соответствует контексту: христиане должны повиноваться властям по совести; христиане платят налоги, поскольку христиане тоже являются служителями Божиими и потому посвящают себя воздаянию за добро и зло.

Все грамматические истолкования этого места носят только предположительный характер. Понимание сути Рим. 13, 1-7 не зависит от того, какую из предложенных гипотез мы сочтем верной. Эскурс в грамматику, однако, позволяет нам преодолеть то наивное чувство самоочевидности, которое может возникнуть у человека, читающего этот текст в традиционном переводе и понимающего его как очень простое утверждение: всякая власть, что бы она ни делала, служит Богу и потому всё, что она делает, есть служение, в котором должны участвовать и христиане.

Следует заметить, что слова «добро» и «зло» в данном случае нельзя понимать в каком-то широком историческом смысле; апостол вовсе не намеревался давать оценку демократии или интересам той или иной нации. Служение добру есть служение «тебе», то есть его следует измерять благосостоянием каждого конкретного подданного (а не общества в целом).

В. Как бы ни истолковывать значение слова *proskarterountes* в стихе 6, как бы ни понимать объект, на который это слово налагает определенное

ограничение, стих 7 совершенно ясно показывает, в чем суть ограничения. Слова «отдавайте всякому должное» в принципе не могут означать «отдавайте всё правительству». Обычно этот текст толкуют как список четырех видов вещей, которые следует отдавать правительству: налоги, платежи, страх и честь. Такое понимание очень распространено. Однако это понимание обесмысливает предыдущее приглашение не отдавать ничего безусловно и без разбора, воздавать каждому правительственному чиновнику то, что следует ему. Поэтому есть серьезные основания слышать в этом тексте, как предлагают Кульман и Крэнфилд, отзвук слова Спасителя. «Отдавайте всякому должное» означает отдавать кесарю кесарево, а Богу Богово. Налоги, платежи, может быть, и честь следует отдавать кесарю. Но страх следует отдавать Богу.

Апостол вновь объясняет нам критерии, определяющие наше отношение к властям. Он учит отказывать властям в определенных разновидностях «чести» или «страха». В провиденциальных планах Божиих власти занимают не такое место, чтобы мы просто повиновались всему, что они приказывают. Ограничение прав власти, содержащееся в стихе 7, еще сильнее выражено в стихе 8. И в греческом оригинале слова «должное» (ст. 7) и «должными» (ст. 8) являются однокоренными. (Это совпадение, кстати, является существенным аргументом против тех, кто считает, что стихи 1—7 являются чужеродной вставкой в главы 12—13.) Стих 7 просит отдавать каждому должное, стих 8 говорит, что только любовь является тем, что мы должны каждому. Таким образом, притязания кесаря следует измерять тем, является ли требуемое им частью долга любви. Любовь, в свою очередь, определяется в ст. 10 тем, что она «не делает ближнему зла». В этом контексте становится немислимо утверждать, что повиновение, о котором идет речь в стихах 1—7, может включать нравственный долг при определенных обстоятельствах причинять другим вред по указаниям правительства.

Повеление, заключенное в стихе 13, 1, вовсе не случайно не говорит о буквальном *послушании*. В греческом языке есть слова, точно обозначающие послушание в смысле полного подчинения воли и дел желаниям другого. Павел, однако, призывает к повиновению, используя глагол с тем же корнем, что и слово «установленные» (о властях). Такое повиновение существенно отличается от послушания. Остается в повиновении у властей (даже если не слушается их) человек, который сознательно отказывается исполнять требования правительства, но пребывает под властью данного правительства и принимает наказания, которые оно на него налагает, — например, христианин, который отказывается приносить жертву кесарю, но все же разрешает кесарю приговорить себя к смерти за этот отказ.

Такое повиновение предписывается и поощряется, исходя не из расчетов, как лучше выжить, но исходя из «милосердия Божия» (12,1) или из «совести» (13, 5). Но как совесть может приказывать повиноваться? Если мы повинемся не потому, что Бог сотворил власти, то почему? Если мы посмотрим, почему повиновение предписывается рабу (1 Петр. 2, 13 и далее, 19 и далее), жене и детям (Еф. 5, 21 и далее; Кол. 3, 18 и далее),

то увидим, что причина в том, что Сам Иисус Христос повиновался и смирился (Фил. 2,5 и далее). Готовность к страданию есть, таким образом, не просто испытание нашего терпения или бессодержательное ожидание. Это участие в том страдании и терпении, которое Бог проявил по отношению к восставшим против Него силам творения, чтобы победить их. Мы повинемся правительству, потому что именно через подобное повиновение Иисус принес откровение о Божией победе и достиг этой победы.

Заключение

Цель этого очерка состояла не в том, чтобы полностью рассмотреть все проблемы, связанные с обсуждаемым текстом, но только в противостоянии наиболее распространенному толкованию, которое на этом тексте основывает учение о том, что повиновение властям означает для христиан и обязанность участвовать в войне. В рамках этой традиции, которая господствовала в христианстве со времен императора Константина, Рим. 13, 1—7 и подобные тексты противоречили 5 главе Евангелия от Матфея. Об этом противоречии говорили и протестанты, и католики, богословы консервативные и либеральные. Эти же богословы разрешали это противоречие, заявляя, что предписания Рим. 13 занимают первое место в общественной жизни христианина, а предписания Мф. 5 — в сфере его личного существования. После этого уже совсем легко ударить толкованием по собеседнику и заявить, что пацифист есть человек, который ставит личное впереди общественного, предпочитая Иисуса Павлу или эсхатологию ответственности.

Некоторые пацифисты соглашались с таким толкованием и все же утверждают, что личная верность важнее социальной ответственности. При этом забывают, что постконстантиновское понимание проблемы логично, только если полагать, что Мф. 5 противоречит Рим. 13. Если бы это было так, и то стоило бы по некоторым причинам оставаться на стороне Иисуса, а не на стороне Павла, предпочитать эсхатологию, а не ответственность. Выше, однако, была сделана попытка показать, что сама предпосылка не выдерживает критики. В Новом Завете вовсе не содержится двух противоречивых повелений, между которыми мы вынуждены делать выбор: повиноваться властям, с одной стороны, любить врага, с другой. 12—13 главы Послания к Римлянам и 5—7 главы Евангелия от Матфея вовсе не противостоят и не противоречат друг другу. *Оба* этих текста учат христиан не сопротивляться злу как в личной жизни, так и в общественной. *Оба* призывают учеников Иисуса не участвовать в борьбе самолюбий, которую мир называет «возмездием» или «справедливостью». *Оба* призывают христиан уважать исторический процесс, по ходу которого меч продолжает обнажаться и вносит некоторый порядок в хаос, оставаться подданными носящих этот меч, но не соединять с обнажением меча свое служение — служение примирения.

ХРИСТИАНСТВО И «СЕКСУАЛЬНЫЙ ВОПРОС»

Вряд ли будет преувеличением сказать, что так называемый «сексуальный вопрос» волнует каждого человека. Ему посвящено множество медицинских, психологических и философских исследований. В XX столетии эта тема у многих на устах; интимное перестало быть таковым и выставлено напоказ. Вспоминается, как в конце 80-х годов некая женщина во время телемоста с США произнесла фразу, ставшую «исторической»: «У нас в СССР секса нет!» Сегодня, судя по сообщениям печати, то ли отражающей реальную ситуацию, то ли провоцирующей молодежь на «свободную любовь», у нас присутствует всё разнообразие сексуальных отношений. Сексопатологи и психологи пытаются помочь людям разного возраста в решении их проблем, но при этом часто исходный пункт их научного мировоззрения состоит из причудливого соединения двух утверждений:

1. всё, что естественно, всё, что «задумано природой», то и прекрасно, то и приемлемо между людьми в меру договоренности;

2. как следует из Фрейда, всякое состояние и всякое стремление духа человеческого, в том числе и религиозность, определяется степенью его половой удовлетворенности.

Возникла своеобразная мифологическая схема истории половой морали:

Первобытная беспорядочность отношений.

Древнее язычество (естественное, раскрепощенное, не знающее «надуманных норм»).

«Мрачное» средневековье (Церковь подавляет любовный инстинкт).

Возрождение (попытка вернуться к языческой свободе).

Пуританизм тоталитарных систем (СССР, Германия и др.).

«Высвобождение» секса (сексуальная революция).

Секулярный мир обвиняет христианство в ханжеской морали и в негативном отношении к естественным половым проявлениям. Автор «Энциклопедии половой жизни» (Нью-Йорк, 1976) Харгинс даже называет

**Свящ. Лев
ШИХЛЯРОВ**

— родился в 1964 году в г. Тбилиси. Окончил Тбилисскую физматшколу, Московский энергетический институт, Московскую Духовную академию. Настоятель храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы, преподаватель Российского Православного университета. Живет в Сергиево-Посадском районе.

христианство «религией импотентов» и ставит человечеству в пример «естественность» и многообразие форм половой жизни современных отсталых племен Африки и Индонезии. С другой стороны, в сознании многих людей христианское отношение к полу отождествляется с древней браконенавистнической ересью, толкующей грехопадение Адама и Евы как их первую телесную близость. В. Розанов, любивший Православие, тем не менее упрекал Церковь в богословской непоследовательности, ибо она освящает брак (в том числе и его телесную сторону) и в то же время презирает интимные отношения, всячески ограничивая их и сводя их смысл к зачатию детей.

Что же может сегодня на это ответить Православная Церковь? Некоторые считают, что по всем проблемам современности у нас уже имеется наперед заданное учение древних Отцов Церкви. Но на самом деле святые учителя Церкви разных эпох стремились к единству только в суждениях по самому узкому кругу важнейших вопросов христианского учения: догматов, Символа веры, осознания спасительного дела Господа Иисуса, Его богочеловеческой Личности, что составляло так называемое «согласие Отцов»; по остальным же вопросам — начиная от устройства человеческого организма и до трактовки последних судеб мира — наличествуют разнообразие и даже противоречия; и Церковь оставляла это право за своими чадами, выбирая из крайностей средний, «царский», путь. Конкретные проблемы сексуальной жизни не могут разрешаться Церковью на уровне соборных постановлений, и православный христианин действует по своему молитвенному усмотрению и совету духовника. Поэтому в данной работе на вопросы, поставленные современностью, отвечает не Церковь — отвечает автор, но автор является членом Церкви.

I. Древние религии и половые символы

Когда современный человек читает в древних религиозных мифах о том, что Афродита вышла из пены морской, образованной от оскопления бога Кроноса, о «любовных интрижках» громовержца Зевса, о «пастушеских забавах» Кришны, когда он видит изображения известного храма в Индии, росписи греческих амфор или финикийские барельефы, духовная жизнь древних людей предстает пред ним как увиденная на небесах и соответственно спроецированная в земной жизни непрекращающаяся сексуальная оргия, в которую вовлечены боги, духи, люди и животные. У иных это вызывает отвращение, у иных — восторг (так, В. Розанов восторгался древнеегипетским изображением пастуха, соединяющегося с овечкой, как свидетельством близости к природе, естественности и неиспорченности), но чаще всего — иронию. Однако факты повсеместной распространенности в древнем мире религиозно-сексуальной символики нуждаются в осмыслении.

Попробуем обратить свой взор к «детству» человечества. Ребенок чувствует Бога сердцем больше, чем умом, он чист душой и чрезвычайно

доверчив, он меньше взрослого чувствует свою выделенность из природы и часто с одинаковым интересом относится к механической игрушке, к живому зверьку, к новому человеку. Подобно этому и древний человек живо ощущал реальность Бога-Творца, Отца, также и «братство» с живой и неживой природой, но имея менее развитое сознание, выражал свои внутренние переживания через простые и наглядные символы.

Веру в воскресение после смерти могло символизировать зерно, сгнивающее в земле и прорастающее в «новую жизнь». Божию мощь и способность к оплодотворению мог изображать бык или медведь. Прочность Божьего миропорядка — гигантский камень. Ум, ловкость, «ласку» Божества — звери семейства кошачьих. Духовный полет, стремление в Царство неба — птицеголовые и крылатые боги. Но, естественно, человек обращался и к самому себе и в себе пытался найти яркий символ Бога, свидетельство «образа и подобия», взаимосвязи (напомним «религия» = «связывание»).

Когда человек думал о Боге как о Том Отце, Который *творит мир и человека*, Который наполняет «семенем» Своим каждую частицу космоса, Который подает жизнь бесчисленным существам и их потомству, *он видел в Боге мужское* и в себе находил соответствующий знак — мужской половой орган. Так возник «фаллический культ»

Было время, когда во многих государствах можно было встретить огромные статуи в виде фаллоса, служившие объектами религиозного поклонения (иногда они стояли целыми ансамблями). Существуют изображения быков или царей (царь — посредник между Небом и народом, земная «ипостась» Божества) с подчеркнута увеличенными половыми органами, говорящими о креативной мощи и готовности к оплодотворению. В Библии читаем о проникновении языческих культов в духовную жизнь Израиля: «И устроили они у себя высоты, и статуи, и капища... и блудники... делали все мерзости тех народов, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых» (3 Цар. 14, 23—24). Конечно, «мерзостью» этот культ, как и многое другое, становится в свете возвышенного учения Ветхого Завета, но для древнего человека этот примитивный символ был очень важен (ниже увидим, что и в Ветхом Завете мужской орган играет важнейшую роль).

Когда человек думал о Божестве как о той таинственной Бездне, из которой *рождается мир*, о той Божественной силе, которая дает земле плодородие, вскармливает каждое творение, он *различал в Нем женское* и в себе также находил соответствующие знаки. Так появляется частный случай культа Богини-Матери, — культ женского лона. Свидетельство тому — большое количество так называемых «безобразных венер» — женских ритуальных фигурок, порой без головы, но с неестественно выпяченными грудями и животом, говорящими о постоянстве вселенской «беременности» и мощи рождающей энергии Бога.

Нетрудно догадаться, что и процессы происхождения мира, сотворения людей и природы символически представлялись древнему человеку в виде половых процессов. Весь мир, духовный и материальный, был как бы игрой духовных сексуальных сил. Соединяются боги, от них рождаются

новые боги, духи, сущности, энергии. Соединяются люди, рождая потомство. Половое совокупление рассматривалось как символ «небесного совокупления» и потому было священным. Неудивительно, что до сих пор у некоторых народов первое брачное совокупление происходит в храме, что девушку может лишить невинности жрец и т.п. В этой связи интересно вспомнить о вавилонском культе «священного брака». В праздничный день, раз в году, царь восходил в храм Астарты для того, чтобы соединиться со жрицей этого храма; и оттого, что, с одной стороны, царь как бы воплощал в себе духовные чаяния и молитвы всего подвластного ему народа, нес его «душу» и «плоть» и был личностью, представлявшей пред Божеством грехи и добродетели подданных и ответственной пред высшим Судьей за смысл своего правления, а, с другой стороны, жрица символизировала воплощенную «ипостась» Божества, — сам акт совокупления, обставленный пышным ритуалом, означал для вавилонян, как ни странно это звучит, приобщение к Божественному, к бессмертию, ко спасению, становился символом соединения с Богом каждого человека (напомним снова: «религия» — «соединение»).

Другой пример — сочетания сексуальности с магией, уже не на символическом, а на энергетическом уровне. Существует старое повествование о женщине-шамане, пытавшейся найти убийцу. Привязав к углам шатра четырех молодых обнаженных мужчин, женщина металась между ними и в своем волховании, как бы сказали сейчас, «сублимировала» половые «токи» в экстаз соединения с низшим духовным миром.

Конечно, подобные символические действия не были безобидными. Священный брак вырождался в «храмовую проституцию» Междуречья и в оргиастические действия развращенных римских императоров, а поклонение родовому процессу в древней Сирии доходило до исступления, во время которого молодые люди, оскоряя себя, бросали детородные органы на златарь для «оплодотворения» Астарты. Попытки переживания религиозно-сексуального экстаза (иногда с целью победить, «обмануть» плоть, религиозно обосновать половую разнужданность) были и у христианской секты николаитов (Отк. 2 гл.), и в русском хлыстовстве, и в тантризме, и у современной американской «Церкви любви». Распугин также находится в русле этой традиции.

Но в целом можно сказать, что грубая полсвая символика на определенном этапе сыграла свою роль, и в ней самой по себе не следует усматривать развращенность или замкнутость на сексуальном, однако как и вся сфера духа дохристианского мира, она нуждалась в преобразении.

II. Библейский смысл брака

Главный вопрос религиозной философии — вопрос о смысле жизни в значении конечной ее цели. Только религия отвечает на этот вопрос определенно — это соединение своей жизни с жизнью Бога. Только христианство углубляет эту цель: это *вхождение воскресшего в преображенном теле человека с преображенной же душой в полноту Божественной жизни,*

явленную через жертвенную любовь Христа. Отсюда вытекают главные задачи земной жизни человека: «хранение и возделывание» доверенной человеку Вселенной, сопротивление злу и утверждение добра, преодоление власти греха и становление в человеке личности, «стяжание Духа Святого» (выражение преп. Серафима Саровского), то есть святости, вовлечение в жизнь нового человечества богочеловечества, а значит — спасенность.

Библия наделяет человека высоким смыслом, но интересно заметить, что почти одновременно с раскрытием замысла о человеке книга Бытия возвещает о браке. В браке есть смысл и есть тайна. Если заглянуть в старые христианские катехизисы, то в них часто встречается следующее определение брака: это союз мужчины и женщины, предназначенный для продолжения рода и христианского воспитания детей. Смысл брака, таким образом, видится в оплодотворении и в детях. При этом следует ссылаться на данное в 1 Гл. кн. Бытия Богом повеление: «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте Землю, и обладайте ею...» (Быт. 1, 28) — как на момент установления брака. Но если бы это было действительно так, то пришлось бы признать наличие брака и у разного рода животных, ибо точно те же слова (кроме «обладания») употреблены несколько раньше, в рассказе о сотворении рыб и птиц (Быт. 1, 22). На самом деле об установлении брака говорят совсем другие слова: «оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей; и будут (два) одна плоть» (Быт. 2, 24).

В первой главе говорится не о браке, а о подчиненности новосозданного человека всеобщему закону воспроизведения живой жизни путем размножения. Здесь человек даже не называется по имени, и в еврейском оригинале вместо слов «мужчина» и «женщина» (1, 27) употребляются «иш» и «иша» — самец и самка. Слова «плодитесь и размножайтесь» относятся только к биологическому аспекту жизни, и ими подчеркивается сходство, даже единство человеческого организма с животными. А брак относится только к человеку, он отличает человека от остальных живых существ настолько, насколько бессмертный личностный дух, «вдунутый» в человека, отличается от «души живой», от жизненной энергии, делающей любой животный организм живым; и именно поэтому только после слов о браке (2, 24) человек впервые называется по имени (Адам). Причина создания Евы выражена, на первый взгляд, не совсем убедительно: для человека не нашлось «помощника, соответственного ему» (Быт., 2, 18). Помощником может быть и друг (того же пола), помощником может стать и конь, и собака, и дельфин. По-видимому, в выражении «помощник, соответственный ему», со-ответственный — имеет значение «другой», то есть иная ипостась (женская) той же сущности («человек»), несущая ту же ответственность. В сотворении Евы усматривается расщепление человека на две половины, на два пола. В древности существовал религиозный миф о двуполом первочеловеке — «андрогине», который затем разделился на два существа. Библия не приемлет его буквально, но образом создания Евы из «ребра» Адама выражает тайну онтологического единства двух полов. При этом заповедь «Хранить

и возделывать» намекает на различие характеров и задач, возложенных Богом на мужской и женский пол. Мужское — это ум, это «возделывание», приумножение, добывание, инициатива, познание, «прорыв» к Богу, это и оплодотворение. Женское — это сердце, это «хранение», это устройство очага, хранение в душе Откровения, полученного от Бога, это бремя вынашивания плода и чадородия. (Именно поэтому, кстати, как мужчине не дано рожать детей, так и женщине желательно не быть священником.)

Брак — это союз двоих («разных») пред Лицом Бога и даже союз троих: Бога, мужчины и женщины. Брак таинствен постольку, поскольку в нем присутствует Непостижимый. Без связи со Творцом, хотя бы и неосознанной, брак теряет свою тайну и выдыхается. В браке двое соединяются в единый организм. В этом соединении происходит видение себя через другого.

В связи с этим можно провести разграничение между светским и христианским пониманием смысла брачных отношений, то есть «сексом» и «половой жизнью». Слово «секс» в переводе с английского означает «пол», следовательно «сексуальный» — синоним слова «половой». Однако мы ниже будем проводить разграничение между этими словами из-за различия оттенков, которые они приобрели в русском языке. Слово «секс» изначально происходит от латинского «секция» («разрезание») и в большей степени означает сам физиологический процесс телесных взаимоотношений между людьми. В «сексе» необязательна любовь и даже влюбленность (чего стоит выражение «заниматься любовью»!), но обязательно наличие партнеров. Секс не связан со смыслом жизни человека, с Божественным замыслом о нем. *Цель секса — наслаждение, заканчивающееся разделением партнеров.* А половая жизнь является частью многогранной жизни пола и связана с тайной пола (ибо пол — это половина целого). Она включает весь комплекс взаимоотношений между полами и предполагает обязательность любви и взаимной ответственности. Она связана с браком и со смыслом жизни. А так как богословие видит конечную цель всей земной жизни человека в спасении и соединении с Богом, то и цель брака можно выразить так: *соединение двоих в единый духовно-телесный организм ради совершенствования и полноты бытия, ради совместного спасения и соединения с Творцом.*

Подобное возвышенное понятие о браке кажется материализму утопией. Ф. Энгельс, считавший себя компетентным в вопросе происхождения человека и семьи, называл изначальной формой отношений между полами промискуитет, беспорядочность и постепенное возрастание к полигамии, а потом уже к моногамии — под воздействием «трудовой» эволюции. Удивительно, что Энгельс и ему подобные, наблюдая моногамию и трогательную привязанность у многих животных и птиц, отказывали в них древнему человеку. Г. Честертон остроумно отмечал, что изучение наскальных изображений охоты на оленя не дает оснований считать, что наш далекий предок, ударив дубинкой понравившуюся ему подругу, уволокивал ее в кусты.

III. Черты брачных отношений в Ветхом Завете

Всё вышесказанное необходимо было потому, что невозможно рассмотреть проблему половых отношений вне Божественного замысла о человеке. Однако замысел этот на протяжении всей Библии раскрывается не сразу. Ветхий Завет проследживает судьбу взаимоотношений Сущего Бога (Ягвэ) с народом Израиля. Смысл ветхозаветного исторического пути Израиля — приготовление к приходу Мессии-Христа. В Ветхом Завете, как и во всем дохристианском мировоззрении, нет развитого понятия самобытной человеческой личности. Здесь, особенно в ранний период, присутствует безликая масса народа, управляемого царями или религиозными вождями. И бессмертие понимается не в личном плане, а в смысле бессмертия рода или всего Израиля. И оттого, что спасение мыслится не как личностное, а всего Израиля в целом, — всё религиозное брачное законодательство нацелено именно на продолжение рода и на детей как на единственную цель брака. Чтобы Израиль спасся, чтобы в нем как можно скорее, «вернее», родился Спаситель, чтобы исполнилось Божие обещание Аврааму о бесчисленном его потомстве и — Моисею о завоевании земли обетованной, размножение должно было стать главным смыслом брачного союза. Отсюда происходит вся кажущаяся нравственная парадоксальность брачных отношений в Ветхом Завете, во многом неприемлемых для христианина.

Примеры (курсив мой. — Л.Ш.):

Быт. 16, 2—4: «И сказала Сара Авраму: вот, Господь заключил чрево мое, чтобы мне не родить; войди же к служанке моей: может быть, я буду иметь детей от нее... И взяла Сара... служанку свою, Египтянку Агарь и дала ее Авраму, мужу своему, в жену. Он вошел к Агари, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою».

Быт. 19, 30—32: Лот с дочерьми, спасшись из погибшего за грехи плоти Содома, «жил в пещере... И сказала старшая младшей: отец наш стар; и нет человека на земле, который вошел бы к нам... Итак, напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и *восставим от отца нашего племя*».

Быт. 29, 21—28: «И сказал Иаков Лавану: дай жену мою; потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней... Вечером же взял (Лаван) дочь свою Лию... и вошел к ней (Иаков). Утром же оказалось, что это Лия. И (Иаков) сказал Лавану: что это сделал ты со мною? не за Рахиль ли я служил у тебя? ...Лаван сказал: в нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей; окончи неделю этой, потом дадим тебе и ту... Иаков так и сделал...»

Быт. 30, 1—3: «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову... сказала: вот служанка моя Валла; войди к ней; пусть *она родит на колени мои*, чтобы и я имела детей от нее».

Быт. 38, 6—10: «Взял Иуда жену Иру, первенцу своему; имя ей Фамарь. Ир, первенец Иудин, был неугоден пред очами Господа, и умертвил его Господь. И сказал Иуда Онану: войди к жене брата твоего, женись на ней,

как деверь, и *восстанови семя брату твоему*. Онан знал, что семя будет не ему: и потому, когда входил к жене брата своего, изливал (семя) на землю... Зло было пред очами Господа то, что он делал, и Он умертвил его». Фамарь обманным путем все-таки зачала от своего свекра Иуды.

Итак, продолжения рода необходимо достичь любой ценой, ибо чрез чадородие происходит спасение. При этом имеет значение наличие потомства у семьи (клана) в целом, но не обязательно у каждого из членов семьи. Дети — Божий дар. Он их дает или не дает. Бездетные наказаны Богом, даже прокляты, ибо могут не войти в число спасаемых колен и родов. Дети принадлежат не столько двоим родителям, сколь роду (семени).

Эпоха Моисеева Закона вносит существенные изменения в древние воззрения. Закон интересует уже не только продолжение рода, но и стремление к нравственной чистоте.

Появляется Декалог, и в нем на седьмом месте стоит знаменитое «не прелюбодействуй», что означает следующее обращение к народу Израиля: «Не совершай измену браку или иных мерзостей плоти, ибо брах священен перед Богом, Которому ты обязан спасением от рабства, и в Котором вообще твое спасение». Притч. 5, 18—19; 6, 32: «Источник твой да будет благословен; и утешайся женою юности твоей... груди ее да упоявают тебя во всякое время; любовью ее услаждайся постоянно... Кто же прелюбодействует с женщиною... тот губит душу свою...»

Даже физиологическая нечистота мужчин и женщин осмыслиется религиозно по схеме: беда-вина-необходимость искупления — за нечистоту приносится жертва. Израиль должен был стать «островком» преданности Единому Богу среди моря язычества и полового распутства; отсюда строгое осуждение и наказание за обычные среди соседних народов разврат и извращения; «да истребится душа» такого человека из Израиля — не раз повторено в Пятикнижии. («Не оскверняйте себя ничем этим... ибо все эти мерзости делали люди сей земли... и осквернилась земля... свергнула народы, бывшие прежде вас» — Лев. 18, 24—28). Половые отношения должны быть одухотворены, упорядочены и осмыслены, хотя главная цель остается прежней — «песок морской», образ бесчисленности потомков. Вот любопытное подтверждение (Втор. 23, 1): «У кого раздавлены ятра или отрезан детородный член, тот не может войти в общество Господне». То есть человек, не способный к продолжению рода, как бы не существует для Израиля, не вписывается в глобальный смысл существования избранного народа (для сравнения вспомним популярность кастрагов в Египте и других странах). Еще цитата (Втор. 24, 5): «Если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну и ничего не должно возлагать на него; пусть он остается... в доме своем в продолжение одного года и увеселяет жену свою». Это, конечно, не поощрение молодожену, а ради потомства: оставил Израилью «семя» — можешь боевать.

Но следует ли из этого, что в ветхозаветной истории было искажено представление о браке, данное в книге Бытия? Ведь и Христос упрекает

иудеев в жестокосердии по отношению к браку, говоря, что «сначала не было так» (Мф. 19, 8). По-видимому, непонимание райского смысла брачного союза было обратной стороной особого самоощущения библейского народа. Ведь и древнегреческое законодательство видело в детях назначение брака, но Израиль всегда подсознательно стремился к иному: чем больше потомков, чем больше «вариантов» соединений, тем вероятнее приход Мессии, тем ближе время Дня Господня.

Обрезание. Со времен Авраама и до наших дней у некоторых народов, прежде всего у иудеев и мусульман, совершается известный обряд обрезания крайней плоти у мальчиков, который у неосведомленных людей вызывает недоумение и который ученые прагматики объясняют гигиеническими соображениями. Не знаем, насколько гигиенична могла быть сама операция в древности, совершавшаяся каменным ножом в «нестерильных» условиях, но сами обрезывавшиеся знали совсем иное значение обрезания.

Казалось бы, удивительно — обрезание является знаком Союза-Завета с Богом, его непременным условием (см. Быт., 17 гл.). Сам Моисей, призванный Богом, чуть не погибает из-за того, что не обрезаны его дети. Тогда его жена, обрезав сына, бросает крайнюю плоть к ногам мужа и говорит: «ты жених крови у меня» (Исх. 4, 25). Св. ап. Павел открывает, что обрезание было прообразом крещения, употребляет термин «необрезанное сердце». В Церкви особо вспоминается день Обрезания Господа Иисуса (1 янв. н. ст.). Но если вспомнить, какую смысловую нагрузку несли древние половые символы, всё станет понятным. Как уже было сказано в гл. 1, мужской половой орган был символом Божественной креативной мощи и плодовитости. В Библии встречаем, что в знак клятвы Аврааму (патриарху рода) раб кладет ему руку под «стегно» (Быт. 24, 9). В их понимании — это место («причинное») связано с Творцом (Первопричиной). Поэтому, обрезывая крайнюю плоть, древний семит совершал символическое жертвоприношение: во-первых, он как бы отдавал частицу самого себя Богу, во-вторых, жизнь всего своего потомства, кое «выйдет» из детородного органа, он тоже посвящал Богу, а в-третьих, свою производительную силу он как бы соединял с силой Творца, Который становился как бы Соучастником половой тайны человека. И тогда жертва обрезания становилась символом соединения с Богом, «обожением» (женщин в Израиле не обрезывали, ибо само собой разумелось их приобщение к спасению через соединение с обрезанным мужем).

IV. Развитие темы половых отношений у пророков и «мудрых» Ветхого Завета

«Адам познал Еву, жену свою, и она зачала» (Быт 4,1) — эта фраза сразу вводит читателя в глубину древнерелигиозной мысли. «Познал» здесь означает «совокупился». *Познание (в любви) здесь понимается как половое соединение.* Половое соединение должно быть познанием, видени-

ем себя в другом и другого в себе ради более полноценного приобщения к Божественной жизни, ибо половое соединение двоих в любви есть ступенька к соединению их с Творцом. Кстати, после такого рода познания происходит зачатие новой жизни, и человек приобщается, как со-творец Бога, к тайне творения.

Но любовь-познание между людьми должна быть осознана как земное отображение любви-познания между Ягвэ и Его народом: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть. И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими» (Втор. 6, 4—5). Поистине, такое с трудом можно отыскать в другой религии или философии: страх, трепет, ужас пред Богом у одних, растворение в Нем у других, отчаяние, сомнение, равнодушие у третьих. Но здесь от человека требуется именно любовь. Что значит для ветхозаветного человека любить Бога?

По мере проникновения в книги Ветхого Завета становится ясно: на протяжении истории Израиля происходит, если можно так выразиться, взаимное узнавание Бога и народа, и чем глубже познание Его премудрости и Слова, тем яснее вырисовывается образ: Бог любит Свой народ и требует от него свободного произволения в любви, требует верности Завету, исполнения заповедей, требует ответного проявления воли. Бог — муж, а Израиль — жена. Жена эта столь часто не желает быть ею, что названа неверной женой, даже Блудницей. Между Богом и народом Израиля завязывается связь, соединяющая последний с Ягвэ в Божественном зресе. Это, конечно, отличается от внебиблейского представления о «небесных браках» богов.

Бог	Богиня	Ягвэ
мужчина	женщина	народ = (мужчины + женщины)
	Вавилон	Израиль

Послушаем пророка Осию (речь идет о грехах Израиля):

«Судитесь с вашею матерью, судитесь; ибо она не жена Моя и Я не муж ее; пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от груди своих, дабы Я не разоблачил ее... И детей ее не помилую, потому что они дети блуда. Ибо блудодействовала мать их и осрамила себя зачавшая их; ибо говорила: «пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и напитки». «...суд у Господа с жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни Богопознания на земле... дух блуда ввел их в заблуждение, и, блудодействуя, они отступили от Бога своего» Ос. 2, 2—5; 4, 1, 12).

У пророков часто можно встретить выражения: «народ сей не знает Меня», «за то, что не познали Меня», «И будут они Моим народом, и Я буду их Богом». Здесь снова слышится призыв: будьте верны Ягвэ, исполняйте дела Закона, этим вы докажете любовь к Ягвэ, и тогда вы познаете Ягвэ и соединитесь с Ним (будете «Его» народом). Правда, пророки жили уже в иное время. Сам дух пророческого благовестия

гораздо шире Закона. Израиль был так часто неверен, и пророки все чаще обращались к «остатку Израиля», то есть устоявшим, тем немногим, кто сохранил верность. Обращали они свой взор и на другие народы, пробивая брешь в «ограде Закона» и подготавливая почву для Евангелия, не знающего родовых или иных границ. А в целом это означало перенесение внимания с народа на конкретную человеческую индивидуальность.

Но апогеем ветхозаветного гимна Божественному эросу является Песнь Песней. Даже современного читателя она привлекает своим эротизмом, и он бы очень удивился, узнав, что в древности эту книгу рекомендовали для чтения совершенным монахам. Включение этой древнейшей венчальной песни, этого возвышенного панегирика чувственной любви в канон Библии — книги о спасении, не должно выглядеть странным в свете всего высказанного о Ветхом Завете:

«Да лобзает он меня лобзанием уст своих! Ибо ласки твои лучше вина. От благовония мастей твоих имя твое — как разлитое миро... царь ввел меня в чертоги свои, — будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои... Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени ее я люблю сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей. Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною — любовь. Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. ...Как ты прекрасна, как привлекательна возлюбленная, твоею милотвидностью! Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти... ..Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь...» (Песн. 1,1—4; 2,3—6; 7, 7—8; 8,6).

Но за упоением взаимного любовного созерцания и полового обладания как бы присутствует все тот же второй план: Жених — Ягвэ, Невеста — это непорочный «остаток» Израиля, а земной восторг половых отношений предугадывает духовное восхищение.

У. Брачные отношения в Новом Завете

«...Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16) — в этой фразе св. апостола Иоанна заключена причина христианства: *любовь Божия, бывшая причиной творения, являлась и причиной спасения*. В Новом Завете и у христианских писателей много сказано о любви. Новый Завет — это Откровение Божественной Любви, воплощенной во Христе; и любовь эта по сути своей всегда нова для человечества. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, *так* и вы да любите друг друга» (Ин. 13, 34). Не любовь-наслаждение, не любовь-гармония, не любовь-страсть, а любовь, пробуждающая в человеке человека, расчищающая Лик Божий в нем, требующая порой самой большой жертвы («агапэ»), любовь, причастная подвигу Богочеловека, распятого на Кресте

ради спасения рода людского и радикального преобразования человеческого самоощущения и человеческих взаимоотношений.

Заповедь о любви к Богу, о любви к ближнему (к себе, родственнику, другу, супругу, постороннему, встреченному на жизненном пути, недоброжелателю, врагу) становится призывом обрести в своем сердце состояние любви, когда любишь грешника и ненавидишь грех (прежде всего в себе самом), когда молитвенно обращаешься ко Христу — Источнику жертвенной любви, когда живешь Новым Заветом вопреки законам падшего мира, не принимающего до конца такую любовь, а чаще вообще отвергающего: «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир» (Ин. 15, 19).

«Бог есть Любовь» (1 Ин. 4, 8). Любовь-жертва есть сущность, есть новооткрытое Имя Бога; Он есть источник самой неподдельной, чистой и вечной любви, и соответственно этому откровению выстраивается христианское понимание брака:

«Любовь: ее природа подобна Богу... ее действие опьянению души, ее собственная сила — источник веры, бездна терпения, океан смирения. Любовь, внутренняя свобода и сыновство различаются только именами. подобно свету, огню и пламени.

Если лик любимого существа... делает нас счастливыми, какова же будет сила Господа, когда Он втайне придет, сотворив обитель в чистой душе?

Любовь есть бездна света, источник огня. Чем она обильнее, тем сильнее пылает жаждущий... Вот почему любовь есть вечное возрастание». Св. Иоанн Лествичник¹.

Никакого нового учения о браке Господь не дает: Он, отмечая, как наносной мусор, некоторые компромиссные постановления Моисеева Закона, данные по снисхождению, повторяет слова кн. Бытия (2, 24) об установлении брака в раю и таким образом возвращает людей к изначальному Божественному замыслу о браке как духовно-телесном единстве мужа и жены, и «что Бог сочетал, человек да не разлучает» (Мк. 10, 9).

У ап. Павла мы находим дальнейшее развитие ветхозаветной темы любви Бога и человека; оказывается, что христианские брачные отношения связаны с тайной и жертвой Христовой любви: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу; потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуетеся Христу, так и жены своим мужьям... Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за Нее... должны мужья любить своих жен, как свои тела; любящий свою жену любит самого себя... Тайна сия велика. . по отношению ко Христу и к Церкви» (Еф. 5, 22—25, 28, 32). Конечно, у ап. Павла можно встретить и другие места, где он советует не жениться и оставаться, «как он», то есть безбрачным (есть гипотеза о вдовстве ап. Павла). Но из контекста посланий становится ясно, что сдержанное и даже негативное отношение к браку связано с настроенностью первых христиан на

¹ Цит. по: Клеман О. Истоки. М., 1994. С. 240.

скорое второе пришествие Христа, когда в ожидании воскресения они считали неуместным обзаводиться семьями; среди них были распространены так называемые «духовные браки», без телесного общения; сами апостолы часто были безбрачны из-за конкретной необходимости распространения евангельского благовестия на большие расстояния — им было «не до детей» по плоти, но у них множилось число детей духовных. И хотя надежда на быстрое завершение земной истории оказалась неоправданной, вышеупомянутые фразы ап. Павла являются для христиан предостережением против успокоенности, своего рода семейного эгоизма, когда человек в семье хочет найти убежище от зла и от подвига борьбы с ним.

К сожалению, в храмах почти никогда не читают знаменитый гимн любви ап. Павла. Эти богооткровенные слова могут заменить всё множество психологических учебников и советов для молодоженов (1 Кор. 13 гл.): «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая.. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею... всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви: то я ничто. И если я раздам всё имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, Не радуется неправде, а сорадуется истине; Всё покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится... А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь, но любовь из них больше».

Итак, любовь больше надежды и важнее даже веры, ибо любовь вечна: вера исчезает, когда в Царстве Божием человек узрит доселе невидимое; надежда станет ненужной, когда спасение будет исполнено; но любовь Христова даст человеку те крылья, на которых он унесется в это Царство, она есть неиссякаемая энергия истинной и вечной жизни.

В Евангелии Господь Иисус часто называет себя Женихом, в притчах Царство Божие сравнивает с брачным пиром (и земные чудеса Он начал творить на брачном пиру), называет Иоанна Крестителя другом Жениха («свидетелем»), а апостолов — «сынами чертога брачного». Апокалипсис также полон подобных символов; в нем будущее торжество Бога в сердцах людей и наступление Царства представляется как брак воскресшего Мессии-Христа-Агнца (закланной жертвы) и Церкви-Невесты-Жены, гонимой и разрушаемой на земле, но победившей Дракона-дьявола и облеченной во славу и свет. Таким образом, в Апокалипсисе — последней книге Евангелия и Библии — раскрыто восхождение к богочеловеческому соединению, завершающему земную историю.

Однако Евангелие обращено уже не к избранному народу. Оно обращено даже не просто ко всем народам (что уже встречается у ветхозаветных пророков), а к конкретной личности. Оно говорит о личной, интимной встрече человека и Бога, о личной жажде спасения. О личной ответственности за правду и грех и о личном бессмертии. Исходя из

смысла Нового Завета можно утверждать, что рождение потомства перестает быть целью брака (как это было в Ветхом Завете) и единственной целью полового соединения. Характерно при этом, что именно Господь впервые обращает внимание учеников на ребенка, во-первых, как на полноценную личность, а во-вторых, ставит дитя в пример взрослым: «Будьте как дети» (не в смысле инфантильности, конечно, а в смысле чистоты сердца и доверчивости к Богу). «...Если... не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф. 18, 3). И тем более, раз даже личность ребенка ценна пред Богом, раз истинное бессмертие человека — не в «роде родов», а в личном спасении, то несмотря на то, что дети — это святой Божий дар, врученный родителям для «хранения и возделывания», *цель брачных отношений состоит в соединении двоих ради совместного спасения, в узнавании Божией любви через полноту любви взаимной.*

VI. Христианское учение и половые отношения

Профессор Московской Духовной академии С. Троицкий в работе «Христианская философия брака» убедительно показал, что в христианском богословии существует как бы два подхода, два взгляда: «реалистический» и «идеалистический», видящий «источник половой жизни.. не в основном стремлении организмов к сохранению своего существования в роде, а в... стремлении к совершенствованию, к полноте бытия²». В соответствии с ними автор прослеживает и две линии в понимании греховности родовой и половой жизни (подробно разбирая данные науки, тексты Библии и творения Отцов Церкви, он делает вывод *о соответствии христианскому учению именно второй линии*):

I	II
Брак имеет целью размножение	Брак и размножение лежат в разных плоскостях
Брак есть следствие первородного греха (или компенсация его)	Брак был до и независимо от первородного греха
В раю до греха размножение (половая жизнь) не нужно или происходило иным способом	Размножение и грех — разные вещи
Половые отношения есть вынужденное явление, проникшее в брак через грех, девство выше брака	Брак = девству
Св. Григорий Нисский, ранний св. Иоанн Златоуст, св. Иоанн Дамаскин, св. Максим Исповедник	Поздн. бл. Августин, поздн. Иоанн Златоуст, св. Григорий Богослов, св. Климент Александрийский, Постановления Апостольские

² Троицкий С. Христианская философия брака. Париж, Имка-Пресс, 1933. С. 16.

Примеры:

I. Св. Григорий Нисский: «Человек мог быть без брака, так же как ангелы существуют без брака, но Бог предусмотрел, что род человеческий не пойдет прямым путем к прекрасному и потому отпадет от равноангельской жизни, и, чтобы не сделать малым число душ человеческих вследствие утраты того способа, каким ангелы возросли до множества, дает людям способ... скотский и неразумный» (Об устройении человека, гл. 17).

Св. Иоанн Златоуст: «Не упоминается о браке в раю... брак не был необходим. После греха явился и брак. Это смертная и рабская одежда, ибо где смерть, там и брак... Почему брак не раньше обмана, почему совокупление не в раю... потому, что брак был излишен, а потом сделался необходим вследствие нашей слабости» (О девстве, гл. 15).

II. Св. Климент Александрийский: «Между рождением и грехом нет зависимости. Если бы люди не согрешили, рождение имело бы место и в раю, так как к этому вела людей их природа. Фактически в раю рождения не было, потому что люди были сотворены, согрешили и изгнаны из рая в юном возрасте. А брачная жизнь выше жизни одинокой, ибо здесь совершенство любви к Богу, возвышаясь через страдания, выражается лучше; девственники не должны презирать брак» (Строматы, 3.14; 2.3).

Бл. Августин: «Утверждающий, что первые люди не совокуплялись бы и не рождали, если бы не согрешили... утверждает, что грех человеческий был необходим для размножения святых... — подобная мысль нелепа» (О Граде Божием, гл. 23).

Св. Иоанн Златоуст (поздний): «Любовь к жене следует всему предпочсть» (20-я бес. на Ефес.).

На вопрос: «грех ли половые отношения?» — христианство отвечает: тело само по себе не является грехом — Христос воплотившись, одухотворил ветхозаветный «священный материализм» (выражение Вл. Соловьева) и наполнил плотью неоплатоническую и буддийскую духовность («тело — темница души»); сами отношения между полами на всех уровнях (духовно-душевно-телесных) благословлены Богом. Но человек пал, природа его греховна, а грех равен разделению. *В половых отношениях первородный грех в человеке максимален потому, что он внутри самих мужчины и женщины и между ними проявляется как разделяющая сила в момент соединения.* Грех в половых отношениях — это то, что не дает им стать действительным соединением; это «похоть плоти, похоть очей и гордость житейская» (1 Ин. 2, 16). *Эгоизм и похоть — это два двигателя секса (в нашем словоупотреблении) и две главные помехи полового соединения.*

«Особенностью секса является то, что будучи органически связанным с одним из высочайших божественных даров человеку, с даром любви, он именно поэтому является средоточием трагической двусмысленности, свойственной падшей человеческой природе... с одной стороны секс не только выражение любви, он сам по себе есть любовь. Но с другой стороны он есть... выражение... принадлежности к животному миру, радикальной раздробленности человеческой природы и жизни, потери им своей це-

лостности. Два полпоса... секса — любовь и похоть — безнадежно смешались, и невозможно изолировать одно от другого.

...В браке или вне его — секс, в той степени, в какой он отождествляется с похотью, целиком принадлежит миру сему... который в... теперешнем образе не наследует Царства Божия... Секс подвластен закону, а не благодати... Закон не может преобразить и искупить, но он может, устанавливая границы и поддерживая... порядок, ... давать человеку ощущение более высокого устройства жизни.

...Секс разрешается в браке... именно потому, что брак, несмотря на искажение в падшем мире, ...способен войти в Царство... Закон Церкви делает секс... слугой любви, а не ее хозяином или ее единственным содержанием...»³.

Случилось так, что в западном церковном мышлении возобладало негативное отношение к половой жизни (чего стоит запрещение брака для священников — целибат). Рискнем предположить, что это было реакцией на развращенность знати, некогда приведшую Рим к катастрофе. Иногда в самом зачатии виделся порок. Эта тенденция проникла и на Восток. Даже советская идеология вслед за средневековой разделяла любовь на возвышенно-романтическую и постыдно-телесную. Как знать, не явились ли страшные феномены сексуальных маньяков (типа Чикатило), да и вообще современное сексуальное «раскрепощение», следствием вопиющей непросвещенности «христианского» мира христианским взглядом на смысл пола и брака?

Церковь благословляет соединение мужа и жены в таинстве венчания. Библейский идеал брака касается всех людей независимо от их вероисповедания или, в случае христианства, степени воцерковленности. Поэтому древняя Церковь признавала и не «перевенчивала» христиан, состоявших до обращения в языческом, иудейском или мусульманском браке. Совершенно ошибочно считать, что невенчаный брак не является браком и тем более, как часто приходится слышать, является блудом. Люди, любящие друг друга и желающие быть вместе навсегда, нести ответственность друг за друга и воплотить свое единение в детях, участвуют в тайне брака даже тогда, когда они не ведают, Кто является Источником любви и Законодателем брачных отношений. Если они объявляют о своем решении обществу, их брак, уже начавший совершаться, становится гражданским. Если же они в вере осознали неизмеримо большую глубину собственной жизни и решились объявить о своем единении в Боге перед общиной братьев и сестер, то Церковь в таинстве венчания благословляет их брак, возводя его на иной уровень и наполняя смыслом Креста и Воскресения, взаимного причастия Телу и Крови Господа Иисуса. Не раз в святоотеческой письменности и в катехизисах говорится о том, что христианская семья — это малая Церковь, ибо «где двое собраны» во имя Христа, там и Он посреди их. Эта малая община, реализующая внутри

³ Прот. Ал. Шмеман. Водю и Духом. М., Гнозис, 1993. С. 176.

себя христианские принципы и наученная христианской любви, вовлекается в большую общину, составляя новую клеточку организма Церкви (это учит семью бытъ «хорошей» не только для своих по крови).

Церковь благословляет брак как духовно-душевно-телесное единство, которое вовсе не дано, но которое необходимо жаждать и с помощью Бога достигать. Телесное единство — это не просто «совместимость», а видение в теле любимого, как и в своем, «храма Духа Божия» (выражение ап. Павла) и умение жертвовать собой ради тела другого. Это касается даже психофизиологии взаимных отношений. Известно, например, что устройство половой системы мужчины и женщины разное: мужчину больше волнуют телесные ощущения, для него пламенство в браке часто означает инициативу и в телесном соединении. Мужской эгоизм часто проявляется в том, что он мало интересуется психосексуальным миром женщины и часто после сближения перестает интересоваться ее переживаниями. Женщину же сама личность мужчины волнует больше, чем его тело, и для нее больше важна гармония телесного общения с душевным: «это мой любимый, я хочу, чтобы он был мне близок не только в этот момент, а всегда», тем более, что подсознательно в половом акте у женщины присутствует мысль о тех испытаниях и скорбях, которые она может понести в случае зачатия ребенка.

Душевное единство — это родство душ, это умение (при различии в социальном положении, в характерах, национальности и т.д.) сочувствовать, со-радоваться и со-страдать, это способность в важные моменты жизни проявлять единую волю, единое направление мысли. Без душевного единства телесное глубины и долговечности не имеет. «...Только сочетание сексуального влечения и движений любви (эроса) обеспечивают нормальную семейную жизнь: при отсутствии «влечения» становится трудным супружеское сближение, а при отсутствии любви, когда выступает на первый план... чисто сексуальное влечение, семья будет непрочной; «страсть» угаснет, ослабеет... влечение, и супруги неизбежно переживают в острой форме их внутреннюю чуждость друг другу»⁴.

Духовное же единство — это обращенность ко Творцу, постижение религиозного смысла совместной жизни, общая молитва, общность нравственных принципов, отражающаяся и на духовной атмосфере воспитания детей. Без духовного единства, строго говоря, брака нет; семейный союз неполноценен и не осмыслен в той степени, в какой неполноценна и недоосмысленна жизнь каждого из супругов. Только ориентированность на Бога как высшую цель брака не дает разорваться отношениям при самых сильных потрясениях.

Таким образом, в христианстве половые отношения должны становиться *трехуровневой жертвой любви*.

О, как же далек идеал брака от того обилия современных более или менее длительных совместных «проживаний»: с возлюбленной, с подру-

⁴ Прот. В. Зеньковский. На пороге зрелости. М., 1991. С. 32.

гой, с «партнером», а то и с чужим супругом: «любовь не вечна», «любовь порочна!» (В фильме «Безымянная звезда» один из героев говорит своей любовнице о своих к ней чувствах: «Люблю ли я тебя или не люблю? Что это за слова? Просто, когда мы с тобой входим в казино, мне приятно, что я держу под руку именно тебя, а не другую женщину»; цитирую по памяти).

Разводы настолько захлестнули мир (даже и церковные разводы у нас), что можно утверждать: люди перестали интересоваться тайной брака и утратили ее. Церковь предупреждает брачующихся о пагубности разводов: Католическая их запрещает для всех; Православная — только для священников, чтобы им быть примером (ибо создана одна Ева для одного Адама), но разрешает повторные браки для мирян, «сниходя к их немощи» — бывают все-таки трагические ошибки или насильственные венчания. Но это чаще происходит от безответственности молодых людей, это их грех, а значит, и боль, поэтому во время венчания во второй раз в храме не поются радостные гимны, а читаются покаянные молитвы. Развод супругов, некогда объединенных в любви, есть убийство любви, это акт отчаяния, который сродни самоубийству. С другой стороны, для тех, кто просто терпел друг друга, никогда не любя или потеряв ту первую влюбленность, которую принял за полноценную любовь, развод может стать желательным.

Измены браку распространены больше разводов. Седьмая заповедь Ветхого Завета гласит: «не прелюбодействуй», то есть не изменяй мужу (жене). Но в Ветхом Завете были и несколько жен, и наложницы. В Новом Завете смысл седьмой заповеди глубже: не изменяй любви, ибо ее ручей течет из Источника, который есть Бог («Бог есть любовь»). Взаимоотношения любви между людьми есть проявления Божественной энергии. Не случайно половые отношения являются интимными, глубоко внутренними, ведь интимно и глубоко настоящее религиозное переживание человека. Свобода человека приводит к тому, что он часто этот дар любви разменивает на тлен, теряет, извращает. (Не случайно и в Ветхом Завете Израиль, и в Новом Завете отдельные люди, изменяющие Богу, отверчающиеся от Него, называются прелюбодеями.)

Это очень верное чувство: измена любви сродни измене Богу. Измены совершаются порой людьми, не только равнодушными к тайне брака, но и теми, кто высоко ценит «семейный долг» (само это выражение характерно: там, где есть только долг, нет любви), считает себя верным, и в то же время иногда позволяет себе «расслабиться», «изменить телом, но не душой». Но это невозможно. Человек являет собой двухприродное единство, в нем душа и тело настолько взаимосвязаны, что если случайные любовники соединились лишь телесно, «вирус» измены тем не менее проходит в душу и «заражает» весь брак. (Некий индийский крестьянин на вопрос английского ученого об изменах ответил: «Каждая женщина для меня или мать, или сестра, или дочь. Связь с ними означала бы не прелюбодейство, а кровосмешение. И только брачная церемония выводит одну из них из этого закона».)

В Нагорной проповеди Господь говорит: «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф 5, 28) Смотреть на женщину можно, можно даже восхищаться ее красотой и обаянием (не забывая, что вечная, духовная красота важнее внешней, временной). Но в иной женщине (мужчине) христианам, уже объединенным в брачной любви, следует видеть прежде всего сестру (брата), взглянуть в ее (его) духовный мир и возлюбить Христовой любовью. Господь не гнушался говорить с блудницей (продажной женщиной), он поставил ее покаяние в пример сытому самодовольству лицемерно набожных фарисеев, но смотрел на нее (и нас учит смотреть) как на падшую сестру — с состраданием, с любовью врачующей.

Супругам необходимо себя духовно подготавливать к половой жизни Составляющими подготовки являются *молитва, самоконтроль, исповедание помыслов и временное воздержание*. В молитве испрашиваются силы для того, чтобы ускорить и смягчить «притирку» личностей, чтобы по кирпичику строился замок любви, чтобы влюбленность стала Любовью («агапой»). Исповедь помогает очиститься от прежних ошибок и грехов и не допустить разного рода падений. Самоконтроль должен быть направлен на ограничение и обуздание похоти. Похоть — это естественное половое желание, отравленное грехопадением. Необходимо различать похоть и желание («хотение»). Без желания нет любви, нет соединения. Желание должно быть подчинено Божественному закону. Похоть (по-хотение) является паразитом на естественном и богоданном чувстве притяжения. Похоть — это стремление в половом вычленил собственные ощущения («мне это приятно») и подчинить им любовный процесс, то есть выйти за рамки закона. Желание создает единение, похоть его разрушает. От похоти до конца избавиться невероятно трудно, но избавиться надо — путем само- и взаимоконтроля в отношениях. Для этого в любовном акте, как, впрочем, и во всех остальных проявлениях супружеской жизни, необходимо акцентировать внимание не на своих физиологических ощущениях, а на личности другого, неповторимо раскрывающейся в интимной близости. Этим отличается христианский подход к половым отношениям от разнузданных поучений в духе популярной эротической литературы, где целью открыто провозглашается получение эффекта максимального нервно-сексуального возбуждения и само- и взаимонаслаждения.

Если супруги ориентированы на любовь к личности друг друга, то половые отношения гармонично вписываются в праздник любви (а любовь, напомним, не только и не столько праздник, сколько крест). Отношения любви половыми отношениями не исчерпываются, так что при естественном угасании последних любви не становится меньше — это восхождение

Если же в половом акте ясно просматриваются похоть и эгоизм, то подобные отношения рано или поздно приведут к неудовлетворенности или, наоборот, пресыщенности с вытекающими отсюда последствиями и служат уменьшению силы любви, подменяют любовь. Это уныние после

кратковременного порыва прекрасно выразил знаменитый некогда поэт Я. Надсон:

Только утро любви хороше: хороши
Только первые, робкие речи,
Трепет девственно-чистой, стыдливой души,
Недомолвки и беглые встречи,
Перекрестных намеков и взглядов игра,
То надежда, то ревность слепая;
Незабвенная, полная счастья пора,
На земле — наслаждение рай!..
Поцелуй — первый шаг к охлажденью: мечта
И возможной и близкою стала;
С поцелуем роняет венок чистота,
И кумир низведен с пьедестала;
Голос сердца чуть слышен, зато говорит
Голос крови и мысль опьяняет:
Любит тот, кто безумней желаньем кипит,
Любит тот, кто безумней лобзает...
Светлый храм в сладострастный гарем обращен,
Смокли звуки священных молений,
И греховно-пылающий жрец распален
Знойной жаждой земных наслаждений.
Взгляд, прикованный прежде к прекрасным очам
И горевший стыдливой мольбою,
Нагло бродит теперь по открытым плечам,
Обнаженным бесстыдной рукою...
Дальше — миг наслажденья, и пышный цветок
Смят и дерзостно сорван, и снова
Не отдаст его жизни кипучий поток,
Беспощадные волны былого...
Праздник чувства окончен... погасли огни,
Сняты краски, и смыты румяна;
И томительно тянутся скучные дни
Пошлой прозы, тоски и обмана!..

О воздержании говорит ап. Павел: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим» (1 Кор. 7. 5). Это временная мера. Временное воздержание необходимо (врачи также говорят о его пользе), оно не должно быть чрезмерным, а главное насильственным с чьей-то стороны. Брачное воздержание не следует отождествлять с монашеским воздержанием. В браке должна быть подавлена похоть. В монашестве должно быть подавлено (сублимировано) само половое желание, ибо у монашества иные цели: «Не борьба с полом составляет смысл монашества, а борьба с грехом, и целомудрие, воздержание от половой жизни есть не цель, а средство этой борьбы»⁵ (Кстати, именно

⁵ Прот. В. Зеньковский. Указ. соч. С. 26.

поэтому священник должен очень осторожно, с духовной, а не с «сексопатологической» стороны подходить к брачным проблемам, а монаху, кроме исключительных случаев особой духовной опытности, вообще не следует заниматься этими проблемами — это не его «сфера».) Воздержание в монастыре должно стать средством полного перехода половой энергии в энергию любви к Богу, это жертва земным ради более скорого узнавания небесного. Воздержание в браке помогает половым отношениям не только в смысле временной сублимации, когда каждый из супругов может заняться «внутренним делом», а потому, что при отказе на определенный срок от телесного сближения им предоставляется возможность проверки искренности чувств и духовного единения. Временное воздержание увеличивает любовь.

Когда читаешь, к примеру, следующее высказывание монахини Синклитии: «Если возникает в твоей мысли образ красивого лица, представь себе того же человека обезображенным мертвым трупом, и порочное желание оставит душу»⁶ (подобное можно часто встретить и в буддизме), — становится понятным, что это иной опыт по отношению к браку, иной путь. (Если на каждую девушку смотреть как на потенциально разлагающийся труп, возможность брака автоматически исключена.) Конечно, нельзя не заметить, что знание опыта древней христианской монашеской аскезы полезно для решения некоторых проблем в половой сфере, даже необходимо. Митрополит Московский Филарет (Дроздов) говорил: «Девство и брак не для всех, но целомудрие для всех». Как известно, подвижники боролись не только с внутренними страстями, но и с привходящими извне злыми духами — «бесами», как бы соответствовавшими в дьявольском мире каждому душевному и телесному греху. Блудная страсть признавалась одной из самых сильных и трагических в судьбе человека, но если монах побеждал ее в себе или (в редких случаях) вообще ее не ведал, то подчас он подвергался внешнему воздействию беса блуда. «Когда человек Божий все почти победит страсти, остается еще растущим бес, томящий тело, возбуждая его огненным неким движением к похотению плотскому. Бывает же сие с телом, потому что такая сласть похотная свойственна естеству нашему... почему она и неудобь побеждаема, а потом, и по попущению Божию. Ибо, когда Господь увидит кого из подвижников слишком высоко восходящим в преумножении добродетелей, тогда попускает ему иной раз быть возмущаему сим скверным бесом, чтобы он почитал себя худейшим всех живых людей. Такое нападение. иногда бывает после совершения добрых дел, а иногда и прежде, чтобы движение сей страсти заставляло душу казаться пред собой непотребнейшею, как бы ни велики были совершенные ею дела. (Против сего беса) будем бороться воздержанием, безгневием и углублением памяти о смерти, чтобы... чувствуя в себе непрестанно действие Святаго Духа, соделать-

⁶ «Цветник Духовный». М., 1903. С. 31

ся . в Господе выше и этой страсти»⁷, — говорит блаж. Диадок. Бес блуда — это как бы некий духовный вирус, разжигающий — против воли и, если можно так выразиться, не ко времени и месту, — похоть, вызывающий забвение Божьего присутствия, оглуляющий и порой доводящий до безумия.

И если верующий человек имеет об этом некое знание и «методику» борьбы, то непросвещенные совершенно не защищены от сего беса, чем и объясняется недоумение врачей и журналистов, вначале заигрывающих с распущенностью и извращенностью, а затем ужасающихся конкретными из ряда вон выходящими случаями половых преступлений.

Разговор о блудном бесе имеет еще один оттенок. Христианство называет человека падшим и наше «нормальное» состояние противоестественным, ибо человек выбрал зло и грех, часто выбирает и поньне. Но человек никогда бы не выбрал зла, если бы дьявол не сделал его привлекательным. Весь аскетический опыт христианства свидетельствует о чрезвычайной «сладости» греха, тем более греха блудного. В рассказе о гибели Содома читаем о жене Лота, которая оглянулась на гибнущий город и превратилась в соляной столп. Так порой человек, решившийся отказаться от распутной жизни, долго еще не находит для этого сил, ибо воспоминания возвращают его к картинам притягательности блуда. (Человеку девственному и неискушенному в этом смысле гораздо легче.) Поэтому блуд, будучи отвратителен по существу, в образах и видениях становится привлекательным. Во время блудного искушения необходимо в молитве увидеть пустоту и гибельность этой привлекательности пред Лицом живого Бога, ибо двум господам служить невозможно.

О чувственном экстазе. Среди нынешних «откровений» в сфере половой жизни (хотя это всё забытое старое) часто к месту и не к месту говорят о высшей точке любовного акта, сопровождающейся наслаждением и семяизвержением — так называемом оргазме. Об этом много написано с точки зрения медицинской и практической, но нам кажется, что с оргазмом связана некая тайна, которую можно понять только в религиозном смысле. Уже было сказано, что брачные половые отношения связаны с тайной Божественной любви и Творением, зачатием нового. Высшим и завершительным моментом этих отношений и является оргазм. При этом человек как бы возносится на уровень, равному которому по силе душевных и телесных ощущений нет в любых других его жизненных занятиях. Причем длится это лишь несколько мгновений. Как только акт любви завершился, происходит довольно резкое снижение ощущений, человек возвращается в привычную сферу. Многие этот возврат воспринимают с оттенком уныния от кратковременности испытанного с любимым человеком счастья в единении (любопытно, что великие христианские мистики во время молитвы испытывали совсем иной — духовный — экстаз, восхищение, а потом тосковали из-за краткости того состояния).

⁷ Добротолюбие. Харбин, 1930. С. 119.

Итак, *оргазм* — это миг единения, восхождения, наслаждения, возможного зачатия и возвращения с переживанием кратковременности происшедшего. Но это означает, что *момент оргазма есть чувственный, зримый символ «воспоминания» о потерянном рае, то есть о бывшем до грехопадения общении с Богом и друг с другом в любви*; жалкий и временный слепок с будущей вечной и духовной радости Царства Христа.

VII. Проблемы зачатия

В современном мире большинство людей любит детей. «Детям — все лучшее», «Дети — цветы нашей жизни» — эти лозунги были очень распространены у нас в недавнее время. И даже если лозунги эти были только на словах, само подобное отношение к детям кажется естественным и извечным; мало кто задумывается о примерах совсем иного отношения древних культур, когда не совсем здоровых детей разбивали о камни (Спарта), приносили своих «первенцев» в жертву (Финикия), закапывали живых девочек, как лишних представительниц «второсортного» пола, в песке (домагометанская Аравия).

«Не препятствуйте (детям) приходиться ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное» (Мф. 19, 14), — говорит Христос. Христианское отношение к детям вроде бы постепенно утвердилось в мире (очень постепенно: вспомним работные дома в Англии, детей «врагов народа» в СССР, детскую проституцию в Сингапуре). Но умиленности и сердобольности добропорядочных людей в условиях кризиса далеко не достаточно; наша страна здесь бьет рекорды: огромный процент брошенных или проданных детей, в том числе детей-инвалидов; детей, которых психически и физически калечат родители — безбожники, алкоголики, насильники; детей, которые с доверчивой вначале, а затем сломанной и даже испорченной душой пытаются растить себя сами, оставленные на произвол мира, лежащего во зле; не говорим уже о миллионах аборт. В последний год смертность в России превысила рождаемость — это результат «смутного времени», хотя снижение рождаемости в цивилизованном мире вообще является одной из закономерностей природы, замеченной еще Вл. Соловьевым: «В пределах живых, размножающихся исключительно половым образом, чем выше поднимаемся мы по лестнице организмов, тем сила размножения становится меньше, а сила полового влечения, напротив, больше... У человека сравнительно со всем животным царством размножение совершается в наименьших размерах, а половая любовь достигает... высочайшей силы»⁸.

Безусловно, современный мир, изменив отношения к половым процессам, теряя тайну брака, изменил отношение и к детям. В XIX в. у людей, богатых и бедных, рождалось до 12—15 детей, многие из них умирали еще младенцами, и человек говорил: дети — дар Божий, Бог дал — Бог взял, Он

⁸ Соловьев В. Смысл любви. Сб. «Русский эрос». С. 20

силен дать еще. Человек XX века в этом отношении подозревает своего предка в прикрытом религиозностью подсознательном равнодушии к личности ребенка и предпочитает иметь двоих, но по силе прокормить их и дать образование, нежели «плодить нищету». В этом современный человек отчасти прав, ибо он интересуется личностью своего ребенка (в нормальной семье), хотя ему приходится больше дрожать за своего порой единственного «наследника». Человек прошлого века, как и за тысячу лет до него, доверял число детей, их пол, здоровье, долголетие Богу. Человек нашего века пытается сам регулировать рождаемость и даже пол. И это в то время, когда одна половина всего количества родителей мечтает иметь ребенка и добивается этого любым способом, начиная с покупки сирот и заканчивая зачатием в «пробирке», другая половина уничтожает зачатую жизнь или всеми способами не дает зачатую произойти.

Противозачаточная деятельность человечества (осуждается Католицизмом на официальном уровне и Православием на частном) имеет причины субъективные (вина) и объективные (беда).

К первым относится только одна: половые отношения, переставая быть частью тайны Божественного замысла о человеке и превращаясь в «секс», свидетельствуют об эгоизме «партнеров» — зачем им дети, которые их «свяжут», когда их цель не связь, а временное наслаждение временного союза.

Однако существуют причины иного рода. Во-первых, это тяжелые экономические условия, в которые поставлена молодая семья. Волей-неволей ей приходится регулировать и ограничивать число детей, вернее, отказываться от дара, который предлагается Богом. Это трагедия, которую переживают и верующие супруги, вынужденные пользоваться противозачаточными средствами и методами. «Добровольное ограничение в браке позволяет тогда, когда рождение ребенка связано с определенными опасностями. ...Супруги могут решиться на это лишь с молитвой ко Господу о руководстве и милосердии... С православной точки зрения, ни одно из противозачаточных средств не лучше другого — все они одинаково безрадостны для истинно любящих»⁹, ибо в акт любви (Бог есть любовь, и в любви «зачал» мир) вносится страдание от внутреннего раздвоения. Но дело не только в этом. Конечно, есть семьи, где идут на благородный риск и вопреки всему, надеясь на милость Божию, рожают 5—10 детей. *Но в целом использование противозачаточных средств, в частности, презервативов, там, где существует брак, где отношениями движут не эгоизм и похоть, свидетельствуют об ответственном подходе человека к планированию своей семьи, ибо в отличие от животного ему дано это право.*

Во-вторых, это причины медицинского характера, разного рода противопоказания, в основном у женщин. Необходимо помнить о том, что беременность и роды сильно изнашивают организм женщины.

⁹ Прот. Ф. Холко. Основы Православия. Нью-Йорк, 1989. С. 321.

Противозачаточный метод упорядочения отношений в соответствии с женским циклом является как бы использованием природного «шанса». Однако полностью устранить возможность зачатия нельзя и жизнь может возникнуть при любом способе предохранения. В этом случае христианин должен смириться и принять это как волю Божию, преодолевающую человеческое маловерие: если Бог настоял на Своем, то Он поможет и вырастит дитя. Кстати, при употреблении приспособления типа «спираль» зачатие также может произойти, но беременность крайне рискованна, и возникает необходимость совершить аборт даже против желания матери.

Итак, из известных способов наиболее приемлемым (с медицинской стороны) является использование презервативов, безопасных таблеток и женского природного цикла. Повторим, что речь идет о предохранении от беременности как трагически вынужденной и временной мере.

Аборт вообще, как насильственное прекращение дарованной Творцом жизни, во всех случаях является убийством. То, что убивается, до определенного времени трудно назвать человеком, но сама жизнь осуществляется в момент зачатия, в оплодотворенной клетке потенциально заложен будущий человек. В определенных случаях, связанных с медицинскими противопоказаниями, главным образом со смертельной опасностью для женщины, приходится сделать выкидыш, хотя подобное (как и самопроизвольный выкидыш) всегда тяжело переживается настоящей матерью. (Любопытно, что в XIX в. на Западе действовала папская энциклика, говорившая, что в случае опасности для матери или для плода выбирать нужно жизнь ребенка — с этим можно поспорить).

Аборт, как известно, вреден для здоровья женщины; после нескольких абортов вероятность нормальных родов очень мала. Гораздо менее известны побочные психологические последствия аборта — о них в специальной литературе практически не говорится. Типичная ситуация: после 1—2-х лет совместной жизни у молодоженов наступил кризис, выражающийся либо в охлаждении друг ко другу, либо в измене. Как ни странно, причиной этого состояния вполне может быть совершенный ранее аборт. Если супруги любят друг друга, то зачатый ребенок еще более скрепляет их любовь, переводя ее в новое измерение. Из-за маловерия и малодушия жена (иногда втайне от мужа, иногда по обоюдному согласию) совершает выкидыш. Внешне вроде бы ничего не изменилось, но ведь по сути произошло убийство, и где-то в подсознании супругов звучат новые мотивы:

мы совершили убийство будущего ребенка, в чем-то предали любовь, испугавшись ее родовых последствий;

близость между нами (столь желанная некогда) таит опасность новой подобной катастрофы.

Это приводит к охлаждению и к поиску «на стороне», чтобы не было последствий.

В некоторых православных изданиях использование противозачаточных средств осуждается наравне с абортами, при этом совершенно не

замечается разница между убийством реально существующего организма и недопущением возможности его осуществления. Исходя из подобной логики, следовало бы обвинить в массовом детоубийстве всех прошедших через рукоблудие и ночные извержения.

Несколько слов следует сказать о необычных, новых способах зачатия (зачатие в «пробирке», вынашивание плода во чреве другой женщины и т.п.) Западная Церковь в свойственной ей манере их категорически отвергает, как посягновение на прерогативы Бога. Конечно, в том смысле, что подобные эксперименты часто подаются как вызов или насмешка над «Божественным» способом зачатия, их можно считать греховными. Но, во-первых, Библия знает иные, кроме обычного, способы зачатия и рождения (Ева — от Адама, Христос — от Духа Святого и Девы Марии), а во-вторых, если вспомним ветхозаветное рождение «на колени» (см выше) и т.п., то поймем, что здесь действует всё тот же ветхозаветный мотив: стремление иметь потомство любой ценой.

VIII. Половая извращенность

Извращение — это изворачивание, превращение. Как и во всех остальных сферах, в половой «извращение» — синоним слова «грех», ибо он заключается в использовании той или иной богоданной способности «не по назначению». Важно заметить, что половые извращения как в древней Греции, где воспевались, так и в Израиле, где сурово осуждались, одинаково считались пороком; можно утверждать, что человек всегда полагал любые половые отношения вне Божественного замысла грехом «И как они (язычники) не заботились иметь Бога в разуме» (Рим. 1, 28), «Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины... и мужчины, оставив естественное употребление... разжигались похотью друг на друга деля срам и получая... возмездие за свое заблуждение» (Рим. 1, 26—27).

Несмотря на ясность христианского подхода к половой извращенности в целом, в наше время накопились проблемы, которые пытаются решить психологи, психиатры, сексологи и которые, часто сенсации ради, любят описывать журналисты, однако христиане часто «целомудренно» отделяются от них выражением осуждения примерами из Ветхого Завета: «Содом и Гоморра погибли из-за распространенности половых извращений». Но ведь остались жить многие другие подобные города. Увы, даже угроза СПИДа, как в свое время эпидемия сифилиса, хотя и несет страх смерти, может лишь ограничить масштабы извращенности, загнать ее в глубь психики, но решить саму проблему не в состоянии. Когда в прессе мы узнаем о председателе благотворительного детского фонда, растлевавшем детей и подростков, то возникает ощущение мерзости и желание справедливого наказания. Но когда оказывается, что огромный процент (особенно в Америке и др. развитых странах) молодых людей, специально никем не испорченных, провозглашают себя гомо-, би и транссексуалами, ясным становится факт происходящей половой

трагедии, которая может стать необратимой. Секулярная мораль приветствует эту беду как долгожданное «освобождение», к которому только нужно привыкнуть, иные церкви даже додумались до венчаний однополых «супругов», как бы признавая себя побежденными: раз этого так много, значит это уже нормально.

Рукоблудие. Его в память о ветхозаветном персонаже врачи называли онанизмом, но сравнение рукоблудия с грехом Омана далеко не точно. Грех Омана состоял не в том, что он пытался получить удовлетворение наедине, а в том, что не хотел жить с женою покойного брата и «восстановить ему семья». Через рукоблудие проходит большинство юношей и примерно половина девушек. Взгляд медицины на рукоблудие неоднозначный: если традиционно оно порицалось из-за последствий (потеря энергии, импотенция, даже облысение), то современные серьезные сексологи «доказывают» безвредность и даже полезность его совершения время от времени, в случае отсутствия половой жизни.

В чем же тут дело? Отсутствие изначального религиозного воспитания (не в смысле запугиваний типа «Бог убил Омана и погубил Содом», а в смысле прививания положительного, целомудренного идеала) приводит к тому, что у молодежи интеллектуальное («это целесообразно») развитие отстает от физиологического («это хочется»), а духовное («это нравственно») отстает от интеллектуального, а не наоборот. Поэтому, во-первых, подросток, предоставленный в этом отношении сам себе и «просвещаемый» товарищами и порнографией, начинает «экспериментировать», познавать доселе неоткрытое в себе. А во-вторых, развивающееся естественное, но не сублимируемое и неодухотворенное желание (в нашем веке это развитие очень раннее), сопровождающееся нервно-гормональной перестройкой организма, перестает поддаваться контролю и требует выхода (это более характерно для мальчиков). Одним из следствий этого и является рукоблудие. По сравнению с ранней половой связью или подростковым первичным гомосексуализмом оно действительно является более безобидным.

Таким образом, рукоблудие в подростковом и раннем юношеском возрасте — это результат любопытства и неодухотворенности естественного развития и желания. Молодому христианину, совершившему подобное, не следует угрожать Божией карой, а постараться, не заостряя внимания на чувстве вины, помочь тому, чтобы подобное повторялось как можно реже, а в дальнейшем прекратилось. Бывает, что люди подолгу не вступают в брак, «подростковый» период вынужденно затягивается. Рукоблудие становится актом отчаяния и извращением. Отчаяния — ибо человек в этом случае максимально переживает свое одиночество. («Не хорошо быть человеку одному» — Быт. 2, 18). Извращением, — ибо это использование «механизма любви и зачатия» при отсутствии любви и зачатия. Это на сексуальном уровне может привести к неудаче половых отношений в случае брака, а на духовном — к неспособности воспринять дарованную любовь. Развивающееся рукоблудие приводит к половому эгоизму, потому

что человек привыкает интересоваться в половом отношении лишь своими собственными ощущениями; супруга подсознательно он воспринимает лишь как средство удовлетворения, а иногда даже как помеху!

Гомосексуализм. В отношении этого порока христианские проповедники обычно цитируют ветхозаветную историю с Содомом, который стал символом полового распутства. Но внимательно взглянув в Библейское повествование, понимаешь, что погиб Содом, собственно, не из-за этого: «И пришли те два Ангела в Содом... Лот... сказал: государи мои! зайдите в дом раба вашего, и ночуйте... и они... пришли в дом его. Он сделал им угощение... и они ели. Еще не легли они спать, как городские жители.. от молодого до старого... окружили дом. И вызвали Лота, и говорили ему:.. выведи их к нам; мы познаем их. Лот.. сказал им: братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа; лучше я выведу их к вам, делайте с ними, что вам угодно; только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего. Но они... подошли, чтобы выломать дверь. Тогда мужи те простерли руки свои... людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою... Сказали мужи те Лоту... кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места. Ибо мы истребим сие место... И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь... с неба, И ниспроверг города сии.. и всех жителей городов сих...» (Быт. 19.1—12, 24—25).

Здесь мы сталкиваемся с удивительным примером ассоциативного мышления: жители Sodoma были извращены настолько, что отказались от предоставленной Лотом возможности сожительствовать с его дочерьми («любезное» их предоставление — отголосок и поныне встречающихся древних обычаев «гостеприимства», сходных по смыслу с древней же «священной» проституцией) ради того, чтобы соединиться с гостями Лота, оскорбив его и их. Жестокость и ослепление (духовное, перешедшее и в физическое) не дают им понять, что гости Лота — совсем не мужчины, а «Ангелы» (образ явления Бога), то есть Сам Бог посетил Лота. Они пытаются извращенным образом, следовательно, соединиться с Богом (намек на религиозную извращенность) и погибают в огне. «Не обманывайтесь: ни блудники... ни прелюбодеи... ни мужеложники... Царства Божия не наследуют», — говорит св. ап. Павел (1 Кор. 6, 9—10). Это отнюдь не угроза, а констатация печального факта. Царство Божие людьми, имеющими в браке половые отношения, достигается через соединение в любви. Царство — это брак Христа и Его Церкви, а его земная проекция — это брак двоих разных, соединяющихся в «единую плоть». Как было уже сказано, секулярный мир, все дальше отходя от истинной Церкви, утрачивает тайну брака. Когда гомосексуалисты говорят в свою защиту, ссылаясь на обычное гетеросексуальное «партнерство» (им хорошо, когда «он и она», а нам — когда «он и он», «она и она»), они в общем-то правы: союз двух разнополюх партнеров только внешне напоминает брак, а в смысле безбожности стоит в одном ряду с союзом однополюх партнеров, только первый более распространен и привычен...

В гомосексуализме можно различить разные типы. Во-первых, часто подобные отношения возникают в подростковой и юношеской среде, если у них ограничены или запрещены отношения с другим полом (закрытые училища, пансионы, монастыри в период упадка, армия, тюрьма — в последней преобладают мотивы власти и унижения), либо отсутствует опыт общения с ним (не полового, а обычного, например, патологический страх перед иным полом). Сексуальность и эрос развиваются неравномерно, и в то время как в своих фантазиях мальчик (девочка) воспевают будущий предмет любви, на практике он (она) может совершить не только рукоблудие, но и (для преодоления одиночества) совместное раздражение, совместное рукоблудие и т.д. — это так называемый «урнингизм», однополое «взаимоудовлетворение», которое широко распространено и которое часто проходит с взрослением, хотя затягивание этого периода, его бесконтрольность может помешать будущим естественным отношениям и даже перерасти в «настоящий» гомосексуализм.

Во-вторых, в гомосексуальные отношения могут вступать люди, пресыщенные «обычным» развратом и потерявшие способность любить и ценить любовь (это характерно для мира искусства). Здесь могут случаться счень печальные последствия, ибо подобный человек вовлекает в круг отношений молодых, часто от него зависящих людей и даже детей (педерастия), растлевая их.

Но в наше время особенно распространился третий тип гомосексуализма, когда партнеры входят в него «на паритетных началах», образуя «семьи». При этом они утверждают, что, во-первых, получают в этих отношениях много больше, чем в гетеросексуальных (многие из них бисексуалы, с предпочтением однополой «любви»), а во-вторых, многие из них действительно ощущают себя иным полом (что приводит иногда к операциям по его изменению — транссексуализм). И это уже беда — много больше, чем вина. Во многих случаях уже упоминавшийся бес блуда (гл. VI) внушает, что все утверждения о противоестественности есть просто ханжеский предрассудок или же — что человеку не справиться со своей долей, это «крест» и нужно смириться.

То, что мужчина (женщина) не получает в браке счастья любви — это результат огорченности от Бога, это можно исправить долгим духовным и психологическим воспитанием. То, что мужчина (женщина) ощущает себя не таковым, а противоположным полом — это результат катастрофической отчужденности полов; это (если только возможно) излечивается с помощью психиатрии и гормональной терапии. Причин подобной аномалии много: плохая наследственность, ненормальности полового воспитания, детские впечатления, связанные только с окружением противоположного пола, перенесенные заболевания, радиация, влияние некоторых специфических видов искусства и спорта и др.

Садизм. В примере с Содомом показывается, как необузданное сексуальное желание, принимая извращенную форму, тесно связывается с жестокостью и неспособностью к раскаянию. Относится это, однако, отнюдь

не только к гомосексуализму, но и к «обычным» отношениям. Продолжая рассуждения о различии христианского и мирского подходов к смыслу половых отношений, необходимо добавить, что *первородный грех в половых отношениях проявляется не только как эгоизм и похоть, но и как стремление к подчинению, к власти, к обладанию.* «Дана Мне всякая власть на небе и на земле», — говорит Господь (Мф. 28, 18), но это — власть Любви. Человек несет в себе образ Божий — и право власти, но падшая природа человека превращает власть как инициативу и ответственность во власть-насилие, власть как подавление другого. Половые отношения являются грехом тогда, когда один из супругов (обычно мужчина) пытается подсознательно, а иногда и осознанно, посредством этих отношений насытить свою жажду властвовать над другим. Если подобная тенденция не побеждена освящающей благодатью Св. Духа, а, напротив, опережает все остальные мотивы, то в половых отношениях развивается садизм (иногда принимаемый другой стороной покорно и даже желанно).

* * *

Нынешний век остро поставил половую проблему, вскрыв одну из «семи печатей». Тайное стало явным, но сама цель брака была утеряна. Об интимном во всех подробностях говорят открыто даже детям, не смущаясь таких слов, как секс, презерватив, оргазм и т.д. Человечество стало решать проблемы пола и любви вне религии и вне Церкви (отчасти из-за самой Церкви), но легче от этого не стало, потому что вместе с узнаванием интимного умножились зло и разврат. Термин *«свободная любовь»* стал означать *отнюдь не любовь, свободно от Бога принятую, а оправдание блуда.* Мы уже говорили о взаимосвязи слов «блуд» и «зablуждение»: человек, заблуждающийся относительно Творца («блудный»), заблуждается и относительно ближнего и самого себя (блудит против ближнего и себя и в половой сфере). Раннее развитие подростков, пробуждение чувственности, групповые соединения, омоложение секса, ранняя беременность, широчайшая распространенность измен браку, — измена (Богу-любви-любимому) стала нормой, превосходство в отношениях влюбленности телесного над духовным и поэтому множество «проб и ошибок», пропаганда гомосексуализма как одной из «разновидностей» «нормальной любви» — всё это может привести к нравственному одичанию и даже вымиранию человеческого рода, прежде всего в цивилизованных странах. Особую роль в этих процессах играют распространение порнопродукции, сексуально-магическая ритмика примитивных народов, проникшая во все виды молодежного искусства, культ силы и красоты тела. Воспевание похоти оскорбительно для достоинства человека, хотя эта мысль приходит к нему не сразу. Порнография разжигает воображение, навязывая ему свой сюжет, способствует развитию греха. А ведь в половых отношениях также есть своя красота, если видеть в них часть

Божьего замысла, а не упиваться чувственностью, тленной, как и тела. Изображать любовь, если это так необходимо, можно и целомудренно...

Для преодоления последствий раннего полового развития современных подростков существуют два взаимодополняющих пути. Первый предлагает медицина: это ограниченный путь — как бы смирившись с природой, необходимо локализовать и обезопасить ранний секс; это система полового просвещения, психологической помощи, полового предохранения (презервативы) — последнее против ранней беременности, приводящей к печальным последствиям, и от СПИДа, и от прочих болезней. Второй путь непосредственно относится к сфере религии: это духовное просвещение юношества, главной целью которого является воспитание целомудрия, причем основываться здесь нужно не столько на житиях и наставлениях древнеегипетских отшельников, часто презиравших брак ради другого пути, а на примерах святых и праведных христианских семей, в том числе и современных, при этом надо помнить, что «сексуальность и эрос нормально должны развиваться параллельно, друг друга обогащая, но друг друга не заменяя»¹⁰.

⁹ Прот. В. Зеньковский. Указ. соч. С. 15.

Григорий ПОМЕРАНЦ

ЛЮБОВЬ НЕБЕСНАЯ И ЗЕМНАЯ
(Центростремительное и центробежное)

Одно из лучших стихотворений Пастернака написано от имени Магдалины. Меня всегда потрясает его вторая половина. И особенно — последняя строфа:

Но пройдут такие трое суток
И столкнут в такую пустоту,
Что за этот страшный промежуток
Я до воскресенья дорасту.

Покойный о. Сергей Желудков считал последние слова профанацией, подстановкой себя на место Христа. Я не соглашался. По-моему, чудо требует соучастия. В Назарете, где Иисуса знали босоногим мальчишкой, никто не мог поверить в его преображение, и чудес не было. Недаром сказано было: «Нет пророка в своем отечестве»; и еще: «Вера твоя спасла тебя». Я думаю, это относится и к чуду воскресения. Чудо увидели те, кто поверили, и в меру своей веры. Первая — Мария Магдалина (хотя и она сперва приняла Воскресшего за садовника). А ученики Христа довольно долго шли с Воскресшим по дороге и беседовали с Ним, как со случайным спутником. Только постепенно, по мере того как от присутствия Христа возросла их вера, черты спутника проявились, и они узнали Его.

Воскресение Христа окружено легендами. Я не думаю, что Фома мог вложить персты в рану от копья: либо рана зажила, либо из сердца должна была непрерывно течь кровь (а об этом никто не сообщает). Недостоверно и то, что Христос, явившись ученикам, ел с ними и пил. Всё это слишком напоминает создания народной фантазии. Единственное свидетельство, не прошедшее через фольклор, принадлежит апостолу язычников. Христос явился перед его духовными очами на пути в Дамаск и сказал: «Савл, Савл, зачем ты гонишь Меня?» Но Савл (ставший Павлом) не ел с Ним

**Григорий
ПОМЕРАНЦ**

— родился в 1918 году в Вильне (ныне Вильнюс). Окончил ИФЛИ. Участник Великой Отечественной войны. Автор книг «Неопубликованное» (Мюнхен, 1972), «Сны Земли» (Париж, 1985), «Открытость бездне. Этюды о Достоевском» (Нью-Йорк, 1989), «Открытость бездне. Встречи с Достоевским» (М., 1990), «Собирание себя» (М., 1993), «Выход из транса» (М., 1995). Живет в Москве.

и не пил. Произошло другое, несравненно более важное чудо: преобразование. «Я умер, жив во мне Христос», — сказал об этом Павел.

Об этом же чуде написал Пастернак — за Магдалину: «...И столкнут в такую пустоту» — в мистическую смерть — «Что за этот страшный промежуток / Я до воскресенья dorасту». Именно с этого, со смерти-воскресенья Магдалины, Павла и других, — началось христианство, и не случайно Воскресший первым явился Магдалине, через ее страстное ожидание чуда. Женщины намного превосходят мужчин силой чувства. От этого и чудеса с женщинами случаются чаще. Статистика показывает, что стигматичек в несколько раз больше, чем стигматиков. Женщины — большинство среди первых христиан и большинство оставшихся верными Христу в годы советских гонений. Это как-то связано со всей полнотой женской душевной жизни, женской неразделенности плоти и духа.

Магдалина у Пастернака любит Христа как Бога и как женщина — идеальный образ, заложенный в глубине ее души (анимус, по терминологии Юнга). Магдалина склоняется во прахе перед обоими, соединенными — по церковному же учению — неслиянно и нераздельно. Христос — по этому учению — вполне Бог и вполне человек. Как вполне человек он также вполне еврей, вполне мужчина и т.п., как это ни противно монофизитам, явным и тайным. (Монофизиты, как известно, считали, что Христос — только Бог, что человеческое в нем поглощено божеским.) Магдалина вполне православна (и кафолична), не умея отделить порыв веры от платонического эроса. Это не более противоречиво, чем догматическая формула о двух природах, человеческой и божеской, соединенных «неслиянно и нераздельно». И именно слитность общей религиозной и особенной женской душевной страсти сделали Марию Магдалину первой свидетельницей Воскресения.

Вот это просвечивание божеского сквозь человеческое не всегда дается комментаторам. Либо они вовсе отрицают эротический обертон стихотворения, либо решительно преувеличивают его. Первое можно сказать о комментарии Евгения Борисовича и Елены Владимировны Пастернак к Избранному в двух томах (М., 1985. Т. I. С. 604): «Форма обращения Магдалины к Христу использована была в стихотворении Р.-М. Рильке «Пиета» из книги «Новые стихотворения» (1907). Пастернаку также был знаком цикл стихов Цветаевой под названием «Магдалина», представляющих собой диалог... Пастернак, трактуя тот же сюжет, освобождает его от эротики».

И. Бродский цитирует это (в своей статье «Вершины великого треугольника»¹) и пытается доказать прямо противоположное: что стихотворение Пастернака насквозь эротично. В конце статьи даются полностью три стихотворения: пусть читатель, захваченный аргументацией Бродско-

¹ См. журнал «Звезда» (№ 1, 1996) со ссылкой на первоисточник: Marina Tsvetaeva. One Hundred years. «Modern Russian literature and culture. Studies and Texts». Vol. 32. Berkeley, 1994. Далее страницы указываются в тексте.

го, сравнит ее с текстом. Мне кажется, надо дать читателю возможность войти в тексты до захваченности поэтической силой Бродского и моих контраргументов:

Пиета

Твои ль это стопы, Иисус, твои ли?
И всё же, о Иисус, как я их знаю:
Не я ль их обмывала, вся в слезах.
Как в терн забившаяся дичь лесная,
Они в моих белели волосах.
Их до сих пор ни разу не любили,
Я в ночь любви их вижу в первый раз.
С тобой мы лежа так и не делили.
И вот сижу и не смыкаю глаз.
О, эти раны на руках Иисуса!
Возлюбленный, то не мои укусы.
И сердце настезь всем отворено,
Но мне в него войти не суждено.
Ты так устал, и твой усталый рот
Не тянется к моим устам скорбящим.
Когда мы наш с тобою час обрящем?
Уже — ты слышишь? — смертный час нам бьет.

(1907; перевод К. Богатырева)

* * *

О путях твоих пытать не буду.
Милая! — ведь всё сбылось.
Я был бос, а ты меня обула
Ливнями волос —
И — слез.

Не спрошу тебя, какой ценою
Эти куплены масла.
Я был наг, а ты меня волною
Тела — как стеною
Обнесла.

Наготу твою перстами трону
Тише вод и тише трав.
Я был прям, а ты меня наклону
Нежности наставила, припав.

В волосах своих мне яму вырой,
Спеленай меня без льна.
— Мироносица! К чему мне миро?
Ты меня омыла,
Как волна.

(1923)

* * *

У людей пред праздником уборка.
В стороне от этой толчеи
Омываю миром из ведерка
Я стопы пречистые твои.

Шарю и не нахожу сандалий
Ничего не вижу из-за слез.
На глаза мне пеленой упали
Пряди распустившихся волос.

Ноги я твои в подол уперла,
Их слезами облила, Иус.
Ниткой бус их обмотала с горла.
В волосы зарыла, как в бурнус.

Будущее вижу так подробно,
Словно ты его остановил.
Я сейчас предсказывать способна
Вещим ясновиденьем сивилл.

Завтра упадет завеса в храме,
Мы в кружок собьемся в стороне,
И земля качнется под ногами,
Может быть, из жалости ко мне.

Перестроятся ряды конвоя,
И начнется всадников разъезд.
Словно в бурю смерч, над головою
Будет к небу рваться этот крест.

Брошусь на землю у ног распятыя,
Обомру и закушу уста.
Слишком многим руки для объятья
Ты раскинешь по концам креста

Для кого на свете столько шири,
Столько муки и такая мощь?
Есть ли столько душ и жизней в мире?
Столько поселений, рек и роц?

Но пройдут такие трое суток
И столкнут в такую пустоту,
Что за этот страшный промежуток
Я до Воскресенья дорасту

(1949)

Бросается в глаза, что стихотворения Рильке и Цветаевой продолжают очень давнюю традицию трубадуров, сблизивших культ любви небесной с любовью земной. В русской поэзии эту линию первым подхватил Пушкин — в двух вариантах стихотворения о бедном рыцаре: сперва с иронией («не путем-де волочился он за матушкой Христа»), а потом со всей поэтической серьезностью. Можно вспомнить в этой связи и «Благоговение» Блока (к которому, впрочем, мы вернемся несколько позже). Новшество Рильке и Цветаевой в том, что в процессе обмирщения-освящения (обмирщения церковного образа и освящения образа любви) вытягивается не Богородица, а Христос, через целостное чувство Магдалины. Кошунство здесь возможно (как в первом пушкинском «Рыцаре»), но совершенно не обязательно (доказывает тот же поэт своим вторым «Рыцарем»). «Всё преходящее — только подобие», и мистика всегда пользовалась эротическими метафорами. В широком историческом контексте пастернаковская «Магдалина» сравнима со вторым пушкинским «Рыцарем» (тем самым, который цитирует Аглая Епанчина в «Идиоте»).

Стихотворение Пастернака явно перекликается со стихами Рильке и Цветаевой, почти так же, как два стихотворения одного поэта, Пушкина. На этой интимной связи настаивает Бродский, и по-моему он прав. Но затем Бродский, подчиняясь велению своей собственной музы, в упор не видит то, что по-моему очевидно, и убеждает нас, что Пастернак не отвечает Цветаевой, а пассивно повторяет ее, что он побежден, поглощен Цветаевой. Между тем, в стихотворении Пастернака происходит перипетия, смена направления процесса, победа противоречия, открытие заново сакрального смысла *сквозь* подчеркнутую сбыденность. И аргументация Бродского, убедительная при анализе первых строф, всё больше и больше повисает в воздухе.

Впрочем, Бродский не столько аргументирует, сколько завораживает, вытягивает в свое поэтическое чувство, пробудившееся от чтения чужих стихов, и это его эссе — своего рода художественный вымысел, временами захватывающий, покоряющий, и всё же остающийся вымыслом. Спорить с этим вымыслом трудно. Поэтическая сила — не на моей стороне. Бродский то убеждает, доказывает, то — с обезоруживающей откровенностью — признается, что доказательства здесь не стоят ломаного гроша и не в доказательствах дело: «То, что я вам собираюсь изложить, вернее, прочесть, носит крайне субъективный характер, ни на какие объективные данные не опирается и, видимо, многих из нас поразит отсутствием знакомства с наиболее очевидным материалом, то есть перепиской и т.д. Это исключительно умозаключения на основании двух стихотворений, в которых я увидел определенное сходство» (с. 225). «Я не знаю, что это может дать цветаеведению или пастернаковедению. Я не очень хорошо представляю себе, почему я вообще за это берусь. Скорее всего потому, что нечто в этих двух стихотворениях, помимо очевидной общности их размера и тематики, заставляет меня соединить их воедино, и мне хочется определить это нечто» (с. 228). Таким образом, речь идет не собственно

о Цветаевой и Пастернаке, а о лирической волне, поднятой ими в Бродском. С точки зрения строгой науки, это его частное дело. Но дело поэта всегда важно для исследователя поэзии. Лирика вся субъективна — и в то же время трансубъективна, то есть через субъективное достигает глубинной реальности. В чем-то, в каких-то частных утверждениях, с Бродским хочется согласиться. Сопереживание Бродского позволяет нам лучше понять глубину и силу лирической связи Цветаевой и Пастернака — связи, которую Е.Б. и Е.В. Пастернак стремятся скорее ограничить. Можно подумать над возражением Бродского: «Наготу твою перстами трону / Тише вод и ниже трав». Не от этой ли вершины целомудрия авторы комментария поздравляют своего родственника с освобождением, квалифицируя его как эротику» (с. 229—230). Стихи, действительно, целомудренные. Это не пошлая эротика. Но это эротика, целомудренная эротика, целомудрие в воплощенной близости, в «побви вплотную», по выражению Марины Цветаевой. Это великая поэтическая тема, но не христианская тема, и, во всяком случае, не *тема Христа*; любовь Христа не знает половой избирательности, не поддерживается пламенем страсти, обращена ко всем. То, что так бывает, трудно постичь. Легче реализовать метафору «жениха небесного», превратить небесного жениха в идеального земного жениха, вымечтанного женщиной, в мужчину без мужской грубости, превратить оттенок, намек на эротику (свойственный христианству) в мистическую эротику бхакти.

Князя Мышкина называли «отсылкой к Христу» (выражение Е.Б. Рашковского); Христос Цветаевой — отсылка к идеальному любовнику Кришне, трансформация христианства в кришнаизм «Гитаговинды»². Здесь дело в оттенках, в превращении второстепенного в главное и главного во второстепенное, даже вовсе не значащее. Тема захватывает Бродского, потому что она ему самому близка, потому что он страстно вжился в современную цивилизацию, где для Бога, для «пламени без дыма» не осталось места, но не может обойтись без религиозного наследия. Остается рассматривать икону или литургию как маски для чисто человеческих порывов. Стих Гёте выворачивается наизнанку, не преходящее — только подобие, напротив: образы вечного суть только подобия земных страстей. Вокруг этого бьется мысль Бродского, временами противореча себе. Так, он пишет: «Я хотел бы подчеркнуть следующее. Обращение Цветаевой с Магдалиной в данном случае — вольное. Вольность эта — естественная не только для любовной лирики, но и для человека, воспитанного в христианской вере вообще. Магдалина для Цветаевой по существу лишь еще одна маска, метафорический материал, мало чем отличающийся от Федры или Ариадны, или от Лилит. Речь идет не столько о вере, сколько о женском архетипе и его чувственном потенциа-

² Кришнаизм имеет очень много вариантов: Кришна «Бхагават Гиты» (песни Господа) — суровый учитель, Кришна «Гитаговинды» (песни пастуха) — идеальный любовник.

ле, то есть о самопроекции. Самопроекция? Вряд ли. Скорей — проекция Христа на себя. При всей ее нецерковности Цветаева — христианка, и степень чувственности для нее — иллюстрация степени любви: чувства глубоко христианского. **Вполне возможно, что главная заслуга христианства именно в том, что оно сообщило этому чувству метафизическое измерение**» (с. 227. Я выделил толкование, в котором Христос становится Кришной. — Г.П.) И далее: «Тональность этого стихотворения — тональность, совмещающая прощение, любовь и благодарность за любовь. Это и есть, боюсь, формула христианской любви» (там же).

«Примем во внимание также, что любой читатель, а в особенности мужчина, легко узнает свой голос в — «Милая! Ведь всё сбылось». Строчка эта — житейский выдох, повторяемый многократно, ибо в течение жизни «воскресать» приходится неоднократно, написанное сбывается неоднократно. И приняв сказанное во внимание, представим себе, что этот мужчина — вы, и что вы — Пастернак или, по крайней мере, поэт, то есть — человек, легко впадающий в зависимость от порядка чужих слов, от чужих размеров...» (с. 228).

Так, следуя по тропкам ассоциаций, мимо большой дороги рассудка, мы приходим к тому, что Магдалина — Цветаева, Христос — Пастернак и Воскресение — не событие в духовной истории человечества (и каждого христианина), а нечто вроде «воскресения» Нехлюдова, увидевшего на скамье подсудимых Катюшу. И пастернаковская «Магдалина» — ответ мужчины на любовное письмо женщины. Правда — ответ через четверть века. Но мало ли что всплывает из глубин памяти — даже через 30, 40 лет...

Доказательства Бродского интересны сами по себе, как образец мышления поэта: «Думаю также, что самое имя Мария Магдалина анаграмматически содержит в себе имя Марина — тем более, что для русского слуха «Мария» и «Марина» не слишком дифференцируются. Анаграмматичность только усиливается от повторяющихся гласных — *а/и/я* и *а/и/а* и идиосинкратическим эхом в «мироносица, зачем мне миро» еще закрепляется» (с. 229).

Хочется возразить на это, что слово — это не только звук, не только волна смутных ассоциаций. В слове есть прямой смысл, а этот прямой смысл не исчезает в стихах. Прямой смысл стихотворения — разговор с Христом, а через Христа — со всей традицией пророков, слушавших Бога мужским слухом и понимавших Бога мужским умом. Это фемининный бунт против маскулинной редакции откровения — один из многих голосов в современной цивилизации. Это фемининное утверждение святости зачатия — а не только рождения (ибо для женщины зачатие и рождение физически нераздельны). Но говорить это Пастернаку — значило бы ломиться в открытую дверь. Он и без уговоров считал всякое зачатие непорочным. И нелепо обвинять его в чрезмерной «прямоте», в ригоризме; судя по переписке, Марина Цветаева упрекала его скорее в неразборчивой влюбчивости.

На уровне слов и логических связей между словами стихотворение имеет вполне определенный смысл, и никуда от него не деться. В то же время, на уровне ассоциативных полей, звуковых и смысловых наплывов основной смысл переключается с другими смыслами, и Бродский выносит на авансцену, под свет рамп, подтекст, обращенный к Пастернаку, наплыв, которому Цветаева, по-видимому, не придавала большого значения (если вообще создала его). Ошибка здесь не в плане «да или нет», а скорее в плане «больше—меньше». Выслушав Бродского и согласившись, что иррациональный наплыв любовного чувства к Пастернаку в стихотворении Цветаевой был (или мог быть), я всё же склонен вернуться к основному смыслу с большим пониманием целого. Чем больше мы чувствуем и сознаем все наплывы, тем больше очарование текста.

Однако попытка рассматривать два стихотворения, Цветаевой и Пастернака, как одно — становится неубедительной, как только мы проходим через первые бытовые строфы пастернаковской «Магдалины» и доходим до перипетии: «Будущее вижу так подробно...» Ибо это перипетия не только в развитии характера Магdalины³, но и в развитии России. Очередная волна гордыни обрушилась в пропасть. И захлебываясь в пучинах, люди чувствуют, что своим умом, без опоры на Бога, они из этой пропасти не выберутся. Волна гордыни сменяется волной покаяния, обмирщение — поисками новой сакрализации. Бродский был вырван из этого процесса эмиграцией. Он оказался на Западе, опьяненном своим пафосом нарастающей технической сложности, и потерял понимание русского похмеля.

Каждый раз, когда человечество съедало запретный плод, оно чувствовало тяжесть первородного греха. После слов Протагора: «Человек — это мера всех вещей» — мерой стал Нерон. После «Панегирика человеку» Пико делла Мирандолы — мерой стал Цезаре Борджиа. После тезиса: «Человек добр» — разнуданная воля сентябрьских убийств 1792 года. После слов Маркса о бесконечном развитии богатства человеческой природы был создан ГУЛАГ. И каждый раз за осознанием бездны греха следовал порыв покаяния и веры: христианство после Афинской академии, барокко после Возрождения, романтизм после Просвещения — и стихи к роману «Доктор Живаго» после поэмы «1905 год». Бродский остается на уровне атеистического экзистенциализма, не далее порога веры, и пыгается отрицать порыв к чуду, продолжить бытовой зачин, довести его до конца. Ему кажется, что «образу Магdalины сообщено цветаевское отчаянье, цветаевская беспощадная интенсивность мышления, цветаевская жажда бесконечности, равно как и некоторые элементы ее поэтики. То есть, иными словами, Цветаева подчиняет себе Пастернака, поэта центростремительного, порождая этот отход от центростремительной практики. Пастернак в этом стихотворении становится поэтом

³ «Сивилла выжжена...» Цветаевская сивилла подобна Савлу, ставшему Павлом. В нее «Бог вошел».

центробежным» (с. 232; то есть, насколько я понимаю метафоры Бродского, перестает стремиться к гармонической целостности веры и утверждает разорванность и абсурд. — Г.П.).

Бродскому кажется, что стихи

Слишком многим руки для объятья
Ты раскинешь по концам креста. —

«вне сюжета и вне доктрины и пришло из «После России», из «дай мне руку на весь тот свет! Здесь мои обе заняты» — куда в свою очередь пришло из цветаевской жизни, из ее быта, из ее отождествления себя с Магдалиной, с бабой, раскидывающей руки для слишком многих, — равно как и из раннего «Через Летейски воды протягиваю две руки» (там же).

Сходное толкование можно найти в воспоминаниях Андрея Вознесенского о Пастернаке, опубликованных несколько лет тому назад в «Новом мире». Есть что-то общее во всех попытках атеизма — атеизма благодушного и атеизма страдающего, трагического — приземлить веру. Впрочем, Бродский чувствует натянутость своих аргументов и сам пишет: «...убежденный, что хватаю через край, и не желая этому противиться...» и всё же продолжает; и в последней строфе (с которой начал) ничего не замечает, кроме звуков: «Автор возвращается в стихотворение только в последней строфе, в его антиразвязке или квазиразвязке, звучащей благодаря избыточности «у» в «пройдут», «сутоку», «столкнут», «такую», «пустоту», «промежутку», «дорасту» как не приносящий никакого разрешения выход» (там же). Больше ничего поэт не смог сказать о стихах, которые я позволю себе повторить:

Но пройдут такие трое суток
И столкнут в такую пустоту,
Что за этот страшный промежуток
Я до воскресенья дорасту.

Видимо, в опыте поэта не нашлось решительно ничего, что позволило бы ему понять преобразование Магдалины — и Пастернака.

С моей точки зрения, Е.Б. и Е.В. Пастернаки правильное поняли стихотворение, они утверждают основной, религиозный смысл, и просто отбрасывая все напыльвы. Бродский, напротив, не видит в вере веры, топчет основной смысл в напыльвах. Так можно увидеть эротику и в «Троице» Рублева.

Я постоянно живу с этой иконой и много раз вглядывался в нее в поисках новых и новых смысловых напыльвов. Только недавно я, кажется, понял смысл светло-зеленой одежды у правого ангела и светло-розового у левого... Однажды (в семидесятые годы) я проделал такой эксперимент: мысленно закрыл среднего ангела, освободил правого от крыльев и одел его в мафорий. Этот ангел весь погружен в созерцание, в слушание-вбирание. Руки бессильно упали. Глаза смотрят внутрь. Он слушает весть из Царствия, которое внутри нас... Левый ангел, напротив, весь в напряжении, в готовности протянуть руку к чаше, в готовности сказать слово,

принести весть. Помимо основного смысла (ясного из того, что он сидит — в пространстве иконы — одесную среднего, который чуть выше других), в нем можно увидеть архангела Гавриила и в правом ангеле — при таком взгляде — Марию. То есть в «Троице», как один из второстепенных наплывов, можно увидеть и Благовещенье. А Благовещенье, во многих прекрасных картинах итальянских и испанских мастеров, приобретает характер встречи влюбленных (Бродский ссылается на живописные трактовки Магдалины; я могу сослаться на не менее частые трактовки Благовещенья). А от итальянской картины родилось стихотворение Блока:

...Всею лицом склонилась над шелками,
Но везде — сквозь золото ресниц —
Вихрь ли с многоцветными крылами,
Или ангел, распростертый ниц...

Темноликий ангел с дерзкой ветвью
Молвит: «Здравствуй! Ты полна красы!»
И она дрожит пред страстной вестью,
С плеч упали тяжких две косы...

Некоторые западные версии Благовещенья допускают такую трактовку; но икона Рублева, взятая в целом, исключает ее. Есть некая власть целого, в рамках которого возможны бесчисленные наплывы, оттенки смысла — но не все. Трактовка где-то переходит в пародию. Рублевская «Троица» имеет основной смысл, связанный с учением вселенской Церкви о Троице. Кисть гения, которая умнее его самого, окружила основной смысл целым хоромом дополнительных смыслов, и можно перенести акцент, сделать дополнительное основным и основное дополнительным. Я пытался это показать в эссе «Троица Рублева и тринитарное мышление» (в моей книге «Выход из транс». М., 1995). Но хором в целом кружится вокруг вечного, стремится к вечному, и его стремление не допускает поворота к преходящему, превращения эротической метафоры Благовещенья в образ земной любви. Есть основания считать, что композиция «Троицы» была заимствована из буддийского круга (где она возникла на 500 лет раньше). И можно перетолковать «Троицу» Рублева на суперэкуменический лад, как образ встречи всех высоких религий. Но нельзя, разрушая целого, перетолковывать ее обмирщенно, как любовную сцену или объятия нежной дружбы. Так же нельзя перетолковывать пастернаковскую «Магдалину». Сюжетно она связана и с цветаевской «Магдалиной», и с «Пиетой» Рильке. Но по духу она ближе к таким стихам Рильке, как «Импровизация на тему каприйской зимы», «Сонеты к Орфею»... И у Марины Цветаевой есть «центростремительные» порывы...

Иногда и ее, и Блока, и раннего Пастернака несла волна обмирщения святых, начавшаяся в эпоху Ренессанса. Но поздний Пастернак — свидетель катастроф XX века — подхвачен волной покаяния. И Христос в его стихотворении — по ту сторону чисто эротической, избирательной

нежности, доступной каждому человеку с музыкальным чувством прикосновения. Он раскрывает руки поселениям и рощам, рекам и морям. Он каждый камешек чувствует своей плотью. Он — целостность, в которой наше духовное возрождение.

Впрочем, я не хочу пересказывать стихи Пастернака. Они сами за себя говорят. Требуется объяснения другое: какая сила мешает понять то, что ясно сказано. Видимо, прямой смысл пастернаковской «Магдалины» несовместим с мировоззрением атеиста, и поэты-атеисты вынуждены придумывать другой смысл, согласный с их собственным мировоззрением. Захватив Бродского поэтически, Пастернак заставил его ум сопротивляться, отставлять свои предубеждения, и сопротивление ума продиктовало эссе, в котором страстно, талантливо доказывается нечто прямо противоположное стихам Пастернака.

Можно спросить, зачем спорить с мертвым? Но спор центробежного с центростремительным не умер. Он продолжается. Центробежное — это безудерж человеческой воли, не признающей над собою Творца. Центростремительное — смирение перед бессмертным Духом, наполняющим жизнь смыслом. Смирение по самой своей природе тихо. В нем не сразу видна внутренняя сила. Но без центростремительного противовеса центробежное уносит в тартарары. Бродский в своем разговоре с Кудровой⁴ отчасти прав: Цветаева действительно первая на этом пути. Я не знаю равного ей в XX веке по силе страсти. Но, в отличие от Бродского, она выросла не в атеистическом обществе и сохранила сознание, что Творец выше твари.

Цветаевский синоним центробежного — «огнь-синь». Цветаева от него не отказывается, и всё же выше ставит «огнь-бел»: «Борис, я не знаю, что такое кошунство. Грех против *grandeur* какого бы то ни было, потому что многих нет, есть одна. Все остальные — степени силы. Любовь! Может быть, степени огня? Огнь-ал (та, с розами, постельная), огнь-синь, огнь-бел. Белый (Бог) может быть *силой* бел, чистотой сгорания? Чистота. Которую я неизменно вижу черной линией (просто линией).

То, что сгорает без пепла, — Бог.

⁴ В кулуарах конференции в Амхерсте (Массачусетс), 1992 г., «Бродский высказался так категорично, как (насколько я [т.е. Ирма Кудрова. — Г.П.] знаю) он никогда не формулировал свою позицию в печати. Он назвал Цветаеву самым крупным поэтом XX столетия. Я попробовала уточнить: «Среди русских поэтов?» — Он повторил, раздражаясь: «Среди поэтов XX века»... — «А Рильке?» И еще назвала чье-то имя, сейчас уже не помню чье. Бродский повторил, сердясь всё более: «Крупнее Цветаевой в нашем столетии нет поэта» («Бродский о Цветаевой». М., 1997. С. 6).

О полемике Бродского с Е.Б. и Е.В. Пастернаками Ирма Кудрова пишет: «Смелое и одновременно изящное сопоставление «Магдалины» со стихотворением Цветаевой (из цикла, носящего то же название, но созданного на двадцать шесть лет ранее) доставит истинное наслаждение ценителям поэзии» (там же, с. 11).

А от этих — моих — в пространствах огромные лоскутья пепла. Это-то и есть Молодец» (Цветаева—Пастернаку, 22 мая. В книге «Письма 1926 года». М., 1990).

Цветаева преклонялась перед равновесием смирения и дерзновения в Рильке, перед его уникальным сочетанием «высоты» и «величия» (духовной высоты и поэтической мощи). Рильке был высшей точкой в ее шкале ценностей. Себя она ставила ниже. Бродский расшатывает «ценностей незыблемую скалу». Он делает это с ослепительным блеском. Тем важнее спор.

Сейчас много мелкого своеволия; оно и без спора потонет в Лете. Но безумство знатных, сказал персонаж Шекспира, не должно ходить без стражи. Дерзновение требует противовеса. И значение пастернаковской «Магдалины» не в том, что поэт поддался, уступил «центробежной» силе, а в том, что выдержал ее напор и противостал ей.

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ

О МНИМОСТЯХ В ЛИТЕРАТУРЕ

1

...С годами: как ближнего начинаешь уважать не за его декларации, но просто за нравственное качество жизни, так и в литературе всё выше ценишь не «стиль», но «веяние»: добротную бескорыстность первоначального творческого импульса и дальнейшего воплощения. Чтобы исток творчества не был омрачен ничем, никакой сторонней оглядкой — только максимальное полное воплощение художественного замысла, корнями уходящего в душу и бытие.

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ

— родился в 1947 году в г. Рыбинске. Окончил искусствоведческий факультет Московского университета. После выхода в американском издательстве «Ардис» сборника «Избранное», составленного Иосифом Бродским, был вынужден под угрозой ареста эмигрировать. Жил в Париже, затем в Мюнхене, работал на радио «Свобода». В 1991 году окончательно вернулся в Россию. Автор нескольких поэтических сборников. Живет в Москве.

В том-то и состоит основная порочная специфика советской литературы, что она глобально ангажирована социальным заказом уже на стадии замысла, даже до него. Заказ мог быть персонально не сформулирован, вовсе не обращен к конкретному автору, просто он всегда был постоянной составной творческой жизни советского литератора — так же, как, например, страх перед госбезопасностью. Тем-то и отличался советский писатель от настоящего, что последний с а м — в соответствии со своими мироощущением и дарованием — формирует и решает свои творческие задачи, тогда как первый — всего лишь государственный служащий, чья деятельность — запрограммированный элемент идеологического социального механизма. Соцреалист — лицедей идеологии, симулянт художественных задач. Его истинной глубинной целью, даже когда он сам себе казался искренним, всегда было преуспеяние, лицемерно прикрытое идейностью и партийностью, которые, однако, и гарантировали это преуспеяние.

По завету Пушкина, автор свободный честно «продает рукопись», советский же — продавал вдохновение, точнее, его имитацию. Прежде невиданный алчный покупатель тут — тоталитарное государство, с потрохами и на корню приобретающее мысль, слово, сюжет, творческий метод, самую глубинную конфликтную ситуацию творческого создания. Душа подлинного творца «ищет, как во сне, Излиться, наконец, свободным проявлением (...)». «Свободное проявление» — вот емкое и точное определение вдохновенного бескорыстного творчества.

И еще недавно казалось, что нет (и не может быть!) ничего антагонистичнее ему, чем деятельность советского литератора. «Рядовой (а часто и генерал) идеологического фронта», он подходил к делу солидно, «высокоидейно»; «забывающий мир» Пушкин со своим «лирическим волнением», отважными мыслями и легкими рифмами выглядит рядом с соцреалистом каким-то ветреником... Глубинная имманентная трусость (свойственная всем, кто постоянно блефует) вообще уживалась в совлитераторе со спесью и снобизмом, диктуемыми прочной легальностью и чиновной значимостью в тогдашнем обществе. Правящая номенклатура и класс соцреалистов (в самом широком смысле) были связаны по принципу сообщающихся сосудов. И если теперь, например, госпремия превратилась просто даже в не слишком афишируемое пособие, то тогда была вопросом государственной важности, на обсуждение которого вожди не жалели времени, ибо тут шла речь о их прочном идеологическом обеспечении. Между номенклатурой и народом существовала «буферная зона» соцреалистов.

Особенно нестерпимой фальшью несет тогда, когда этим расчетливым мумиям приходилось в своих проделках имитировать бескорыстный энтузиазм.

...Среди бумажного хлама, оставшегося от прежних, весьма крутых в соцреалистическом отношении, хозяев переделкинского дома, в котором я сейчас живу, я обнаружил полувыцветшую слептку листов, схваченных

проржавевшей скрепкой: «ТВОЯ БУДУЩАЯ ВЕСНА. Заявка на литературный сценарий». Я было уже обрек ее на растопку, но стал читать и — увлекся. Судите сами.

«В нашем обществе уже сложилась и живет новая, советская мораль, складывающаяся из основных принципов коммунистического мировоззрения. Она не всегда еще точно о себе заявляет, иногда опаздывает с выводом, но зримо существует, с каждым днем укрепляется и всё шире подчиняет себе явления нашей жизни.

В сценарии — три героя, юноши Митя Шлык, Саня Красильников и Коля Бороздкин.

Три испытания, три врага встают на жизненной дороге Мити, Сани и Николая».

И далее — как по писаному — всё то, что и составляет суть любого соцреалиста, его почти биологическое отличие:

«Первый враг — чувство страха. Человек, побежденный страхом, — опасен. Он способен на всё, он обязательно предаст в тяжелую минуту.

Второй враг — эгоизм, принимающий в сознании человека самые различные отклонения, уродя и ломая правду жизни, пытаясь все явления действительности приспособлять к своим целям.

Третий враг, часто встающий перед человеком на его пути к победе, — это он сам.

И далее — фигура высшего соцреалистического пилотажа, тоже, впрочем, дежурная:

«Человек должен уметь постоянно вести нравственный поединок с самим собою, обуздывать ложные порывы, оберегать чистоту помыслов и поступков. Человек должен уметь внутренне видеть и понимать себя, именно эта особенность определяет силу и чистоту его сознания».

Какая проституция! Заглянул в конец рукописи: надо же, автор-то сценария, действительно, — дама.

«Вечер, город, улица, новое сверкающее здание в облаках света и влаги (одним словом, четвергый сон Веры Павловны. — Ю.К.) — открытый купальный бассейн. По ступенькам подъезда бассейна спускаются трое юношей. Совместное возвращение из бассейна сложилось как ритуал, полный значения для каждого из героев, непреложный. На этот раз это их последняя прогулка по дорогому маршруту, в конце которого прогулка сменяется дальней, суровой дорогой в жизнь. Саня и Коля не придут больше в бассейн. В конце недели они уезжают, Саня — в Казахстан слесарем-ремонтником бурового хозяйства. Коля — едет в Антарктику, водить трактор.

Они расстанутся на определенных этапах своего маршрута, на условленных местах, где Митю и Саню ждут их девушки. У Коли Бороздкина нет еще любимой девушки, но у него тоже свидание, обстоятельства которого он скрывает от товарищей, боясь показаться смешным или напыщенным.

Коля влюблен в искусство. По вечерам он ходит в мастерскую художника Калининкова. Именно здесь пришлось Коле принять первый бой».

Первым в жизненную переделку попал однако же Митя — «бригадир группы токарей на станкостроительном заводе».

«У Мити никогда нет в кармане денег, они всегда оказываются нужны кому-то. У Мити нет даже хорошего костюма: он не успевает купить. Он ходит в рабочей робе, но она выстирана, тщательно по-мужски им самим выглажена и надета поверх белой подкрахмаленной рубашки.

Аня, девушка, которую встретил Митя, — искусствовед, италист, редкостно, вызывающе красива, озлоблена и глуха к людям и к жизни. Ее только что обидел взрослый, сильный человек, который не дал себе даже труда ее обмануть». (Так все-таки «обидел» или «не дал труда», до какой степени пострадало Анино целомудрие? — непонятно.)

«Ане удастся сблизиться с Митей. Утром Митя курил и с ужасом думал: разве можно начинать с того, с чего начали они свои отношения. У него непоправимое ощущение беды, с ним случившейся. Аня была первой его девушкой и стала первой тяжелой потерей. Так что ничего, по-видимому, не получится!»

Что ж, минул XX съезд; сделалось либеральнее — вот вам и постельная сцена. Видим Митю в майке, на груди одеяло, лежит, гасит в пепельнице беломорину...

А Аня? «Аня поняла, что не привязала она Митю, а потеряла. Что после дружбы с Митей, пусть даже такой короткой, как была, ей трудно будет встречаться с другими».

...У Сани Красильникова — перед отъездом в Казахстан — свои проблемы. Его мамаша-учительница должна выступить в суде «по делу одного хулигана». И Саня получает анонимку, что если это случится, его убьют. Что-то уж больно мрачно. Но «вся история — спешит объясниться сценаристка, верно испугавшись, что нужные люди, в этом месте покачав головой, отложат сценарий, — идет как юмористическое разоблачение повода к страху, а не как запугивание поводом. Дело в том, что темперамент Сани удивительно не сочетается с его внешностью. По виду это робкий юноша, но в узком хрупком теле его непрерывно кипят и клокочут эмоции, которым мог бы позавидовать любой батальный герой». Саня поделился своими страхами с подругой Маришкой, а та... а та, конечно ж, бросилась на завод к Мите. «Митя немедленно отправился со своим письмом к следователю»; автор анонимки установлен, но Митя ничего не предпринимает, проверяя, как говорится, Саню на вшивость: «прогнется или закалится для других, более серьезных испытаний». Потом «предлагает встретиться с врагом лицом к лицу:

— Ты этому Белякову передай, что я, Дмитрий Шлыкков, помогу ему устроиться на завод и обучу профессии!»

Дело сладилось, беспризорник Беляков потрясен, он уже на заводе, и даже пришел провожать Саню в Казахстан вместе... с Маришкой. Саня ревниво огорчился лишь на секунду. «Кто-то пробежал мимо Сани, хлопнул его по спине и бросил на бегу:

— Давай, иди посмотри, чтобы конусы не кантовали!»

(Вот важная эпизодическая роль с сакраментальной, нарицательной фразой, своего рода соцреалистическое «Кушать подано», но вместо привычного русского лакейства — какой советский напор!)

«Саня шагнул в сторону, в поток людей, спешащих к вагонам, и вдруг — стал одним из них: нашей гордостью, нашей силой — мускулом и частицей души нашей страны».

А теперь — история Николая Бороздкина, как самая серьезная — на десерт.

Он — после обесчещенной италистки — второй интеллигент в «заявке на литературный сценарий». Впрочем, хотя у него дома «озера натертого паркета, рассеянный свет, изливающийся из современных абажуров», и всё такое прочее, он, по здравому совету отца, не побрезговал «курсами водителей тракторов для тяжелых, ледовых условий. Вскоре стало известно, что все, кто окончит отделение, отправятся в Антарктику на два года».

Николай вроде и не против, но заедает любовь, как выше обозначено, к искусству, желание стать художником: два года на тракторе в Антарктике не станут ли помехой призванию? «Два года — уговаривает мать — для искусства огромный срок. Прimitивный трудовой процесс — если он длителен — обедняет воображение, притупляет чувствительность. Серые сумерки, белый снег, каждый день одно и то же». Коля чувствует, что в материнских аргументах что-то не так, но возразить не умеет. И тогда, конечно, за советом на завод к Мите, а потом вместе — к маэстро Калинникову, в мастерскую, где Коля свой. А там поляк Ростоцких, уже успевший подарить (подсунуть) мэтру монографию об абстрактной живописи.

Ребята советуются с Калинниковым, но тут, «перебирая холсты, поляк нашел натюрморт — *персики и хрусталь, написанные в откровенно абстрактной манере* (курсив мой. — Ю.К.). Это была сенсация. Знаменитый советский художник занимается абстрактной живописью?» Но Митя и тут не замешкался отбрызнуть поляка-авангардиста: «Я привык считать, что наивысшее проявление сознания — это мысль!» Товарищи его поддержали, подняли любителя абстракции насмех, а «потом Калинников уже серьезно сказал:

— Слушайте, вы умный и знающий человек! Неужели вам не хочется видеть прекрасное в душе человека? Бороться за это прекрасное и сильное!

— Конечно, хочется, — неожиданно искренне ответил Ростоцких, — но это так не просто!»

Под впечатлением диспута ребята вышли на улицу, и Митя подытожил:

«— Езжай, Коля. Надо себя отдать людям. Вас там ребята ждут, которых пора сменять, небось до макушки обмерзли и ждут смены. А талант от человека никуда не уйдет!»

В Антарктику надо на самолете. «Кто-то пробежал мимо, к трапу, хлопнул Колю по спине и крикнул:

— Бороздкин! Проверь, ящик 2251 у тебя в самолете?»

Опять интересная эпизодическая роль, требующая, однако, гораздо большего мастерства: одно дело «чтобы конусы не кантовали», а вот попробуй выкрикнуть на бегу такое числительное.

«И вдруг уже у трапа Коля видит девушку, что-то знакомое... неужели... — Это я! Не узнаете? Конечно, вы никогда меня не видели одетой».

«Ню» из мастерской Калининкова примчалась на аэродром проводить Николая.

Тут бы и «конец фильма».

Но все-таки горький привкус оставила история с искусствоведем Анной. Конечно, она сама виновата, что затащила Митю в постель. Однако разве он не великодушен?

...Митю всегда ожидала у проходной толпа подростков, которых он опекал. И вдруг среди них — Аня. «Она стоит, уже благодарная им за то, что они, хотя и посматривают на нее осуждающе, всё же перебрасываются с ней словом и улыбкой».

Митя выходит. Он обещал ребятам взять их сегодня с собой на стадион, на тренировку мастеров.

— А. . можно мне с вами? — робко спрашивает Аня.

Митя смеется. По его веселым глазам видно — что можно».

«Заявка на литературный сценарий» и тут, однако, не обрывается. И дальше начинаешь испытывать какой-то особенно жгучий стыд за автора, за человека как такового: да где ж предел фальшивости или глупости человеческой? Халтурщица так вошла в раж, что говорит уже как власть имеющая, словно речь идет о чем-то серьезном:

«Картина обязана быть черно-белой. Мы привыкли к прямому, интенсивному легнему освещению и к прямому павильонному свету. Хотелось бы увидеть в картине и рассвет. Поэзию ветренного пасмурного дня, тающего снега, напряженного блеска первых весенних дней, дождя при солнце» Тьфу; и дальше: «Так называемая конкретная модернистская музыка — это, конечно, ерунда. Но хотелось бы на реалистической музыкальной основе — услышать партитуру каждого прохода по улице, голос каждой лестницы, стены, предмета, человека, звуковую среду обстоятельств. Звуковая партитура картины обязана быть современной, нести в себе поэзию современного города, современного человека».

Ишь ты: «обязана». Да позвони завтра N.N. и скажи, что готов снимать картину, которая, по его мнению, «обязана» быть цветной, а звуковая партитура «обязана» быть лиричной — неужто б сценаристка не согласилась? Но вот — имитирует творческую волю, и что может быть жалче этого в данном случае?

Под сценарием — от руки — размашистая дата окончания работы: «2 апреля 60 г.» Вот здесь, в переделкинском доме, где я не без удовольствия мыкаю теперь свое лихо, слава Богу, хоть не за этим, мною приобретенным, столом 36 лет назад закончила мадам сценаристка свою гомерическую халтуру. Немалых трудов стоило мне выгнать из этих стен эманации живших тут когда-то соцреалистов...

«Твоя будущая весна», кажется, так и не состоялась. Это тем более странно, что сценаристка-то была вовсе не с улицы. Ведь супруг-то нашей сценаристки был ба-а-льшой шишкой. И на тебе — не пробил.

2

...Русскую литературу прошлого века Томас Манн справедливо назвал с в я т о й. И это потому, что при всем ее реализме в исследовании человеческих пороков и бездн, в ней не были сбиты нравственные ориентиры, вся она пронизана имманентным религиозным смыслом. Святость ее, думается мне, строилась на органичной соподчиненности творческого гения авторов с находящимися в плодотворной антиномичности компонентами: *служением и свободой*.

И Бердяев, и другие наши мыслители не раз отмечали, что специфика русского мироощущения и культуры — в зависимости от божественной и моральной правды. Наше сознание так и оставалось до конца не секуляризированным, на уровне подкорки — религиозным. Тысячами нитей русский литератор ощущал себя связанным с высшим миропорядком — во всяком случае во время творческого процесса. На этом пути нашу культуру поджидало много соблазнов, но еще больше — головокружительных духовных и творческих достижений. Она попросту не в состоянии была быть имморальной, и в этом смысле — она едва ль не столь же христианская, как житийная и летописная литература Средневековья. Она — преемница всех высших достижений отечественного гения, чьи плоды словно уже не вполне земного происхождения: от киевской и владими́ро-суздальских культур до Рублева и Дионисия.

Натуральное органичное самоограничение русского писателя в пользу морали было столь естественно, что не носило, очевидно, даже характера выбора, а просто — «нельзя иначе». *З а с т е н ч и в о с т ь*, по тонкому определению Сергея Аверинцева, сродни складу русской святости, о которой столь проникновенно писал Георгий Федотов.

Но это отнюдь не мешало свободе отечественной литературы. Проблемы, ею ставимые и решаемые, ставились и решались, повторяю, бесстрашно. Такой силы атеистических, например, аргументов, какие мы встречаем у Достоевского, не достигли на Западе ни Киркегор, ни Ницше. Исследование греха у Толстого доходит до глубин «последних», более страшных, чем у Бальзака или Флобера. «Маленькие трагедии» Пушкина таят такие бездны, что в них лишний раз страшно заглядывать. И так — у всех классиков: творчество осуществляется, скажем еще раз, и как специфическое религиозное (в основе своей) служение Истине, и как реализация художественной свободы. Русская литература, будучи злободневной, была одновременно и пророческой, на все времена. Неустареваемые «Бесы» Достоевского — первый тому пример.

Всё секулярное движение XVIII столетия не задело сущностных механизмов творческого процесса. На поверхности писатель мог быть Карма

зиновым (то есть платить малодушную дань дежурной идеологии), на глубине же — оставался Тургеневым.

Пожалуй, самое капитальное отличие советской литературы от русской — в ее атеизме и идейной сдвинутости. Выслуживаясь перед властями предрержащими, советская литература лишь профанировала злободневность, симуляция конфликта («борьба хорошего с лучшим») подменяла идейную и литературную фабулу; мораль идеологизировалась. Метафизика, тайна, чудо — всё это отсутствовало напрочь. Одним словом, советская литература — уникальный культурологический и социальный феномен, соприсущий именно тоталитарной машине.

...Правда, еще в хрущевскую оттепель наметилось разжижение классического типа соцреалиста, и эта промежуточная мутация стала как бы мостком между писателем советским и нынешним.

«Дети XX съезда» пробовали протаскивать идейки, что и абстракционист может быть коммунистом, утверждали, что реалисты и авангардисты плечом к плечу сражаются на революционных баррикадах Латинской Америки, что даже самые левые мастера культуры «от души симпатизируют и завидуют нашим успехам». И впрямь, в тогдашнем уставе Европейского писательского сообщества был пункт: «Сообщество принимает в свои ряды коммунистов, но не принимает антикоммунистов, которых приравнивает к фашистам». Эта плеяда литераторов стала — не вступая в опасную конфронтацию с ленинизмом и не отказываясь от щедрой оплаты государством своей продукции — все-таки конкретно делать ставку на публику. Но ежели пресыщенной западной публике нужно зрелищ, то нашей оголодавшей хотелось тогда хлеба, то есть хотя бы фрондерства. Да и на дряхлеющий соцреализм пора было наложить погуще румяна. Так возник новый тип литератора, озорно пощипывающего тоталитарную ортодоксию, не затрагивая ее сути, показывающего — на радость зрителям — фигу в кармане своим хозяевам и при этом чувствующего себя едва ль не неподкупным серьезным правдоискателем. При этом изначальный источник творчества по-прежнему оставался замутнен внешней нетворческой задачей, и расчет на заказчика-потребителя доминировал над художественной свободой.

Но вот теперь, когда мы остались уже без соцреализма, вдруг обнаружилось, что между кондовым советским автором и новейшим, свободным на современный манер, есть определенное типологическое сходство — как между коммунистическим режимом и нынешней олигархией, перед которой человек тоже беспомощен и бесправен. Есть родство между производством соцреалистических поделок и поделок, рассчитанных на коммерческую отдачу. И в том, и в другом случае производимый продукт обусловлен не самодостаточностью творческого порыва и бескорыстного замысла, но лежащей вонне задачей: советский литератор писал, повторяем, дабы угодить идеологии, престижно вписаться в общество и хорошо заработать, коммерческий литератор пишет, чтоб завлечь как можно больше читателей и через это — тоже хорошо заработать, вписаться во

влиятельную тусовку и выйти на зарубежный рынок. Хотя соцреалист рассчитывал прежде всего на положительную реакцию сверху, а нынешний литератор — снизу при посредничестве популяризатора-журналиста, для обоих производимые ими тексты — прежде всего средство к существованию, а лучше — к обогащению.

Правда, на этом сходство кончается: коммерческий автор ставит только на разного рода развлекательность и щекочущий эпатаж, тогда как соцреалист — на идеологию, легитимизирующую номенклатуру. Первый формирует себе «творческое задание» сам — в соответствии со своей ушлостью, второй — выполняет «правительственное задание». У соцреалиста самодовольство смешано с трусостью, это зверь с сердцем мыши, тогда как у автора коммерческого самодовольство омрачается лишь беспокойством не упустить бы чего: его, как волка, всегда ноги кормят, а писателя советского кормила родная партия. Соцреализм профанировал святость русской литературы; андеграунд выклеивает ей печень, выводит «бациллу учительства» из тела национальной культуры — методом коновалов. (Мистифицирующий публику волк-одиночка из андеграунда по сути так же адаптирован масскультурой, как и любая литературная бульварная потаскушка. У нас сегодня между бульварным и элитарным невелик зазор, потому как запрещенные прежде идеологическим пуританством, а ныне активно эксплуатируемые засидевшимися на самиздатовской диете сочинителями порнуха, патология и т.п. — темы не только «пограничные», но и бульварные.)

Не просто досадно, больно: для того ли были нами принесены в XX веке такие жертвы, чтобы на костях миллионов корыстно кощунствовал теперь, ухмылялся и подмигивал кому надо литературный гешефтник, раскручивая себе рекламу?

...В 1987 году на ежегодной осенней художественной выставке в парижском Большом Дворце висело на гвозде то ли чучело крысы, то ли его ловкая имитация, а внизу прямо на паркете был насыпан холмик пшеницы. Чуть в стороне на стуле, сложив по-наполеоновски руки, сидел сам автор — в бабочке, с только-только начинавшей входить в моду «щетиной третьего дня» на круглом лице, которой мужчины стали маскировать недостаточно волевою нижней частью лица. Наши глаза встретились, и в его — промелькнуло вдруг беспокойство, очевидно, из-за прочитанного в моих — омерзения.

Незадолго перед тем прошли вернисажи Эдуарда Мане, Сурбарана, Де Кирико; и эта крыса, и этот седовласый маэстро навсегда остались в памяти как зримое воплощение — к чему скатилась культура.

Не везет России: второй раз уже принимается она догонять цивилизацию именно тогда, когда та находится в жестоком нравственном, а ныне и эстетическом кризисе и надломе.

«В совершенно беззащитную Россию, — писал в 1811 году Жозеф де Местр, — явилась вдруг развратная литература восемнадцатого столетия,

и первыми уроками французского языка для сей нации были богохульства». Россия начала «именно с того, чем другие кончали, — разращения». И граф пророчески предрекал России «какого-нибудь университетского Пугачева» и государственную погибель.

Но насколько же беззащитнее Россия теперь — после семи десятилетий коммунистического владычества! И насколько глубже общих кризис цивилизации — с ее идеологией потребления и коммерциализации всего и вся, в том числе и литературы. Мы вновь впускаем в себя цивилизацию — в ее далеко не лучшую пору; и положение намного драматичнее, чем два века назад, ибо современные средства массовой информации, руководимые политическими и культурными бизнесменами, вездесущи и обладают безграничными мощностями зомбирования и популяризации имморальной культуры.

Наша, в основном, шестидесятническая интеллигенция, при падении коммунизма требовавшая свободы слова «без берегов», искренне, очевидно, думала, что тем самым споспешествует расцвету искусств. А на деле расчистила поле для невиданной доселе похабщины; собственно по *русской культуре* в последние десять лет был нанесен удар столь сокрушительный, что это сопоставимо с самыми страшными большевистскими временами. Зато теперь, чем литератор бескрылей — тем шумней реагирует на самые скромные дисциплинарные ограничители, даже потенциальные, чем плоче — тем яростней выворачивает себя наизнанку. И эта литература вседозволенности, двусмысленности и всеобъемлющей хохмы — часть общего идеологического поля нынешнего криминально-олигархического режима. Каждый, что называется, гребет под себя, и на этом принципе формируются незримые корпорации.

...Творчество русского писателя проходит — по замечательному определению Розанова — «под углом Вечных Беспокоейств». Нет их — нет и полноценной литературы.

И при советской власти творили честные и глубокие литераторы — вопреки физическим законам тогдашнего бытия лишний раз подтверждая, что физикой бытие не исчерпывается. Есть, наверное, они и теперь, просто их деятельность неприметна под аляповатой коркой того, что «всё на продажу».

Водораздел между подлинным и мнимым в литературе проходит не между художественными методами и стилями, но — по линии *бескорыстия*, бескорыстного отношения к литературному делу.

ГЛАГОЛ БЕЗ НАЗВАНИЯ

О творчестве Ю. Трифонова (1925—1981)

Много ли уносит преждевременная смерть художника? И бесконечно много, и ничего. Ведь художник умирает как человек, не как художник. Либо он не художник, а кто-то другой. Разве Шекспир умер? И даже булгаковскому бесу было известно, что Достоевский бессмертен.

Да, можно сожалеть о недополученном нами, но лишь от наивности или пресыщенности. Гений потому и гений, что создает, может быть, один, но *абсолютный* образец, не членимый на «много» или «мало», на годы или листаж, как не бывает много или мало *бесконечности* или *вечности*. Гениальность — феномен неисчислимый. Его всегда *очень много*, гораздо больше, чем мы в состоянии постичь или повторить. В этой странной системе отсчета одна строчка и десять томов — равны. А то, может, строчка и побольше выйдет. Это и есть божественная нерациональность мира.

Пятнадцать лет назад умер Юрий Трифонов, любимый писатель многих советских людей, вне зависимости от образовательного уровня. Простого человека он покорял детальным описанием несложного, но корявого быта и скандальными неустроенными любовями, столь знакомыми и дорогими сердцу. Интеллектуала — *копанием* в истории и духом оппозиционности.

«Дом на набережной» (знаменитый элитный дом тридцатых годов) — повесть о предвоенном детстве, детстве на минном поле сталинской России, ходившая еще на моей памяти по рукам на уровне самиздата. О том, как загубил себя в истории и существовании в общем-то хороший человек. Ставший функцией и ничем — жалким, старым, в меру удачливым советским обывателем.

«Обмен» — повесть об *исчезновении*: форм речи, родных, дачного поселка, песчаного откоса над рекой. Неких «нитей», связывающих поколения. Об «олукьянивании» действительности (по фамилии озабоченной жилвопросом жены протагониста). Зато остаются сегодняшние проблемы, которые простому запутавшемуся человеку из когда-то славной семьи — не решить.

Александр ВЯЛЬЦЕВ — родился в 1962 году в Москве. Учился в Московском архитектурном институте. Печатался в «Знамени», «Литературной газете», «Юности», «Огоньке» и других литературных изданиях. Живет в Москве.

«Предварительные итоги» — о жизненном тупике стареющего писателя, готового и далее делать работу не по душе, но лишенного в силу семейных обстоятельств даже этой возможности. Быт, сколоченный хоть и давно, но случайно и дурными гвоздями, брак, основанный лишь на соблазне и престиже, — все это треснуло, расплозлось. Ищущий смысла писатель вспоминает, что их с сестрой бедному детству сопутствовала сердечность, тогда как теперешнему благополучию — бездушие. Жизнь вполсилы, с бессчетными побрякками себе, ради денег, удобства, тщеславных знаний, развратила — его, его семью и всех, кого он знает. Открылось, что они напрасно щадили себя — это изуродовало дух; что жизнь простого туркмена — сторожа-садовника на писательских дачах, отца одиннадцати детей — «необыкновенна трудна, почти идеальна в этом смысле, и он счастливый человек». Это и есть *предварительные итоги* жизни героя, от которых ему, не нашедшему никакого волшебного «запасного выхода», удалось в конце концов счастливо отмахнуться. (Вспомним, кстати, что поиском того же «запасного выхода» из ложно состоявшейся жизни были отягощены многие герои произведений Макса Фриша. Но они решали эту задачу совершенно иначе: мнимой смертью и попыткой сотворить себя заново: «Штиллер», «Назову себя Гантенбайн».)

«Долгое прощание» — повесть о том, что предательство близкого человека бывает растянуто на годы, а не случается мгновенно, и не сразу понимаешь, что делаешь, где кончается любовь к своей профессии и начинается жизнь, в которой самый простой и естественный шаг не бывает самым правильным. Как бывает губительна беспринципная жалость, и что добро к недостойному может быть *злом*, зато иногда необыкновенно способствует карьере. И «человек не замечает, как он превращается во что-то другое...» Он добивается всего, и лишь то, что наиболее ценно в его жизни, родной человек — уходит, выпадает из этого круга компромиссов и предательств. И что слабые и на вид неудачливые люди, люди без «почвы» под ногами, как жили в позднесталинское время многие из старой интеллигенции, люди со всех точек зрения неудобные, — «не сделают подлюсти». Как делают те, кто считает себя хозяевами жизни — и всегда готовы подчиниться более сильному, именно по причине своего *реального взгляда на вещи*.

«Другая жизнь» — повесть о том, что в жизни двух людей не бывает промежуточных состояний, что она, не бывая хорошей, эта жизнь, как правило, бывает плохой, что даже хорошая жизнь кажется иногда плохой — и становится ею, и лишь потом, когда нельзя ничего изменить, вновь становится собой — хорошей, но утраченной жизнью. О том, как два хороших одаренных человека прожили очень трудную жизнь, но все же прожили ее — хоть была она непоправимо коротка. Это было все, что они имели, и у них не было ничего лучше, хоть они и заслужили иное. И оба они ясно или смутно это понимали — и еще более страдали, раздражались, мучили друг друга. Когда несредний человек живет средней

жизнью — в силу ли семейных, социальных ли причин, это для него всегда испытание и мука. Человек совестливый не в силах покончить с кабалой любви (или долга), какими богатствами ни соблазняла бы его свобода. Эта та слабость, на которой держится гуманистический мир. Двое нашли наилучший выход — жить друг для друга — и для этого мучили, лепили, ежечасно завоевывали друг друга. И механизм раньше времени сломался. Семья оказалась борьбой, где не может быть ни дня передышки, ни сантиметра дистанции, перемещения внимания. Счастливая семья оказалась ловушкой, так же как и несчастная. Все счастливые семьи несчастны по-своему.

«Старик» — роман о памяти, о страдании памяти — героя и автора романа. О любви и предательстве среди ада гражданской войны — и нелюбви и предательстве среди сегодняшней мирной жизни. О том, что справедливости нет, и что все в жизни чудовищно справедливо. Что когда миролюбец, пожалевший в детстве крысу, примыкает к революции, его убивают вместе с ее безжалостными исполнителями, не догадываясь, не различая. Что человек, строивший государство на насилии и революционной целесообразности, однажды сам будет съеден этим чудовищем, во всяком случае опален его слепой ненавистью, не знающей любви. И что на этой выжженной почве вырастут поколения, ничем не напоминающие людей будущего, прекрасные образы которых они, эти комиссары в пыльных шлемах, себе воображали.

Это одна из самых жестоких книг о Гражданской войне. О всей излишней, необъяснимой жестокости новой власти. Внезапное и резкое напоминание тем, кто не хочет вспоминать. И вдруг понимаешь, что нет никакой революции, а есть столкновение интересов, застаревшая злоба и зависть, вырвавшиеся наружу. Право на месть.

Это и роман об иступленной любви к своей дачной веранде — последнем бое, который пришлось выдержать бывшему революционеру. И снова мотив неудачника, хорошего, но безалаберного человека, не построившего ни карьеры, ни семьи. И мотив погибшего героя-отца, матери, дома. Снова, в который раз, мотив исчезновения людей — все более смело, открыто. Гибели в Гражданскую, в тридцатые, в Отечественную: гибель, гибель, гибель. Все произведения Трифонова испещрены следами погибших людей, оборвавшихся судеб.

«Время и место» — роман все о том же: что отцы уходят и не возвращаются; роман, где, может быть, меньше *веранды*, но больше литературной жизни (одно другого стоит), по причине вероятной автобиографичности материала. Здесь сведены вместе все темы из повестей Ю. Трифонова: сталинское детство, война, нищета, чистки, предательство, смерть, почти поголовное полное или частичное сиротство, отчаяние, когда самоубийца-мать предупреждает запиской сына: «Осторожно, я здесь вишу». Плюс еще одна тема — превращение героя в писателя. И, пунктиром, культ военного (человека) — единственного, может быть, кто сохранил в себе представление о чести, некое душевное благородство. И

опять: семья, любовь, интриги, измены среди «теперешней», брежневской, жизни, всем нам достопамятной, последняя, самая большая матрешка-мама, которая у всех на виду.

Всеми этими «о том, как» я обозначил вещи, которые хотя и не исчерпывают творчества Трифонова, но определяют его в максимальной степени.

Итак, «Дом на набережной»: Трифонов сумел напечатать повесть, где все сказано и названо. Более того, отсутствие прямых оценок создает впечатление немислимой объективности.

Он не называет многих вещей по имени — например: чем вызван страх отца героя (как это сделал бы современный, ничем не ограниченный автор: *отец боялся лагерей*). Трифонов достигает убедительности именно тем, что не выходит за границы чувств и понимания героев. Да, люди того времени не называли лагеря лагерями и даже у себя в мыслях находили для этого какие-то эвфемизмы. Начни автор проявлять большую осведомленность и смелость, я бы перестал ему верить и упрекнул бы в умозрительности. Нет — в непорядочности. Потому что ничего не стоит быть смелым, когда тебе ничего не грозит, и судить людей того времени по мерке нынешнего, где быть обличителем — превратилось в обязанность.

Не имея возможности назвать по имени трагедию, он сосредотачивается на ее следствиях, показывая чувства, слезы и нюансы взаимоотношений. Нам, конечно, важно узнать, что сломало жизнь героев, счастье семьи, но в данном случае мы оказываемся в положении самого героя романа. С ним это уже произошло: называй и обличай — ничего уже не изменится. Важным становится выжить с тем, что есть. После всего, что было. (Это в той же степени относится к «Дому на набережной», как и к повести «Долгое прощание» и роману «Время и место».)

И все же принципиально, что автор имел большую свободу исследования, чем описываемый им персонаж, и даже находясь в рамках сознания человека 1947 года, перегороженного барьерами самоцензуры политической, он прежде всего показывает трагедию личности в 1976 году, со всеми темнотами и запретными зонами самоцензуры *моральной*. Еще интереснее — он воспроизводит работу этой цензуры, изолирующей болезненные участки воспоминаний, чем достигает еще большего правдоподобия. Нет ничего *вне* этого сознания, какой-то иной осведомленности и «праведности».

В повести имеется четкая моральная иерархия персонажей. И главный герой, Вадим Александрович Глебов, занимает в ней не высшую строчку, отведенную здесь некоему приятелю-протагонисту, который практически не действует, но *судит* — по другой шкале. Может быть, тоже по-своему пристрастной. Нижняя строчка отведена наиболее важной фигуре повести, другу детства, Левке Шулепе, сильно занимавшему ум Глебова-подростка, — строчка, на которую главный герой все же не спустился. Что не спасло его от вины. Ибо состояние вины есть состояние людей в любом случае *порядочных*, но, может быть, слабых. И дальнейшая их жизнь — это

изживание вины либо добром, либо утратой порядочности. Герой, увы, проделал эволюцию, скорее, второго типа.

А Лев Шулепников, человек, которому герой полжизни завидовал, человек, который плохо кончил, но *много* жил? Резонный вопрос: как ему удавалось жить *так много*, когда жизни так мало? Если так мало интересных и порядочных людей? И их боишься потерять? Когда, собственно, все так скучно и строго? Значит — соглашался на второсортные варианты, значит — повторялся. И был доволен?

Такая жизнь — вечный соблазн для главного героя. Соблазн, оставивший свой след. Страшный соблазн *красиво жить*.

Вообще, соблазн *красиво жить* невероятно мощно представлен у Трифонова. Даже не *красиво*, а чуть-чуть лучше, чуть более «по-человечески». Из-за этого рутаются семьи, прерываются дружбы. Современный от-сохи-интеллигент, вкусив самомнения вместе с дипломом, выпестовав в себе необходимую чувствительность и ранимость, прежде всего физическую, а не нравственную, спешит уверить себя, что нуждается в большем комфорте, что дочке-сыну, мужу, всем — *нужно нужно нужно...* За чей-то счет: за счет свекрови, домработницы, ставшей уже членом семьи, порядочности. Близкие первые требуют *компромисса*, а потом прямой несправедливости — ради того или иного, ради них, близких, самых, по определению, дорогих. Все сплетается в огромный узел, который не распутать. Один долг сталкивается с другим, одна нравственность с другой нравственностью. Но это лишь самый верхний уровень конфликта.

Почти во всех своих повестях и романах Трифонов использует один и тот же композиционный прием: сперва погружает в скучную, концентрированно банальную действительность, сегодняшний день героев  и вдруг рассекает всю ее мощнейшим флэшбэком, когда от истории героя он переходит к истории семьи, а через историю семьи — к *истории страны*. Во всяком случае, к той части ее истории, когда она, по-видимому, была роковым образом переломлена. В этом, конечно, отразилась семейная история самого автора: гибель отца, участника (как раньше говорили «героя») гражданской войны, многих родственников. То есть: перелом *истории* — был переломом множества судеб, поколений, классов людей, полным исчезновением этих родов и классов с их привычками, бытом, преданиями.

Фабула произведения внезапно утяжеляется, все приобретает второй план и смысл. Это даже не история падения или вырождения героя, одного из множества, а, словно в романах Фолкнера или пьесах О'Нила, — деградация рода. Это *рок*, ломающий, превращающий в ничтожество когда-то мощное древо. «Старик», «Дом на набережной», «Обмен» — сделаны именно так.

Но и в «Предварительных итогах», и в «Долгом прощании», и в «Другой жизни», где нет этого *исторического* плана, ретроспекция является основным композиционным приемом: большая часть любой из этих повестей есть воспоминание героя (героини), шаг вперед по шкале

времени сменяется десятью назад, день вперед — десятью годами назад. В конце концов, мы узнаем о герое все, и узнаем, почему он попал в теперешнее безвыходное, как ему самому видится, положение. Точка отсчета выбрана не случайно: человек утратил спасительную инерцию, по которой двигался вперед, движение застопорилось, он испугался и стал думать о том, *где* он ошибся и что его сюда завело?

И вот, наконец, он может дать ответ.

Я не вижу смысла говорить о языке Трифонова, его художественных средствах. Они довольно ограниченные. Язык самый простой, не эффектный. Сравнения, метафоры — самые расхожие, порой банальные. Вплоть до таких, словно из уст нянечки из детсада: «Федя был человек хороший, но не такой уж исусик, как она изображала» («Другая жизнь»). Более того: тут даже проглядывает презрение писателя-«самородка», прсбившегося в литературу с «самого низу», которого не обморочишь «показной интеллигентностью» его младших современников: «сублимация», «Пикассо!..» Он целиком советской литературной выделки, покончившей с модернизмом и всяким «внешним украшательством», как одновременно покончила с ним и советская архитектура. Но, с другой стороны, в этом стиле заключена какая-то глухая искренность, не допускающая отвлекаться на мало-важное.

Своеобразие Трифонова в другом и легко обнаруживается при сравнении с любым из современных *реалистов*.

Здесь прежде всего разные принципы построения композиции и даже иное определение того, где расположен главный план.

У современных реалистов временные рамки действия — это *теперь + вчера*. Направленность из сегодня в завтра.

У Трифонова — это *теперь + десять лет назад*. Направленность в основном обратная: из вчера в позавчера. С возвращением оттуда в *сегодня*, но совсем не в завтра. Завтра появляется как кода, финал. Главный план размыт, кардинальный принцип *единства времени* нарушен совершенно.

Вообще, по важности понятия *времени* для композиции и философии произведения с Трифоновым мало кто сравнится. Даже у Пруста *время* — это потери индивидуальной жизни, не такие уж дорогие. У Трифонова — это потери глобальные, все сметающая лавина, вовлекающая в свой обвал отдельные судьбы. Но видим мы эту лавину не как боги или Толстые, со стороны и сверху, а как ее жертвы, глазами этого отдельного человека. От этого трогательность и теплота.

Может быть, писатель вообще должен быть лет на десять старше своего произведения? Он должен видеть результат и убедиться в правильности принципов, лежащих в основе — не сюжета, а собственной жизни. В подлинности страдания и, собственно, в понимании, что есть *настоящее* страдание. Потому что писать стоит только об этом: *только мысли и страдания достойны на земле литературы* («Время и место»). Можно начать писать и теперь, но окончательную точку, будто по Горацию, надо

поставить через десять лет. Временная — самая простая и доступная из необходимых писателю дистанций. И, может быть, самая мудрая.

Когда человек молод — он революционер и разрушитель. Разрушитель мира, который кажется стабильным, вечным и глупым. Повсюду царят чужие люди, которые никуда не хотят уходить, не дают дороги, не способны взглянуть вперед.

Но вот человек сталкивается со *смертью* — и становится консерватором. Теперь его задача — сохранить оставшееся и оставшихся. Теперь он знает, как коротка жизнь и ненадежно любое положение. Он смотрит назад — и там для него достаточно много, чтобы любить и жалеть. Да, про прошлое он знает что-то несомненное: жизнь *была*. Кто может убедить его в той же степени насчет будущего?

Оглядываясь, он видит: умер тот, умерла та, покончил с собой этот. Один исчез, другой растолстел и опустился, третий облысел и разбогател, что тоже гнусно. А ведь это были твои друзья, люди из мира, казавшегося молодым и прекрасным!

Нет ничего печальнее, чем смотреть на когда-то молодое поколение через два десятка лет. С этого момента и начинаешь *думать*, с этого момента начинается настоящая литература.

«Ведь вспоминать и жить — это цельно, слитно, не уничтожаемо одно без другого и составляет вместе некий глагол, которому названия нет» («Время и место»).

Главный герой «Другой жизни» Сережа (у Трифонова все герои по именам, по-молодому, по-студенчески, у него не может быть старости, потому что он имеет в виду всегда *всю жизнь*), так вот, этот Сережа, историк, говорит очень важную вещь: «Нити, которые тянутся из прошлого... они чреватые... Ведь ничего не обрывается без следа... Окончательных ответов не существует!.. Ты ведь знаешь мою идею: нить, проходящая сквозь поколения...»

Об этом автор пишет повесть за повестью.

Далее Сергей говорит, что можно отыскать и нить, уходящую *вперед*. Надо ли это понимать так, что он имеет в виду *детей*, следующее поколение? Но создается впечатление, что детей автор как раз и не чувствует. Они не удовлетворяют автора, они, как правило, *не удались*: и в «Старике», и в «Другой жизни», и тем более в «Предварительных итогах», где роль сына главного героя расширена до уровня «детонатора» взрыва и «последней капли», нарушившей его связь с жизнью.

Женщины так же очень часто не понимают героя. Они плохие жены, пустые эгоистичные существа, тиранящие и спустошающие мужчину, сокращающие и усложняющие его и без того сложную жизнь. От них надо бежать: на юг («Предварительные итоги»), на восток («Долгое прощание»), либо умереть («Другая жизнь»).

Это важный для Трифонова вопрос: должна ли быть у мужчины некая зона независимости, куда он никого не пускает? Вероятно, ее может иметь и женщина, но она, как правило, отказывается от нее — с условием отказа

от нее и мужчины. Мужчина должен быть тут, рядом, под присмотром (прицелом), лишенный любой возможности малодушно нарушить долг. У него не может быть никакой отдельной жизни, даже профессиональной. Везде подозревается обман и угроза. Единственным вдохновляющим мотивом должно быть добывание благ для семьи. Мелкий приветствуемый героизм. Прошлое велико и страшно, но оно кончилось. Настоящее — пошло. Кажется, что Трифонов законченный пессимист. Он понимает эту женщину, он признает, что на ее месте иначе вести себя нельзя. Он готов простить ее, хоть это ничего и не решает. Решений нет. Нет окончательных оценок. Есть просто жизнь. И она проходит. И поэтому она замечательна.

В «Предварительных итогах» Трифонов как бы оправдывается за своего героя: вот, дескать, *военное поколение* — некогда было учиться, жизнь была тяжелая, зато у людей имелись представления о чести и серьезное отношение к жизни. У последующих поколений чем дальше, тем меньше чести, тем больше цинизма и легкомыслия. У приятеля главного героя, Геры, который десятью годами моложе, превалирует цинизм. У сына главного героя — целый букет пороков, из которых цинизм — один из самых легких. Вероятно, таким Трифонов видел молодежь в подавляющем числе. То есть, по существу, мое поколение.

Все настоящее было в детстве, юности героя, или даже до его рождения, в еще прежней России или в годы Гражданской войны. Вот когда люди жили с настоящим чувством жизни, когда и жизнь и смерть были властью. По существу, автор утверждает *регрессию* жизни. По хронологии автора нам, тем, кто из 80—90-х, вообще ничего, кроме ничтожества и безродности, не осталось. Во многом так оно и есть. Но из одного того, что мы любим кого-то и тоже смотрим назад, явствует ошибка в расчете. И вот Трифонов сам пишет об этом в своем последнем романе «Время и место», вспоминая любимую, засыпанную, «умершую» речку Таракановку: «Речушки нет. Она исчезла навсегда... Но подлинно ли наступила смерть? Ведь во мраке, в трубе, еще булькает и сочится вода, и, значит, смерти нет».

Трифонов не пессимист. Все герои Трифопова старательно глядят назад, но личный крах и конец вдруг перестают быть последней трагедией — когда возникает некая связь, последовательность, *река*. Между жизнями и людьми. Все меняется, ничего не исчезает. Смерти нет.

Есть боль, и ее не надо бояться. Всякая жизнь во всякое время мучительна и прекрасна, особенно с некоторого расстояния. Но уже недоступна нам. И от этого больно. Как говорит героиня «Другой жизни» Ольга Васильевна: «Химия и боль — вот и все, из чего состоит смерть и жизнь» «...человек рождается на страдание, как искры, чтоб устремляться вверх». И возможность страдать, а значит, выбирать и беречь (любить) делает жизнь глубокой, то есть счастливой.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ РОССИИ

Современная проза, литературная критика, историко-культурная, философская и религиозная мысль

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА» (БСК) — постоянная рубрика нашего журнала (начиная с 78-го номера).

БСК — это помощь читателю, духовные и культурные запросы которого охватывают достаточно широкие области современного культурного процесса, но который физически не в состоянии следить за всей той обширной российской прессой, что формирует этот процесс.

БСК — это предлагаемый читателю в каждом номере журнала подробный аннотационный обзор всего, что появилось за предыдущий квартал на страницах ведущих российских газет и журналов наиболее значительного и показательного в области художественной прозы, литературной критики, историко-культурной, религиозной и философской мысли.

При отборе текстов для такого аннотирования редакция руководствуется, естественно, органичной для «Континента» системой духовных, культурных и эстетических ценностей, что находит свое отражение и в характере самих аннотаций. Однако задача БСК всякий раз прежде всего в том, чтобы дать читателю, по возможности, наиболее емкое, точное и адекватное представление о самом содержании и характере аннотируемого текста.

При всей определенности редакционных критериев, БСК ориентируется также и на предельно возможную широту при отборе материала для аннотирования. БСК не исключает из своих обзоров даже и такие тексты, которые никак не выдерживают содержательных и эстетических критериев «Континента», но, однако же, выражают и представляют в современном интеллектуальном и художественном процессе тенденции и течения, пользующиеся общественным вниманием. А тем самым — репрезентативны для нашего времени.

В разделе литературной критики БСК информирует читателя только о статьях обобщающе-проблемного характера, обращенных либо к концептуальному осмыслению современной литературной ситуации в целом, либо к анализу тех или иных значительных течений, крупных творческих судеб или даже отдельных заметных явлений в текущем литературном процессе и в недавней литературной истории, но оставляет в стороне весь остальной более частный материал отдельных рецензий, полемических выступлений и прочих локальных откликов на эмпирику текущей литературной жизни.

Таков же принцип отбора и в разделе историко-культурной, философской и религиозной мысли. Здесь аннотируются тоже лишь статьи прин-

ципиального, крупнопроблемного характера, ориентированные на обобщающее концептуальное осмысление тех стержневых процессов, которые имеют определяющее значение для сегодняшних и завтрашних судеб России, ее культуры и ее интеллектуальной жизни. Этот раздел БСК будет публиковаться, как и прежде, раз в полгода — в нечетных номерах; предложенный в этом номере обзор за весь 1996 год — исключение, вызванное тем, что объем публикаций по другим разделам в № 89 не позволил поместить в нем подготовленный обзор культурологической, философской и религиозной мысли за 1-е полугодие 1996 года и его пришлось соединить с обзором за 2-ю половину года.

Редакция «Континента» хотела бы надеяться, что БСК — полезный и нужный нашему читателю ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ РОССИИ, сочетающий определенность редакционных критериев с профессионально-добротной информационной надежностью и объективностью в отборе, представлении и освещении аннотируемого материала.

1. Художественная проза

Конец 1996 года в целом оказался, пожалуй, богаче журнальными событиями, чем его середина и начало. Хотя самые значительные и самые, наверное, шумные литературные события состоялись в первой половине года. Это активно, как водится, отрекламированный дружественной критикой роман Пелевина «Чапаев и Пустота». Это повести Малецкого «Любью» и Азольского «Клетка»... Но то были единичные явления. Конец же года утешает большим количеством весьма интересного чтения (именно чтения, а не «чтива»). Есть вещи для ума, есть вещи для сердца.

Объем прозы, ясное дело, не критерий ее качества. Но и он является значимой величиной; большая, объемистая проза рождается не сама собой, на нее не только уходит пропасть времени и сил. На нее тратится нередко душа — и является в ней читателям. Немудрено, что нередко такая проза означает претензию на глобализм, на концептуальность. Писатель пытается объять необъятное, представить осмысленный образ мироздания. Во многих случаях, конечно, можно говорить лишь о необоснованности такого запроса: задача слишком трудна для исполнения. Но не всегда же. Как бы то ни было, начнем, пожалуй, на сей раз с произведений большого объема, предлагавшихся читателю журналами в конце года.

Четыре обширных *исторических* повествования дают возможность понять, с какими целями писатель сегодня отправляется в историю.

Одним из главных литературных событий года можно, наверное, считать **исторический роман** автора из США **Игоря Ефямова «Не мир, но меч»** («Звезда», №№ 9—10). Писатель переносит нас в V век, эпоху торжества христианства, его общественного и государственного признания — и в то же время это эпоха религиозных споров, духовных метаний,

эпоха войн и социальных потрясений. Действие романа разворачивается на просторах Восточной и Западной Римских империй, вместе с героями оно переносится из Равенны в Константинополь, Палестину или Африку. Подробно прописан автором исторический фон, представлен контекст бурной, полной тревог и бедствий эпохи. В смысловом центре романа — Пелагий, христианский проповедник и учитель мудрости, фигура историческая, как и некоторые другие в романе (учение Пелагия о спасении добрыми делами было отвергнуто Церковью). Основной рассказчик, один из его учеников, собирает о нем материалы, и Пелагий предстает на страницах романа в отраженном свете воспоминаний. Представлен Пелагий мудрым, добрым учителем, совершенным наставником. Автор романа не скрывает своей симпатии к нему, к его суждениям. По замыслу — это попытка реабилитации достойного человека, ставшего жертвой исторической несправедливости. Идейный лейтмотив в романе — критика «решеток на окнах храма», нарастающего догматизма, закрывающего возможность свободного выбора веры, проповедь мировоззренческой широты, веротерпимости. Высказывается мысль о том, что «нет и не может быть согласия между людьми в выборе пути к Богу», это закон мироздания, отсюда — схватки христиан между собой. Они могут объединиться только против общего врага, да и то не всегда. Выход в том, учит Пелагий, чтобы возлюбить ближнего — этот «мешок костей и мяса», попытавшись представить его «букетом боли», ибо «боль — чиста». Ефимов подробно описывает любовь троякого рода: ученика к учителю, рассказчика к чудесной девушке Афенаис, шпиона Неподиана к рассказчику. Увлечательное и умное, богатое событиями и персонажами, а также тонкими наблюдениями и красивыми подробностями, написанное изящным слогом повествование привольно растекается вширь, во все стороны, Объем прозы Ефимова как будто избыточен для выражения вышеупомянутых идей, писатель увлекся передачей самого потока жизни со всем ее хаосом и сором, полюбил некоторых персонажей и хотел длить свое общение с ними сверх всякой логической меры. Не случайно роман назван «хроникой времен заката»: это действительно хроника, где жизнь идет себе, никуда не спеша, где нет единого центра и полюсов, где многолюдно и потому главные герои подчас растворяются в толпе, а внешняя интрига часто пропадает, хотя отдельные эпизоды выполнены в поэтике греческого романа приключений. Литературный контекст романа — «Мартовские иды» Уайльдера, «Жизнеописание Адриана» Юрсенар, романы Мережковского.

Еще одно большое, подробное историческое повествование — дебютный роман тридцатилетнего москвича **Антон Уткин «Хоровод»** («Новый мир», №№ 9—11). Это записки дворянина, лейб-гусара 30-х годов XIX века. Действие происходит в столице и усадьбе, на Кавказе, в Польше и во Франции. Есть любовно-романический сюжет, есть повесть о дружбе, есть романтизированная история о власти судьбы над человеком, есть необычайные, полусказочные совпадения и чудесные тайны

(хотя секрет, неведомый для героев, моментально угадывается читателем). Повествование производит впечатление самодостаточности, не претендуя на глубину концепции и определенность идейных выводов. Затеяно оно не ради них, а затем, чтобы любоваться разнообразием и аристократизмом, своеобразной гармоничностью классической эпохи (при всех ее внутренних контроверзах). Читателю предложена выполненная весьма умело и тонко эстетическая ретроутопия в прозе о красоте и поэзии былой русской дворянской жизни. Отсюда — элегические ноты и тщательность стилизации, отсюда обилие старательно просмакованных подробностей, каталогизация мотивов догосударственной прозы, композиционно оформленных в подобие восточной обрамленной повести. Собственно, и идейные мотивы в романе позаимствованы из прозы Пушкина (или, может, Марлинского и Н. Павлова). Это довольно увлекательное чтение, хотя есть в романе какая-то вялость, автор будто утомлен жизнью и литературными трудами. Но временами роман даже волнует. В целом же он являет характерный способ бегства от современности с ее уродствами, попытку в творчестве укрыться от «плебейской» эпохи. Ближайший контекст — историческая проза Михаила Шишкина, метеором мелькнувшего в современной словесности не так давно. Не ждет ли та же участь и Уткина? Время покажет.

Третье обширное историческое повествование — это продолжающийся новой публикацией роман **Владимира Личуткина «Раскол»**, о России XVII века (продолжение третьей книги, «Наш современник», № 11—12; начало см.: «Советская литература», 1990, № 10—12; «Наш современник», 1993, № 10—11; 1994, № 1—6, 11—12; 1996, № 3—6). О нем, его силе и слабостях, не раз шла речь в БСК. На сей раз в центре действия — перипетии соловецкого мятежного сидения. Появляется и ссыльный патриарх Никон. Идея прежняя: чужебские проникло на Русь, отчего и замутилась русская жизнь. Этой мути так много, что ее и ведрами не вычерпать. У автора же есть возможность длить свое повествование в бесконечность, тем более, что темп его нескоро. Язык в романе по-прежнему являет опыт тщательной стилизации. Многословие и узорность письма подавляют, делают роман «вещью в себе», предназначенной не для чтения, а для удивления. Сдается, само писание подобных произведений есть способ перманентного бегства от современности и в то же время прозрачная сублимация своей острой неудовлетворенности наличным жизнеустройством.

В российскую историю конца XIV века погружают нас главы из романа **«Святая Русь» Дмитрия Балашова** («Москва», № 11). Наследник Дмитрия Донского Василий I Дмитриевич успешно продолжает политику своего отца, ему удается присоединить к феодальной Руси Нижегородское, Муромское и Тарусское княжества, и в это трудное время, на рубеже XIV—XV вв., осложняются отношения Руси с Ордой. Подчинивший себе Золотую Орду Тамерлан доходит до Ельца и разграбляет его, но на битву с русскими войсками не решается. Думы же Василия помимо Орды занимает еще один «внешний супостат» — Литва во главе с тестем Васи-

лия — Витовтом, стремящаяся «охватить в руку свою все русские волости». Орда и Литва, Запад и Восток раздирают Русь, которой и поныне (считает автор) грозит участь превратиться в разорванное пограничье. Событийный ряд четко соблюден; ярко, объемно вылеплены батальные сцены; детализирован быт; подробен авторский исторический анализ эпохи; текст изобилует старославянизмами — особенно трудно продираться через диалоги. Романист стремится передать смутно-тревожный дух времени, мучительных метаний Василия, зыбкость Руси.

С исторической темой связан и **рассказ Германа Наугольных «Три судьбы»** («Урал», № 8). Автору важно рассказать здесь подлинную историю простого русского человека, описать жизнь и судьбу трех поколений семьи Галкиных-Лядовых. Талантливый мастер-плотник Андрей Галкин, родившийся в деревне под Пермью «вскоре после отмены крепости», был «умен, совестлив, честен, настырен; работников своих ублажал и работать заставить мог без греха, везде послевал и богатеял быстро», строил дома на века, «красоту наводил». Сын Андрея, Григорий Галкин, офицер, прошел Первую мировую, вернулся домой уже при советской власти. Большевики кажутся ему авантюристами, развалившими страну, он возмущается тотальным разграблением крестьян и обращается к землякам, призывая их не кормить бесплатно «паразитов, разворовывающих Россию». Естественно, эта речь не остается незамеченной, и Григория арестовывают и, как потом узнает отец, — убивают. В начале тридцатых раскулачивают единственного жителя деревни — честного, но зажиточного Андрея Галкина, забрав все его постройки под колхоз. Внук Андрея, названный в честь дяди Григорием, тоже становится военным летчиком и погибает во Вторую мировую, прожив от войны до войны, «будто и не родился». Добротная художественная хроника.

Представляют интерес и несколько повестей, в основном тоже исторического характера. Сначала рассмотрим стихийно сложившийся военно-морской триптих, дающий повод для размышления о том, как выглядит ныне «военная тема».

«Война на море» Анатолия Азольского («Знамя», № 9) — это (по форме) героическая сага, быль военных лет. В основе повествования — рассказ о попытке спасти в Баренцевом море, во время десятибалльного шторма, экипаж потерпевшего крушение эсминца, и параллельно — об абсурдном расследовании этого эпизода в штабных конторах. В центре действия — два друга, офицеры, недавние выпускники морского училища. Это повесть о людях чести, умеющих принимать на себя ответственность, верных в дружбе, «просто людях с людской обязанностью жить по-людски» в невыносимых, смертельных обстоятельствах, среди пошлостей и подлостей эпохи. Схватка со стихией у писателя — это в первую очередь схватка с собой, чтобы победить страх, мелкую дрожь за свою шкуру и дорасти до готовности принести себя в жертву ради других. Как всегда, прозу Азольского отличают точность деталей, жесткость интриги. В ее тональности есть что-то от реквиема. В этой повести ощутимей, чем где

бы то ни было у Азольского, проявилась связь с литературой экзистенциализма (прежде всего — Фолкнер, «Чума» Камю).

«Железные люди» **Владимира Полуботко** («Звезда», № 12; главы из книги) — тоже «повесть о мореплавателях». Это история годов 70-х о том, как затонула на Тихом океане атомная подлодка «Держава» и как пытались спасти членов ее экипажа. Автор — хроникер и комментатор. Он делает акцент на бесполокотице и нелепостях чисто советского рода при снаряжении лодки в море, а затем подробно передает некоторые эпизоды из жизни на затонувшем корабле. Есть тут и душераздирающие подробности. Командир корабля, сохранивший представление об офицерской чести, противопоставлен прикомандированному к лодке морскому начальнику, которого волнует только собственная шкура и карьера.

«Флиппер» **Игоря Тарасевича** («Знамя», № 12; журнальный вариант) — еще одно произведение на морскую тему, «военно-морской роман». Офицера-моряка Амелина, от чьего имени ведется рассказ, автор выводит как личность незаурядную. Он груб, по видимости — брутalen, он не стесняется удовлетворять запросы здоровой плоти. В романе сильно акцентированы именно грубоватость и сексуальная неутомимость героя, которыми он как бы отвечает на грубость и натиск чуждой ему среды. Но в душе Амелин, конечно же, благороден, он не терпит подлости, мелочности и обмана. У него романтически высокий запрос к жизни. Амелин ныне на пенсии, но еще не стар, однако кругом несчастен. Жизнь его идет наперекосяк. Ему тяжело видеть, как гибнет флот. Уходит от него к его преуспевающему брату жена Елена, которую он когда-то спас от смерти. Имея нужду в деньгах, он подражается в какую-то хитрую фирму для подводных работ, но обнаруживает, что невольно служит прикрытием для грязных махинаций, — и тогда, не в силах примириться с ложью и грязью бытия, кончает с собой. Роман полон грубо-фамильярного просторечия, маркирующего дух современной эпохи. Автор, судя по всему, не отделяет себя от героя.

Наособицу поставим повесть **Александра Мелихова** «Торжество Правды» («Октябрь», № 12) — о делах писательских. Начинающий сочинитель позднесоветского времени многословно повествует о том, как он ходит по редакциям и салонам, ищет признания и публикаций. Но пишет он сложно, тонко, а от него требуют простоты («Простоты»). Отсюда его проблемы, которых не может разрешить и его могущественный московский покровитель, некий видный литератор, благородный учитель жизни. Учитель требует от героя Правды, а тому эта общезначимая Правда видится простой банальностью, прописью. Ему хочется Поэзии — изыска, необычности и небывалости. В повести снисходительно, иногда брезгливо описаны быт и нравы в среде литераторов. В довольно внятном подтексте и учитель Правды оказывается всего лишь удачливым приспособленцем, придумавшим себе комфортный имидж. Повесть отличается едва ли не намеренной спутанностью понятий, однако вектор исканий героя, его творческая ориентация очерчены довольно прозрачно и обнаруживают себя уже на языковом уровне. Это своего рода осторожный, с оглядкой

декаданс, капризный и претенциозный культ сложного, противоречивого и самодостаточного «Я». Герой недоволен тем, что порядочностью пытаются в его окружении подменить талант. Он смакует свое избранничество и отщепенство, под влиянием среды собственноручно слегка и придушивая их: «клякочущий фурункулез пробивающейся наружу значительности, откликаясь эхом в унылых коридорах реальной униженности, являл собой еще один божественный диссонанс». Автор не делает попыток отмежеваться от героя.

В повести «**Роман, который мне приснился**» («Москва, № 10) Александр Громов тоже скорбит о талантливом молодом писателе Дмитрие Шадрине, покончившем с собой. Многословная вариация на тему о непонятом даровании, невнятной жизни, идеальной и реальной любви.

Рассказ Михаила Чванова «**В ожидание героя**» («Москва, № 11) жестко короток, полон отчаяния и сострадания к беспомощным персонажам — генералу, находящемуся в розыске, и неприкаянному писателю — двум русским, рыдающим посередине Белградского кладбища над свежей могилой неизвестного «добровольца из России», сложившего голову на чужой войне.

Повесть Михаила Левитина «**Чушь собачья**» («Октябрь», № 12) — замысловато скомпонованное сочинение с четырьмя «соавторами», прихотливая композиция которого определена еврейской темой. Сюжеты большей частью связаны с судьбой евреев в России в двадцатом столетии. Впрочем, сюда же присоединены и другие эпизоды, яркие, но совсем уже ничем не мотивированные. Эта повесть о странностях жизни написана наблюдательным автором, умеющим подмечать драматизм в жизни человека и трогательно рассказывать о людях, попавших в капкан века.

Господствует в прозе конца года рассказ о реалиях *современной жизни*. Этот интерес к современности, пожалуй, еще никогда не был заявлен столь отчетливо, тенденция превратилась вдруг чуть ли не в закономерность (хотя, разумеется 3—4 месяца — это слишком малый период, чтобы делать окончательные выводы). С другой стороны, наше время не слишком располагает писателя к тому, чтобы производить на свет масштабный о нем эпос. Средств рассказа или небольшой повести оказывается вполне достаточно, чтобы схватить то, что представляется писателю наиболее важным и значимым в том или ином аспекте современности. Конец 1996 года в журнальной прозе в этом смысле особенно характерен. Время эпических панорам о 90-х, время глобальной и глубокой мысли об эпохе, вероятно, еще не наступило. И редкие исключения лишь подтверждают правило. Можно, конечно, размахнуться на сотни страниц, старательно воссоздавая каждое слово в диалогах персонажей и тщательно прописывая мелкие подробности их душевных движений. Но реальной содержательности от этого почти не прибавляется. И больше прав, вероятно, тот писатель, который пренебрегает объемом ради точности и лаконического изящества в выражении своего знания о мире.

Повесть Александра Борина «Соблазны» («Дружба народов», № 11) — это проблемно-публицистическое повествование о том, как «демократы» — люди культуры, интеллигенты-нонконформисты — в начале 90-х ходили во власть и что из этого получилось. В 1991 году президент учреждает гуманитарную комиссию, задача которой — защита маленького человека, суд совести по делам, где закон не охраняет справедливости. К участию в комиссии привлечены люди творческие. А затем прожженный, циничный чиновник-аппаратчик, преследующий исключительно личные интересы, умело подчиняет себе дилетантов в канцелярской области, ссорит вчерашних товарищей. Участие во власти оборачивается душевными и нравственными потерями. Но остается открытым вопрос о том, была ли все-таки польза обществу от этого участия даже и при таких очевидных издержках. Автор выносит на обсуждение проблему, стремясь сформулировать ее с предельной остротой.

Роман Ивана Савельева «Каста неприкасаемых. Роман-искупление» («Молодая гвардия», №№ 11—12) — фантастическое преломление временных пластов. Общий же антураж — видение Будущего, где господствует Каста неприкасаемых, потомков современных демократов, стремящихся «уничтожить все русское». Мать-прародительница Ева рисует герою с многозначительным именем Адам Русов апокалиптические картины Будущего: «...если русские не изгонят из своего Храма интернационалистов, то вскоре девизом каждого из ста тридцати народов станет «Убей русского — и ты станешь свободным!», вы превратитесь в мутантов...» Если бы не оголтелый шовинизм, то роман был бы крайне интересен своими причудливыми перетеканиями из измерения в измерение, текст не вял и увлекателен, часто предложения начинаются в одном времени, а заканчиваются в другом, не теряя при этом повествовательной нити. Иллюстрируется изречение о Павла Флоренского: «Четвертая координата — Времени — стала настолько живой, что время утратило и свой характер дурной бесконечности».

В новых рассказах **Бориса Екимова** («Новый мир», № 10) в центре внимания автора, как и прежде, жизнь южнорусской провинции, невзгоды простых людей в наше время, когда обнажилась подспудная обычно кризисность бытия. Эпоха ломает людей, не умеющих справиться с испытаниями. В рассказе «**Возле стылой воды**» Сашка, беженец откуда-то с юга, потерял там семью и оттого тронулся рассудком. Он живет бомжом в землянке, кормится, чем Бог пошлет. Но когда дурачка обидели мздоимцы из рыбоохраны, Сашка жестоко мстит им, а потом пропадает: возможно, инстинкт мщения гонит его на родину, чтобы стплатить за погибших жену и детей. В рассказе «**Чикомасов**» хуторянин доверил все свои средства коммерческим финансовым пирамидам, надеясь получить сверхдоход и облагодетельствовать себя и близких, да и соседей подговорил пустить деньги в рост. А банки взяли да и разорились. Пришлось Чикомасову бежать с хутора от позора... Не все, однако, забывают себя в социальной круговерти. В рассказе «**Продажа**» беженки с юга, зрелых лет

мать и дочь, в поезде выкупают у гулящей бабенки ее маленькую дочку, которую та везет для продажи куда-то в бордель. Екимову удается передать острое чувство беды, ее звук, ее вкус. Лирико-бытовые сентиментальные ходы сочетаются у него с инстинктом жизненной правды и знанием реальных социальных проблем, разрешения которых автор не видит.

Олег Павлов в рассказах из цикла «Записки из-под сапога» («Реалист», № 1, 1996) повествует об армейской службе, об ее подчас смертельных идиотизмах. Это основанные отчасти на личном опыте короткие этюды (случаи, анекдоты) об армейских людях и нравах. Так, в рассказе «Мертвый сон» вконец забитый солдат-доходяга спасается тем, что начинает рассказывать истории, как в старину говорили, «романы»; отъелся, заматерел. В рассказе «Часики» солдат пытается сберечь часы, на которые похушаются все, кому не лень, — и отсюда его разнообразные злоключения, едва не сведшие его в могилу и не сделавшие его убийцей. В натуралистических сценах у Павлова есть абсурдистская примесь. Мир за гранью здравого смысла, по ту сторону моральных норм и правил, какой-то ГУЛАГ в квадрате — изображен ярко и лаконично. Павлов пишет много и по-разному, но эта подборка рассказов молодого писателя впечатляет умением рельефно, зримо представить повседневность абсурдного мира.

В повести Валерия Былинского «Июльское утро» («Октябрь», № 11, журнальный вариант) о себе рассказывает студент МГУ — провинциал Валерий, довольно инертный внутренне субъект без внятных интересов, ищущий способ как-то заработать в Москве на сносную жизнь. Начинается с малого, а потом судьба тащит героя по течению, оставляя ему мало шансов что-нибудь изменить. Его злым гением-поводырем в мире коммерции является школьный товарищ Файгенблат. Валерий сначала рисует на Арбате, затем, как бы спускаясь вниз по лестнице добродетели, торгует в Лужниках, после ездит челноком в Стамбул и, наконец, как бы поневоле включается в контрабанду наркотиков. У героя есть старший брат и главный учитель Вадим, доморощенный нищеанец с комплексом избранничества и немалыми амбициями. С родственниками он не дружит и живет независимо, неплохо обеспечив себя трудом на честной ниве компьютерного программирования. Двоюродная сестра Валерия и Вадима Лина — полюс эротического притяжения для братьев, а тут и до греха недалеко. Лина, впрочем, и в постели вымаливает у Бога прощение за свою слабинку. У Валерия случилась неудача, он вынужден был выбросить груз с наркотиками, и теперь его преследует мафия, он должен скрыться. Жертвой охоты на Валерия случайно становится Вадим. В повести есть невдуманные приметы современности. Автор устраняется от оценок.

Андрей Лещинский в рассказе «Ликвидатор» («Нева», № 12) выводит специалиста по щепетильным делам. Он оказывает платные услуги «новым русским», когда у тех возникают проблемы с милицией или мафией. Автор изобразил мир, где все продаются и покупаются. Петербург — грязная помойка, люди — жалкие дегенераты, ублюдки. Церемониться нечего. Стесняться некого. Симпатичен автору только его главный

герой, который презирает своих работодателей, но, кажется, неплохо живет за их счет где-то рядом с Невским. Рассказ начинается с того, что героя отвлекает от постельных забав с подружкой звонок очередного клиента, а кончается намерением героя отъехать на заработанные баксы за границу. Надолго ли Петербург теряет столь ценного деятеля, неизвестно. В другом рассказе, «Пятна», также очень симпатичного героя утомляют постоянные ресторанные застолья с чиновниками и мафиози. Такая жизнь ему отвратительна. А другой как будто нет. Ему уже являются чрезвычайно натуралистичные кошмары, в один из которых он и уходит безвозвратно.

В рассказе Александра Бологова «В середине осени» («Наш современник», № 10) некто Минаев в Москве, осенью 93-го года, сблизается со своей квартирной хозяйкой, а тут начинаются известные события, рядом льется кровь. Минаева, пошедшего позвонить, случайно подстрелили в телефонной будке.

В рассказе Фазиля Искандера «Мальчик и война» («Новый мир», № 11) мальчик услышал рассказ об ужасах грузинско-абхазского междоусобия и задается вопросом: добреет ли человек по ходу истории? Его отец доказывает ему, что добро сильнее зла. Здесь же напечатан и другой рассказ, «Жил старик со своей старушкой». Это комическая притча о старушке, которой снился покойный муж-инвалид и просил прислать ему костыли, чтобы быстрее добраться до рая. А в рассказе «Авторитет» ученый-физик завоевывает авторитет у двенадцатилетнего сына, чтобы приучить того читать книги.

В центре повести Вячеслава Репина «Ружье Геринга» («Москва», № 12) — скрещение судеб знатока ружей егеря Звеногова и генерала Серпухова, подарившего егерю вывезенное с войны ружье, принадлежавшее когда-то Герингу. Серпухов, ради которого устроена охота, кончает с собой выстрелом из крупнокалиберного ружья, данного ему егерем взамен ружья Геринга. Причины этого поступка остаются неизвестны читателю. Судьба Серпухова по-настоящему волнует только Звеногова, а не генеральскую свиту, которую объединила дружная обида на загадочность смерти генерала — «умотал на тот свет не по-джентельменски, не позаботившись оставить и намек относительно своей выходки». Звеногов считал, что генерал подарил ему ружье, потому что знал, что из него невозможно застрелиться, и не приходит в голову егерю, что просто напоследок захотелось Серпухову отблагодарить человека, говорившего с ним на равных, не озабоченного служебным рвением и лакейской подобострастностью.

Два рассказа Алеся Кожедуба («Москва», № 12) — о простом деревенском человеке современности. «Крыша коммуниста» — о смешной ошибке, когда вместо заслуженного партийца перекрывают крышу старому деревенскому пьянице по кличке «Коммунист». В рассказе присутствует — как примета времени — не тонущий в воде и не горящий в огне директор ресторана, новый русский пенсионного возраста, расплачивающийся с Коммунистом за всякие мелкие услуги бутылками водки. Рассказ «Колониальный товар» тоже берет начало с нового русского, бизнесмена

Анатолия Клепацкого. Анатолий и его брат Микола родом из деревни Томашевки, стоящей на границе. Анатолий предлагает брату заняться «бизнесом» — переправить в Европу «желтопузых китаез, бангладешей, словом, колониальный товар». Микола соглашается, держит «товар» в сарае, пытается накормить арабов салом, отправляет «в неметчину товар» и получает от брата пачку долларов. Бизнес кончается неудачно, потому как всех гостей Миколы в месяц переловила немецкая полиция и выяснила, как они переправились.

О простом человеке современности, только на этот раз городском, повествует **Владимир Романовский** в своем рассказе «**Минна**» («Москва», № 12). Дедушка Осокин, промышляя по помойкам, находит противопехотную мину и придумывает подложить ее в банк, чтобы напугать банкиров и вытрясти из них деньги. Сам прикидывается посредником, получает деньги и, оторвавшись от оперативника, передает их своей жене, тихой незаметной старушке. Рассказ написан азартно, заставляет симпатизировать хитрым пенсионерам и радоваться удачному для них исходу операции. Это, разумеется, не апология воровства, а веселый суд над нашим невеселым временем.

Остроумно-ехидный рассказ **Евгения Курдакова** «**Накачанные камеры и длинная острая спица**» («Молодая гвардия», № 10) — история о крайности, доведенной до абсурда. В ходе борьбы с культом личности из туркестанских гарнизонов вывозили бюсты Сталина, Дзержинского, Кирова, скульптурные группы партизан, Карацупы с Джульбарсом и прочий хлам наглядной агитации. Гарнизонное начальство озабочено голыми пьедесталами, оставшимися без «наглядки», и предлагает рядовому Осинину, призванному «со скульптурного», переделать Сталиных в Лениных. Дело быстро становится на конвейер, единственное неудобство заключается в том, что форма черепа Сталина никак не соответствует форме черепа Ленина и приходится вставлять в головы вождям футбольные камеры. Осинин едет домой и вспоминает, что он забыл проткнуть накачанные камеры внутри ленинских голов длинной острой спицей, в результате чего в ста ленкомнатах гарнизонов приподнимаются и с треском падают на пол могучие алебастровые лысины ста Ильичей.

Абсурден и роман **Николая Якушева** «**Сосиски в шоколаде, или чудесное путешествие инженера на заре перестройки**» («Волга», №№ 8—9). Инженера фабрики жевательной резинки Смирнова посылают в командировку в некий город Антоновск выбивать у завода-поставщика сырье. Вполне производственно-бытовое повествование превращается в «чудесное путешествие» благодаря несметному количеству нелепых злоключений, сваливающихся на голову инженера Смирнова. Драка в поезде, случайный обмен портфелями с писателем Авиаторовым, взрыв на плавучем доме отдыха, абсолютно всерьез воспринимаемые разговоры о пришельцах и исчезающих поездах в Антоновске, случайные попутчики, то пропадающие, то вновь возникающие, экстрасенс и трупы ответственных лиц в лесу, пьяно философствующий директор Комбината, предла-

гающий вместо сырья для жвачки сосиски в шоколаде; фальшивая бомба в торте, попытка угона самолета — все сюжеты последовательно нагромождены друг на друга и не дают читателю прийти в себя от предыдущего поворота событий. Абсурд приключений усугубляется обыденностью фона и персонажей. Смирнов чудом возвращается домой, где узнает, что уволен за ... длительный прогул («Пожар был. Вся документация сгорела. Хотели тебе расстрельную статью дать, но в суматохе забыли», — радостно сообщает Смирнову бывший коллега). Этот апофеоз идиотизма Смирнов переживает спокойно, ему становится необыкновенно легко, все акценты окончательно расставлены, между прошлым и будущим пролегла четкая граница, а на душе остается только сожаление, что все кончилось. Как сказал один из персонажей, — «печальна, в сущности, участь человеческая!.. люди встречаются, расстаются, забывают обещания, идиотничают», так и проходит жизнь, и какое счастье, что выпадает простому инженеру по технике безопасности возможность испытать что-то фантастическое, несуразное, опасное, но — цветное и эмоциональное.

Ян Гольцман в подборке рассказов «Голоса тишины» («Новый мир», № 12) повествует главным образом об отшельнической жизни на лоне природы. Делится наблюдениями, пытается передать краски первозданного бытия, ритмику природных стихий.

В повести **Алексея Варламова** «Гора» («Москва», № 12) все судьбы, личности, мысли словно зависят от грозной стихии Байкала-моря, от «горы» — страшного равнодушного ветра, неожиданно налетавшего и иссушавшего души страхом. Герои повести — метеорологи и лесники, недолюбливающие друг друга, сосуществуют на побережье Байкала, одиноки каждый по-своему, каждый по-своему делает свое дело и думает о своем предназначении. Один из лесников погибает в море, оставляя живым друзьям картины страшных снов о горе — осыпающиеся камни и вырванные с корнями деревья, пересохшие реки и пепелища лесов, разлом на месте моря — «опрокинутая вниз гора, в глубине которой лежали все людские тела». Любовь лесника Дедова и девушки Кати умирает, не успев родиться; Катя выходит замуж за начальника метеостанции, браконьера и барыгу, но прежде заставляет его собственноручно поставить на берегу Байкала деревянный крест по всем утонувшим. Дедов узнает об этом, когда приезжает на метеостанцию после страшных месяцев одиночества в тайге, где в бреду являлся ему утонувший товарищ и просил ехать скорее к любимой женщине, к Кате. От известия о Катином замужестве Дедову «вдруг полегчало, он долго с нежностью смотрел на чистую звезду, успокоившую все ветра» — гора отпустила его. Основные мотивы повести — бессилие перед величием стихии, предсказание, очищение.

Немало в прозе *историй о людях неприкальных, выпавших из ритма эпохи, лишених в современной жизни*. Иные вроде бы и преуспевают, а всё как-то не то. Порой причина беспокойства выглядит уже вполне экзистенциально. Социальные неурядицы сочетаются с тоской алчущего духа.

Аркадий Селезнев в своих рассказах («Нева», № 10) представил несколько сентиментального тона историй, казусных случаев. Он настраивает читателя на волну сочувственной грусти, изображая бедных людей и убогий их быт. В рассказе «Физическое явление» 40-летний Коля встретил своего школьного учителя физики. Они выпивают у старика дома, о чем-то вспоминают, не слыша друг друга. Учитель у окна с помощью специального приспособления ловит голубей на закуску. В рассказе «Сын дворника» глазами мальчика-сына увидена тихая жизнь его семейства в 50-е годы, где отец — еврей, дворник, нежно любящий жену, дочь репрессированного военного. Герой пытается преодолеть судьбу, сделавшую его «дворниковым сыном». Постепенно он учится лучше понимать своего к тому времени уже покойного отца. В рассказе «Бакен» смерть знакомого становится «бакеном» в плавании по жизни. Заставляет вздрогнуть. В рассказе «Два доктора» у героини было два ребенка, два любовника и две собаки. Жизнь ее проста и неряшлива, идет, как Бог на душу положит, но без зла, мирно и по-своему складно. В рассказе «Таня и Коля» старики супруги из поселка живут душа в душу, работают в кочегарке, всегда вместе — и на работе, и при стакане. Хоть паршивая жизнь, да всё равно ведь жизнь. Жить-то все-таки лучше, чем помирать.

В рассказе Гелия Ковалевича «Нашествие» («Новый мир», № 11) умирает престарелая тетка героя, Петенькова, тут же возникает хваткая родственница-скандалистка, затеваются коллизии вокруг скудного наследства. Петеньков же, наблюдая безобразие жизни и смерти, впадает в тоску и погружается в рефлекссию, размышляя с том, как одиноко было покойной старухе, с которой они жили, как чужие. Его посещают угрызения совести. Да и сам он, думает Петеньков, живет никак. Рассказ «Ремонт» — вещь короткая, импрессионистическая. В доме затевается ремонт, и в этой связи здесь витают чувства одиночества, неприкаянности, бедности.

В повести Михаила Угарова «Разбор вещей» («Дружба народов», № 10) рассказчика, брошенного супругой, женила на себе и вселила в коммуналку близ московского шарикоподшипникового завода его предпримчивая подруга. Он — субъект странноватый, вялый, не совсем в себе. Но герой потихоньку обживаетеся, ведет разговоры с обитателями квартиры. Маниакальной его страстью становится воссоздание по крохам обстоятельств существования живых и мертвых постояльцев. Обстоятельства эти связаны главным образом с неоформленным сожительство в различных вариантах. Тайное становится явным. Натурализм сочетается в повести с мистическими явлениями, если только это не просто игра неуправляемого воображения рассказчика. Оживают персонажи старых фотографий, затевается переписка с фантомами. Повесть — первый опыт прозы известного современного драматурга. Вещь эта, — по сути, едва ли глубокая — позволяет, однако, искать в ней некие экзистенциалы (пустота жизни, тоска существования). К тому располагает особая, несколько кафкианская манера повествования.

В рассказе **Дмитрия Притулы** «О, если б навеки так было...» («Звезда», № 12) немолодого, уверенного в себе компьютерщика, живущего вместе с матерью как у Христа за пазухой, сломила неудавшаяся любовная история. Его оставила любимая женщина, и он вдруг понял, что жизнь — пуста и бессмысленна. В рассказе «Новогодний подарок» дается рецепт от подобных хворей. Анастасия Федоровна — энергичная и щедрая сердцем, «клокочущая» женщина. Ей в радость помогать ближнему, сначала немощным матери и тетке, потом — бывшему мужу-алкашу, пропавшему из дому лет двадцать тому назад и однажды под новый год возвращенному санитарями героине полной руиной. По форме рассказы Притулы — обывчный для него сентиментальный сказ: задушевное баюнство с разными игровыми допущениями и реверансами («Подумаешь, всю жизнь только и мечтала, за кем бы половчее поухаживать, чью бы посудину ночную почище вымыть, на кого бы это жизнь положить»).

У **Михаила Беленького** в рассказе «За столом, за чистой скатертью» («Знамя», № 10) на холостяцкий ужин двух одиноких, материально отнюдь не бедствующих интеллигентов программистов попадает отбившаяся от коллективной экскурсии детдомовская девочка-дикарка, кругозор которой замкнут сексом. Ее покормили, повоспитывали и доставили к ее группе. Этот казус дал повод, чтобы ощутить пустоту и заброшенность в мире.

В рассказе **Владимира Ротова** «Мальчик на свадьбе» («Знамя», № 9) переживает сильное потрясение профессиональный тамада Толя на очередной свадьбе, где он работает. Он ощутил вдруг, как в череде таких действий проносится, просвистела жизнь. И «в веселых глазах Толи-тамады залет пепел — что-то в нем быстро и ни для кого не заметно сгорело».

Нередко подобные сюжеты имеют в центре действия *героиню-женщину*. Это, так сказать, *истории о женской доле* («вряд ли труднее сыскать»). Колорит такой прозы в основном сентиментальный.

У **Марка Харитонов** в пространной новелле «Как хороши, как свежи были розы» («Знамя», № 9; фрагмент книги «Времена жизни») Сима, простая душа, одиноко живет по инерции, как в спячке. Ее будит встреча с маленьким сыном давно оставившего ее мужа. Сима привязалась к мальчику, гуляет с ним, дарит ему пианино, которое отец ребенка тут же и пропивает. Потом след этого семейства теряется. Сима одно время приручила было муху, но муха к зиме околела. Героиня торгует в газетном киоске и не знает, что от нее останется, чем ей оправдать свою жизнь. Элегическая, жалостливая, очень-очень подробная и тонкая вещь. В другом рассказе «Дух Пушкина», дамой-медиком ощущаются оккультные веяния, пульсации неведомых властных сил. Она угадывает их в различных совпадениях и странностях, случившихся с ее дочерью и зятем. Дичь вообще-то, но выписано вполне старательно.

В рассказе **Валерия Казаринова** «Дымы» («Октябрь», № 12) одинокая повариха Саня работает в придорожной закуской. Она некрасива и не шибко счастлива. Изредка привечает она в своем вагончике проезжих водил, оставляя себе от них в память какую-нибудь мужскую безделку:

зажигалку или старый кошелек. Саня приютила у себя и странного бомжа Сережу, пахнувшего дымом. Сережа молчалив, без остатка погружен в себя. Он, было, ушел, но она его нашла по этому дыму и вернула. А потом Сережу отыскивали его родственники, и автор объясняет, что он по весне который год уходит искать «какую-то одну ему понятную точку в пространстве». Потому что по происхождению — подкидыш. И ничего не осталось у Сани на память об этом грустном романе.

Инга Гаручава в рассказе «Государь император» («Знамя», № 10) изображала старушку из скорбного дома. Старушка непростая: бывшая смолянка, фрейлина ее императорского величества, пережившая самое себя. Ее отыскивали телевизионщики. Как выяснилось, ввиду новых мод, они хотят сделать с ее участием передачу о государе императоре и просят старушку рассказать о нем. В ее памяти тут же встала картина встречи с императором на балу, но фрейлина не захотела делиться воспоминаниями, коротко ответив на все вопросы: «Это вам не поможет». Уж как ее потом ругали доброхоты, а она легла в кровать и никому ничего.

Людмила Петрушевская отличилась завидной творческой плодотворностью. Она в конце года напечатала в разных журналах **три солидных подборки рассказов**, как всегда — преимущественно о трудной, замысловатой женской судьбе. В «Знамени» (№ 11) опубликованы **рассказы из книги «Реквиемы»**, главным образом о самоубийцах женщинах. Суровый быт, хаос семейной жизни, отсутствие моральных норм, грань одичания. В мрачном, унылом, убогом мире ни на кого нельзя положиться, все предадут, все друг ко другу равнодушны, все своекорыстны. Есть и нюансы. В рассказе «**Бацилла**» изображен быт московских наркоманов. В рассказе «**Мужественность и женственность**» девушка Надя пребывает в неопределенности от того, что утратила половую самоидентификацию. Попытка вывести ее из этого состояния приводит к катастрофе... В «Дружбе народов» (№ 12) **подборка** называется «**Белые дома**». Один из **рассказов**, «**Младший брат**» — об энергичной переводчице, замечательной профессионалке, которая взвалила на себя и заботы о сыне, абсолютно лишенном интереса к жизни. Внезапно ее разбил паралич — и тогда сын, сначала оторопев, потом вдруг обнаружил вкус к существованию: ему понравилось ухаживать за слегшей матерью. В рассказе «**Лайла и Мара**» красавицу Мару утешил приезд мужа, от которого она, было, уехала с подругой к морю, но там ощутила себя как бы и несуществующей вовсе. В «Октябре» (№ 9) — еще несколько рассказов. Жизнь там «скудная, тяжелая». И люди скучны, а их заботы и проблемы мелки. В этой унылой и беспросветной черноте и бытовухе у Петрушевской время от времени звучат негромкие сентиментальные аккорды, когда вдруг на один момент люди отгаивают навстречу друг другу. Манера Петрушевской, видение ею мира не изменились и в 1996 году ни на йоту. Это всё тот же блуждающий взгляд человека, который и зверь, и бревно, и — случайно бывает — ангел. Всё тот же диапазон изображения действительности — от торжествующего повсеместно брутального натурализма до осторожных намеков на жалость

и милость. В мире Петрушевской никогда нет Бога, нет у людей ни веры, ни надежды на вечность.

Тропой Петрушевской идут и другие авторы, иногда даже более дерзки и уверенные в несовершенстве человека. **Марина Вишневецкая** в рассказе «Увидеть дерево» («Знамя», № 9) подробно описала терзания московской дамочки, особы беспрельдно циничной и эгоистичной. Сюжет завязан на том, что кто-то взял из крематория урну с прахом ее матери. Героиню волнует, кто же так ей насолил. Мелькают ее мужа и друзья, сыплются, как из рога изобилия, подробности ее скандальной, полной эротических приключений и драматических осложнений жизни. Рассказ построен виртуозно — путем вживания в поток смердящего, как сплошная лава свободной от оценок жизни, сознания героини. Помимо влияния Петрушевской есть тут и связь с манерой Нарбиковой. В другом рассказе Вишневецкой, «Своими словами» («Дружба народов», № 12), речь идет от лица Адама о райских событиях. Автор ревизует библейскую версию грехопадения, делая это с причудливым изыском. Кончается рассказ соитием, в котором, по Вишневецкой, только и можно забыть об «Его проклятии». Стоит заметить, что Вишневецкая, публикующая в год один-два рассказа, — любимица некоторых критиков, неустоящих фиксировать совершенство ее творений. Вещицы ее действительно выполнены обычно мастерски. Лучше всего писательнице удаются образы «моральных калек» — беспощадных к людям, эгоцентричных девиц и бабенок.

Маргарита Шаранова в «диалогии» «Трамвайный разезд» («Октябрь», № 12) в манере полубреда воспроизводит внутренний монолог некоей особы, продавшей куда только можно свое тело для посмертного использования. Она чуть ли не студентка литинститута. Героиня блуждает по Москве, пьет, бормочет что-то о своей афере с телом, о брошенном ею сыне, попадает в наркопритон и участвует в тамошних безобразиях... По замыслу, это, может быть, попытка осовременить ерофеевскую «Москву—Петушки» во всей многозначности этой повести. По реализации — бытописание.

Несколько произведений посвящены *жизни выходцев из России (Советского Союза) за границей.*

В большом романе **Дины Рубиной** «Вот идет Мессия!» («Дружба народов», № 9—10) — это жизнь бывших советских евреев, преимущественно интеллигентов, в Израиле. Здесь две главные героини: издатель русскоязычного литературного еженедельника Зяма и писательница Н. Рассказ об их житье-бытье разворачивается в бесприммерно подробную и разнообразную панораму культурной жизни Иерусалима и окрестностей. Русские евреи оказались в новой ситуации, — и здесь теряют силу прежние проблемы и рождаются проблемы новые. Люди по-разному ищут и находят себя на новой (вечной) родине. В романе много пестрых героев, забавных сцен, драматических ситуаций и перипетий. В финале романа одна из героинь гибнет. Автор, «сочувственный наблюдатель», ведет

повествование очень живо, с острым лирическим чувством, всесторонне освещает комичный, анекдотичный быт, сплавливая его с драматизмом и героизмом, сочетая иронию и сарказмы с патетикой, скепсис и сатиру с любовью к Израилю.

Юлиу Эдлис в рассказе «Абсурдист» («Новый мир», № 11) рассказывает об эмигранте-драматурге, который мотается по правозащитным конференциям и симпозиумам, всё острее чувствуя себя нахлебником у равнодушной к нему Европы. Он теперь везде чужой, и всё ему чужое: и Москва, и Венеция. Утешить героя может только рюмка водки. А в рассказе **«Графиня Чижик»** мать и дочь зигзагом судьбы из Москвы попали в Париж. Это история о женских заботах. Мать моложава и выдает себя за старшую сестру дочери. За спиной у нее — неудачный брак, где-то в Ливане у нее сын от богатого араба. Ее тревожит, когда и дочь собирается замуж за юного араба. Ей чудится кровосмешительство. Но брак расстраивается. Дочь в конце концов выходит за итальянского графа, а мать одиноко существует в том же Париже и вспоминает молодость, что удастся, если она опрокинет рюмку-другую. (Забавно, что рюмка исправно возникает в финалах не только рассказов Эдлиса, но и завершаемого публикацией в том же номере журнала романа Уткина.)

В рассказе литератора из Германии **Михаила Гиголапвили «Роттердам»** («Знамя», № 12) в форме письма-хроники, с забавными деталями, сообщается о поездке героя со своим немецким приятелем в Роттердам, где он успешно продает антиквариат, нюхает кокаин и встречается с русскими моряками, помогая им купить подержанные авто. Автор критически относится как к рационализму и меркантилизму голландцев, так и к дикости соотечественников (бывших). Впрочем, к тем и другим он весьма снисходителен, как представитель некоей особой генерации — взрослый среди детей. Название рассказа ничем не оправдано, кроме разве смутных гомосексуальных намеков, отвечающих, что ли, характеру описываемого места.

Сочинительница из США **Людмила Штерн в рассказе «Золотой верблюд»** («Звезда», № 12) от первого лица ведет речь о том, как в Брюсселе встретилась с подругой дочери, которая вышла замуж за шейха из эмиратов. Та зазвала ее в гости — и рассказчица попала в мир сказочной роскоши и новейшей арабской экзотики, которым упивалась, насколько хватало сил. В рассказе же **«Сердце пустыни»** рассказчица общается с бедуинами. Эта проза напоминает бойкую, умелую очеркистику.

Есть помимо уже охарактеризованных выше романов, еще несколько не столь значительных произведений, касающихся недавних *исторических* реалий.

Вильям Озолин в рассказе «Король Лир, принц Гамлет и печник Зверев» («Новый мир», № 10) повествует, собственно, о последнем из названных персонажей. Он жил, страдал, был так же несчастен, как шекспировские герои, и замерз в поле в 40-е годы. О скудной, трудной жизни рассказано Озолиным с сочувствием.

Как бы автобиографичен **рассказ Анатолия Генатулина «Красивая»** («Волга», №№ 8—9). Сорок второй год, Башкирия, полуголодный подросток Талгат на лесоповале, влюблен в глухонемую девочку-напарницу поразительной красоты. К девочке пристает бригадир, мальчик вступает за нее и вынужден бежать. Проходят годы, и герой встречает человека, с которым когда-то валил лес, и узнает от него, что сразу после побега Талгата бригадир изнасиловал девочку, она ушла по шалам домой, не услышала гудка и погибла под колесами поезда. Шаламовская застылая бесчувственность рассказа преломляется беспощадными подробностями смерти девушки, отчего герой мучительно переживает свое предательство.

Повесть Валерия Попова «Лучший из худших» («Знамя», № 10) — это неряшливый монолог, где политика мешается с сексом. Герой трудится где-то в обслуге Политбюро ЦК и, как говорится, трахает всё, что движется. Его убивают, а он упорно воскресает. Рваное повествование претендует, кажется, на сатиричность или на комизм, не достигая ни той, ни другой цели.

Рассказы Германа Дробиза («Урал», № 9) представляют собой изящные сюжетные новеллы с четкой композицией. **«Моя встреча с Мандельштамом»** повествует о предполагаемом совпадении времени (4 августа 1938 года) и места (роддом Свердловска) рождения автора с пребыванием Мандельштама в Свердловской пересылке. **«Избиение младенца»** — о приходящем к молодому человеку понимании разницы между сжигающей страстью и верной, неяркой, вечной любовью. **«Великий писатель»** — размышления на тему, кто может называться великим писателем. По мнению автора, таковым может называться только честно и исчерпывающе описавший *абсолютно все* свои поступки, все подлинные мотивы своих поступков, все свои «позоры, стыдобища и глупости» — словом, делом и помышлением.

В рассказе Владимира Краковского «Татьямба» («Октябрь», № 10) девочку-негритянку (по отцу) любит весь районный городок. Она прекрасно танцует, но однажды цвет ее кожи сыграл злую шутку и с нею, и со всеми горожанами. В идиллическую жизнь вошла тревожная нота. Это рассказ-фантазия, комическая игрушка. Вещица забавная, в ней есть что-то от гоголевского «Миргорода», но без особых претензий.

Михаил Рощин в рассказе «Радиация» («Дружба народов», № 12) поведал о поездке в мае 1986 года на Украину в компании прелестных спутниц, которыми рассказчик непрерывно любителюется — сначала в поезде, потом в украинском селе. А меж тем где-то невдалеке дышит смертью Чернобыль. Автор тонко переданы перипетии обожания рассказчиком сопровождающих его красавиц.

На сей раз очень мало в прозе сезона игровых опусов *постмодернистского* толка. Усталость? Пресыщенность? Решительное фиаско? Не будем торопиться с приговором. Ведь еще летом наш российский постмодернизм являл себя в полный рост в прозе Липскерова, Перемышлева, Пьецуха и др. Возможно, постмодернизм откочевал в специальные издания?

У **Георгия Балла** в рассказе «Новая жизнь» («Новый мир», № 10) одинокая деревенская баба сошлась со стареньким списанным трактором ДТ-54. Зовет его Васей, допустила до своего тела. Быт слит здесь с фантастикой. (Уж не пародия ли это?) В рассказе «Судьба» Коля Кирюхин угадал себя в будущей жизни деревом, а это не радует.

Станислав Шуляк в своих рассказах («Нева», № 10) идет за Борхесом, создавая герметичные этюды. Игра в карты в вагоне поезда с шулерами в рассказе «Человек-закон» переходит в философствование о разных высоких материях и увенчано внезапным самоубийством рассказчика. В рассказе «Могила Ц.» рассказчик на кладбище, у могилы певца Цоя, ошеломляет собравшихся здесь поклонников покойного мнимой фанаберией скептического по отношению к их кумиру характера. Его начинают избивать, но он не сдается до тех пор, пока не забит до смерти. Герои Шуляка — философствующие провокаторы. Пишет он вязко, многословно, с нарочитой замысловатостью.

Как обычно, где-то на грани наивности и кощунства балансирует **Григорий Петров** в своем новом рассказе «Остров прокаженных» («Знамя», № 12). Старичок Зосима Савватьевич хочет жить праведно, ищет природу зла и способ истребить его. По подсказке нищего он уезжает на северный некий остров, где был монастырь, а сейчас размещается больница, инвалидный дом. Устраивается санитаром, помогает старикам, над ним смеются другие санитары. Но он терпит и берет на себя чужие грехи. Являются ему митрополит Филипп Кольчев, Никон и другие исторические лица. О методе Петрова уже шла речь в БСК. Здесь автор явно играет с реалиями Соловков (имя и отчество героя составлены из имен основателей Соловецкого монастыря и т.д.) Испкупаются ли эти сомнительного пошиба игры благородными намерениями и аскезой героя?

Повесть Льва Котюкова «Черная молния вечности» («Молодая гвардия», № 10) — мрачные философские лиризмы автора на тему о судьбоносных совпадениях и исторических пересечениях. Вена, 1913 год, Адольф Гитлер продает рождественские открытки, а мимо проходит Сталин и хочет купить их, но отговаривают «чертовы сопутчики» Бухарин и Троцкий «Жаль, — думает в 1945 году Сталин, — надо было купить. Может, промерзший бродяга только на них и надеялся, из-за них художество свое бросил» Заканчивается рассказ видениями победившего «сны мертвецов» Сталина прошедшего очищение и обретшего «богоданное живое бессмертие». Мистически заунывные сентенции оказывают усыпляющее воздействие.

В прозе сезона немало произведений *мемуарного характера*, с той или иной долей художественности.

«**Воспоминания о матери» Марии Желноваковой (Фудель)** («Нац современник», № 11) интересны уже тем, что их автор — внучка о. Иосифа Фуделя, известного своим общением с К. Леонтьевым. Среди детских впечатлений автора есть один лейтмотив: встречи с катакомбными людьми советской эпохи, с христианами XX века, простые и трогательные истории о людях, которые приняли на себя «стальную лавину зла» и, как пишет

Желновакова, задержали ее, сколько могли, своими слабыми руками. Интересны собранные автором рассказы о современных церковных чудесах Чудесные встречи, исцеления, спасения, помощь Божья человеку.

Елена Ржевская в «Послесловии» («Дружба народов», № 12) возвращается к сюжетам, о которых немало писала: ее отношения с маршалом Жуковым, участие в обнаружении труп Гитлера. В центре повествования — рассказ о похоронах Жукова и попытка ответить на вопрос о том, зачем Сталину нужно было хранить тайну о смерти Гитлера.

Николай Шадронов в повести «Медведь» («Нева», № 11) вспоминает о своем детстве в суровом лесном вологодском краю, в военную пору. В центре — рассказ о семье сосланного в лес московского врача Диковского, его дочери и двух сыновьях, с которыми дружил автор. У них «на путике» жил и ручной медведь. Старательно, подробно рассказано о советской захолустной экзотике, о быте и нравах края, о драмах жизни.

«Кляксы на старых манжетах» **Виктора Конецкого** («Нева», № 12) — незамысловатые, но увлекательные обрывки воспоминаний о молодости и — наиболее подробно — о литературной жизни в Ленинграде. Появляются Л. Рахманов, Ю. Герман, В. Панова, В. Пикуль и другие. Делая откровенные признания, автор сообщает: «Если бы не водка, я бы давно уже рхнулся или писал, как Проханов плюс Токарева». Одна деталь из многих: в 1952 году в народе воинское звание Сталина озвучивали как «гений-исисус».

Новелла Матвеева продолжает свои мемуары «Мяч, оставшийся в небе» («Знамя», № 10). Начало см. в № 7.

«Записки об Анне Ахматовой» **Лидии Чуковской** («Нева», № 8—10) на сей раз охватывают период с 1963 по 1966 год. Один из главных сюжетов — Ахматова и Бродский. Имеются большие комментарии.

Анатолий Найман публикует в «Октябре» (№ 11) новые главы из книги «Славный конец бесславных поколений» (начало см. в № 11, 1995). Некий энергичный певец, поэт и композитор М.М. придумывает и присваивает себе прошлое, рассказывая о тесном знакомстве с Ахматовой и Бродским. В другом рассказе речь идет о школе конца 40-х годов: тогдашние строгости, отношения с девочками из женской школы, памятные истории об учителях. Еще один рассказ посвящен перипетиям студенческой жизни. Затем автор пишет о своей переводческой работе, причем в весьма нелестном свете представлен в его воспоминаниях Арсений Тарковский. Последний рассказ — «Москвичи в Ленинграде и ленинградцы в Москве»: речь идет, в основном, о литературной среде. Мемуары Наймана написаны по-довлатовски легко, с юмором, в них много анекдотических подробностей. У автора отличная память, зрение, слух. Он немало рассуждает, иногда морализирует, иногда пыгается понять других людей, с которыми сталкивала его судьба. Временами в рассказах ощутим и подспудный драматизм жизни.

«Из Екатеринбургa в Свердловск и обратно» **Анатолия Курчаткина** («Знамя», № 11) — воспоминания о названном городе времен молодости

автора, главным образом — о поселке Уралмаш. Здесь много подробностей, отсчитаны личные вехи судьбы. Есть и впечатления от нынешнего Екатеринбурга.

Недавний буковровский лауреат **Андрей Сергеев** дает «**Портреты**» («Знамя», № 10) нумизмата-железнодорожника, литовских поэтов, пациентов психушки, кишиневского художника — мастера идеологического кича. Фигуры то интересные, то не слишком. Рассказано о них сухо, без попытки как-то осмыслить чужой опыт жизни.

Главы из книги **Иннокентия Смоктуновского «Быть!»** («Октябрь», № 12) — история о том, как автор устраивался на работу в московский театр, как долго ему это не удавалось, как ему помог, наконец, Иван Пырьев. Рассказано также о дружбе с Андреем Поповым, о поездке в Варшаву и, в связи с этим, о старых фронтовых делах. В «Октябре» (№ 10) публикуется и военная повесть покойного автора «**Меня оставили жить**». Рассказчик-солдат попал с товарищами в опасную переделку и чудом остался в живых. Автор скрупулезно фиксирует впечатления от происшедшего, подробнее прорабатывает психологические нюансы. Есть в повести что-то от кошмарного сна. Смоктуновскому удалось создать впечатление находящей на человека со всех сторон жути, словно бы его засасывает трясина событий. Передано чувство пограничья между жизнью и смертью, сумеречной зоны непредсказуемого.

«**Прощай, БДТ (Из жизни театрального отщепенца)**» **Владимира Рецента** («Знамя», № 11) — театральные мемуары. В центре повествования — Георгий Товстоногов. Автор с любовью и печалью воссоздает драму своих взаимоотношений с режиссером, рассказывает о том, «как рвалось сердце».

«**Дорога Бог знает куда. Книга для брата**» **Рауля Бухараева** («Новый мир», № 12) — исповедальная проза известного на рубеже 70-х и 80-х годов поэта. Ее лейтмотивы — раскаяние и сожаление о своей жизни, об ошибках молодости, тоска и одиночество на всех широтах («Я достиг многих целей, прикоснулся руками ко многим миражам, но ничего не имел. И я подумал, что так и надо»); духовный поворот, история возвращения к Богу. Автор ныне — мусульманин-ахмадиец, и лейтсюжет его прозы — паломничество к главным святыням ахмади, в город Кадриан в Индии. Книга написана отменно умно и тонко, трогательно и красиво.

Из произведений в иных жанрах нужно отметить «**рассуждение об Александре Первом**» «**Блуждающий огонь**» другого Александра — **Архангельского** («Дружба народов», № 11—12). Это повествование о жизни императора, его духовных исканиях, успехах и провалах, о загадках царствования. Автор сильно жалеет о том, что не состоялась вполне, казалось бы, возможная встреча Александра с преп. Серафимом Саровским. На царя и эпоху Архангельский смотрит глазами либерала и христианина.

Повесть Николая Латышева «Голубая кровь» («Урал», № 9) написана 60 лет назад. Все эти годы рукопись повести пролежала в следствен-

ном деле управления НКВД/КГБ Челябинска. Латышев был арестован в 1937 году по обвинению в антисоветской агитации, рукопись повести была приобщена к делу в качестве доказательства. Редакция и публикатор обращают внимание на то, что восприятие повести в сегодняшнем литературном контексте, безусловно, резко отличается от ее восприятия в те годы, когда она была написана; литературная техника автора давно устарела, посему повесть напечатана в сокращении, чтобы читатели могли вполне оценить талант Латышева; но отвлекаясь на очевидно слабые места. Главный герой — студент Сергей Чепелев, выходец из дворян (отсюда название повести), одинок среди своих сверстников, он томится и тоскует, он устал от того, что родился «безвольным и хилым, чужой среди чужих», неспособный разделять ни радостей, ни идеалов мира, в котором он живет. «Вы отравили свою голубую кровь и сожгли мою жизненную силу, новые люди говорят о вас с отвращением!» — мысленно обращается герой к своим «благородным предкам». Отношения Сергея не складываются ни с товарищами, ни с любимой девушкой, ни с внезапно возникшим из небытия братом. Сергей называет себя «лишним» человеком тридцатых без всякой рисовки, с искренней горечью констатируя свою неспособность жить не по лжи. Повесть Николая Латышева, несмотря на то, что давно растиражированы в других произведениях наблюдения и мысли, будоражившие умы и сердца тридцатых годов, интересна не только как документ своего времени, но как тонкое психологическое описание состояния человеческой души.

Журнал «Звезда» выпустил *набоковский номер* (№ 11). Здесь публикуются тексты Набокова, не издававшиеся в России («Удар крыла», «Месь», «Венецианка» и др.), статьи о нем и его творчестве (среди авторов — А. Битов, Вяч. Вс. Иванов, В. Старк, Г. Барабтарло, Н. Букс, А. Долинин, Ив. Толстой, О. Сконечная, В. Александров, Б. Парамонов).

2. Литературная критика

В критике по-прежнему немного как *обобщающих, концептуальных работ, так и памфлетов*. В целом она и не пытается, за редким исключением, охватить общим взором литературный процесс, тем более — вывести его оригинальную формулу, хотя бы гипотетическую. Имеющиеся же попытки такого рода не всегда и не всякого удовлетворяют.

Большая статья Леонида Баткина «О постмодернизме и «постмодернизме» («Октябрь», № 10) выделяется основательностью, широтой обзора и разнообразием затронутых проблем. Как явствует из названия статьи, автор сопоставляет два, на его взгляд, принципиально разных литературных и общекультурных явления, вводя соответствующие терминологические уточнения. Есть постмодернизм как новоевропейская культурная ситуация, начиная с Дидро и Стерна. Здесь человек не отказывается от

ценностей, но и не принимает их извне готовыми. Он свободно вырабатывает их «из ничего» и так же свободно меняет. Особый, однако, характер имеет наше время. В метаисторическом состоянии «после современности» культура лишена чувства пути и судьбы, человечности и трагизма, которыми отмечен подлинный постмодернизм. Футуристическая ориентация в культуре исчезла. Потускнела идея метаморфозы. Подлинной новизны будто бы уже не бывает, она, якобы, вся мнимая. Стиль эпохи — коллаж, эклектика, а то и примитивный эпатаж. Культура испытывает ощущение парения в невесомости. Мы бомжи мировой культуры: везде и нигде. Настоящий же постмодернизм не может довольствоваться идиотической констатацией «исчерпанности» культуры, ее воображаемого «конца». Он ищет выход из лабиринта пресыщенностей и разочарований. Автор размышляет о постструктуралистском литературоведении, об интертекстуализме, весьма критично к ним относясь. Он возвращается к своей излюбленной идее диалога и диалогизма культуры. У жизни, заключает Баткин, есть смысл, но он всегда отсутствует; его всегда приходится искать, это и называется культурой. Статья интересна тонким анализом современной культурной ситуации и оценкой модного литературоведческого метода. Думается, более уязвим позитивно-рекомендательный план рассуждений Баткина.

Федор Лустич в статье «**Между рыбой и мясом**» («Независимая газета», 11 октября 1996) утверждает, что «более ничтожного, плоского времени, чем то, что идет сейчас, русская проза не знала ни в этом веке, ни в прошлом»; «есть какое-то немалое количество людей, которым лет тридцать пять-сорок, и как-то вышло, что никто, ни один из них не сподобился написать хоть что-то, что было бы замечено, признано». Таково поколение 1955—1962 гг. рождения. Автор выделяет В. Сорокина — «последнего романтика» русской литературы. Может, тот и замышлял пародию, но «на уровне больших сюжетных ходов пародия невозможна». Сорокин оказался моралистом. Его мораль старомодна: монстры уничтожат самих себя. А еще его мораль, которую он упорно иллюстрирует от текста к тексту, в том, что «реализм социалистический и, скорее всего, реализм вообще изжил себя как идея и как стиль, выродился в ложь и уродство». Есть у Лустича и рассуждения о В. Пелевине — «первом прагматике» русской литературы, которому расчистил площадку Сорокин. Пелевин пишет не для проповеди, а для удовольствия.

Карен Степанян в статье «**Реализм как спасение от снов**» («Знамя», № 11), наоборот, уверен в неиссякаемых ресурсах реализма. Рассматривая последние произведения Пелевина, Буйды, Бакина, критик размышляет об утрате реальности в этих вещах, о проблеме истинности реальности. Он резюмирует: искусство должно восходить к Бытию, которое находится в центре мира. Все другие варианты центровки (идея, вождь) — знак болезни.

Марк Липовецкий в статье «**Конец века лирики**» («Знамя», № 10) исходит из того, что мы переживаем слом эпох, переход. Критик ищет продуктивного выхода из кризиса культуры. Он анализирует творчество

поэтов, «соединяющих постмодернизм с традициями далеких переходных культур». У Елены Шварц Липовецкий находит культурную память барокко, некое сосдинение модернизма, неоромантизма, символизма и постмодернизма. Есть в статье и суждения о Иване Жданове и Льве Рубинштейне (перекресток концептуализма и стихопрозы).

Напротив, **Андрей Немзер** в статье **«История пишется завтра»** («Знамя», № 12) воздерживается от классификации и пространно рассуждает о том, что все схемы условны и не могут заменить живого литературного контекста. Полемизируя с К. Степаняном, Немзер полагает, что нельзя историко-литературный термин (реализм) делать оценочным. Литературная среда текуча. Группировки, школы — всё относительно. Люди спорят — а напрасно. Это просто неосведомленность. Есть сложная и многомерная система взаимоотношений и отталкиваний, «полицентричная литература». Радости-горести критика — восторг первооткрывателя, досада несбывшихся ожиданий, фантастические зарисовки... Критик вправе любить очень разных писателей (и тут перечисляются 29 любимых современных авторов). Таким образом Немзер возражает тем, кто упрекает его за всеядность, отсутствие мировоззрения.

Н. Александров в статье **«Диагноз — энтропия»** («Дружба народов», № 11) полагает, что в мире и в литературе царит энтропия. Писатели ограничиваются указанием на факт развала, всеобщего разложения. Они просто констатируют, свидетельствуют, фиксируют. Литература увязает в занудном перечислении пороков и язв актуального бытия, монотонном повторении мертвых мыслей: жить нечем, всё осыпается... В этом контексте упоминаются последние вещи Варламова, Токаревой, Дмитриева, Петрушевской, Бородыни. Литература лишена творческой энергии, духа созидания. Она импотентна, исполнена усталости. Она не в силах дать жизнь совершенному художественному миру. Исключением Александров считает прозу Бакина, где находит авторскую волю и преодоление хаоса в творчестве, «почти физическое ощущение художественной силы».

Игорь Кузнецов в статье **«Египетское утро»**. **Сочинитель в контексте повседневности»** («Дружба народов», № 11) начинает с типологии писателей по тому признаку, в каких отношениях они пребывают с «царем-толпой». Спрос рождает предложение, появляются отечественные детективщики и писатели других жанров. Хотя совместить искусство «высокое» и «низкое» пока никому не удалось. Все современные сочинители, считает Кузнецов, романтики, потому что пересоздают действительность в соответствии со своими идеалами. Далее автор глубокомысленно рассуждает о неизбежности текста (привлекая опыты в прозе Отрошенко, Охлябининой, Лапутина, Курицына), о жизни и смерти как празднике (Ким, Варламов, Буйда), о повседневности как искусстве (Алешковский, Дмитриев, Горланова и Букур, Стрельцова). Утверждая, что «занятие литературой в нынешние времена всё больше уподобляется искусству закалывания несуществующих драконов», Кузнецов резюмирует: «даже после египетской ночи наступит утро. И никто не умрет».

Валентин Курбатов в статье «Слова на просвет» («Москва», № 10) подводит итоги состоявшихся в Красноярске «Литературных чтений в русской провинции», собравших писателей, библиотекарей и музейных работников, озабоченных тем, что читатель отошел от литературы на «непитательные поля» детективов, любовных романов и фантастики, а культурно-литературный процесс «прячется в пост- и гиперреализмы, тешится «куртуазным маньеризмом», стремясь отгородиться от реального общения с читателем «партийным делением» и нежеланием сидеть за одним столом «с этими» (каждый назовет своего врага). А в статье «Разрывы и связи» («Москва», № 12) критик оглядывается на ушедший 1996 год и устало поминает недобрым словом «все эти перформансы и хеппенинги, концепты и репроекции, тексты и дискурсы» нынешней «боевой литературной ситуации». Читатель еще в начале года требовал «ободряющего взгляда и поиска светлых тенденций», говорит В. Курбатов, но ведь «самому недостающей книги не написать». Идея «пропущенной книги» точна и своевременна, как и укор, что «мало рецензий, никто не ведет читателя, ничего не рекомендует и не открывает имен», утеряно чувство литературы как процесса, система координат. Впрочем, невзирая на «сыпучесть и неустойчивость почвы, питающей современную жизнь» и оттого не могущей дать ни большого стиля, ни свежей новизны книг, критик с надеждой смотрит в будущее и отнюдь не склонен видеть в нем только литературный негатив.

В *рецензионно-портретном жанре* большое число откликов собрал трехтомник Виктора Ерофеева. Среди оных — памфлетного тона статьи Е. Ермолина и В. Балдуева.

Евгений Ермолин в статье «Русский Сад, или Виктор Ерофеев без алиби» («Новый мир», № 12) замечает, что этот писатель, освободив литературу от социального и морального ангажемента, нагрузил ее ангажементам «сексуальным»: он просвещает и разоблачает; он делает открытие: человек — неуправляемое животное. Критик не видит здесь большой новизны, фиксируя только нерядовой запас провокационных кощунств в арсенале литератора. Отмечая его эрудированность, Ермолин считает, тем не менее, что художественный дар Ерофеева не весьма велик, и прописывает сочинителя по ведомству декаданса.

Вадим Балдуев в статье «Любит — не любит?» («Дружба народов», № 12) останавливается на романе «Русская красавица» и называет труд Ерофеева «эффективной имитацией разрушения норм отечественной литературной культуры». «Он передал дух очередной эпохи разложения нравов, душок советского бомонда. Но сделал это так спешно, что кажется — вчера еще дышал одним дыханием с возлюбленной героиней своей, а сегодня уже выставил ей счет». «На дне общества, среди номенклатурных дач, циничных игр элитной молодежи, не чувствующей ни своей культуры, ни Отечества, — истоки его имиджа». Он сложен из материала этой среды, и более всего — из тяги к запретному, к ценностям «свободного общества». Ерофеев использует литературу в личных целях, играет в

сочинителя, старается овладеть господствующими высотами культурного ландшафта. «Ерофеев играет с родной культурой, как греховодник с малолеткой: то приобнимет, то отшлепает. Читателю волнительно: нарушит табу или не нарушит? Интрига: если нарушит, то какое потом представит алиби?» Он изготовлен по законам рынка. Используя в своих целях энергию распада традиционной культуры, он попал в мировую литературную элиту. Он подготовил «антицензурную» революцию, но она же его и пожирает: его приемы (стращать, бранить, шокировать) больше не действуют.

Борис Соколов в статье «Русский бог» (там же) утверждает, что у Ерофеева секс идет на смену морализаторской традиции русской литературы. Происходит и депсихологизация литературы. Но, по замыслу, все садистские и сексуальные сцены должны вызывать у читателя скорее улыбку, чем отвращение. Ерофеев сказал некую новую для русской литературы правду о человеке: если лишить его оболочки морали, ничего, кроме сексуального, в мотивации его поступков не останется.

О новых рассказах Бориса Екимова **Ирина Роднянская** в статье «Род людской» («Новый мир», № 11) пишет, что автор их — реалист, бытописатель, когда надо очеркист — рассказал о разорении сельской жизни. Надо из этого обвала как-то спасать людей, а как — неясно. А людей жалко, отсюда у Екимова трогательность. Никакой строй у него — не спасет, а человек человека — может быть. **Павел Басинский** в статье «По ту сторону простого и сложного» («Литгазета», № 46) называет Екимова первоклассным рассказчиком. «Фетисыч» — проза высшей пробы, заглавный персонаж — новый отрок Варфоломей. В этом рассказе есть чудесная, зримо воплощенная церковность.

О романе Антона Уткина «Хоровод» тот же **Павел Басинский** в статье «В «конце романа» или реалистический постмодернизм?» («Литгазета», № 48) пишет, что его автор соединил постмодернистскую волю к игре — и волю к серьезности, живой литературный язык, вкус к доподлинности — и «книжность», нарочитость, филологичность. В конце концов, полагает критик, это роман о вере. **Сергей Федякин** в статье «Отступление в XX век» («Независимая газета», 16 января 1997) замечает, что роман можно воспринять и как безопасную экскурсию в русский XIX век, и как религиозно-философский трактат «о простоте и сложности мира», и как просто занимательное чтение. Но это не постмодернизм. Это волнует, и в романе есть совершенно человеческая тоска на пепелище эпохи.

О «реальных корнях фантазий Александра Кабакова» в связи с его романом «Последний герой» размышляет в своей обычной «психоаналитической» манере **Олег Давыдов** в статье «Апология литпопсы» («Независимая газета», 18 октября 1996), «кропотливо перелопачивая страницы, наполненные бессмысленной чернухой». Сам роман — «беспросветная чушь». Автор, боясь, что его в этом уличат, подстилает соломку, там, где собирается упасть: вставляет в текст переписку между героем и автором, в которой высмеивает себя и свой роман. Но иронические изыски не

скрывают творческую импотенцию. Чувствуя, что реалистический текст ему не удастся, автор бросается к спасительной, как он думает, фантастике. Но и эта уловка выглядит жалко. В тексте, считает критик, отчетливо просматриваются печальные проблемы стареющего плейбоя, каковым и является «последний герой» Кабакова («та часть души автора, которая называется «герой»). Этот герой умеет только разрушать.

О нью-йоркском литераторе Игоре Ефимове, друге своей молодости, пишет **Анатолий Найман** в статье «Один, двое, трое» («Новый мир», № 11). Рассказано об его жизни. Ефимов писал и пишет в традиционной манере. В его романах нет нервозности, алогичности, немотивированности, скачков сознания. Его сильная сторона — тщательное продумывание явлений и идей. Подробно Найман характеризует последний роман Ефимова «Не мир, но меч» (см. о нем выше, в начале обзора БСК). Он ценит идеи Ефимова и считает их актуальными. Правда без любви — ложь. Бог не внушает Себя как Истину, а дает Себя как Истину полюбить. Автор делится и своей приязнью к Пелагию, который «настаивал на том, что человек своей волей выбирает сделать добро или зло». (Заметим в скобках, что об этом никто с Пелагием, кажется, и не спорил.)

Сергей Антоенко пишет о замечательном стилисте русской эмигрантской литературы Гайто Газданове («Время колокольчиков», «Москва», № 12), чье имя было незаслуженно забыто, в то время как «большинство его соседей по «Парижскому острову» оказалось включенным на Родине в разряд классиков». Газданову было близко настроение таких же, как он, белых солдат и офицеров: «у нас украли нашу Родину», во главу угла его творчества, по мнению критика, ставится чувство потери, конкретное, физическое болевое состояние. При этом в произведениях Газданова нет места «хныканью, нытью, стремлению «переложить» свои проблемы на читателя», что определяется интересом к «*нелитературному*».

О романе Дины Рубиной «Вот идет Мессия» пишет **Лев Аннинский** в эссе «Отсечено? Отрублено? Отрезано?» («Дружба народов», № 10). Роман — о тех, кто тут были «евреями», а там стали «русскими». Хаотическое повествование пронизано бешеным «бабьим» чутьем на несчастье. «Секрет рубинской интонации: не меня выражения лица, она переживает трагедию с анекдотом. Боль с хохотом. Фарс с печалью». «Злой ум, вьедливый глаз, прикус вампира, веселый азарт писательского гога — и эти заталкиваемые в немоту рыдания. То и это вместе». Тут Бабель плюс Ильф с Петровым. Плюс скрытые цитаты, намеки, узнаваемые мотивы. Далее Аннинский пространно рассуждает о том, кто кому будет платить компенсацию перед Всевышним, и выражает мнение, что человек выстоит — «необъяснимо».

Прозу Андрея Дмитриева подробно аннотирует **Андрей Немзер** в статье «Чем откровеннее, тем загадочнее» («Дружба народов», № 10). «Дмитриев не пугает, не давит, не чарует — он рассказывает. Сугубая литературность питается устной стихией интеллигентской беседы, в свою очередь ориентированной на литературную норму. Отсюда — ремини-

сценции; отсюда — недоговаривание, подразумевающее «свой круг» — читателя сочувственника, понимающего всё с полуслова; отсюда единство изумленной интонации и интонации ко всему привычного человека».

Сергей Князев в статье «Профессионализм и амбиции писателя Веллера» («Звезда», № 10) аттестует последнего как крепкого профессионала, умелого ремесленника, модного писателя. Он много видел в жизни, много знает. За последний год вышел чуть ли не десяток его сборников.

Борис Парамонов в статье «Евтушенко в Квинсе» («Звезда», № 10) связывает «русскую обнищавшую знаменитость» в Америке — с масскультурой. Евтушенко создал собственный стиль и нашел собственный жанр, стиль и жанр эстрадной поэзии, поэзии как шоу. Он требует не читателя, а зрителя. Ближайшая параллель к Евтушенко — Алла Пугачева. Это феномен звезды, которая интересна целиком — не только романсами, но и романами. Звезда не существует отдельно от светской и скандальной хроники. Евтушенко — человек сцены. Эксгибиционист. «Главный подразумеваемый здесь жанр — стриптиз». Чуме и войне человечество противопоставляет нехитрое, но спасительное искусство клоунады.

Точна краткая **рецензия Константина Богомолова** («Урал», № 8) на пьесе Е. Евтушенко «Если бы датчане были евреями». Критик считает, что хоть пьеса написана для театра (что по нынешним временам редкость, так как всё больше пишутся пьесы для чтения), сценическая ее судьба не будет счастливой, а понимание автор найдет среди давних и верных поклонников-читателей, кого «не раздражит лобовой напор и пафос» и кого не смутят «мелочи» примитивности сюжетных ходов, психологическая неточность персонажей и внутренняя несостыковка частей.

В заключение — о трех статьях, трактующих **журнально-газетные аспекты литературного процесса**.

Наталья Иванова в статье «Прошедшее несовершенное» («Знамя», № 9) перечитывает газеты и журналы 1986 года, сопровождая чтение комментариями.

Виталий Кржишталович в статье «Гибель «Авроры» («Звезда», № 12) в форме письма другу рассказывает поражающую пошлостью и заурядностью историю о том, как в результате внутриредакционной возни скончался питерский журнал «Аврора». Автор был сотрудником редакции журнала. Он согласен с тем, что журнал уже давно печатал черт-те что, что всё реже на его страницах можно было встретить имя талантливого автора. Но он предъявляет счет «мастерам, которых «Аврора» когда-то пригрела» и которые забыли про нее, не помогли, не отдали своих новых вещей в погибавший, задыхавшийся журнал. Упомянуты Т. Толстая, Д. Гранин. Кржишталович подозревает, что забыли о журнале потому, что в нем перестали платить гонорары. «Мы тонули не в открытом море (...)

Наша «Аврора» (...) пошла на дно возле самой набережной. Берег полнился народом...» Между тем, автор, кажется, спешит с приговором. «Наш современник» (1997, № 1) публикует рекламу «обновленного журнала» «Аврора», который должен стать усилиями «новой редакции» «русским национальным журналом-компасом в современном информационном океане».

Мария Ремизова в статье «Терра инкогнита?» («Литгазета», № 45) делает обзор «прелюбопытнейшего журнала» «Континент», считая, что журнал хорош своим удивительно интеллигентным лицом. Кредо «Континента» — это неприятие радикализма в любых его формах, так сказать, просвещенный консерватизм. «Континент» «слишком европеец, чтобы сойти за своего в которте борцов за уваровскую формулу». Среди удач отмечены произведения Ю. Екишева, А. Азольского, С. Бабаяна, С. Каледина. Особо сказано о БСК. Его составителей и читателей может заинтересовать суждение: БСК — «уникальное сокровище» журнала. «Возник новый критический жанр».

3. Культурология, философия

В культурологической и философской публицистике 1996 года в целом сохраняются особенности, наметившиеся в прошлом году: масштабность обобщений, широкий сравнительный анализ культурных эпох и традиций, стремление к культурологическому прогнозированию. Анализ внутрироссийской ситуации в мировом контексте становится нормой. Вот почему журнальные страницы обозреваемого периода наполнены материалами, посвященными прежде всего проблемам современной культуры и сознания. Одна из основных принципиальных тем — *национальный кризис на фоне общемирового*.

«**Западная интерпретация глобального противостояния**» России и Запада анализируется **Антоном Уткиным** («Философские науки», №№ 5—6, 1995). Обращаясь к работам теоретиков модернизации, автор статьи старается проследить эволюцию их теорий и выделяет здесь четыре основных периода. Первый, «модернизированный», подход внутренне объединял Россию с Западом и представлял мир единой системой, устремленной «общим строем» к единому же будущему. Именно этим объясняется исторический оптимизм 50-х, равно как и неизбежность холодной войны. Вторая половина 60-х задумалась о взаимоотношениях истории и биографии, и, как верно замечает автор статьи, стало очевидно (для них, шестидесятников), что биографии России и Запада своеобразны. Антимодернисты как бы приподняли Россию в собственных глазах и даже слегка очаровались оригинальностью выбранного ею пути. В чем их и упрекнули постмодернисты конца 70-х — начала 90-х годов. В тот период Россия для Запада скорее безразлична. «Сердцевиной» постмодернистского видения автор называет перенос внимания на персональную судьбу, на личность. Преж-

ний принцип универсальности мира начинает играть новыми гранями, дихотомия Россия—Запад отбрасывается вообще. После чего и становится возможной так называемая четвертая фаза. Стремительное крушение социалистического лагеря, по мнению автора статьи, заставило Запад вернуться к прежней универсальной картине мира, выстраиваемого неомодернистами в виде пирамиды, с Западом на вершине. Традиционное противопоставление стало бессмысленным «по крайней мере, на одно поколение», завершает свой анализ А. Уткин.

Еще активнее развернулась полемика западников и антизападников (славянофилов пока не обнаружено) во второй половине 1996 года. Интересны классичностью размышления **Владимира Кантора «Лишенные наследства: к проблеме смены поколений в России»** («Октябрь», № 10, 1996). Его зачин «само культурно-географическое положение России между цивилизующейся Европой ... и пребывающей в равном себе состоянии варварской Степью» сразу напоминает Щедрина: «Стоя на рубеже отдаленного Востока и не менее отдаленного Запада...» Поставив вопрос о том, было ли в России время не переходное, стабильное, автор отвечает отрицательно: «Вечная детскость», «Традиция нигилизма». Надежность суждений проверяется тем, как Кантор судит о православии: он считает, что до XV века у нас было «русское, экуменическое по духу и пафосу православие, связывавшее Западную Европу и Константинополь», затем Церковь попала под контроль государства, и было утрачено решение проблемы «отцов и детей», запечатленное в догмате об Отце и Сыне. Правда, он же констатирует, что в России господствовало «религиозное безразличие». Большевики довершили «нигилистическую варваризацию страны». Выход Кантор видит в русской классике, несущей в себе «европейское чувство свободы», не объясняя, почему русская классика не предотвратила революции.

Любопытно, что **Карл Кантор («Четвертый виток истории»**— «Вопросы философии», № 8, 1996) выступает еще резче — за признание США и Западной Европы единственной Цивилизацией (именно с большой буквы). Правда, начав статью с похвалы Западу, он заканчивает призывом отделить марксизм от «научного коммунизма» и восхваляет «нетленное ядро историсофии Маркса», считая что оно — ядро — определяет будущее человечества.

Геннадий Лисичкин в статье **«Царь Борис и упадок советской «Золотой Орды»** («Дружба народов», № 10, 1996) изложил простую и давнюю мысль о том, что все беды России — наследие татарского ига. Россияне — золотоордынцы (почему именно так вышло, Лисичкин объясняет тем, что так уж получилось). «Светом в конце тоннеля» он называет ситуацию в современной Татарии (знаменитой вообще-то как коммунистический анклав в современной России); кризис современной России он считает именно кризисом «золотоордынских порядков». Статья сопровождается послесловием **Константина Барановского «О вреде кавалерийских атак на историю»**, перечисляющего фактические ошибки

эссеиста и указывающего на бесосновательность его упования на «децентрализацию» России. Более того, **Александр Янов** ответил на статью Г. Лисичкина эссе «Российские либералы против русской истории» («Дружба народов», № 11, 1996). Он уличил Лисичкина в извращении идей Гумилева, который вовсе не считал татарское завоевание погибельным для Руси. Изыскания самого Янова, однако, превосходят любые гумилевские фантазии. Ссылаясь на анонимные «архивные находки после-сталинских десятилетий», Янов заявляет, что Москва «на поколение раньше других» начала «борьбу за церковную Реформацию» и вышла из-под татарского ига «европейским и либеральным государством, едва ли не самым политически прогрессивным в тогдашней Европе ... превратилась в один из важнейших центров мировой торговли». Самодержавие было установлено в результате революции (Янов опять упоминает какие-то неопровержимые документы, не указывая, какие именно). Янов вообще критикует всех — и тех, кто видит источник русского холопства в географически особой точке (Западе и его влиянии), и тех, кто видит источник холопства в исторически особой точке (прошлом России). Янов уничтожающе критикует Анпилова, Сахарова, Лисичкина, Найшуля, «говорливого реформатора-расстригу Андраника Миграняна» и многих других, особенно возмущается отождествлением демократии и рынка (не уточняя, у кого из обличаемых он вычитал это отождествление). Свое видение задач либералов в России он формулирует так: «Научиться отделять овец от козлиц на Западе, мобилизовать друзей и дать отпор врагам». Либералы должны, подобно Рузвельту, сделать «чрезвычайное усилие» и выработать свой новый курс. В чем этот новый курс состоит, однако, Янов так и не уточняет; не совсем понятно и то, кого он все-таки считает либералами, — ни одной фамилии положительных персонажей он не называет.

Лев Аннинский в рубрике «На путях русского самосознания» («Дружба народов», № 11, 1996) предупреждает читателя, что вопреки «либеральной» традиции не хочет воевать с Вадимом Ксжиновым, после чего воюет с ним как в этом, так и в следующем номере журнала, доказывая, что к самобытности нельзя призывать, а надо просто быть самобытными.

Владимир Ошеров, 15 лет живущий в США, представляет традицию антизападническую. В предисловии к его статье «В нравственном тупике» («Новый мир», № 9, 1996) Юрий Кублановский подчеркивает факт проживания Ошера на Западе: человек знает, о чем пишет. Подчеркивает Кублановский и то, что «тоталитарная пропаганда делила мир на светлый и темный». Ошеров, действительно, показывает, что США — не «светлый мир»: «абортная культура», «армия профессиональных иждивенцев», разврат, кризис образования, — и заканчивает словами: «Обо всем этом полезно помнить сейчас, когда в России налицо явный переизбыток реформаторов». Ошеров благодарит Бога за то, что в России не дошло до радикальных реформ в сфере образования, и выражает

надежду, что нынешняя школа воспитает будущее поколение российских граждан наилучшим образом. Правда, за его статьей следует **статья А. Панарина «О возможностях отечественной культуры»**, в которой эти возможности (впрочем, как и возможности всей современной цивилизации) оцениваются не слишком высоко: всюду кризис, господствует индустриальный молох. Панарин видит из кризиса два выхода: либо Запад обновит себя сам, либо последует «конструктивно-настойчивая критика его со стороны, которая будет тем принципиальнее, чем меньшую готовность к самоанализу обнаружит Запад». Нужна ли самокритика России, автор не оговаривает, лишь переформулирует слова Достоевского о русской отзвучивости: «Диалоговый «архетип» русской культуры ... приобретает судьбоносное значение». Панарин надеется, что «новый натиск Запада на Россию» потерпит крах, у Запада «достанет мудрости ... понять пророческий характер российского «традиционализма», Россия станет «мощной». Нужно ли для мощи России что-либо кроме ослабления Запада, Панарин не уточняет.

В. Степин и В. Толстых («Демократия и судьбы цивилизации» — «Вопросы философии», № 10, 1996) говорят прежде всего о «воздействии западных образцов и ценностей на незападные страны». Авторы с самого начала поминают Японию как образец страны, где прививка демократии осуществилась без утраты национальной идентичности (не объясняя, только ли в атомной бомбе все дело). Они считают, что будущее за «информационной» цивилизацией «на путях общепланетарного сотворчества»; критикуя западничество, авторы ратуют за сочетание национализма (цитируют К.Леонтьева) с демократией.

А. Панарин в статье «Вторая Европа» или «Третий Рим» («Вопросы философии», № 10, 1996), разбирая вопрос «о цивилизационном и политическом самоопределении России», начинает с определения России как «постлиберальной страны», преодолевшей «очередной прогрессистский утопизм». Критикуя «нашу западническую интеллигенцию», Панарин утверждает, что Запад превращается в закрытое для внешнего мира общество, угрожает политизацией православия (в ответ на политизацию ислама, вину за которую он возлагает на Запад), предлагает России стать интегрирующим центром Евразии, вернувшись на Восток. Он заканчивает надеждой на то, что центр мирового развития завтра начнет смещаться «в нашу сторону» по той причине, что победители (видимо, имеются в виду Запад и США) почивают на лаврах, а побежденные начинают наверстывать упущенное.

В. Согрин в статье «Идеология и историография в России: нерасторжимый брак?» («Вопросы философии», № 8, 1996) выступает и против большевизма, и против «отказа от критического отношения к западной общественной модели», особенно против воспевания США как идеала демократии. Он требует независимости историков от «прессинга» демократической власти, не уточняя, о каком прессинге идет речь.

Профессор-экономист **Солтан Дзарасов в статье «Что же с нами происходит?» («Октябрь», № 8, 1997)** в первой же строке ставит вопрос:

«Почему опять ... наши лучшие надежды по преобразованию общества терпят фиаско?» Начинает он с обличения «наших духовных пастырей», к которым он относит журналистов (особенно телеведущих), обличает интеллектуальную элиту и «большинство людей» за то, что их крутозор «теперь ограничивается корыстными интересами и банальными новостями». Он обличает власти и СМИ в зомбировании народа, уравнивает приватизацию с криминализацией, критикует власть за недемократичность. В качестве «позитива» автор предлагает глубже осмысливать добро, содержащееся в коммунизме (социализме), только ориентироваться на некий «хороший» марксизм. Он считает, что синтез марксизма с лучшими достижениями общественной мысли совершился в трудах Сартра и Фромма, но почему-то главным в «хорошем марксизме» полагает не то, о чем говорили Сартр и Фромм, а борьбу за «социально-экономические права трудящихся» и изменение Конституции таким образом, чтобы гарантировался «по истечении положенного срока» уход людей от власти.

На фоне такого западничества и антизападничества любопытно звучит эссе Александра Гениса «Вавилонская башня» («Иностранная литература», № 9, 1996), опубликованное с послесловием Вяч. Иванова. Характеризуя современную цивилизацию как прежде всего информационную (в которой каждый строит себе реальность по себе), Генис отмечает, что она в то же время индустриальна, и экологическое перенапряжение как бы уравнивает информационное изобилие, напоминая, что кроме виртуальной реальности есть и обычная. Необходимостью справиться с экологическим кризисом он объясняет моду на идею: «сегодня идти вперед можно только пятясь», — и предлагает «жить без будущего», достигая «тождества мгновений». Анализируя западную масс-культуру, он отмечает, что она ближе к восточной духовности, нежели к западной, а впрочем, считает, что всё западное общество переходит «в русло органической парадигмы» — то есть восточной ментальности. Голливуд проводит в массы мистическое мироощущение, начинает господствовать недосказанность. Восточно-гегельянское принятие всего действительного как разумного и отказ от индивидуализма приводят Гениса к выводу: «Истинный плюрализм культур ведет не к насильственному их уравниванию, а к тому синтезу, который, собственно, и называется планетарной цивилизацией. Билет в нее Востоку оплачивает западная наука, а Западу — восточная мистика». Генис только не упоминает, какое значение имеет западная мистика (которая есть) и почему все-таки нет «восточной науки». Впрочем, он заканчивает не слишком радостным заявлением, что мультикультура эфемерна, «оставляет следы только в нашей душе» и потому является новой Вавилонской башней. «Оставшись без будущего, мы обречены постоянно творить настоящее из прошлого».

О различиях Востока и Запада, равно как об уничтожении этих различий в некоем синтезе пишет (сразу вслед за эссе Гениса) Григорий Чхартишвили в статье «Но нет Востока и Запада нет». Он сравнивает новую цивилизацию с андрогинном, хотя в конце статьи склонен характе-

ризовать ее скорее как импотента. «Человечество начинает стареть. Когда-нибудь оно умрет. Думать об этом грустно, но лучше уж в вялом андрогинном состоянии от прогрессирующей энтропии, чем в бодром и расколоте — от допрогрессировавшей до ядерного деления полярности. Или не лучше?» Этот грустный вздох, напоминающий глубокомысленные размышления марсиан из романа А. Толстого «Аэлита», уравнивается трезвым и бодрым голосом **Инны Берштейн**, которая в заметке, посвященной проблемам «постмодернистской концепции перевода», отрицает само существование постмодернизма в переводе, напоминая, что речь идет просто о контрверзе между буквальным и свободным стилями перевода и что постмодернистским переводом обычно называют просто плохие переводы.

Любопытный диалог **Татьяны Морозовой** с американским публицистом **Стивеном Лаперузом** «Индивидуализм и соборность» печатает «Москва» («Москва», № 9, 1996). Морозова ругает русских за недружественность, ругает американцев за то, что их индивидуализм убивает индивидуальность, Лаперуз ругает американцев за фальшивость улыбок и государственный эгоизм, за то, что элита в США тонка, а большинство людей невежественны (не знают, куда впадает Волга). Оба хвалят русских за соборность. **К. Мяло** («Между Западом и Востоком» — «Москва», № 11, 1996) бранит Запад, диссидентов, демороссов.

По сравнению с 1995 годом на несколько градусов сильнее стало призывание диктатуры в славянофильских журналах. **А. Минаков** («Москва», № 9, 1996) призывает к восстановлению земщины как опоры святой и монархической Руси. Не менее жесток **А. Новиков** в статье «Восход после заката» («Москва», № 9, 1996): он задается вопросом, что русские могут противопоставить «тотальному плану Деструкции и Деградации», и отмечает, что неизбежна диктатура и надеется, что жесткая власть приведет к возрождению России, хотя бы диктатуру устанавливали и для других целей.

Н. Моисеев («Есть ли будущее у России?» — «Наш современник», № 11, 1996) предлагает «общепланетарную картину» мира, в которой всё разрушают транснациональные корпорации, высасывающие соки и из России, готовящие «планетарный тоталитаризм». Он «не очень верит» в то, что процесс удастся остановить, но уповает на коллективную волю народов севера Евразии.

Антизападничество с сильным «христианским» колером демонстрирует **М. Назаров** в статье с, казалось бы, немислимым названием «Триумф мировой закулисы» («Наш современник», № 12, 1996): «Смысл всех катаклизмов XX века заключается в крушении православной России под натиском объединенных мировых антихристианских сил, — но и в борьбе русских сил за восстановление Россией своего «удерживающего» сознания».

Уж коли речь зашла о *постмодернизме*, стоит пристальнее остановиться на работах о новом авангарде. «У этого слова нет значения. Употреблять его рекомендуется как можно чаще», — процитируем и мы вслед за

В. Страдой это остроумное определение постмодернизма из английского словаря неологизмов.

Обратимся к статье самого В. Страды **«Модернизация и постмодерность»** («Академические тетради», № 2, 1996), в которой автор вовсе не собирается шутить по поводу этого философско-мировоззренческого течения, захватившего мировую культуру конца XX века. Он рассматривает историю модерности как эпоху развития и распространения нового типа экономической и культурной деятельности, начиная с Возрождения, и называет ее основные черты: рациональность, свободу от этико-религиозных ограничений, утверждение индивидуальной «самодовлеющей субъективности», секуляризацию. Западноевропейская модернизация стала началом новой фазы мировой истории, процесс ее был специфически национален и континентален, но вместе с тем зависим и от общемировых условий. В этом смысле дальнейшее развитие цивилизации правильнее определять как пост- или супермодерность, главной характеристикой которой является глобализация культуры. С точки зрения В. Страды, эта новая глобализация не ведет к нивелированию национальных культур прошлого, хотя и нарушает их изоляцию.

В том же номере журнала напечатана еще одна статья В. Страды **«Будущее культуры и культура будущего»**, а журнал «Знание — сила», № 1, 1996, печатает интервью с В. Порусом, где философ признает, что «не пройдя школы культурной жизни, мы пытаемся перескочить в «посткультурную» эпоху, когда уже можно играть с культурой».

Михаил Эпштейн в статье **«Прото, или Конец постмодернизма»** («Знамя», № 3, 1996) утверждает, что постмодернизм является единственной «более или менее общепринятой концепцией, как-то определяющей место нашего времени в системе и последовательности исторических времен». Он задает вопрос, «возможна ли концепция, альтернативная постмодернизму и вместе с тем не враждебная ему, но включающая его как пройденную ступень». Он предлагает концепцию «постмодерности», которую отождествляет с бердяевским «новым средневековьем», но чем постмодерность отличается от постмодернизма, не объясняет и заканчивает статью вопросом: «Что это значит: жить уже на исходе постмодернизма, но еще только в преддверии постмодерности?». Отчасти может помочь то, что Эпштейн дает временные ориентиры: модерность — Новое время с Ренессанса до XIX века и модернизм — эпоха с конца XIX века до 50—60-х годов XX века.

Православный постмодернизм сочинил Б. Парамонов в статье с выразительным названием: **«Игра в бисер: православный вариант»** («Звезда», № 12, 1996). Он рецензирует книгу С. Хоружего «После перерыва: пути русской философии», характеризуя ее как «постмодернистский шедевр», «стилизацию русской философии». Сам Парамонов заявляет, что главное в русской философии — метафизика всеединства, а та, в свою очередь, есть «русский вариант христианизированного платонизма», а платонизм в свою очередь есть пантеизм. Возвращаясь к дому, который

построил Джек, Парамонов и приходит к выводу, что ничего в метафизике всеединства не только христианского, но хотя бы монотеистического нет и не было. Хоружий пытается, по его мнению, исправить это, обращаясь к учению Григория Паламы. Парамонов нашел в книге Хоружего слово «эрекция» (с которой сравнивается синергия — сравнение экзотическое для русской культуры, но вполне тривиальное для византийской, в которую профессионально погружен Хоружий) и чрезвычайно обрадовался, изобразив рассуждение о том, что проблема свободы и благодати аналогична проблеме тех, кто может, но не хочет, и тех, кто хочет, но не может: кто может и хочет, тот идет в ад за разврат, а в рай идут благочестивые импотенты. Статья заканчивается утверждением, что и Солженицын, и Хоружий сделали — один литературу, другой философию — предметом пародийной игры.

Более мягко выступает против постмодернизма **В. Кутырев** в статье «**Экологический кризис, постмодернизм и культура**» («Вопросы философии», № 11, 1996), определяя культуру как «то, что не натура», как механизм трансформации животного бытия в социальное состояние. Но современное общество стало человеко-машинным, постмодернистским, перестало быть совокупностью общин, отчуждение людей убило культуру. В качестве выхода он предлагает поддерживать культурную традицию.

В. Налимов в статье «**Критика исторической эпохи: неизбежность смены культуры в XXI веке**» («Вопросы философии», № 11, 1996) отмечает, что «в канонических Евангелиях явно прослеживается анархическая тенденция — Христос отказывается от власти». Культуру он определяет как «социальную терапию» и ставит задачу «открыть путь Космическому сознанию», при котором соединяются вместе «различные планетарные культуры».

Статью Ермолина в «Континенте» (№ 84) критикует **С. Ушакин** («После модернизма: язык власти или власть языка» — «ОНИС», № 5, 1996). Он считает, что сам термин возник в 1972 г., когда Стейнберг сказал, что картины Р. Раушенбаха есть образы образов. Постмодернизм есть полифония, его локализм противостоит глобальным проектам Проевещения. Он десакрализует властные отношения, блокирует механизм вины, «давая личности по крайней мере возможность попытки найти свой, другой смысл семейной жизни, профессиональной карьеры или политического участия». «Постмодернизм во многом — из понимания того, что преодоление различий путем их уничтожения — не самая эффективная политика». Модерность отождествляет норму и истину, стремится к гегемонии над личностью в целях развития экономики, маргинализует отказников, воспитывает у людей чувство вины. В качестве примера автор дает книгу Гайдара «Государство и эволюция», в которой автор описывает элиты, но не видит общества, он знает лишь низы, людей, массы, но ими не интересуется (при этом Ушакин одобрительно использует материалы Л. Пияшевой в том же «Континенте», № 84).

Попыткам понять новую логику видения мира посвящена статья **М. Федоровой** «**Образ постиндустриального общества и контуры социа-**

листического проекта» («Философские науки», №№ 5—6, 1995). Сторонники постмодернизма определяют сущность современного этапа развития как разрушение самой идеи стабильности: провозглашен плюрализм культур, традиций, идеологий. Автор статьи пытается определить наиболее общие черты этих метаморфоз и их последствия для политического развития общества. В статье подробно анализируются новые изыскания современного обществоведения — работы С. Лаша, Дж. Арри, В. Хейтала, Д. Харвея. Они отличаются по понятийному аппарату, даже по выводам, но объединены, по мнению Федоровой, признанием принципиального отличия постиндустриальной фазы развития общества от предшествующих этапов, попытками создания «синтетического общественного проекта», сочетающего элементы классической социалистической доктрины и теории постмодернизма, противоположной жесткому детерминизму социализма. Социалистический общественный проект, полагает автор, получает таким образом новые перспективы.

Л. Ионин в двух номерах журнала «Социс» (№№ 2—3, 1996) в статье **«Культура и социальная культура»** пытается по-новому взглянуть на столь привычный марксистский термин, как «социальное неравенство». Автор статьи пишет о том, что требование равенства было частью грандиозного духовного переворота эпохи модерна, «модернистского проекта», суть которого он пытается определить, прибегая к Веберу и Хабермасу. Социальный смысл модерна в таком случае оказывается расколдовыванием, освобождением общества от господства магии и суеверий и переключением на доверие к разуму, науке, рациональной процедуре во всех сферах общественной жизни. Постмодерн же, по Ионину, есть отказ от попыток расколдовывания мира, всё равно, добровольный или вынужденный. Распадаются «грандиозные идеальные целостности, во взаимодействии которых и складывался модернизм. Это наука, религия, гуманизм, философия, социализм, феминизм и т.д., то есть идейные образования, претендовавшие на полную и исчерпывающую интерпретацию мира. ...Самое важное здесь, пожалуй, отказ от метаистории, то есть универсальной исторической концепции, выстраивающей всю историю в одну стройную и последовательную схему ... отказ ... от «глобальных концепций социальной структуры». В результате возникает «культурно ориентированная социология», поскольку там, где было общество, стала культура. При этом Ионин подчеркивает, что истинная культура уступила место масс-культуре. Постмодерн есть фельетонная эпоха Гессе. (Очерк «Критики учения Вебера с позиций правового неогегельянства» дает в «Социсе», № 1, 1996, Ю. Давыдов, это история критики идей Вебера, начавшаяся сразу после его смерти.)

«Еще раз о формационном и цивилизационном подходах» предлагает задуматься **А. Ковалев** («Общественные науки и современность», № 1, 1996). Автор предлагает социологам перенести внимание с анализа человеческих общностей «в вертикальном, то есть формационном плане» на анализ «в горизонтальном плане». Ностальгическим марксизмом веет от

его аксиоматического: «производство орудий труда является определяющим моментом человеческой жизнедеятельности». Статья заканчивается вполне материалистическим предсказанием нового этапа в истории человечества, когда оно вынуждено будет переселиться на другие планеты и «народы обнаружат разную приспособляемость к новой обстановке. Не исключено, что некоторые из них оптимально приспособятся к новым условиям, другие же окажутся не в состоянии вписаться в природную нишу».

И. Василенко («**Политический консенсус в гуманитарном диалоге культур**» — «Вопросы философии», № 8, 1996) пытается выявить «круг универсальных общечивилизационных ценностей» (перечисляет он в основном различные права человека и демократические институты), на основе которых возможен желанный диалог культур.

Н. Мусхелишвили, В. Сергеев, Ю. Шрейдер в статье «**Ценностная рефлексия и конфликты в разделенном обществе**» («Вопросы философии», № 11, 1996) отмечают, что угрозу обществу сегодня представляют абсолютистские требования этики, гуманизм, который признает высшим абсолютом самого человека (что противоречит «естественному порядку вещей»), хотя не видит в человеке чего-то выходящего за пределы естественного. Они заканчивают призывом создать механизмы проговаривания интересов различных социальных групп (помимо парламента) и добиться эволюции к обществу, в котором свобода разных групп не будет подавлять друг друга, в котором блага будут реализовываться «достаточно справедливо».

А. Юревич и И. Цапенко в статье «**Мифы о науке**» («Вопросы философии», № 9, 1996), дают социологический анализ состояния русской науки и отношения к ученым. Они сожалеют, что ученые слишком занимались самобичеванием, хотя сами говорят о коме русской науки и о том, что ей реально грозит уничтожение, за которым последует и гибель страны.

Ю. Чайковский в статье «**Ступени случайности и эволюция**» («Вопросы философии», № 9, 1996), отмечая связанность теории случайности и удовлетворительной концепции эволюции, призывает видеть в эволюционной изменчивости системную случайность, характерную не столько для физических, сколько для гуманитарных объектов.

Без всякого умиления перед «национальным», как и без умаления его, современные российские философы, культурологи и публицисты всё-таки предпочитают вычленять из общеевропейского философского контекста и рассматривать отдельно *проблемы русской мысли*. Однако не история ее сама по себе волнует исследователей, но день сегодняшний во всей его сложности и неопределенности.

В. Мильдон посвящает свою статью «**Русской идее в конце XX века**» («Вопросы философии», № 3, 1996) и находит в ней принципиальные содержательные изменения по сравнению с традиционным смыслом,

определенным еще Хомяковым и Аксаковым. Сознательное предпочтение народных, государственных интересов в ущерб личностным, преобладание интуитивных способов понимания над логическими, религиозный национализм и сильные мессианские мотивы — всё это ушло в прошлое. В XX веке, по мнению автора, сполна сказалась изношенность идеи национализма. Со всей очевидностью и для России на первый план выдвинулась идея самоценности личности. Стало понятно, что в исторических испытаниях может оскудеть не только чья-то индивидуальная душонка, но и дух целого народа, что и национальный тип может не выстоять и нивелироваться. Анализируя различные модификации «русской идеи» в трудах Е. Трубецкого, Вяч. Иванова, Л. Карсавина и других русских мыслителей, автор отмечает появление в русской философии по-новому понимаемой категории универсализма: национальное лишается мессианского и становится необходимым элементом всемирного: множество в соединении не теряет множественности. В этом видит Мильдон прямой путь национальной, в том числе и русской, философии.

С. Титов в статье «Проблема контекста в живых системах» («Общественные науки и современность», № 3, 1996) весьма критично относится к теории пассионарности и прочим «физикалистским наукам». Здесь дан серьезный анализ взаимоотношений биологии и «физикалистской науки», возникшей на базе изучения неживых объектов. Автор констатирует провал всех попыток «доказать возможность происхождения живого из неживого», резко критикует и редуccionистов-биохимиков, и виталистов, которые пытались найти «энергии», специфические для живого. К виталистам он относит Фрейда, Шардена, Л. Гумилева, впадших в искушение «использовать энергию для физикализации своих воззрений». Комментируя основные положения теории Л. Гумилева, Титов замечает, что они звучат «красиво, но с физической точки зрения абсурдно. Принципиальной и единственной особенностью энергии является ее сохранение, превращение в строго эквивалентных количествах в другие ее виды. Энергия должна измеряться в калориях или джоулях. Ни психическая энергия Фрейда, ни радиальная энергия Шардена, ни пассионарная энергия Гумилева этому условию не удовлетворяют». Титов подробно останавливается на отличиях живых систем от физических, особенно на знаковом характере живых систем, под которым он имеет в виду раздражимость — способность реагировать на изменения среды. Таким образом, Титов решительно выступает против павловского сведения жизни к качеству импульса («модальности стимула»), отмечая, что определяющим является не стимул, а понимание его живым организмом. Свою позицию он подкрепляет ссылкой на учение А. Ухтомского (напомним, не только знаменитого физиолога, но и старообрядческого епископа) о хронотопе. И указывает на еще одно свойство живых организмов — поликонтекстность: части живых систем могут быть включены в самые разные подсистемы.

«Этико-экологические тупики русского космизма» анализирует **В. Мазельман** («Общественные науки и современность», № 1, 1996). Это

любопытный и даже долгожданный критический очерк о последователях Николая Федорова. Космизм, с точки зрения автора, подчиняет антропологическое космологическому, упраздняет свободу в выборе поступков, подменяя нравственность моралью. Не щадит Мапельман и Вернадского, отмечая, что его юношеская попытка сконструировать научную этику по законам естествознания была изначально неудачна. «Ноосфера Вернадского как вариант абсолютной разумности и мировой гармонии построена по законам естествознания и «украшена» фактически ничем не обоснованными характеристиками добра, любви и человечности. Это делает ее мало приспособленной к решению современных экологических проблем». У Вернадского и космистов вообще будущее выглядело как бесконфликтное идеальное общество, они игнорировали и этику как науку, и данные социальных наук о невозможности утопии. (К статье приложены впервые публикуемые тексты Циолковского 1934 года, напоминающие по стилистике одновременно и речи Троцкого, и платоновский «Котлован»).

Автору статьи «Русская религиозная философия: возможна ли она сегодня?» («Философские науки», №№ 2—4, 5—6, 1995) Ю. Синеаковой в нынешней популярности имен Соловьева, Бердяева, Розанова видится серьезная проблема. Дело в том, отмечает она, что русская религиозная философия пришла в политические реалии повседневности. Однако, на беду, в сегодняшней жизни в ходу оказались лишь отдельные выхваченные идеи, превратившиеся в лозунги и работающие на политических конъюнктурщиков. Увы, ни о каком действительном усвоении русского религиозно-философского наследия пока и говорить не приходится.

Здесь угадывается, однако, гораздо более серьезная проблема, чем «непрочитанный» Бердяев. «Философия и политика» — именно так и ставится она на **Круглом столе** журнала «Вопросы философии» (№ 1, 1996). В обсуждении приняли участие В. Лекторский, В. Подопригора, И. Пантин, И. Кравченко, В. Розин, Т. Алексеева и др. Пытаясь определить феномен нынешней российской политики, участники Круглого стола выделили для себя два возможных аспекта исследования: философский уровень политического мышления и политическая философия как отрасль науки философии. Современная ситуация в целом воспринимается учеными не просто как этап реформирования, но как процесс втягивания в особый тип культуры. Задачей философии здесь становится осмысление картины мира, ибо вне новой онтологии не может состояться адекватное «социальное действие» и разработка политической стратегии неизбежно начнет отставать от стихийного развития реальности (В. Розин). Одной из серьезнейших проблем здесь видится проблема взаимоотношений идеала и реальности (Т. Алексеева). Демократия вообще слишком феноменальна, чтобы развиваться по общим технологическим рецептам. И посткоммунистическая демократия сталкивается с совершенно иными проблемами, нежели западная (И. Пантин). На сегодня российские политики не имеют философской концепции ни внешней политики (что само по себе — некий исторический консенс), ни внутренней (Н. Коваль-

ский). Эта незрелость сформировала в стране атмосферу нетерпимости и плохо скрываемой агрессивности. Мы переживаем не ситуацию идеологического вакуума, но кризис перепроизводства идей. Проблема состоит отнюдь не в отсутствии некоего нового тотального проекта будущего общества. Наша идеологическая коммуникация разорвана. Россия переживает хаос разномыслия (В. Рубцов). Таковы основные и малоутешительные выводы Круглого стола. Об активном включении философии в поиск выхода из общекультурного и духовно-нравственного кризиса, в котором оказалась сегодня Россия, пишет Д. Леонтьев в статье «Ценность как междисциплинарное понятие: опыт многомерной реконструкции» («Вопросы философии», № 4, 1996).

Статья В. Козлова «Российская история: Обзор идей и концепций, 1992—1995 годы» («Свободная мысль», №№ 3—4, 1996) разбирает вопрос о содержательной стороне работ русских историков и о механизме их выживания в эпоху реформ. Автор с презрением пишет о «поверхностной и догматической» критике марксизма, с уважением — о «переосмыслении» марксизма, «цивилизованную» парадигму называет «редукционистской», в ее продуктивность не верит.

Собственно *проблемам российского политического мышления* посвящает свою статью **«Конфликт и консенсус в российской политике» В. Согрин** («Общественные науки и современность», № 1, 1996). Автор отмечает, что «массы россиян чужаются политического экстремизма даже в критических условиях», хотя страна в целом остается напряженно антиномичной, далекой от консенсуса. Для Согрина «совершенно очевидно, что в основу этого консенсуса не может быть положена ни радикально-либеральная модель, которая только усиливает раскол и поляризацию российского общества, ни национал-коммунистическая утопия». Своей позиции он не обосновывает и не объясняет, завершая статью весьма пессимистическими прогнозами.

О возможных общих «базовых ценностях» рассуждает и **Г. Белов** в том же номере журнала (**«Эволюция нормативной политической системы современного российского общества»**). Он очень сожалеет о ликвидации КПСС в момент ее «самореформирования», критикует мифы об «абсолютной ценности прав человека и гражданина, об универсальной ценности политического плюрализма» и предлагает в качестве идеологии нового строя «уважение традиции любви к Отечеству» (почему-то не саму любовь как таковую), «ответственность за Родину, осознание себя частью мирового сообщества».

В. Мьялдон в статье **«Природа и культура: Опыт философии безнадежности»** («Вопросы философии», № 12, 1996) называет культуру вечным порывом к нефизическому существованию, к преодолению смерти и приходит к выводу, что «все виды идеологий, отмеченные печатью природности (национальные, государственные, религиозные), угрожают человеку. Наступила пора, когда, настаивает он, нужно говорить «не от имени государства или наций, даже не от имени человечества, но от имени

отдельного человека», а говорить предлагает «о перспективах русской идеи».

Елена Холмогорова в заметке «...чтобы плыть в эволюцию дальше» («Знамя», № 12, 1996) предлагает русской нации избавиться от навязанного ей «катастрофического сознания», «наслаждаться жизнью», не поддаваться унынию, сохранять чувство юмора. Заканчивает, однако, уныло: «Почему ненатуральна русская радость?», а в качестве оптимистического конца рассказывает о мальчике, который заявил, что ему неинтересно в Музее революции. Правда, не уточняет, когда и кому в этом музее бывало интересно.

В статье «Хам уходящий», посвященной 90-летию статьи Д. Мережковского «Грядущий Хам», **Павел Басинский** («Новый мир», № 11, 1996) дает интересное толкование библейского образа: Хам поступил по-хамски не столько тогда, когда подглядел наготу отца и разболтал о ней, сколько тогда, когда «услыхав проклятие ... повернулся и вышел из шатра ... Пародийный жест чудовищного значения: Хам дублировал поведение братьев («пошли задом и покрыли наготу отца своего») ... и вышел из шатра задом к отцу, насмеявшись над братьями, перечеркнув священный смысл их поступка». Хамство уходит от простодушия, оно — изобретательно порочно (хотя изобретательность, подчеркивает Басинский, не порок). Хамства нет в мещанине, который как раз «остро чувствует дистанцию между собой и культурой», а Хам дистанцию просто игнорирует. «Хамство побеждается простодушием» (хамство Смердякова — простодушием Алеши). Басинский отмечает, что русская литература относилась к хамству, как Пушкин — к Пугачеву: без умиления, но и без «ветхозаветной непреклонности». «Хамство возникает во всякой культуре — и именно там, где намечается *ослабление*, потеря четкой ориентации в духовном мире, истощение «метафизической почвы». Пьянство Ноя — прообраз будущего одурения и оглушения культуры; однако Ной восстал сильным и свежим от сна и наказал сына». Басинский и призывает интеллигенцию наказывать хамство, охранять «очаг культуры» — разумеется, словом.

«Утопические аспекты политического сознания» исследует **И. Кравченко** в статье «Рациональное и иррациональное в политике» («Вопросы философии», № 3, 1996), проблему лидерства на политической арене — **А. Пригожин** и **А. Казинцев**. **А. Пригожин** в статье «Патологии политического лидерства в России» («Общественные науки и современность», № 3, 1996) определяет российское общество как «лидерское», в котором лидер подменяет собой социальный порядок и где преобразования прямо связаны со сменой лидера. Подробно описывая различные патологические типы лидеров, автор, правда, не счел нужным указать хотя бы один возможный нормальный тип и способ его выявления.

«Кладбище лидеров, или прокрустово ложе стабилизации» — так видит ситуацию **А. Казинцев** («Наш современник», № 2, 1996). Парадоксальным кажется ему «автопортрет» россиян 1995 года: жажда стабильности

здесь сочетается с желанием перемен, европейская политическая матрица наложилась на латиноамериканские условия жизни. В результате выборов в Думу произошла генерализация сил, выделились наконец партии-лидеры. Наблюдения автора статьи не лишены интереса, но элементарный здравый смысл и гражданское чувство ответственности (к которому и взывает Казинцев) восстают против воинственной тональности изложения, подпитываемой призывами, вроде «Вставай, страна огромная...» Даже почитатели сегодняшнего творчества Казинцева, кажется, должны помнить повод, по которому были написаны слова этой мужественной песни.

Ряд статей посвящен исследованию *двойственности феномена либерализма*.

В. Шаповалов в статье «**Либерализм и российская идея**» («Социс», № 2, 1996) отмечает, что «в отсутствие национальной идеи либерализм теоретически неполон, а практически несуществвим. Он считает неприемлемым «радикализм в критике существующего курса», возмущается принятием партии «Демократический выбор России» в консервативный Международный демократический союз и требует возврата к традиционным ценностям. Шаповалов выступает за особый русский путь модернизации, оставляя читателя в томительной неизвестности относительно того, каков же сей путь. **А. Зубов** в статье «**Будущее российского федерализма**» («Знамя», № 3, 1996) задает вопрос: «Может ли сказка стать бльбью?» и сразу дает отрицательный ответ: федерализм невозможен, он приведет только к установлению жуткой деспотии. Надо ограничиться «многообразием местных самоуправлений». Правда, тогда встает вопрос: а почему «местное самоуправление» Зубов (и Солженицын) считает бльбью, а не сказкой?

В. Согрин в статье «**Западный либерализм и российские реформы**» («Свободная мысль», №1, 1996) отмечает, что российские реформаторы 90-х годов дискредитировали понятие «либерализм» и пессимистически полагает, что «россияне вряд ли легко забудут и простят крах своих чаяний и иллюзий, связанных с радикальными реформаторами».

Естественно, любой разговор о русской философии так или иначе выводит его участников на *проблемы евразийства*. Его современные интерпретации, вобравшие в себя многие философские идеи конца XX века, порой приобретают самые неожиданные формы.

В этом смысле весьма любопытна небольшая статья американского политолога **Н. фон Крейтора** «**Диктат мирового жандарма, или равноправие больших пространств**» («Наш современик», №1, 1996). С падением коммунистических режимов в Восточной Европе традиционный дуполярный мир (США — СССР) превратился в мир гегемониальной державы. Сегодняшняя альтернатива, полагает фон Крейтор, не в соседстве суверенных государств, но в полновластии Америки. Именно поэтому перед Россией стоит совершенно особая, международная задача воссоздания русского Большого пространства. Понятие «Гроссраум» — основа геополитики. Православная Россия в качестве исторически традиционного

противовеса американской секулярной цивилизации обязана осознать, по мнению политолога, абсолютную геополитическую необходимость восстановления своего Гроссраума. Выбор России на данном витке истории — это выбор всей Европы, залог ее освобождения от Америки.

Перспективы российского геополитического положения анализирует и **В. Колосов** в журнале «Общественные науки и современность» (№ 3, 1996). Автор исходит из наблюдений С.М. Соловьева над ролью пространств и изолированности от океанов в истории страны. Россия — «не слаборазвитая, а «заблудшая» страна, в которой были выбраны ложные ориентиры развития». (Неясно, правда, какой злодей так выбрал ориентиры, зато замечательно определение России как страны особого типа — «мировой полупериферии»); подобная историософия вызывает в памяти мучительные попытки бравого солдата Швейка классифицировать поручика Дуба, завершившиеся триумфальным неологизмом «полуперлун»).

Некоторые симпатии выказывает евразийству и исследователь из ФРГ **Л. Люкс**, хотя и подчеркивает историческую обреченность этой оригинальной философской концепции. Автору статьи «Евразийство и консервативная революция. Соблазн антизападничества в России и Германии» («Вопросы философии», № 3, 1996) кажется весьма продуктивным сравнительный анализ интеллектуальных теорий 20-х годов, параллельно возникших на российской и немецкой почве. Геополитическое переустройство у евразийцев и «консервативных революционеров» — истоки и цели, взаимоотношения личности и нации, единое наследие имперского прошлого, идея харизматического вождя, построение идеократии — вот далеко не полный перечень проблем, затронутых исследователем.

Профессор **В. Иванов** в статье «Реформы и будущее России» («Социс», № 3, 1996) пропагандирует евразийство как способ «реинтеграции постсоветского пространства» при условии «сильной государственной власти». У Иванова «достаточно оснований для вывода о том, что именно государственный сектор экономики должен стать основным в ходе реформирования народного хозяйства». Правда, этот сектор и не переставал быть основным, так что пафос автора понять трудно.

Не смолкают на журнальных страницах и споры об особом, русском пути развития. «Диагноз: Русское западничество» — так назвал свою статью **В. Махнач** («Москва», № 1, 1996). Он определяет западничество не как модернизацию, но как «стремление ... перейти целиком в своих вкусах, воззрениях, системе мышления (в т.ч. социально-политического) ...из восточно-христианской культуры ...в западно-христианскую ...стремление переместить Россию из ее суперэтнического ареала в другой — западный». Статья предлагает очерк всей русской истории с Петра (первый западник) в терминах Льва Гумилева (надлом, антисистемы). Как антисистему рассматривает он и нынешний строй России. «Чудовищная бюрократизация страны в наши дни — ее питательная среда. Рецептов излечения от антисистемы нет. Все известные исторические антисистемы были уничтожены путем поголовного истребления их представителей. Вместе с тем

трудно не замечать, что современное общество зря ли готово к массовому кровопролитию, которое для этого требуется ... Остается только одно: обществу необходимо осознать постоянную угрозу деструкторов и маргинализировать их. ..Маргинализировать деструкторов — политиков, литераторов, журналистов, военнослужащих может только общество в целом. Христианам сказано: «Не убий». ... Но христианам никто и никогда не сказал, что человек, опасный для культуры, для общества, может рассчитывать на что-либо иное, чем самый непрестижный, тяжелый и низкооплачиваемый труд. И это самая мягкая и терпимая рекомендация, представляющаяся реальной» (А вот в этом, вероятно, читатель сомневаться и не станет — слишком жив еще недавний коммунистический опыт — кстати, вовсе не специфически русский).

Автор статьи **«Современная культура России» Е. Чельшев** («Москва», № 1, 1996), продолжающий ту же тему «русского пути», гораздо терпимее в своих рекомендациях. Он видит будущее России в консерватизме, толкуя его, подобно М. Тэтчер (и ссылаясь на оную), как приверженность всему «прóверенному многолетним опытом». Подчеркивая свое согласие с митр. Кириллом в отношении невозможности для России интегрироваться в какую-либо иную систему, Чельшев выступает и против крайнего национализма, и против демократии в пользу народовластия. Примечательна статья **А. Зимина «Европоцентризм и русское национальное самосознание»** («Социс», № 2, 1996). Он разделяется с Вл. Соловьевым за критику теорий Н. Данилевского и проповедь «общечеловеческого принципа» в ущерб национальному, критикует вообще понимание культуры как чисто духовной деятельности.

В. Аверьянов в статье **«Феноменология Смутного времени: откуда ждать Минина и Пожарского?»** («Общественные науки и современность», № 3, 1996) упрекает современных политологов за недостаток «абстрактно-философского дерзновения в интерпретации фактов». Затем он дерзновенно сравнивает Смутное время с революцией 1917 года и деятельностью Ельцина (натурально, Ленин и Ельцин выступают как Лжедмитрии). Призывая создать концепцию, «которая органично сочетала бы в себе элементы либерализма и приверженность самоценной российской государственности», автор, однако, сам отказывается от этой интересной задачи и предпочитает пессимистически предсказать «поражение радикальной демократии» (с которой он отождествляет Ельцина).

Статья **И. Яковенко «Цивилизация и варварство в истории России»** (там же) посвящена роли казачества в истории России. Этому феномену, мотору всех русских смут, автор предсказывает «глубокую трансформацию», не вдаваясь в детали. Далее идет статья Р. Багдасарова о запорожском казачестве XV—XVIII веков, где Сечь уподобляется военно-монашескому ордену, который пал не столько в результате реформ Екатерины Великой, сколько из-за утраты бескорыстия и целомудрия.

Ю. Барабаш в статье **«Спасские близнецы: Западнорусизм и малороссийство в национальном самосознании белоруса»** («Дружба народов»,

№ 9, 1996) обсуждает проблему «западнорусизма» и «малороссийства». Дав анализ того, как русские относились к «малой» России, Барабаш подробно представляет парадоксы национального самосознания у различных деятелей украинской и белорусской культуры, «болезнь государственности», приведшую к тому, что лишь сейчас «с достоинством выступает на свет» белорусская культура как таковая.

Проблемы, связанные с распадом имперской модели России, обсуждает и **Сергей Романенко**, сравнивая нашу судьбу с югославской («СССР — СФРЮ: модель распада. Россия — Сербия: поиск нового самоопределения» — «Знамя», № 11, 1996). Он разоблачает миф о Сербии как извечном союзнике России, миф о России как православной цивилизации, миф «об изначальной враждебности «католиков-хорватов» к русским и России». Он отмечает различие Югославии и СССР: первая возникла как «этнополитическая альтернатива» предыдущему строю, а последний — как альтернатива социальная; в России власть «оказалась в руках постимперских демократов, а в Сербии — осталась у коммунистов». Это дает ему надежду на то, что в России не будет ни войны, ни такого объединения России, Украины и Белоруссии, которое бы имело трагические последствия.

Г. Онуфриенко в статье «Играем демократию» («Знамя», № 12, 1996) анализирует опыт как российской политической жизни, так и зарубежной, приходя к выводу, что в демократии силен элемент театральности и с этим надо смириться. Она отмечает, что «политический маркетинг хотя и не всемогущ, но способен на многое», и предлагает законами и деньгами обеспечить политический маркетинг в России.

Ю. Давыдов в исследовании «О роли революционного насилия в либеральной экономике» («Москва», № 10, 1996) критикует шоковую терапию, Гайдара, Черномырдина, призывая отказаться от расхищительного капитализма и выбрать капитализм «трудовой, то есть продуктивный, и значит, нравственно ориентированный».

После статей, наполненных преимущественно размышлениями, освещающее действие производят социологические очерки; например, — статья **Н. Тихоновой** «Мировоззренческие ценности и политический процесс в России» («ОНИС», № 4, 1996), в которой на материалах опросов показано, что граждане России сейчас ценят свободу в целом более материального благополучия (таковых стало 88%, а в 1993 было 55%). При этом большинство понимает справедливость как равные возможности, а не как равный финал; патерналистов в обществе около трети, явное меньшинство — не то, что среди публицистов.

Н. Иванов в статье «Веймарская Россия» и «мюнхенский Запад» («Посев», № 3, 1996) критикует проигрывание «веймарской модели» в России. Ни Запад, ни Восток не могут разобраться во внутренних российских делах, замечает автор. Причина лояльного отношения западных правительств и к нынешнему режиму, и к нынешним «перекрашенным» коммунистам, вроде Зюганова, кроется в колоссальных дивидендах с этого

альянса. Пресловутая же защита свободы — следствие понимания собственных стратегических интересов.

Статья Г. Марченко «От кризиса к стабилизации: дальнейшая судьба реформ в России» («Октябрь», № 2, 1996) посвящена *внутренним проблемам общероссийского кризиса*. Процесс проведения реформ дает уникальный в мировой истории материал для исследования и обобщения процессов реформирования тоталитарного общества. К сожалению, известные истории примеры проведения подобных изменений (ФРГ, Япония, Чили и др.) охватывали никак не менее 15—30 лет. Сколько понадобится России? На основе анализа истории русского реформирования автор приходит к выводу, что обещанная ранее и провозглашенная ныне правительством стабилизация на деле представляет остановку в нижней точке кризиса. Ниже уже не упасть, но есть ли силы подняться? Для этого, по мнению публициста, необходима выработка программы стабилизации, общей для всех регионов, для макро- и микроуровней. Здесь Марченко предлагает два основных подхода: «опорных точек» и макрорегионов; выделение регионов-лидеров реформ и согласованность реформ в территориально смежных регионах. Так или иначе, начинать автор предлагает с местного и регионального уровня, с нужд людей — при наличии разработанной политики целенаправленной стабилизации. («Проблему социокультурной реформации в России: тенденции и препятствия» исследует и Н. Лапин в «Вопросах философии», № 5, 1996.)

Б. Кагарлицкий в статье «Тупики и развилки» («Свободная мысль», № 1, 1996) отмечает, что критики реформ последнего времени исходят из разных посылок, приводя в пример Джульетто Къезу, который объясняет провал реформ чрезмерным радикализмом, и Ларису Пияшеву, которая в своей статье, опубликованной в «Континенте» № 84, объясняла провал реформ недостаточным радикализмом Гайдара. Virtuозно покритиковав всех и вся в России, Кагарлицкий одновременно предлагает альтернативу «в виде смешанной экономики, включающей элементы демократического капитализма, государственного управления и демократического социализма», уточняя, что говорит «не об отказе от рыночных механизмов, но о радикальном отказе от рыночной идеологии в экономике». (К сожалению, он не объясняет, как возможны рыночные механизмы с нерыночной идеологией.)

В. Ядов рассматривает ту же тему («Социс», № 3, 1996). Он пишет, что идеи Маркса оказались ложными и «современное российское общество мучительно взращивает идеологию, способную его консолидировать. Вполне очевидно, что такой идеологией не может стать идея рыночной экономики (рынок — не цель, но лишь средство). Идея прав человека не нашла опоры в массах ... Российское общество потенциально способно консолидироваться на основе идеологии социальной справедливости. Потребуется не слишком много времени для того, чтобы эта идеология обрела должную социокультурную форму (без ассоциаций с коммунизмом и национализмом) и мобилизующую политическую организацию в виде партии».

«Однако в России по сей день нет гражданского общества», — замечает автор «Посева» (№ 3, 1996) **Ю. Егоров** в статье «Реформы и потрясения», обращенной к *проблемам пореформенного общества*. Сегодня партии возникают не вокруг идей, но вокруг финансово-промышленных групп, деление которых на «правые» и «левые» весьма условно. Отсутствие же институтов гражданского общества указывает единственный возможный путь для реформаторов — опору на структуры власти. Просвещенный авторитаризм и есть, по мнению автора статьи, залог успеха реформ (идею создания гражданского общества поддерживает А. Штамм в очередной статье «Благотворительность за чужой счет», «Посев», № 3, 1996). А В. Кантор обращается к «Демократии как исторической проблеме России» («Вопросы философии», № 5, 1996).

Р. Апресян и А. Гусейнов в статье «Демократия и гражданство» («Вопросы философии», № 7, 1996), начав с определения: «под гражданской активностью понимается то, как индивиды (рядовые граждане) воздействуют на общие условия совместной жизни», — заканчивают статью критикой «массового беззакония» в октябре 1993 года и вообще власти — за то, что она лишь имитирует демократию. Но всё же заканчивают оптимистической нотой: у людей все больше политического опыта, и это может стать предпосылкой демократического возрождения России. В этом же номере журнала **В. Новик** («Демократия как проблема меры») ставит вопрос о христианских основах демократии; доминирование внутреннего начала над внешним не только не ведет к анархии, как боятся консерваторы, но создает особый, «служебный» тип государства, который не имеет претензий на доминирование над человеком и при этом не ударяется в атеизм. Он отвечает тем, кто опасается растворения религии в светском при демократии и при этом кивает на Запад, его разложение. Новик замечает, славянофильская критика Запада бьет мимо цели, паразитирует на здоровой самокритике Запада. Сразу вслед за ним **В. Поссенти** («Демократия и христианство») анализирует христианские истоки демократии в творчестве Токвиля, Бергсона и Маритена. У демократии и христианства общее — взгляд на историю как прежде всего на этику, а не политическую экономию, апелляция к принципу незавершенности, постоянного движения вперед.

К. Гаджиев («Эпоха демократии?» — «Вопросы философии», № 9, 1996) задается вопросом о том, совместима ли демократия с восточным коллективизмом, для которого общество и государство синонимичны, а личность растворена в группе. Япония дает ему повод отвечать утвердительно: демократия не обязательно требует индивидуализма и либерализма. Он считает, что есть демократия «микроуровня» в общинном, традиционалистском обществе, и заканчивает статью отрицанием необходимости рынка и политической демократии для всех стран, особенно для тех, где растет терроризм и необходимо ужесточить репрессивные меры против преступности (видимо, имеется в виду не США, а все же Россия).

«Духовный кризис в России: есть ли выход?» — задаются вопросом **А. Кара-Мурза, А. Панарин, И. Пантин** («Октябрь», № 5, 1996)

Авторы этой работы анализируют причины противоречий между сферой духа и реальной деятельностью человека в пореформенной России, определяя их как духовно-идеологический кризис. Они выделяют две его формы: кризис национальной идентичности, понижение уровня самооценки нации, утрата чувства национальной перспективы, с одной стороны, и разрыв единого духовного пространства, утрата базовых национальных ценностей — с другой. Говоря о резко негативной роли традиционного для России противостояния «западников» и «самобытников», авторы статьи делают попытку демифологизировать этот давний спор. По мнению философов, пресловутый кризис идентичности в России и вызван зажатостью между двумя видами деградации: в третий мир или в тоталитаризм. Однако авторы не только ставят диагноз заблуждения, но и намечают возможные направления лечения. Опираясь на русскую философскую традицию «конструктивного компромисса» (в лице Карамзина, Герцена, Чичерина, Струве, Вейдле), они говорят о необходимости исторической ответственности, перспективности либерально-государственнической идеи, о корректировании концепции общества с ключевой идеей национальной идентичности, о восстановлении суверенности национального сознания и позитивности неоконсервативной консолидации.

О национальной катастрофе пишет автор журнала «Наш современник» **Н. Нарочницкая** в статье «Русские на пороге XXI века. Беглый очерк проблем и перемен» (№ 4, 1996). Опираясь на определение И. Ильина нации как народа, получившего Дары Святого Духа и претворившего их по-своему, автор статьи замечает, что русская нация утратила роль субъекта собственной и мировой истории. Псевдорелигия, псевдокультура, псевдосоединение и лжемонархия — вот реалии сегодняшней России. Впрочем, автор по обыкновению не теряет ни оптимизма, ни решительности: бытая крупномасштабная роль на мировой сцене вернется к России, надо лишь вновь встать на русский путь развития и восстановить соборное единство и главные ипостаси своего национального бытия: веру, культуру, государственность (остается лишь вопрос: как это «надо» сделать тем, что «есть»?...).

Журнал «Свободная мысль» (№ 5) опубликовал подборку статей нескольких авторов на тему *современного понимания национальной идеи в России*. **Ю. Красин**, сотрудник Горбачев-Фонда, видит будущее в развитии системы «горизонтальных связей негосударственных наднациональных и межнациональных организаций в экономике, политике, культуре». Профессор **Б. Капустян** отмечает, что сама концепция национальных интересов основывается на романтическом представлении о национальном как о чем-то застывшем, и полагает, что в будущем человечество вернется к более первобытным и менее рациональным взглядам на себя. Директор же Института этнологии и антропологии **В. Тишков** считает необходимым критиковать национализм как разновидность коллективизма. Он подчеркивает различие государственного национализма и культурного (этнического). Впрочем, Тишков отмечает неадекватность термина «нация», который произвольно используется в качест-

ве пропагандистской дубинки государством и призывает интеллигенцию перейти «к более глубокому и чувствительному пониманию феномена этничности»

В № 6 того же журнала выступавшие подверглись резкой критике **В. Козлова**, который обвинил Тишкова в «постмодернизме» за то, что он отрицает объективное существование этносов. Сам Козлов заявил, что «человек современного вида ... относится, грубо говоря, к стадным животным», после чего, уже не извиняясь за грубость, хвалит Ельцина за «укрошение чеченского национализма и национал-сепаратизма» (хотя почему чеченцы должны быть именно в российском «стаде», не объясняет). Свою отповедь Тишкову он заканчивает апологией А. Зиновьеву и его теории «катастрофы», что сразу всё ставит на свои места.

О генерализации сил пишет и известный публицист **Дора Штурман**, но совершенно в ином смысле, с иным пафосом. Ее работа касается *проблем взаимоотношений государства и интеллигенции*. «**Внимание: красный свет!**» — предупреждает она («Посев», № 3, 1996). Одним из свойств российской интеллигенции, воскресшей во вчерашней «образованщине», стал всеобъемлющий критицизм, направленный прежде всего против государственной власти. При этом произошла почти полная утрата реального соотношения света и тени, добра и зла, надежды и опасности. Обличение стало одним из опорных столбов современной публицистики, тогда как, по мнению автора статьи, непредубежденный взгляд видит, как страна медленно отодвигается от края пропасти, как происходит реанимация социально-экономической и духовной нормы. Результатом же «просвещенной критики» стала на сегодня полная разобщенность демократических сил. И «при нынешнем думском раскладе сил демократам куда легче выиграть одиночку, чем в одиночку».

Ю. Поляков в статье «Зачинщица или жертва?» («Свободная мысль», 1996, № 2) разбирает вопрос о роли интеллигенции в современных российских проблемах. Ответ Полякова вполне однозначен: зачинщица. «Пора признать, что не рабочие, а большая часть интеллигенции ... сыграла решающую роль в подготовке революции 1917 года». Правда, Поляков считает «Октябрь 1917-го великим и прогрессивным» и винит интеллигенцию за то, что она отошла от революции, не пожелала стать «жнецом». То же повторилось в перестройке: интеллигенция ее начала, да бросила. Более того, «многие представители интеллигентской элиты не возрождают озоновый слой духовности, а сами стали генераторами радиации торжествующего эгоизма ... Я не повторю вслед за уважаемым писателем Есиным, что российским интеллигентом называться стыдно. Нет, не стыдно, но горько». Этим свадебным воплем Поляков и завершает свой труд.

Оживление религиозности в среде интеллигенции, рост антипозитивистских настроений ведут к тому, что интеллигенция пытается защитить себя или даже, переходя в наступление, редуцировать религиозное мышление к чему-то простому и однозначному. Хороший образец «апологии себя» дал **В. Библер** («О Марксе — всерьез» — «Полис», № 1, 1996).

Известный философ защищает себя как марксиста и концепцию «отчуждения человека» у Маркса. Он мягко критикует Маркса за то, что тот не учитывает, что капитализм не только производит машины, работает на себя, но еще и кое-что для потребления (неужели Маркс действительно этого не учитывал?!). «Спрос и предложение регулируют не только цены того или другого товара непосредственно, они регулируют, развивают вкусы — в самом широком смысле слова, они придают тонкость индивидуальной духовной организации... У самого потребительского экстаза есть резервы, превращающие потребление, приобретение — в изобретение» К сожалению, Библер не объяснил, как именно спрос и предложение формируют исполинов духа.

А вот журнал «Человек» в № 1 за 1996 г. поместил сразу две статьи «религиоведческого» плана: **В. Найдыш** («Родословная квазинаучных мифологем») сделал попытку объяснить существование квазинауки (веры в НЛО, «бермудский треугольник», снежного человека) потребностью в фольклорном, интеграционном взгляде на мир, и возводит современные суеверия к «быличкам». К сожалению, он не объясняет, почему вдруг обгнчая наука оказалась не в силах дать «интеграционный» взгляд на мир Биолог **Л. Пучинская** («Демоны правого полушария») предположила, что в основе мифологических представлений лежат «какие-то фундаментальные свойства человеческого мозга». Главным стимулом для такого предположения послужила «живучесть мифологических представлений» и их сходство у многих народов. Отрицать и живучесть, и сходство нельзя, но нельзя отрицать и того, что у миллионов людей сегодня мифологическое сознание отсутствует начисто, хотя правое полушарие (особенностям которого Пучинская приписывает мифологический взгляд на мир) налично. Она, правда, приписывает это эволюции мозга, но совершенно несомненно, что не может быть такой молниеносной (измеряемой несколькими веками) эволюции мозга, и переход от одного сознания к другому обусловлен не биологическими факторами.

Психологическим особенностям общенационального кризиса посвящена статья К. Фрумкина «Усталость нации» («Дружба народов», № 4, 1996). На российском населении, по мнению публициста, лежит печать некоего депрессивного комплекса, который не вполне является естественным следствием распада государства. Вдруг почему-то иссякло прославленное российское долготерпение, пессимизм носит не только повальный характер, но и «вселенский», к тому же россияне, кажется, потеряли всяческую способность действовать. Любопытно, что мы деградируем и осознаем это. «Не просто дряблость, но дряблость из-за своеобразной мудрости», надорванность. Почему вдруг? Ответа в статье нет.

Да и странно было бы не надорваться: столь уродливы в России *взаимоотношения государства и личности*, сложившиеся исторически и драматично усугубленные нынешним хаосом. Автор статьи «**Вынужденные мигранты?**» («Философские науки», №№ 5—6, 1995) **Х. Мариносян** считает, что одной из острейших проблем нынешней России является

вынужденная миграция населения бывшего Союза, среди которых потенциальными мигрантами являются 30 млн. русских, неожиданно для себя оказавшихся за границей. Действующее же законодательство не обеспечивает системный подход к регулированию вынужденной миграции. Академик Мариносян предлагает ряд конкретных мер, способных помочь в разработке новой концепции миграционной политики.

В том же номере журнала печатается еще одна статья, посвященная *проблеме миграции*. «Идентичность и неукорененность в наше время» — так назван доклад известного американского психоаналитика Э. Эриксона, прочитанный им в 1959 году, но оказавшийся на удивление актуальным спустя почти сорок лет. Психическое здоровье эмигрантов уже тогда стало предметом специального интереса ученого. Эмиграцию следует уподобить, по мнению Эриксона, катастрофе или общественному кризису. Личность, пытающаяся идентифицировать себя в новой среде, мучается комплексом вины за сознательно оборванные корни. Опасность же массового исхода — в крупномасштабной неукорененности: разрушаются основы («корни», по Эриксону), которые должны определять принципиально значимые жизненные циклы. В современную трудно контролируемую эпоху, «эпоху торговли и промышленности», когда миграция, в том числе и массовые переселения, неизбежны, поиск корней принял постоянно меняющиеся формы. (Еще одну работу Э. Эриксона — «Первый психоаналитик», посвященную деятельности и теории З. Фрейда, можно прочитать в «Архетипе», № 1, 1996).

«Настоящее в будущее» человека прогнозируется в статье К. Юнга, впервые напечатанной в Цюрихе в 1957 г., но не потерявшей своей актуальности и оригинальности трактовки и сегодня. Закат второго тысячелетия наполнен апокалиптическими образами всемирного уничтожения, писал философ сорок лет назад. И наступает своего рода коллективное состояние одержимости, поступательно развивающееся в психологическую эпидемию. Кто защитит человека? — государство? церковь?.. Ответ Юнга негативен: все урезают свободу человека — перед Богом ли, перед государством, но выкапывают могилу для индивидуума; и Америка, и Европа охвачены материалистическим и коллективистским целеполаганием, им не хватает того главного, что могло бы выразить целостного человека, поместило бы его в центр как мерило всех вещей.

Однако, прочитав статью Б. Диденко «Цивилизация каннибалов. Кардинальная типология людей» («Дружба народов», № 1, 1996), еще и задумаешься: избави Бог от такого «мерила». Отталкиваясь от идеи профессора Б. Поршнева о каннибализме как колыбели человеческого разума, Диденко рассматривает историю человечества как историю взаимоуничтожения, вполне серьезно делит всё человечество на «хищников» и «диффузных», оговаривая, правда, некоторые подвиды и в том, и в другом типе. Именно такая классификация кажется автору кардинальной в определении типологии людей, отвечающей их главным признакам. Фатально диффузным представляется ему русский суперэтнос (правда, еще и в Германии с хищниками плоховато); древняя же,

«осевая псевдодоктрина» борьбы Добра и Зла стала, по мнению публициста, первым шагом к разумному объяснению смертоубийственного людского общежития. Первоочередной задачей простых людей становится, таким образом, выход из-под власти хищного меньшинства и смещение их в низ социальной лестницы. Всё это кажется весьма оригинальным, пока не вспоминается Раскольников и его статья с совершенно аналогичной классификацией. Раскольников, правда, отдавал предпочтение «хищникам» — Наполеонам, Диденко же хочет построить цивилизацию Лизавет. Вся огромная правда мизантропии, содержащаяся в его статье, кажется, однако, неполной, а определение любви как одной из форм агрессии и ненависти слишком напоминает орвелловский новояз, чтобы отнестись к этим построениям всерьез.

Странным образом статья Диденко перекликается с **работой Н. Хренова «Дворянская утопия и ее праздничный архетип»** («Философские науки», №№ 5—6, 1995). Рассматривая феномен дворянской русской культуры в контексте мифологического сознания земледельческой культуры, автор статьи отмечает специфичность воссоздаваемого этой субкультурой «праздничного времени». А поскольку речь идет о праздничном архетипе, то дворянская субкультура предстает как разновидность утопии, но не в сакральных, а в светских профанных социальных формах. Отсюда и вытекает, по мнению автора, ее естественная дионисийность и жестокость, нередко доходящая до патологических форм. Так что Салтычихи и Баташovy в русской дворянской культуре, по убеждению автора, — не болезненное исключение, а некое закономерное проявление активности архетипического и мифологемного сознания.

Вне сомнения, что подобные каннибальские мотивы прошлого не могут не обратить современную публицистику к этике настоящего и возможного будущего. Американка **К. Бейкер** пишет о том, **«Как строить работающие взаимоотношения»** в русско-американском деловом партнерстве («Знание — сила», № 1, 1996). Предложенный автором анализ различий в американской и русской психологии интересен и полезен. Бейкер упоминает и внепсихологические факторы: из-за нищеты русские часто идут на сотрудничество, скрывая ненависть к американцам и намереваясь выдоить из них максимум денег. Американцы начинают с доверия и теряют его быстро, русские — с испытания партнера и, доверившись раз, затем уже хранят верность, несмотря ни на что. Американцы действуют на основе компетентности, целесообразности, русские на основе идейной близости. Американцы тестируют поведение русских, русские тестируют сердце американцев. «Русские, при том что они часто обладают весьма высоким уровнем тревожности и низкой самооценкой в сфере работы с западными людьми, очень восприимчивы к малейшим признакам неуважения». Американцы любят индивидуалистский подход, русские его осуждают как амбициозность. Помочь может стремление понять друг друга и чувство юмора.

На ту же тему журнал «Вопросы философии» (№ 3, 1996) предлагает весьма оригинальную работу американских исследователей **Р. Фредери-**

ка и Э. Петри «Деловая этика и философский прагматизм». Авторы статьи без обиняков признают, что единственной социальной обязанностью бизнесмена является максимальная прибыль. И нет при этом никакой этической обязанности внедрять те, а не другие товары, поступать так, а не иначе. Разговоры о нравственности в деловых кругах можно расценивать исключительно как угрозу эффективности, ибо непрактичностью своей и нематериальностью, так сказать, они лишь смущают здоровый прагматизм деловых людей. Этика в деловом мире приравнивается авторами статьи к средству достижения цели, но не к самой цели. Собственно говоря, к бизнесу приложима лишь этика философского прагматизма, который «перспективен для этических проблем бизнеса». (И остается лишь уяснить, как быть с этическими проблемами человеческого сообщества, частью которого всё-таки является бизнес.)

Я. Хинтика («Вопросы философии», № 9, 1996) в статье «Проблема истины в современной философии» выступает против деконструктивизма вообще и Дерриды в частности, призывая вернуться к идее возможности говорения об истине. **В. Розин** в статье «Философия и методология: традиция и современность» («Вопросы философии», № 11, 1996) призывает философствовать, работая над собой. **Л. Коган** в статье «О будущем философии» («Вопросы философии», № 7, 1996) призывает перейти от противопоставления науки и философии к оптимизации их и осторожно предполагает, что философия XXI века будет «творческой», самосознанием «нравственно-ориентированной свободы». **М. Абрамов** в статье «Неопределенность свободы» («Вопросы философии», № 10, 1996) дает концепцию развития идеи свободы за две с половиной тысячи лет и приходит к утверждению, что «в начале была Свобода».

В. Бобахо и **С. Левикова**, основываясь на социологическом опросе студентов МГТУ («Современные тенденции молодежной культуры: конфликт или преемственность поколений?» — «Общественные науки и современность», № 3, 1996), приходят к однозначному выводу, что сегодня преемственность взяла верх над конфликтом поколений. Статья сопровождается таблицей, в которой показана динамика ответов на вопрос студентов-первокурсников о ценностях (с 1992 по 1995 г.). На первом месте стабильно любовь, на последнем стабильно религия, причем процент ответов «любовь» вырос с 73 до 79, а процент ответов «религия» уменьшился с 27 в 1992—1994 г. до (резко) 15 в 1995 г. Семья в системе ценностей стоит выше денег и карьеры, причем значение карьеры падает.

«По законам нравственности» предлагает жить своим читателям **В. Шердаков** («Октябрь», № 6, 1996) — и не только жить (что подкупает), но и выйти из общенационального кризиса (что вызывает уже недоумение). Причина всех наших экономических, политических и правовых провалов лежит в оторванности от народа, от земли. А вот опираясь, вслед за Толстым (коего автор частенько поминает), на народное нравственно-психологическое начало, мы быстро поправим все свои дела.

Между тем, в нашей жизни вопросы этики перестают быть прерогативой мыслителей. Война — вот что делает их насущными вопросами сегодняшнего дня для каждого человека. **Серия статей** в журнале «Дружба народов», посвященных *проблемам чеченской войны*, открывается **работой И. Дзюбы «Нам только сакля очи колет...»** (№ 1, 1996). Обращаясь к истории кавказских войн в России, известный украинский критик пытается на историко-литературном материале выстроить свою концепцию фатальности российской политики на Кавказе. В № 2 ему отвечают поэт **В. Леонovich**, приветствуя («**В дурном обществе**»), и социолог **Л. Гудков** — полемизируя и призывая отказаться от позиции «одномерной реальности», учитывать в своем политическом философствовании требование понимать мотивацию каждого из участников событий («**Год чеченской войны в общественном мнении России**»). В № 3 — **А. Фадин («Разговор по существу»)** и **С. Рассадин («Крыга»)**, соответственно — приветствуя и укоряя.

Анализу событий в Буденновске посвящена публикация **Ксении Мяло «Заложники»** («Наш современник», № 3, 1996). По мнению публициста, именно Чечня доказала, что в России нет подлинного, единого патриотического движения.

Шире предлагает посмотреть на проблему **М. Решетников** в статье «**Под дулом «героического прошлого»**» («Архетип», № 1, 1996): «война — это эпидемия аморальности». Основанием такого определения послужили для Решетникова не отдельные случаи маргинализации языка и быта, не безусловная аморальность физического уничтожения противника, но реальная криминализация и неадекватность поведения личности в боевых и послевоенных условиях, распространение «посттравматического синдрома» на последующие поколения. Проблема, с точки зрения психоаналитика, состоит в том, что участники боев не имеют возможности вербализовать и тем самым отторгнуть свой криминальный опыт, что влечет за собой психопатологию. Традиционная для России сакрализация такого опыта сказывается на душевном здоровье всего общества. Симптоматично, что именно военные врачи, сами участники вооруженных конфликтов, первыми сегодня заговорили о проблеме реабилитации участников локальных войн.

Современный фашизм — эта проблема тоже продолжает волновать российскую публицистику. «**Фашизм как психопатология**» — определяет тему своей статьи **М. Хевеши**, исследуя идеологию фашизма с точки зрения коллективного иррационального («Архетип», № 1, 1996).

Свои «размышления о фашизме и коммунизме» предлагает и **С. Кара-Мурза** в статье «**Сноп индивидуумов или коммуна личностей**» («Наш современник», № 6, 1996). Он считает, что из понятия «фашизм» сегодня сделали пугало для обывателя, манипулируя его сознанием в борьбе с коммунизмом, тогда как философия фашизма еще не изучена. Как-то заполнить этот пробел и пытается автор, предлагая «размышления» столь же философичные, сколь и эклектичные. В основе фашизма, по мнению

автора, — уверенность в том, что человечество подразделяется на «сорты» соответственно мифу крови. Определив таким образом онтологию понятия через вызываемое им у носителей чувство (что несколько странно с научной точки зрения), Кара-Мурза высказывает несколько весьма интересных суждений о феномене биологизации культуры в фашизме, о теории расизма как составляющей части именно европейской цивилизации, о взаимоотношениях модернизма и традиции в концепции государства у фашистов и коммунистов, анализирует картины мира у тех и других, при этом заметно сакрализируя философию коммунизма. И делает свой вывод о принципиальном различии их философии при мнимой схожести их социальной практики.

4. Религия

Из богословских материалов, обращенных к *центральной* проблемам, отметим серию публикаций в журнале «Истина и Жизнь», и прежде всего комментарий к Евангелию свящ. Георгия Чистякова «Над строками Нового Завета» и публикацию Книги Притч с примечаниями Евгения Рашковского (печатаются с № 1, 1996). Насыщенные историко-культурными экскурсами, простые очерки Чистякова построены на основе его лекций в Университете о. Александра Меня и, не конкурируя с книгой с Меня о Христе, способствуют последовательному введению в Евангелие.

Оригинальную богословскую новацию предлагает диакон **Александр Мумриков** в статье «Сокровенные иконы» («Наука и религия», № 1, 1996): святой хлеб, из которого вынимается «пирамидка» во славу Богоматери, он предлагает считать образом, иконой Младенца Христа. «Эта Богородичная просфора считается спасительным средством, которое в исключительных случаях заменяет Святое Причастие».

В своем роде не менее спорный материал — статья **Якова Кротова** «Смех как доказательство бытия Божия» («Истина и жизнь», № 2, 1996). Он рассматривает смех как своеобразный способ протеста против адской скуки и всевластия греха, как выход не через восстание, а через разрядку, допустимый и для христианина.

К *проблеме нравственности в религии* обращается прот. **Михаил Дронов** в статье «Не противься злему...» («Альфа и омега», 1(8), 1996). Анализируя толстовскую теорию непротivления злу насилieм, автор замечает, что известное евангельское противоречие, о которое споткнулся Толстой (подтверждение безусловного единства Ветхого и Нового Заветов при идее столь же безусловной новизны новозаветной этики по сравнению со старозаветной), есть лишь результат подмены субъекта непротivления злу. С личности, которая руководствуется требованиями новозаветной нравственности, требование непротivления было перенесено на общество, взаимоотношения внутри которого определяются принципами законности. Проблема непротivления злу инородна христианству; она

возникла, по мнению автора статьи, отчасти на почве искаженного представления о нем, отчасти на почве восточных религий. Для истинного христианина обозначенное Толстым противоречие не существует; речь просто идет о разных онтологических уровнях. Отказываясь от онтологической глубины христианской этики, Толстой оставался в плоскости чистой этики, естественным образом скатываясь к непреодолимому дуализму добра и зла, характерному для гностицизма и манихейства. Зло при таком восприятии мира становится некоей самостоятельной сущностью — таков неизбежный вывод для толстовцев. Обращаясь к опыту патристической дидактики (свят. Иоанн Златоуст, свят. Феофан Затворник, свящ. М. Фивейский и др.), автор статьи указывает на аскетический смысл непротивления злу как противления злу терпимостью и кротостью. Смирение, христианская жертвенная любовь: переадресование источника зла к его первопричине, дьяволу, — всё указывает на одну из главных задач патристической нравственной проповеди: показать относительный, а не абсолютный характер земного зла и пути обращения этого относительного зла в абсолютное благо.

П. Сахаров («Истина и жизнь», № 2, 1996) рассматривает дискуссию римо-католиков вокруг целибата. Добросовестно перечисляя все аргументы противников обязательного безбрачия духовенства, он отмечает, что целибат не основан непосредственно на Библии и упоминает, что Ватикан признает брак духовенства легитимным в Восточных Церквях. К сожалению, именно последний аспект, наиболее актуальный в России, практически не рассмотрен; упоминается лишь, что здесь целибат сложился «в силу иного исторического фона». Православный читатель остается с неприятным ощущением, что его все-таки считают существом второго сорта, недотягивающим до евангельского идеала, не говоря уже о фактической необоснованности мнения о том, что целибат в христианстве первичен, а женатое духовенство — нечто исторически «сложившееся».

Т. Бордай в рецензии на сборник статей «Христианство и культура сегодня» («Вопросы философии», № 8, 1996) восстает против идеологизации православия в современной России (и, кстати, остро критикует Ю. Каграманова за высказанный в «Континенте» № 84 призыв сделать страх Божий орудием воспитания россиян): «Не разгневает ли Бога использование Его как средство оздоровления общества?»

Ряд статей посвящен проблемам отношения христианства и внерелигиозной мысли, науки, философии. **С. Неретина** («Парадоксы Тертуллиана» — «Человек», № 1, 1996), сотрудница Института философии, кратко излагая биографию Тертуллиана, предлагает рассматривать патристику не как «мистико-фидеистическое направление мысли», но как философию диалога. Она отмечает, что в своей культуре он был вполне рационален, хотя глубоко парадоксален в соприкосновении с современным мышлением и с античным гностицизмом. **Кадырбеч Делокаров**, сотрудник президентской академии подготовки госслужащих, пытается заново сформулировать черты сходства и различия между наукой и

религий в эссе «Закончилось ли противостояние науки и религии?» («Общественные науки и современность», № 1, 1996). Он считает, что вопросы смысла жизни наукой не решаются и потому ратует за сотрудничество науки и религии. Приятно видеть, что наставник госслужащих идет в ногу со временем, удаляясь от вульгарного атеизма.

В. Фурсова, научный сотрудник Института социологии, в академическом журнале («Социс», № 1, 1997) опубликовала текст «Православные семейные ценности», украшенный фразами типа «второй тип брака — по страсти — не менее опасен». Слова о том, что силу супругам подает благодать, автор сопроводила примечанием: «Материалистически настроенному читателю может показаться неуместным и странным использование понятия благодати в научном исследовании... Известно, что проявления благодати имеют безусловно материальное выражение и потому вполне поддаются фиксированию. И поддаются, надо заметить, в гораздо большей степени, чем многие явления, длительное время остающиеся объектом научного изучения психологов и социологов». То, что редакция опубликовала подобный текст, свидетельствует о степени запуганности государственных чиновников «религиозным возрождением».

В. Гайдебко и **Г. Смирнова** («О предмете религиозной философии» — «Общественные науки и современность», № 1, 1996) специфику религиозной философии видят в том, что она «опирается не только на текст Священного Писания, но и на непосредственное видение реальности» и «исходит из предпосылки, что вера является инструментом достижения истины». Соответственно, они рассматривают вопрос «о соотношении веры и разума как различных методов достижения истины». Критикуя за смешение веры с рационализмом, авторы отмечают, что в вопросах вероучения скрупулезность в определениях неуместна и ведет к сожжению еретиков.

А. Афанасьев в работе «Эволюция образа: от язычества к христианству» («Вопросы философии», № 10, 1996) отмечает, что язычество, в отличие от христианства, не различало образа и первообраза, отождествляло знак и значение. Преодолевая это, Церковь боролась с идолами, хотя в ее истории всё время происходило скатывание к языческому отношению к знаку. Христианство сформировало современный мир, в котором знак и значение четко разделены, «да и само обозначение подвергнуто структурному анализу».

С. Антоненко представил отчет о конференции по Апокалипсису, проведенной в Российском государственном гуманитарном университете («Апокалипсис вокруг нас» — «Москва», № 2, 1996). Он пересказывает доклады Н.В. Шабурова из РГГУ «Идея конца света в герметизме», Патрика де Лобье и др. По поводу Шабурова автор обиженно отмечает, что тот «всё еще остается «невостребованным» ученым, несмотря даже на волны дешевого профанического интереса к герметическому оккультизму. Де Лобье автор критикует за «розовато-моралистическую» тональность, однако хвалит за отзвуки православия и спрашивает: «Быть может, Вла-

димир Соловьев оказался не только пропагандистом иерократических доктрин католицизма в России — не занес ли, хотя бы и против своей воли, он дух православного Предания на Запад?»

Л. Карасев в очерке «**Онтология и поэтика**» («Вопросы философии», № 7, 1996) называет онтологическим подход, при котором «вопрос об истине задается в форме, охватывающей собой и язык, на котором описывается бытие, и само бытие». Он выделяет в качестве инструментария такие понятия, как «порог» — некая точка смыслового колебания, бифуркации, из которой развивается бытие (в качестве примера порогового момента приводится эпизод, когда Раскольников идет в контору делать признание), «эмблема» — квинтэссенция смысла какого-либо текста или явления («троянский конь» — эмблема «Илиады»), «исходный смысл», «вещество литературы» и др. Журнал «Знание—сила» (№ 7, 1996) опубликовал и интервью с Л. Карасевым, чьи статьи о литературе вышли отдельной книгой в РГГУ и вызвали горячую дискуссию. Свой «онтологический подход» Карасев считает попыткой обрести реальность, отнятую постмодернизмом.

Остроумную интерпретацию гоголевского творчества предлагает **В. Крюков** («Гоголя зрящий глаз» — «Вопросы философии», № 9, 1996). Он сопоставляет «христианский эрос» любви через смерть и Воскресение с гоголевским эросом, не столько евангельским, сколько апокалиптическим, сводящимся «к одеванию и разоблачению отечественных пустот». **И. Мардов** аналогичным образом сопоставляет христианство и Толстого («О «новом жизнепонимании» Льва Толстого» — «Вопросы философии», № 9, 1996), ограничиваясь, впрочем, систематизацией учения Толстого и акцентируя его желание объединить людей.

Виталий Шенталинский в очерке «Свой среди своих: Савинков на Лубянке» («Новый мир», №№ 7—8, 1996) вполне раскрывает тему, заявленную в заглавии; в его же «Доносе на Сократа» («Новый мир», № 11, 1996) создана впечатляющая панорама конфронтации большевиков с той дореволюционной интеллигенцией, которую они сохранили как «революционно-демократическую», — начиная с конфликта правительства и Короленки, до гонений на ближайших друзей и последователей Льва Толстого.

«Новый мир» (№ 12, 1996) опубликовал материалы Круглого стола о творчестве **Даниила Андреева** в связи с выходом собрания его сочинений. Протоиерей **Валентин Дронов** отметил, что «православие Андреева пронизывает всю его поэзию». О «Розе мира» священник заметил, что ее «причисляют к разряду теософской литературы. И здесь требуются некоторые уточнения. Автор не ставил своей целью создать свое «учение» или выйти из общего русла русской православной культуры. Книга писалась в тюрьме, где для узника значимо было противостояние только двух позиций: веры в Спасителя Иисуса Христа и безбожия». **Владимир Микушевич** считает, что Андреев «раскрыл религиозную подоплеку советского патриотизма». В терминах «Розы мира» Микушевич так оха-

рактизовал современное положение страны: «Трагедия России усугубляется тем, что, может быть, ни в одной культуре нет такого разлада между светлым демиургом и темным уицраором, но страшнее всего то, что демиург вынужден не только терпеть уицраора, но и сотрудничать с ним. Великим открытием Даниила Андреева было то, что одно без другого не существует, даже если такое сосуществование — грех». **Светлана Семенова**, напротив, проанализировала творчество Андреева и отметила его родство с русскими космистами, верующими в неизбежность торжества добра. Она считает, что Андреев бесконечно выше Данте как провидец, ибо Данте утвердил существование ада, а Андреев — идею спасения всех. **Василий Морозов** заявил, что Андреев не был еретиком «уже потому, что никогда не навязывал Церкви своих воззрений в качестве догматического авторитета (за пределами догматических покушений у богослова, а тем более у поэта, остается право на заблуждения и ошибки)». Он отметил в творчестве Андреева и символизм, и несвойственные обычным символистам «деловые нотки», «чуть ли не пафос строительной площадки». Вдова поэта **Алла Андреева**, подчеркивая его православность, отметила, что под «интеррелигией» мыслитель имел в виду не общую веру, а «со-верчество — совместное неантагонистическое сосуществование традиционных вер».

И. Евлампиев в статье «**Андрей Тарковский и новая философия человека**» («Вопросы философии», № 12, 1996) заявляет, что «главная тема Тарковского — это осмысление нашей предельной вовлеченности в бытие». Анализ фильмов Тарковского приводит к выводу, что кинорежиссер изображал силу, способную оживить даже «ветхий мир», сделав его подлинным.

Из материалов, относящихся к *истории христианства*, следует выделить, прежде всего, любопытный экскурс **Михаила Арапова**, который в статье «Слово о риторике» («Знание—сила», № 1, 1996) остановился на особенностях российского отношения к риторике на примере чтения Евангелия в храме. Если в католической церкви Евангелие стараются читать как можно отчетливее, то в православной — как можно непонятнее для прихожанина. Объяснение, данное автору одним православным священником, звучало так: «Отчетливое произнесение евангельского текста, в сущности, представляет собой скрытую форму насилия, ведь если слово Божие преподносится в такой легкой форме, то у слушателя нет возможности не внять ему, тогда как суть веры в свободном выборе». Автор не комментирует такое толкование, но, видимо, причина лежит в разных цивилизационных контекстах: в тоталитарной стране церковь и частная жизнь оставались последним прибежищем свободы, и тут споры и давление на психику исключались по возможности напрочь, вплоть до исключения чтения Евангелия.

К *древнерусской церковной истории* относятся беллетристическая биография царевича **Димитрия А. Нежного** («Истина и жизнь», № 1, 1996) и очерк **Максима Гуреева** о патриархе **Никоне** («Истина и жизнь», № 3, 1996).

О. Молчанова, Л. Петрова в статье «Медные образа России» («Наука и жизнь», № 3, 1996) дают популярный очерк о медном литье. В 1723 г. литье икон было запрещено из-за богословских ошибок, в результате чего литые иконы стали восприниматься как старообрядческий феномен. Их число выросло многократно благодаря развитию металлургического производства; своего апофеоза литье достигло в XVII веке в создании складня из 4 частей с 20 изображениями, который назывался «утюг» из-за совпадения контура пластины с контуром подошвы утюга.

Очерк об Александре Ксаверьевиче Булатовиче, знаменитом в нескольких сферах русской истории (прототип Алексея Буланова, гусар-схимника в романе «Двенадцать стульев»), написал **А. Шумилов** («Таинственная страна Каффа, или Похождения гусара-схимника» — «Знание—сила», № 5, 1996). Булатович родился в Орле в 1870 г. в генеральской семье; в апреле 1896 г. был послан с миссией российского Красного Креста в Эфиопию, сражавшуюся с итальянцами, и остался там после отъезда миссии. Опубликовал книгу исследований об этой стране. В январе 1903 г. уволился из армии в запас и постригся на Афоне. Здесь он возглавил движение имяславцев, вступил в борьбу с главой имяборцев о. Иеронимом. С июля 1912 г. движение имяславцев вело бурные споры с братией. В 1913 г. монах Николай Протопопов писал о столкновении: «Был великий бой с обеих сторон. Сперва кулаками, а потом один другого давай таскать за волосы. Это было чудное зрелище! Внизу — руки, ноги, туловище, а сверху виднелась одна шерсть, то есть волосы. И начали выстаскивать иеронимцев из этой кучи по одному человеку в коридор, где братия стояла в две шеренги, получая добычу и провожая иеронимцев кого за волосы, кого под бока». С января 1913 г. газеты постоянно писали о скандалах на Афоне. Во время войны Булатович стал священником в отряде Красного Креста, был награжден Георгием. В феврале 1918 г. выпросил у патр. Тихона определение на покой в Покровский монастырь, но затем отправился в Луцковку, семейное имение под Орлом. Здесь в ночь с 5 на 6 декабря 1919 г. он был убит бандитами в своей келье.

В. Новиков в статье «У врат обители святой» («ОНИС», № 4, 1996) отмечает, что утверждения о духовном автритете Троице-Сергиевой лавры являются ложными, и уже с XVIII века, а особенно к концу XIX «духовный авторитет» ее резко упал, «старинная обитель превратилась в оплот православного догматизма. Подлинно живая жизнь протекала мимо нее», хотя туда и не иссякал поток паломников. Миф о лавре связан, по его мнению, с мифом русской государственности.

Самостоятельной ценностью обладает рецензия **В. Сендерова** («В мутном зеркале ликописания» — «Новый мир», № 4, 1996) на книгу Михаила Вострышева «Патриарх Тихон» (М., Молодая гвардия, 1995, серия «ЖЗЛ»). Сендеров уличает Вострышева в незнании исторических фактов, неточном цитировании, «языковой нескладнице» (примеры ярки), упрекает за антиинтеллигентские выпады, сопряженные с воспеванием Распутина, за «вполне мракобесное» рассуждение о нереальности свободы вероисповеда-

ния. «Умолчания и лукавые передержки в последних главах агрессивно сгущаются». Сендеров принципиально осуждает изображение Тихона как первого сергианца, ссылаясь на то, что Патриарх в разговоре со своим врачом «благословил стойкую часть паствы на уход в Катакомбы», «никогда не благословлял официальный путь как единственный. Мудрый его указ № 362 дает обоснование различным формам церковной жизни». Стоит, однако, отметить, что интерпретация указа № 362 дана Сендеровым чрезмерно категорично: указ был издан еще в «диссидентский» период жизни Патриарха и, возможно, считался им самим недействительным с 1923 года, да и не говорит этот указ о «различных формах церковной жизни». Хотя в целом Вострышев действительно принес полноту фактов «в жертву на алтарь идеологической лакировки», все же в целом его оценка Тихона как создателя современной патриархийной традиции в отношениях с номенклатурой представляется пока непоколебленной.

Рецензируя публикацию воспоминаний В. Зеньковского («Знамя», № 4, 1996), А. Рейтблат отмечает, что «ценность ее значительно снижает тот факт, что она абсолютно лишена комментария, отсутствует даже указатель имен. Это само по себе огорчительно, но вдвойне неприятно становится, когда вспоминаешь, что публикацию подготовил М.А. Колеров. Скольких публикаторов он буквально изничтожил в своих саркастических рецензиях в газете «Сегодня», сколько репутаций подорвал — и всё за некачественный комментарий. А теперь, публикуя сложный для понимания текст, в котором упоминается изрядное число малоизвестных имен и событий, он выпускает его в свет, лишь раскрыв сокращения ... Конечно, откомментировать сложный текст гораздо труднее, чем написать несколько десятков фельетонных газетных статей, но есть ли моральное право на оценку чужого комментаторского труда у того, кто в своей работе им просто манкирует?».

Вообще интерес к *первым послереволюционным десятилетиям* не угасает. Уже третий раз (после публикаций в «Русской мысли» и «Истине и жизни») публикуются — на этот раз в «Знамени» (№№ 4—5) очерки А. Нежного «Плач по Вениамину» — повесть на основе документов ЧК о процессе над ленинградским духовенством в 1922 г., в результате которого была расстреляна группа священнослужителей и мирян во главе с митр. Вениамином.

Настоящей сенсацией в узких кругах московских христиан стала статья А. Юдина «Я готов на любые жертвы...», посвященная расстрельному делу архиеп. Варфоломея (Ремова) («Истина и жизнь», №2, 1996). Дело в том, что знаменитый архипастырь, последний ректор Московской духовной академии, в 1932 г. тайно, но в высшей степени официально присоединился к Католической Церкви. При этом Ватикан поставил условием, чтобы факт перехода оставался тайной. Ремов был расстрелян в 1935 г.

Пожалуй, в одном ряду с этой статьей стоит упомянуть и очерк Виталия Задворного «Неудавшаяся миссия» о контактах Руси с

Католической Церковью в X веке (до крещения Руси) («Истина и жизнь», № 3, 1996).

Этические проблемы с христианской точки зрения обсуждаются в статье **Д. Сотировой** и **С. Поповой** «Прикладная этика и культура православия» («Человек», № 1, 1996). Болгарские исследовательницы считают, что «смысл православного этико-религиозного умонастроения — в требованиях любить Бога и ближнего своего ... принимать нравственные решения и таким образом самоопределяться». Они уверенно ссылаются на Вебера в доказательство того, что индивидуализм в европейской культуре основан на протестантизме, и отождествляют прикладную этику с существованием множества отдельных нравственных кодексов для различных фирм. Но ведь нет отдельной этики для Форда или Ллойда, а есть одна этика, вполне созвучная Библии. Они критикуют тех, кто занимается прикладной этикой, за опасливое отношение к Православию («боятся религии как источника трудноразрешимых нравственных противоречий»). Однако сама их статья показывает, что секулярные этики боятся не религии, а попыток представить религию такой сухой и механической штукой, как это делают авторы.

М. Бобров в статье «Чудо или варварство» («Истина и жизнь», № 2, 1996) в связи с разразившимся скандалом вокруг использования абортированных плодов для трансплантации требует создания «комитета по биоэтике — своего рода Конституционного суда», который встал бы на пути всех разновидностей абортгов.

В карикатурном виде та же позиция представлена в журнале «Москва» (1996, № 2), где публикуется **воззвание комитета «За нравственное возрождение отечества»** от 13.01.1996 г. с призывом: «Подобно тому как Нюрнбергский процесс осудил всех участников упомянутых человеконенавистнических злодеяний, должны быть отданы под суд по обвинению в преднамеренном убийстве министр здравоохранения, все сотрудники министерства ... все вышеозначенные людоеды и эти чудовища-матери» (имеется в виду использование фетальных материалов в медицинских целях).

Своеобразным горьким подтверждением выводов современных богословов стала Каирская Международная конференция ООН по *проблемам народонаселения и развития* 1994 года. О ней размышляет **монсеньор Франсиско Хавьер Мартинес**, епископ Мадрида (проповедь в Мадриде в сентябре 1995 г., «Новая Европа», № 7, 1996). Выступления ватиканской делегации в Каире были объявлены реакционными и враждебными прогрессу. Подобные оценки, по мнению еп. Мартинеса, порождены, как то ни удивительно в конце второго тысячелетия от Рождества Христова, идеологическими стереотипами: что религия — помеха на пути разума, что она — лишь частное дело каждого, что она не сопряжена с истиной и потому мало значима в проблематике человечества в целом. Только слепое фанатичное следование по так называемому пути «гуманизма», пути «бесконечного тупика», порождает аберрацию зрения

и позволяет назвать реакционными защиту святости всякой человеческой жизни, независимо от пола, национальности, религии, святости с момента зачатия до естественной смерти; защиту приоритета человеческого права перед правами государства; защиту семьи от гедонистического понимания сексуальности. Религиозное и человеческое, пишет еп. Мартинес, совпадают столь абсолютно, что мир, отрешившись от истины религии, в своей социальной организации неизбежно превращается в бесчеловечный мир. Эта ужасная закономерность в наш век уже подтверждена. Но именно потому христианская Церковь должна стоять и впредь на том, что ценность личности есть «цель и центр мироустройства»; «вся наша жизнь должна возвещать найденные нами во Христе смысл жизни и вкус к жизни». Своеобразное социологическое подтверждение основным положениям проповеди еп. Мартинеса дает церковный публицист Р.Казадеи, выступивший в том же номере журнала со статьей «По поводу расхожих мнений».

Религия — не этика, хотя они и могут давать схожие практические советы. Религия, однако, не призвана учить нравственности, но указывает путь к бессмертию. В этом видит принципиальную разницу библейского и гностического путей спасения диакон **Андрей Кураев**. В своей статье «**Таинство искупления**» («Альфа и омега», 1(8), 1996) он призывает различать путь библейский как исцеление воли от пути гностического — дороги обретения большего знания. Истина, вопреки надеждам приверженцев Блаватской и Рерихов, отнюдь не обладает столь уж чарующим безотказным воздействием; ее мало узнать, надо научиться жить по ней, обратиться к ней.

О *духовных проблемах современного человека* пишет прот. **Сергий Четвериков** в заметках «**О внутренних препятствиях на пути к Евангелию**» («Альфа и омега», 4(7), 1996). Целью автора является анализ некоторых внутренних, подсознательных препятствий, мешающих нашему современнику подойти к Евангелию, — таких, как привычка к умственному, теоретическому подходу к предмету, неумеренная поглощенность собственной личностью, порабощенность механическим миропониманием, неверие в господствующую силу свободного духа, неясность современных понятий о вере и знании и т.п.

Человеку как образу и подобию Божьему посвящена и работа **В. Микушевича** «**Бог, мир, человек**» («Академические тетради», № 2, 1996). Обращаясь к теме взаимосвязи образа и прообраза, автор исследует историю верований человека от язычества до Нового Завета. От пантеистической идеи (человек подобен Богу, Бог же — во всем, следовательно, подобен человеку) через Ветхий Завет, в котором Бог открывается человеку, но между ними такая пропасть, что исключается всё общее, человечество приобщалось в Сущему в Завете Новом.

«Бог может всё, но он не может спасти человека без самого человека», — вспоминает слова архиепископа Александрийского Афанасия (IV в.) митрополит **Волоколамский** и **Юрьевский Питирим** в интервью

«Нравственность — вектор бытия» («Архетип», 1, 1996). Есть мера личной ответственности, и есть мера социальной. Лично можно простить всё; социально — нужно уметь оградить свой дом и общество от порока. Духу требуется особая культура, чтобы стать свободным в самосознании и деятельности. И смиренный дух — это не униженный и обезволенный настрой; это полное внутреннее согласование психологических состояний и действий в их активности — гармония высокого напряжения духовных сил.

Журнал «Православная беседа» (№ 1, 1996) предлагает выступление **прот. Михаила Дронова «Святоотеческая наука о духовной жизни»**. Духовная жизнь в святоотеческих творениях разработана столь тонко, что представляет, по мнению автора, настоящую эмпирическую науку, основанную на самонаблюдении подвижниками душевных состояний.

По-прежнему далекими от идиллии остаются *отношения христианства и интеллигенции*. Так, **К. А ко п я н** в статье **«Соль земли?»** («Человек», № 1, 1996) размышляет над местом русской интеллигенции в культуре, отмечая в ней наличие «сатанинского начала». В доказательство нижегородский философ ссылается на Мережковского, который сказал, что сатанизм большевизма рожден интеллигенцией. Однако разница между «породить сатанизм» и «быть сатанинской» довольно чувствительна. Автор приходит к выводу, который был сформулирован еще в сборнике «Из-под глыб», и добросовестно сопровождает свое утверждение соответствующей ссылкой: интеллигенция «должна пройти через очищение покаянием перед своим народом, перед всем миром». Беда, думается, не в том, что призывы к покаянию воспринимаются плохо, а в том, что автор серьезно относится к идее покаяния не перед Богом, а перед миром и народами его.

Как отпор призывам покаяться можно читать **статью Н. Иофан «Синдром вавилонской башни»** («Человек», № 1, 1996). Автор анализирует богоборческие тенденции в различные исторические эпохи, особенно при советской власти, и считает, что интеллигенция влачит «чисто виртуальное существование» (то есть не существует), что современная Россия состоит «только из большого недееспособного сборища парламентариев» и госаппарата, который ведет страну по пути «фрактального [так!] развития системы». Попутно она «с сожалением» говорит «о сползании Православной Церкви, по примеру власть предержащих, в политико-идеологическую редукцию», то есть «из пространства абсолютной истины» в идеологию империи. Она обрушивается на «участие церкви в ксенофобических интригах, межконфессиональных «разборках» на потребу судорожно цепляющихся за власть и ничем, кроме своей корысти, не интересующихся высших представителей властных инстанций». Статья заканчивается призывом приложить усилия всех и каждого, чтобы двинуться «по пути преобразования Кашеева царства в цивилизованное общество».

Примиренческую позицию занял, как ни странно, **Б. Парамонов** («Предпосылки русской духовности» — «Звезда», № 4, 1996) в отклике на антирелигиозную статью Е.Мелетинского в «Звезде», № 8 за 1995 г. Он

старается заострить его тезис о том, что «кому-то религия нужна и полезна, а кому-то — не очень» (подразумевается, умным людям не нужна, а дуракам в порядке опия — можно). Поскольку русская жизнь нуждается в приватизации, в том числе метафизической, в освобождении от коллективизма, Пармонов называет Толстого русским Лютером и заканчивает статью фразой: «Вокруг религиозного наследия Толстого будет складываться новая русская духовность, уже без кавычек».

Юрий Кублановский в «Дневнике писателя» («Новый мир», № 1, 1996) описывает происходящее, по его мнению, «растление народной души». Он начинает с критики западной цивилизации, которую губит «агрессивная потребительско-рыночная идеология, размывающая религиозные основания общества». «Неуклонное восстановление генофонда и экологии, патриотическое, без ксенофобии, разумеется, воспитание на национальной основе, заботливое обустройство всех желающих вернуться из ближнего зарубежья — вот какие заботы должны быть безусловно приоритетными над утопиями любого толка». Близка по духу позиция Кублановского **статья С. Аверинцева** (подписанная «Вена») «**Моя ностальгия**» в том же номере «Нового мира». Ностальгия Аверинцева — по временам, когда хотя бы коммунистические идеалы удерживали людей от кровопролития, когда были хотя бы ложные идеалы. На Западе «все компоненты некогда антифилистерского набора ... до конца совпали с филистерством». «В эпоху масс и mass-media шанс — именно у филистеров — имеют только преувеличения, только одномерные формулы без оговорок и оттенков. Современного человека трудно уговорить быть верующим, но легко уговорить быть фанатиком. Католический священник, не готовый заранее и с энтузиазмом одобрить все последствия «сексуальной революции», вызывает однозначную отлаженную негативную реакцию; но сектант, приглашающий добровольцев совершить вместе с ним массовое самоубийство, время от времени может рассчитывать на головокружительный успех». К счастью, массовым самоубийством на религиозной почве кончат в тысячи крат меньше людей, чем участвуют в движении против абортот или сексуальных извращений.

Критическое отношение к современному миру обнаруживается и в выступлении **С. Аверинцева** на Международном коллоквиуме «Творение мира и призвание человека», состоявшемся в Новгороде и Санкт-Петербурге в сентябре 1995 г. («Новая Европа», № 7, 1996). «Слово Божие и Слово Человеческое» — название не случайное. «Творец приводил творение в бытие тем, что окликал вещи»: бытие, по мысли автора статьи, и определяется как пребывание внутри разговора, внутри общения. Поэтому переживаемый сегодня человечеством кризис гуманизма возможно вывести из факта добровольного выхода сотворенного ума из общения с Богом, из отказа слушать и быть услышанным. Вместо диалога — «смерть вторая», пребывание вне диалога. Конфликт настоящего времени заквашен на неверии в слово как таковое, на вражде к Логосу. Любой и позитивный, и негативный ответ на вопрос веры уже заранее блокирован

модальностью вопроса. Произошло разложение слова; вместо того, чтобы открывать новые возможности внятности общения, чтения, потеряна самая обывная, будничная внятность. Такова, убежден автор статьи, суть современного кризиса. Но — и это не менее важно — «еще никогда фундаментально зависима от веры в Слово, бывшее в начале у Бога, в победу инициативы Божьего «да будет!» над неконтактностью бытия».

Созвучно аверинцевскому и выступление **Р. Гальцевой «В тени Вавилонской башни»**, в том же журнале, констатирующее «тотальный кризис в деле Богочеловеческого сотрудничества, захватывающего и природу человека, и образ мира, и взгляд на саму задачу художника».

В. Микшевич («Стилизованная церковность» — «Москва», № 6, 1996), критикуя интеллигенцию, выражающую недовольство Православием, признается, что ему ближе Флоренский, нежели Бердяев «с его мистическим рационализмом, так или иначе выдающим свои марксистские корни». Автор критикует экуменизм как отрицание уже наличного единства Церкви (в Православии), защищает митр. Сергия за его «мученичество» в сотрудничестве с врагами Церкви. Заодно сообщается читателю, что у католиков наступило «литургическое оскудение», месса после реформы утратила «мощное художественное воздействие», почему католики пытаются «присвоить себе или хотя бы заимствовать литургическое богатство Православной Церкви, что невозможно, ибо даже «вся» православная литургия, отслуженная вне Православной Церкви, перестает быть литургией».

№ 5 «Нового мира» за 1996 г. озаглавлен подборкой материалов о *религиозном значении литературы и о значении религии для литературы* (три статьи в разных разделах). Принципиальная статья **В. Непомнящего «Удерживающий теперь»** является соединением цельной историософской концепции истории России с ее крещения до наших дней и анализа творчества Пушкина и его духовного мира. Видимо, глобальность тем и ограниченность места привели, однако, к перенасыщению статьи набором лозунгов, иногда сомнительных («Крещение [Руси] оказалось актом самопознания, духовной самоидентификации и национального самоопределения, результатом чего стал столь же быстрый процесс формирования Руси как единой — при всех внутренних противоречиях — нации с общей по духовной устремленности культурой» (не при украинцах эта фраза будь сказано), а иногда и трагикомических («Православие — не «конфессия»: в своей неизменившейся догматике это — христианство до схизмы ... оно было брошено под каток петровских реформ»). Привычное противопоставление Запада как христианства обмирщенного, «рождественского» — России как христианству пасхальному приводит Непомнящего к формулированию русской идеи: «Россия ... назначена, храня веру в Христову правду, в образ Божий в человеке, томясь по Небесному Граду, удерживать мир, пока он еще не растерял все человеческое, от ожидающей на утопических путях позорной катастрофы». Петр Великий пытался помешать этой миссии, Пушкин ее осуществлял. Так что Россия удержит

прогнанный Запад от катастрофы (если, заметим от себя, Запад будет продолжать кормить *Удерживающую*). Заканчивается статья оптимистическим: «С этим заданием — при всем ужасе и позоре, подлости и пошлости заслуженной нами «действительности» — положение, в котором находимся мы, лучше, чем «в других местах» (Чаадаев), где живут «как люди», платя за это утратой памяти о том, «для чего люди живут».

М. Новикова в эссе «Соблазны» совершенно справедливо издевается над безграмотным употреблением отечественными газетчиками библейских терминов и образов. Правда, при этом она вместо слова «профанирование» изобретает «профанизирование», да еще определяет его как нарушение святости в неведении, отличное от кощунства (на самом деле, профанирование и кощунство — абсолютные синонимы). Так что старый совет не судить, да не быть судиму, сохраняет свою весомость.

И наконец, **А. Кушнер** («Заметки на полях») невольно полемизирует с Непомнящим, заявляя: «Не знаю ни одного действительно замечательного поэта, во всяком случае в новые времена, с религиозной концепцией», — и к месту цитирует малоизвестную приписку Михаила Соловьева к письму Фета Вл. Соловьеву от 10 июля 1892 года: «Во время спора с М.И. Хитровым и Говорухою-Отроком и защиты им христианства Фет вскопчил, стал перед иконою и, крестясь, произнес с чувством горячей благодарности: «Господи Иисусе Христе, Мать Пресвятая Богородица, благодарю вас, что я не христианин».

Да и как не молиться Богу, когда публикацию рассказа 1938 г. **В.А. Никифорова-Волгина** «Пушкин и митрополит Филарет» («Москва», № 2, 1996) сопровождает послесловие М.Филина, который подчеркивает, что Филарет имел право «преклониться перед божественным даром национального поэта». Любопытна сама постановка вопроса о «праве» митрополита восхищаться Пушкиным. Понятно возмущение, с которым А. Архангельский в № 6 «Нового мира» (1996) подверг критике монографию М. Новиковой «Пушкинский космос: языческая и христианская традиции в творчестве Пушкина» (М.: Наследие, 1995), выпущенную под руководством В.Непомнящего: «Стоит воспротивиться авторскому напору, не поддаваться несомненному обаянию ... как сразу становится ясно: «архетипическое» прочтение Пушкина (в новиковском, предельно нестрогом значении термина) невозможно без системы постоянных допущений. А значит, область, в которой все эти архетипы живут, — не пушкинское сознание или подсознание, а сознание — Марины Новиковой».

Политические аспекты религии в России рассматриваются в статье **А. М. Салмина** «О некоторых проблемах самоопределения и взаимодействия исполнительной и законодательной властей» («Полис», № 1, 1996). Это панорамная оценка российской политической машины. Примечательно, что автор с недовольством говорит о том, что «быстро меняется» «конфессиональный состав некоторых российских регионов», имея в виду деятельность протестантских проповедников. Он считает, что «церковно-государственная

невнятица в длительной перспективе способна, однако, незаметно обернуться «расслаблением» даже русской России» и предлагает по-новому определить «статус Православной Церкви в государстве», создав базу для конструирования «федеративных и межэтнических отношений. Можно даже сказать, что права всех конфессий и всех этносов могут быть надежно защищены лишь при стабильном, исторически обоснованном государственно-церковном синтезе. Только такой синтез поможет, помимо прочего, отделить зерна от плевел: конфессии, исповедующие Бога, от разрушительных «тоталитарных» сект, перед которыми сегодня государство и общество практически беззащитны. Только он в длительной перспективе поможет избежать погружения в хаос межрелигиозных и межэтнических конфликтов». Такое победоносцевское хитроумие проявляет президент фонда «Российский общественно-политический центр».

Архим. Августин (Никитин) в статье «Церковь и будущее России» («Наука и религия», № 6, 1996), выделяя как первоочередную угрозу конфликт православия и ислама, а также экологический кризис, призывает «добиваться единства, строго соблюдая многообразие культур и религий, уважая суверенные права каждого народа». Не совсем ясно, имеет ли он в виду под «суверенными» только народы, имеющие собственную государственность, и как сочетается призыв уважать права с его же заявлением: «Кому-то придется в чем-то поступиться не только своей национальной гордостью, но и определенными материальными благами».

В журнале «Москва» (№ 3, 1996) опубликованы материалы III Всемирного Русского Народного Собора, в частности, выступление **В. Зорькина** «Право. Правда. Православие». Там же напечатано выступление **А. Солженицына** на Четвертых Рождественских образовательных чтениях 21.01.1996 г. С одной стороны, писатель подверг резкой критике инославных («Протестантство и особенно католичество с энергичным напором устремились завоевывать верующих в нашей стране, хотя насколько естественней было бы им усилить заботы о пастве, теряемой в своих странах, где церкви часто пустуют»), с другой стороны — защитил русский баптизм от хулы («Они воистину ищут смиренности, а евангельскую проповедь ведут для соотечественников — на простом доступном русском языке и в полносознательной связи с современностью. Тут — мы должны увидеть для нашей Церкви предупредительный урок»).

К числу подобных политизированных выступлений относится и статья **свящ. А. Шаргунова** «Церковь и власть» («Москва», № 1, 1996). Статья начинается с утверждения, что «Церковь учит, что соблюдение государственного закона даже в атеистическом государстве в том, в чем он не противоречит совести христианина, обязательно для всех граждан». Констатируя затем распад нравственности в русском обществе, ведущий к распаду государственности, Шаргунов призывает Церковь активно участвовать в выходе из тупика по пути «твердого соблюдения государственной законности ... вера не должна допускать идеологического заражения»

(заражения всякой идеологией, кроме, видимо, таких идей, как у единомышленников Шаргунова).

Доримедонт Сухинин (монах, учащийся МДА) в статье «О единстве Русской и Сербской Православной Церкви» («Москва», № 1, 1996) подчеркивает, что «Отечество земное — это преддверие и образ Отечества Небесного, и через эту ступень нельзя перескочить никому». «Жива и непосредственная связь между, например, верностью Сербской Церкви старому календарному стилю и Божественной помощью противостоять нападениям на Сербское государство». К сожалению, автор не объясняет, почему соблюдение старого стиля не пошло на пользу Российской империи.

Церковная жизнь полнокровнее всего отражена в межконфессиональном журнале «Истина и жизнь». Здесь опубликовано интервью с о. **Исаином (Экономцевым)** («Истина и жизнь», № 2, 1996), священником-интеллектуалом, издавшим несколько романов, возглавляющим Российский православный университет. Он мечтает целиком отдаться пастырской деятельности, но не может предать дело христианского просвещения. Выступая против сооружения стены между Россией и Западом, Экономцев видит будущий путь России как «православие, одухотворенные религией культура, экономика, общественная жизнь».

В № 4 «Истины и жизни» напечатано интервью с о. **Николаем Соколовым**, столичным священником, стоящим вне группировок благодаря сосредоточенности на пастырской работе. Мягко и спокойно он высказывается по различным проблемам семейной жизни, отмечая, что иногда он даже благословляет предохранение от зачатия, «если появление в семье еще одного ребенка станет серьезной помехой здоровью и благополучию уже имеющихся детей» (речь не идет, конечно, об абортах). В том же номере **Ирина Копцева** в репортаже «Протестанты в Азербайджане» рассказывает о деятельности протестантского Библейского института в Баку, а **Антон Поспелов** («Малые сестры Иисуса») — о деятельности в Москве Малых сестер Иисусовых (общины католических монахинь).

К сожалению, не прекращаются и внутрицерковные столкновения. Некто **А. В.** («Другое христианство?» — «Москва», № 2, 1996) критикует статьи о. Г. Чистякова в газете «Русская мысль», № 4106, который обвиняется в том, что он якобы безосновательно называл Лукиана Антиохийского арианом, Исаака Сириянина несторианином. Автор памфлета называет Чистякова «филокатоликом или безответственным болтуном». А в статье прот. **Валентина Асмуса** «Нет истины, где нет любви» («Москва», 1996, № 6) — такого же уровня декларативная критика о. А. Борисова за протестантизм и о. Георгия Кочеткова за якобы отрицание им крещения детей и провозглашение своей общины «единственным миссионерским приходом в России».

Свящ. Артемий Владимиров в «Беседе о календаре и пасхалии» («Москва», № 4, 1996) тоже защищает старый календарный стиль. «Осо-

бенное бесчестие католики наносят своим календарем апостолу Петру», поскольку при новом стиле Петров пост якобы иногда исчезает, если приходится на седмицу Пятидесятницы (?!). «И сейчас сколько свидетельств получают православные христиане от своих собратьев в Болгарии, Румынии, Греции об оскудении благочестия там, где воцарилось поврежденное летосчисление, противное Священному Преданию Церкви».

Статья свящ. О. Стеняева «Упорство в ереси» («Москва», № 1, 1996) направлена против Католической Церкви как ереси. Стеняев почему-то думает, что «латиняне» (его термин) до сих пор считают православных «схизматиками». «Католики, которые так кичатся своей вселенскостью, подменили Соборное частным, Православное — еретическим. Их упорство в ереси было направлено прежде всего против древней святоотеческой традиции». В числе грехов католиков автор упоминает (помимо догматических новшеств) celibат, приводящий «к нарушениям», и то, что «народ на Западе был просто отлучен от причастия Святой Крови Иисуса Христа» — «мирянам дают причастие только от Тела Христова и не допускают их до Святой Крови Христовой». И вообще «Второй Ватиканский собор окончательно уничтожил связь католической церкви с древней святоотеческой традицией». Статью дополняет обращение духовенства против радиостанции «София» и священников А. Борисова, И. Свиридова, А. Гостева, В. Лапшина, Г. Чистякова за проповедь католичества.

Всё той же борьбе с инаковерующими, на этот раз сразу со многими «сектами», посвящена очередная беседа по сравнительному богословию **свящ. Максима Козлова** («Православная беседа», 1, 1996). Автор предлагает читателям краткий очерк истории возникновения и развития основных сект (баптисты, квакеры, пятидесятники, методисты, мормоны и т.д.). В том же номере журнала **А. Лихачев** в статье «Пути духовного рабства» рассказывает о секте «Церковь Объединения» корейского проповедника Сан Мюн Муна, а № 2 предлагает статью **А. Егорцева** и **А. Стопочевой** «Как нам отклиривать Россию» о «Церкви сайентологии» Л. Рон Хаббарда.

Тему продолжает журнал «Альфа и омега», № 4(7), помещая на своих страницах **рассказ-исповедь С. Глушенкова** «Я был в Московской Церкви Христа»; автор на собственном опыте убедился, что «современные тоталитарные секты пытаются преуспеть в том же, чем занимались коммунисты» — «подчинить официальному учению всю жизнь человека, чтобы любые понятия утратили для него абсолютный характер».

К жанру борцовских статей относится и **статья Ю. Каграманова** «Американская симфония» («Вопросы философии», № 1, 1996), направленная против американской религиозности. В общецивилизационном плане сегодняшние популистско-эгалитаристские настроения христианства Нового Света становятся, по мнению автора, реальным препятствием на пути американского прогресса. «Эгалитаризм в области религии и культуры, безбрежная витальность американского христианства привели, считает автор, к размыванию его фундаментальных доктринальных осо-

бенностей, к утрате даже необходимой четкости и определенности. Метафорой протестантского модернизма становится русское новоязовское словечко «тусовка», замечает не склонный миндальничать автор. Хотя и добавляет более благородное, но не менее категоричное: духосмесительство.

С. Лезов («Еврейский вопрос» в русской интеллектуальной жизни (1985—1995)). — «Знамя», № 9, 1996) удивляется тому, что в последние годы не было погромов, и объясняет это тем, что не осталось в стране евреев. Со ссылкой на У. Лакера он заявляет, что «Достоевский едва ли был близко знаком хоть с одним евреем» — утверждение настолько ошибочное, и ошибочность эта настолько легко проверяется, что после этого трудно текст воспринимать всерьез. Нормальный подход к проблеме (хотя и без широкозвучающих заявлений) демонстрирует **Р. Рывкина («Евреи в современной России» — «ОНИС». № 5, 1996)**, которая на основании социологических данных отмечает, что евреи есть, они самая пожилая группа — средний возраст 52 года, официально их 7,3 млн — 5% населения в феврале 1994 г. Из них 16% религиозных людей, причем православию привержены 31%, а иудаизму 24%; сторонники и противники эмиграции равночисленны.

Проблемам экуменизма посвящена статья В. Зелинского «Ностальгия по Востоку» об Апостольском послании «Свет Востока» Его Святейшества папы Иоанна Павла II («Новая Европа», № 7, 1996). Документ определен автором как «очередной важный шаг Ватикана в сторону христианского единства»: в нем говорится о взаимном обеднении двух Церквей из-за того, что одна и та же «вселенская истина Христова предстала в разном видении Западу и Востоку». Победить это различие можно лишь осознанно ясной волей. Послание опубликовано в журнале «Вопросы философии», № 4, 1996.

А № 8 «Новой Европы» печатает разъяснение традиционного для Западного учения о филиокве с целью «рассеять недопонимание» между католиками и православными (документ был опубликован в газете «Осерваторе Романо»), чтобы «содействовать диалогу в рамках Смешанной международной комиссии Римско-Католической и Православной Церквей». Документ указывает, что филиокве вовсе не означает, что Отец выше Сына или не является единоначальным. Учение о филиокве было направлено против арианства и подчеркивало тот факт, что Святой Дух имеет ту же божественную природу, что и Сын, не ставя под вопрос главенства Отца. «Обе традиции признают, что «монархия Отца» предполагает, что Отец есть единственная Троичная причина или начало Сына и Св. Духа». 29 июня 1995 г. в день празднования памяти свв. апостолов Петра и Павла папа Иоанн Павел II возгласил по-гречески Никео-Цареградский Символ веры без филиокве.

«Достижение христианами, общинами и церквями единства взглядов и действий в... «горизонталистских» сферах жизни... не может рассматриваться как единство экуменическое в православном его понимании», —

словно возражает В. Зелинскому **А. Осипов** («Православное понимание экуменизма» — «Православная беседа», № 2, 1996). Экуменизм достигнет своей цели только тогда, когда существующие христианские церкви оценят свое настоящее кредо через призму учения и практики Древней Церкви и, найдя у себя «изменения по существу», возвратятся к первоизданной целостности. Ни секулярное единство, ни экзальтированный мистицизм сегодняшних экуменических встреч не ведут, замечает автор статьи, к подлинному объединению. Принципиальное значение может иметь только вопрос о духовной аутентичности Христу. Вот почему для православного экуменического богословия первостепенной является задача разработки и представления экуменическому инославию Основ богословия духовной жизни, которое послужит предпосылкой подлинного в Духе Святом общехристианского единства как единства веры, основ духовной жизни, единства принципов церковного устройства, единства Священного Предания.

«Византийское наследие или соблазн современности?» — под таким подзаголовком печатает свою статью «Остров истины» **Н. Селищев** («Наш современник», № 4, 1996). Подробно останавливаясь на опыте Православной Церкви Греции и России, автор замечает, что экуменисты «строят общеевропейский дом» на руинах» исторического Православия.

Е. Ихлов в статье «Фундаментализм, традиционализм и межконфессиональный диалог в России» («Знамя», № 8, 1996) отмечает, что диалог ведется в основном последователями о. А. Меня, и выражает свое разочарование в Русской Православной Церкви. Тут же **Б. Фаликов** дает очерк истории Белого братства, отмечая возможность его трансформации в традиционное религиозное движение и называя наказание членов движения тюрьмой негуманным и бессмысленным.

А. Юдин в статье «Тридцать лет спустя, или Легко ли жить без аяфем» («Страницы», № 3, 1996), анализируя историю православно-католического диалога, отмечает, что Русская Церковь и в 60-е годы резко критично относилась к сближению с Римом.

Как всегда, в высшей степени откровенно (редкое качество у церковных авторов, что немало объясняет господство антиклерикализма) выступает **архиеп. Михаил (Мудьюгин)** в статье «Кафолики и католики» (там же). Он признает, что католические догматы о Богородице не противоречат православной догматике и были не приняты на Востоке просто из-за ненависти к католикам. Он делает любопытное замечание: «Немалую роль здесь играет присущее восточному богословию, а тем более восточному церковно-психологическому настрою неприятие догматического творчества» (тут, конечно, надо напомнить, что именно Восток христианского мира с древности был инициатором догматического творчества и наиболее деятельным его участником). Совершенно сенсационно утверждение: «Выражение «папская непогрешимость» многими совершенно неправильно понимается как личная безгрешность, как оправданное высоким саном личное поведение, каким бы греховным оно ни было с позиции нравств-

венных норм, предписываемых совестью или Словом Божиим. На самом же деле Римско-католический догмат, принятый на Первом Ватиканском Соборе в 1970 году, говорит лишь о «непогрешимости в вопросах вероучения», то есть о подверженности Папы особому благодатному действию Святого Духа, предохраняющему Папу от ошибочных, ложных суждений в сфере вероучения, и только в ней. И Римско-Католическая Церковь, и сами папы смотрят на людей, поставленных на эту исключительную высоту и облеченных высочайшими полномочиями и обязанностями, как на людей, столь же способных нравственно согрешать, как и все люди. Такое церковное и личное самосознание побуждает пап регулярно приступать к личной исповеди, подобно другим членам Церкви».

Своего рода апофеозом подозрительности, вызванной осадным состоянием души, можно считать статью **А. Кураева «Конфликт в Эстонии и будущее православия»** («Москва», № 4, 1996), в которой автор предположил, что весь спор спровоцирован Ватиканом с далеко идущими целями. Ведь «и в Ватикане, и в Константинополе уже ясно заявляли, что 2000-й год христианский мир встретит единым ... Единственная возможность уложиться в намеченные сроки — это устранить Русскую Церковь из «общеправославно-католического диалога ... Создается конфликтная ситуация вокруг Эстонии. Патриарх, Синод, Собор уговариваются на разрыв отношений с Константинополем. Константинополь получает возможность реализовывать любые экуменические проекты и унии без участия и без цензуры Русской Церкви. А затем, когда эти проекты реализованы (или уже необратимы), быстро находится решение эстонской проблемы. ... Униональные проекты, реализованные за эти годы Константинополем, Москва без обсуждения, задним числом принимает и оказывается тем самым в сильно расширившемся за время ее отсутствия круге «православных» Церквей. Так, возвращая Эстонскую епархию, мы можем потерять само Православие ... Хватит ли у наших иерархов мужества потребовать от Константинополя отчета во всем том, что он сделал за годы разрыва?» Конфликт быстро исчерпался, патриарх Константинополя занял попутно довольно резкую антикатолическую позицию, и теперь особенно ярко видно, как далеко от реальности может увести автора его энтузиазм.

В толстых светских журналах редко предоставляют голос верующему, — как, впрочем, и атеисту. Религиозная тема подается преимущественно в культурном плане. Тем удивительнее упорство, с которым **Михаил Эпштейн** выступает в очередной своей статье **«Постатеизм, или Бедная религия»** («Октябрь», № 9, 1996) в защиту атеизма и гуманизма от агрессии религии. Он задается вопросом, может ли религия после гонений «возродиться в прежних своих традиционных формах» (не задаваясь вопросом о соотношении формы и содержания в данном случае и почему-то, по умолчанию, считая всякое изменение — отрицательным явлением). Он использует термин «традиционные вероисповедания» для обозначения православия, католичества, ислама, буддизма, иудаизма и считает, что вновь пришедшие к этим религиям люди «привносят в жизнь

своих церквей эмоциональную пылкость и догматическое невежество, романтику охранительного национализма». Более сурово Эпштейн пишет о попытках возрождения язычества. Значительно мягче он к «своим», которых характеризует так: «Из атеизма сейчас уходит гораздо больше людей, чем приходят в храмы. Они уходят — и не доходят, остаются где-то на распутье. Но это распутье, в сущности, и есть главная точка, где сходятся все пути. Точка единоверия, равног приятия всех вер как ведущих к единству веры». Отвергая религию, Эпштейн пишет: «Бедный верующий ... становится православным или иудеем ... Почти во всем мире люди приходят к Богу через храм ... В нынешней России люди приходят в храм через Бога. Отсюда и ощущение тесноты этих каменных стен, стремление их раздвинуть». Атеизм он почтительно называет «крайним и грубым выражением укорененного в восточном христианстве апофатизма», вставляет в свое эссе собственную статью 1982 года с критикой религии (где называет иоахимитов флорианами, не говоря уже об ошибках более тонкого характера). Современную религиозность он называет «бедной» (видимо, грамотнее было бы сказать «обедненной», так как «бедная» воспринимается скорее как «несчастная»), — судя по его описанию этой «бедной религии» он имеет в виду не религию, а просто бытовую религиозность, которая характерна для любой эпохи. Почему-то эту убудочную религиозность он называет «модернистской» и связывает с именем Бердяева (имея в виду, видимо, очень и очень раннего Бердяева, в зрелом-то возрасте вполне церковного человека и поведенчески, и догматически). Эпштейн считает, что из «бедной религии» вырастет «экуменическое сближение вер перед лицом грядущего Богопришествия», не задумываясь над тем, что лишь немногие «веры» верят во второе пришествие.

К числу остро *антихристианских работ*, не столь уж редких и в наше благочестивое время, относится работа Э. **Бормашенко**, философа из Харькова, «Критика экологического разума» («Знание—сила», № 7, 1996), где автор пробует пересмотреть «традиционную этику» в свете экологического кризиса. Он уравнивает христианство с нищезанством (оба требуют сверхчеловеческой усилий), а христиан с революционерами (якобы и те, и другие уверены в том, что «волевого усилия достаточно для слома структуры бытия»). Критикует он и экологический разум, для которого якобы бездельник лучше активного работника, изводящего природу на дрова. Он предлагает выход в том, чтобы учить чиновников не брать взятки, учить людей выполнять заповеди, создавать микросообщества демократического духа.

Журнал «Вопросы философии» (№ 7, 1996) публикует статью **Томаса Альтицера** «Россия и апокалипсис», предвзято выступлением **Ю. Селиванова** «Идея апокалипсиса в христианском атеизме», который объясняет, что «христианский атеизм» Альтицера есть отрицание не Бога, а уход от явного решения религиозных вопросов, а «то, что обычно понимают под верой в Бога, есть всего лишь плохая метафизика и скудное воображение ... Мы рассматриваем атеизм как естественное продолжение

религиозной жизни, ее неотъемлемое восполнение». При ближайшем рассмотрении, оказывается, что имеется в виду теология «смерти Бога», популярная в 1960-е годы. Характерно, что Альтицер абсолютизирует непроницаемость России для Запада, сам будучи именно западным человеком. Действительно, судя по его характеристике «русского апокалипсиса» как «воплощенного ада», для некоторых западных людей наша душа непроницаема.

В защиту единства всех религий выступает **Григорий Померанц** в эссе «Вокруг предвечной башни» («Дружба народов», № 10, 1996). Заявив, что «системность Троицы отсылает нас от логики к хороводу», он отождествляет, например, христианство с «хороводными культурами Африки и Океании». Впрочем, Померанц активно критикует христиан за то, что они христианство обращают в принцип, «а в духовном целом нет изолированных принципов. Есть внутренне связанные узлы Единого. Они реальны только в сети». Померанц ратует за сочетание принципа иерархии с принципом свободы, отвергая, впрочем, иерархию всякой конкретной религии.

Журнал «Вопросы философии» открыл свой 12-й номер стенограммой Крулого стола, посвященного «нетрадиционным религиям» в посткоммунистической России. **И. Кантеров**, профессор МГУ, критиковал прессу за преувеличение влияния НРД (новых религиозных движений) и выступил в защиту действующего Закона о свободе совести. **Б. Фаликов** выделил четыре типа НРД (импортированные, возникшие в результате дробления традиции, выросшие из западного оккультизма, синкретические). Он отметил, что «распространение НРД — не столько следствие тоталитаризма, сколько реакция на него, так как оно предполагает разнообразие». **Е. Балагушкин** отметил невозможность называть НРД «квази-религиями», недопустимость рассматривания их в качестве суррогата «подлинных» религий: «Критерий религиозности всегда был предметом острой полемики. С позиций конфессиональной исключительности непредвзятый и единодушный ответ получить невозможно, поскольку всякое иноверие априори объявляется ложной религией, а то и вовсе не-религией». Невозможно и активную коммерческую деятельность считать несовместимой с религиозностью, указав в качестве классических примеров религий, в которых вера сочеталась с хозяйствованием, общины меннонитов, старообрядцев-некрасовцев, молокан, толстовцев, в Америке шейкеров. **А. Зубов** также выступил в защиту свободы совести и с протестом против использования термина «секта», сославшись на афоризм: «Мятеж не может кончиться удачей, а то он звался бы иначе», и осудил стремление православия к статусу государственной религии. **П. Гуревич** отметил, что он часто выступает в печати «против дежурного идеологического изобличения новомодных религиозных увлечений»: «Современные культы ... многие называют тоталитарными. Однако не слишком ли? Тоталитарный режим — вообще явление уникальное для истории. Он неизбежно связан не только с тотальным надзором за

поведением человека, но прежде всего с массовым геноцидом. Справедливо ли это по отношению к многочисленным религиозным образованиям, многие из которых вообще исповедуют пацифизм? Не вызывает ли хлесткое слово ответный фанатизм?» Выступили два психиатра, представляющие противоположные точки зрения на НРД: **Ю. Савенко** их защитил и подверг критике такие утверждения **Ю. Полищука**, как требование проводить медитацию лишь под руководством врача: «Когда АУМ и другие секты упрекают за суггестивность, то забывают, что все мы живем в среде подобной суггестивности и даже намного большей, чем практикуемая в этих сектах». Он отметил, что Комитет по спасению молодежи от тоталитарных сект, состоящий примерно из 20 родителей, намеренно раздувает ажиотаж и сам «индуцирует окружающих». **Ю. Полищук** ни одного из замечаний по своему адресу опровергать не стал, а просто повторил, что НРД занимают «массовой гипнотизацией». Ему задали лишь один вопрос: а православные посты могут иметь результат, схожий с постами в НРД? На что он ответил, что «никаких данных о наличии психопатологических феноменов из христианских храмов ко мне не поступало». **Л. Григорьева** из Красноярского пединститута дала яркую картину состояния НРД в Красноярском крае. **Л. Митрохин**, завершая разговор, отметил, что жалобы родителей — реальный факт, «значит, нужно искать реальное решение, а не просто уповать на образовательную и просветительскую деятельность».

Нехристианская религиозность в основном освещается материалами либо очеркового, либо апологетического характера. К числу первых можно отнести блестящий, насыщенный репортаж **С. Филатова** и **А. Щипкова** «Языческий вызов христианству» («Дружба народов», № 3, 1996). Справедливо отмечая эклектичность, аморфность и всеядность религиозного сознания нынешних россиян, авторы статьи считают, что большинству населения незнакомы и чужды традиционные формы религиозной жизни. Возвращение к религии происходит, по их мнению, не в результате проповеди и реальной деятельности Русской Церкви, но как следствие саморазвития светской культуры и идеологии. В понятие язычества публицисты вкладывают вполне конкретный традиционный смысл. Именно потому они и обращаются к опыту возрождения языческих верований в Удмуртии, считая, что они реанимируются как вызов и марксизму, и православию.

Некоторые основные аспекты учения «живой этики», или «агни йоги», рассматривает **М. Егорова** в журнале «Философские науки», № 5—6, 1995. Вдохновенно рассказывая об учении **Е. Блаватской** и **Рерихов**, автор статьи считает, что их «учение заявляет о себе как о величественном синтезе философии, религии, науки и искусства, как о новой форме познания, которая получит свое наибольшее развитие в наступающей эпохе человеческого существования».

В том же номере читатель может ознакомиться с окончанием статьи **В. Кравченко** «Совесь против морали в учении **Г.И. Гурджиева**» (начало

см. № 2—4, 1995). Согласно автору, мораль, дитя духовной лени, нивелирует человеческую личность и потому ее надобно поверять совестью, преодолевая традиционную нравственность не иначе, как революционным путем.

Подробно ознакомив своих читателей с изложением воззрений популярной защитницы новой религиозности — Зигридой Хунке (см. «Философские науки», №№ 2—4, 1995, статья **Б. Старостина «Зигрида Хунке: мировоззренческий синтез на основе историко-культурных реконструкций»**; «Континент» уже обращался к ней в № 87), журнал печатает и собственный материал З. Хунке «Дуалистическое наследие и его преодоление в средневековом и современном европейском мирозерцании» (№ 5—6, 1995). Христианство для Хунке — это дуализм, расщепляющее мышление которого не только отделило мир от некоего сверхмира, но и утвердило борьбу двух начал: добра и зла. «Это смертоносное жало в организме Запада» закрепило вечную Неустрашимую Противоположность, оказавшуюся не по плечу европейскому народу, познавшему к тому времени принцип единства бытия, единства противоположностей. Христианское дуалистическое «качание на качелях» (автор не скупится на хулу) разрушило праевропейский принцип становления и деяния. Обосновывая свое воззрение, Хунке обращается к трудам Экхарта и Николая Кузанского. Глубочайшая причина кризиса современного сознания, по убеждению Хунке, объясняется потерей трансценденции, потерей самого Бытия, которого, уверяет автор со всей своей немецкой прямолинейностью, не найти, если не избавиться решительным образом от дуализма. Читай — от христианства.

Павел Черносивтов, археолог, в статье «Проскочить мимо клюва орла» («Человек», № 1, 1996) анализирует учение К. Кастанеды, отраженное в только что вышедшем в России девятитомном собрании его сочинений (Кастанеда выступил со своим учением в 1960-е годы, положив в его основу якобы мексиканское «тайное знание» о магическом всевластии над миром через потребление наркотиков). Черносивтов считает, что Кастанеда действительно описал эзотерическую школу, хранящую некое древнее знание и способы просветления (хотя многие считают, что Кастанеда выдумал всё от начала до конца). Он полагает, что Кастанеда создал «чрезвычайно конструктивную модель Мира», хотя конструктивность сводится лишь к «новому» пониманию магии: «Ты всемогущ и свободен в самом общем смысле этих понятий! Конечно, ты не Творец всего сущего, но в этом сущем ты можешь занять любое место, какое тебе понравится». Надо лишь найти у себя «точку сборки» — «на коконе за спиной, напротив правой лопатки», и тогда для стороннего наблюдателя человек станет превращаться во что угодно, а может исчезнуть вообще. А может, добавим мы, стать археологом и автором журнала «Человек».

А вот автором «Октября» (№ 3, 1996) **Л. Скворцовым** приветствуются попытки найти «новую точку адекватного самоопределения» человека, о чем он пишет в статье «Возвращение эзотеризма». Современная

персоноцентричная ментальность базируется, считает автор, на коде Универсума. На его основе (с учетом и признанием равноправия «мелко-масштабных» цивилизационных кодов) определяется объективный смысл бытия — Логос — и проекция личностной позитивной свободы. В преддверии XXI века эзотеризм превратился в фактор выживания. Причем современный эзотеризм отличается от традиционного: он вполне развернулся к феноменам эмпирического мира, воспринимая их не как некий таинственный покров, скрывающий тайны бытия, но делая такой подход к феноменам главным, что, по мнению автора статьи, наполнит, наконец, мир утерянным смыслом и изменит катастрофическую проекцию, по которой движется человечество. На основе такого эзотеризма неизбежно возникнет необходимая для выживания человечества система табу, ограничивающая произвольные формы массового поведения.

Проблеме новой религиозности посвящено и небольшое эссе историка религии М. Эляде «Моды культуры и история религий» («Философские науки», №№ 5—6, 1995). Пытаясь расшифровать некоторые «скрытые смыслы» модных течений философской и культурологической мысли, автор приходит к выводу: новая модификация религиозности не хочет, по примеру традиционных религий, слепо отвергать язычество и оккультизм. Она переосмысливает мечту о достижении космического могущества человека, о преодолении «фундаментального разрыва» божественного и земного миров. Не столь уж важна, по мнению автора, та или иная конкретная «мода» в культуре, ибо между ними есть некое единство: интерес к материи. «Это восхищение элементарными структурами материи выдает желание освободиться от груза мертвых форм, ностальгию по погружению в мир».

Журнал «Истина и жизнь» во вторую половину года давал преимущественно **биографические очерки**, лучшие из которых: **Т. Жирмунской** о матери Марии, **В. Лебедева** о папе Пие X, **К. Ковальджи** об о. Иоанне Ковальджи (1867—1929), дяде автора, **Александра Семенова**, настоятеля церкви Похвалы Богородицы в Дубне, об Александре Леонидовиче Куземском (все в № 7), **С. Бычкова** и **Ю. Шрейдера** об о. С. Желудкове, **Ю. Давыдова** о М. Сперанском (в № 8), **Н. Бобровой** о Э. Бутенке, протестанте-переводчике, **свящ. Речинского** о киевских священниках, погибших в 1930-е годы (в № 9).

Художник *В. Лаврентьева*
Компьютерный набор и верстка *М. Егоровой*

ЛР № 010184

Подписано в печать 24.04.97. Формат 84x108/32. Бумага типографская.
Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 21,84. Тираж 5000 экз. Заказ № 32

Адрес издательства «Московский рабочий»
и редакции журнала «Континент»:
101923, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8
Тел. редакции: (095) 928-97-42

Отпечатано в Московской типографии № 13 Комитета РФ по печати
107005, Москва, Денисовский пер., 30

1997 год, № 1

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

впервые в книгоиздательской практике предпринимает масштабную культурную акцию по объединению в одной издательской серии всей русской литературы XX века, разделенной ранее по пресловутым идеологическим принципам на эмигрантскую и советскую литературу. Издательство приступает к выпуску «Русской библиотеки 1900—2000».

В этот крупный литературный материк войдут как произведения русских писателей зарубежья, не издававшихся в советское время, так и книги отечественных авторов, в той или иной мере испытавших на себе пресс тоталитарной системы. В библиотеке будут представлены также наиболее выдающиеся произведения современной литературы.

«РУССКАЯ БИБЛИОТЕКА 1900—2000»

включает в себя:

Собрания сочинений И. Шмелева в 8 т., Д. Мережковского в 11 т., М. Осоргина в 4 т., М. Булгакова в 6 т., Е. Замятина в 4 т., Б. Зайцева в 6 т., А. Куприна в 5 т., В. Набокова в 6 т., А. Ремизова в 5 т., Ф. Сологуба в 4 т., И. Бунина в 8 т., А. Платонова в 6 т., М. Алданова в 6 т. ...

Двух- и трехтомные издания сочинений А. Блока, А. Белого, К. Бальмонта, М. Цветаевой, С. Клычкова, Н. Гумилева, Г. Адамовича, Б. Пастернака, И. Бабеля, М. Шолохова...

Книги И. Анненского, А. Ахматовой, М. Волопина, Г. Газданова, С. Есенина, Н. Клюева, М. Зощенко, В. Ходасевича, И. Северянина, О. Мандельштама, Вяч. Иванова, М. Кузмина...

Мемуары С. Маковского, Ю. Терапиано, И. Одоевцевой, П. Бицилли, П. Струве, Н. Берберовой, В. Яновского...

Книги наших современников: А. Твардовского, В. Некрасова, К. Воробьева, Ю. Казакова, В. Шукшина, Ю. Трифонова...

В 1996—1997 гг. выходят в свет издания Г. Адамовича, С. Клычкова, М. Осоргина, И. Анненского, Д. Мережковского, И. Шмелева, К. Бальмонта, И. Бабеля, П. Бицилли, С. Маковского, К. Мочульского, Ю. Казакова, Ю. Трифонова.

Издания снабжены вступительными статьями, комментариями, приложениями, биохрониками, вклейками редких фотографий.

Программа рассчитана на пять лет. В ее составе более 200 томов. Каждый том — 30—40 печ. л., тираж 10—20 тысяч экз., формат 84x108/32, переплет, суперобложка с тиснением «золотой» фольгой.

Продажа по подписке и в розницу. Подписаться можно на всю серию, на отдельные собрания сочинений, на отдельные издания.

Тел.: 921-01-86, 921-35-05 • Факс: 924-42-33

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ

«КОНТИНЕНТ»

принимается во всех отделениях связи России.
Наш подписной индекс в каталоге «Роспечати»

73218

В помещении редакции «Континента» ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 12.00 до 15.00 можно оформить льготную подписку на журнал с любого номера и на любой срок на условиях самостоятельного получения выходящих номеров в редакции

* * *

«КОНТИНЕНТ»

высылается по индивидуальным заказам агентством
«Книга-сервис» (тел.: (095) 129-29-09)

Жители Москвы и Московской области
могут покупать выходящие номера журнала в редакции,

а также:

в «Доме книги» (Новый Арбат);
в книжном салоне «19 октября» (Казачий пер.);
в магазине «Эйдос» (Чистый пер.);
и в киосках «Роспечати» Киевского района.

* * *

«КОНТИНЕНТ»

приглашает на льготных условиях распространителей
и рекламных агентов

В разделе «РЕЛИГИЯ»

Очерк священника **Иллариона Алфеева** о поездке в Тибет
Статьи священника **Гордона Кендала**, священника **Георгия Кочеткова**, **Владимира Шохина**

В разделах «ПРОЧТЕНИЕ» и «ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ»

Статьи **Игоря Виноградова**, **Евгения Ермолина**, **Григория Померанца**, **Инны Ростовцевой**

В разделе «ИСКУССТВО»

Беседы о современном искусстве. Интервью с **Анатолием Васильевым**, **Аллой Демидовой**, **Валерием Евдокимовым**, **Сергеем Женовачем**, **Евгением Колобовым**, **Эрнстом Неизвестным**, **Кареном Шахназаровым**, **Сергеем Юрским**

Читайте также в нашем журнале постоянный раздел

«БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА» —

подробный аннотационный обзор прозы, литературной критики, культурологической, философской и религиозной мысли в текущей российской прессе



ВЫ ЕЩЕ НЕ КУПИЛИ АВТОМОБИЛЬ?
Продажа в рассрочку:
АО "Автоплан"

тел. 276-87-80



"МОСКВИЧ"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Оптовая продажа

тел. 276-83-08
276-82-32
факс 179-49-81

ПРОДАЖА В РАССРОЧКУ * ОПТОВАЯ ПРОДАЖА